



К. Н. БАТЮШКОВ ◆ НЕЧТО О ПОЭТЕ И ПОЭЗИИ

К. Н.  
БАТЮШКОВ



НЕЧТО О ПОЭТЕ  
И ПОЭЗИИ

**БИБЛИОТЕКА  
«ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»**



**ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**



**К. Н.  
БАТЮШКОВ**

**НЕЧТО О ПОЭТЕ  
И ПОЭЗИИ**

---

**Москва  
Современник  
1985**

Общественная редколлегия:

доктор филол. наук *Ф. Ф. Кузнецов*,  
доктор филол. наук *Н. Н. Скатов*,  
доктор ист. наук *А. Ф. Смирнов*,  
доктор филол. наук *Г. М. Фридендер*

Составление, вступительная статья и комментарии  
*В. А. Кошелева*

Рецензент *Е. Н. Лебедев*

**Батюшков К. Н.**

**Б28**

Нечто о поэте и поэзии / Сост., вступ. статья и коммент.  
**В. А. Кошелева.**— М.: Современник, 1985.—408 с.,  
портр.— (Б-ка «Любителям российской словесности. Из  
литературного наследия»).

В пер.: 1 р. 20 к.

Литературно-критическое наследие К. Н. Батюшкова — одна из интереснейших страниц эстетики пушкинского периода в истории русской литературы. Размышления выдающегося русского поэта о языке, о законах и жанрах художественного творчества, об отражении в литературе глубинных вопросов человеческого бытия, о нравственном пафосе поэзии, о ее общественной роли интересны и сегодня читателям литературы.

Б 4603010102—226 326—85  
М106(03)—85

ББК83.3Р1  
8Р1

© Издательство «Современник», 1985 г.  
Составление, вступительная статья, комментарии, краткая летопись жизни и творчества.

**Константин Николаевич Батюшков**

**НЕЧТО О ПОЭТЕ И ПОЭЗИИ**

Редактор **Т. Танакова**  
Художественный редактор **А. Никулин**  
Технические редакторы **Г. Бойцова, В. Соколова**  
Корректоры **Т. Воротникова, Г. Панова**

**ИБ 3304.**

Сдано в набор 12.06.84. Подписано к печати 27.05.85. А 13119. Формат изд. 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печать офсетная. Бумага кн. журн. тип. № 2. Усл. печ. л. 23,72. Усл. кр.-отг. 23,72. Уч.-изд. л. 25,24. Тираж 50 000 (1—25 000) экз. Заказ № 2392. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР  
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Госкомиздат РСФСР  
Полиграфическое производственное объединение «Офсет» Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Волгоградского облисполкома. 400001, Волгоград, ул. КИМ, 6

## «НАУКА ИЗ ЖИЗНИ СТИХОТВОРЦА»

Первое правило сей науки должно быть:  
живи, как пишешь, и пиши, как живешь...  
Иначе все отголоски лиры твоей будут  
фальшивы.

*К. Н. Батюшков. Нечто о поэте и поэзии*

Жизненная и литературная судьба выдающегося русского поэта Константина Николаевича Батюшкова (1787—1855) поистине трагична. Незаурядный и обаятельный человек, он, «в самой цветущей поре умственных сил», 34 лет от роду был поражен неизлечимой психической болезнью. Талантливейший поэт эпохи «преромантизма», ставший «учителем Пушкина в поэзии» (Белинский), — он так и не успел написать своего главного произведения, по пути к которому шел на протяжении всей своей поэтической жизни.

До нас дошла лишь небольшая часть того, что Батюшков написал «во всех родах поэзии». Весьма требовательный к себе и никогда не претендовавший на роль писателя-профессионала, он нередко выбрасывал черновики, уничтожал то, что не удовлетворяло его или его друзей, а в 1823 году, в припадке душевной депрессии, сжег свою библиотеку и архив, включавший поздние его произведения. Один список произведений Батюшкова, известных нам только по названиям, очень обширен и включает в себя не только мелкие «безделки», но и крупные стихотворные и прозаические тексты вроде переложения библейской «Песни песней», поэмы «Вечный жид», перевода «Божественной комедии» Данте, повестей «Корчма в Молдавии», «Венера», описания неаполитанских древностей и т. д.

Ближайшими потомками поэт Батюшков был забыт еще при жизни, заслоненный Пушкиным и пушкинской плеядой. Когда в 1843 году в 30-м томе «Отечественных записок» появляется третья статья В. Г. Белинского из цикла «Сочинения Александра Пушкина», почти целиком посвященная Батюшкову, то критик специально подчеркивает, что он пишет о забытом поэте. Определяя дарование Батюшкова как «истинный», «замечательный», «превосходный» талант, с восторгом цитируя лучшие его стихи, он в то же время с горечью замечает: «Кто теперь читает их, кто восхищается ими? В них все принадлежит своему времени, и почти ничего нет для нашего. Артист, художник по призванию, по натуре и по таланту, Батюшков неудовлетворителен для нас и с эстетической точки

зрения.. Направление и дух поэзии его гораздо определительнее и действительнее направления и духа поэзии Жуковского: а между тем, кто из русских не знает Жуковского, и многие ли из них знают Батюшкова не по одному только имени?»

Пристальный интерес к творчеству Батюшкова возник лишь в последние десятилетия XIX века. В 1885—1887 годах вышло, в трех монументальных томах, Полное собрание его сочинений, подготовленное к столетнему юбилею со дня рождения поэта его братом П. Н. Батюшковым, под редакцией выдающегося литературоведа Л. Н. Майкова и при участии В. И. Саитова. Это «майковское» издание, снабженное блестящим научным аппаратом, стало событием в литературной науке того времени. На его основе выходят «общедоступные» однотомники Батюшкова, а вступительная статья к первому тому неоднократно переиздается отдельной книгой.

Но тогда же сложилось и характерное представление о Батюшкове как об анакреонтике и гедонисте, «поэте чистых наслаждений», который, как утверждал Л. Н. Майков, «не хотел знать за собою никакого другого призвания, а за искусством не признавал практических целей»<sup>1</sup>. До сих пор при определении сущности влияния Батюшкова на творчество Пушкина исследователи ставят его в один ряд с Жуковским и решают проблему, «кто был важнее». «Влияние Батюшкова,— писал Г. А. Гукровский,— было более личное; персональное; влияние Жуковского было влиянием не его личного склада мысли и вкуса, более или менее чуждого Пушкину, а влиянием целого направления европейской культуры»<sup>2</sup>. При таком подходе Батюшков оказывается как бы вне этого «направления европейской культуры». Это, кстати, соответствует взгляду Белинского, который назвал «направление» Батюшкова «нерешительным» и указывал, «что поэзия Батюшкова лишена общего характера», что «это был талант замечательный, но более яркий, чем глубокий, более гибкий, чем самостоятельный, более грациозный, чем энергический». Но Белинский знал Батюшкова только по его «Опытам» и ценил прежде всего как поэта, открывшего «светлый и определенный мир изящной эстетической древности». Ему были неизвестны такие шедевры Батюшкова, как «Видение на берегах Леты», «Подражания древним», «Прогулка по Москве». Он не мог читать ни его записных книжек, ни писем...

Восприятие Батюшкова как «чистого художника» (Л. Майков), самобытность и «грациозность» таланта которого поборола «нерешительность» его направления,— живо и доселе. В советское время неоднократно переиздавались стихотворения Батюшкова, реже — его избранная проза и критические статьи и почти не переиздавались интереснейшие письма поэта к родным и друзьям. Поэтому Батюшков редко

---

<sup>1</sup> Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения/2-е изд. Спб, 1896, с. 240.

<sup>2</sup> Гукровский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965, с. 164.

воспринимается нами как один из оригинальных для своего времени исследователей поэзии, литературный и художественный критик, суждения которого об искусстве, большею частью разбросанные, никем специально не обобщавшиеся и не изучавшиеся, составляют яркую страницу истории русской художественной культуры первой четверти XIX века.

Поэтические «манифесты» Батюшкова, статьи о литературе и искусстве, письма, заметки, записные книжки — яркие свидетельства его понимания внутренних законов художественного творчества, отмеченные четкостью и незыблемостью нравственных критериев. Обладавший необычайной прозорливостью мысли, Батюшков мимоходом ставил и решал такие проблемы, важность которых была определена лишь в последующие литературные эпохи. А многие из его эстетических, этических и собственно критических идей остаются злободневными до сих пор.

\* \* \*

Пожалуй, ни у кого из современников литературная позиция поэта не была столь тесно связана с его личностью и судьбой, как у Батюшкова. А личностью он был очень одаренной и очень противоречивой. Уже в прошлом веке биографы и исследователи творчества поэта заговорили о Батюшкове как о «первом онегинском типе русской жизни»,

Который посреди рассеяний столицы  
Тихонько замечал характеры и лица  
Забавных москвичей;  
Который с год зевал на балах богачей,  
Зевал в концерте и в собранье,  
Зевал на скачке, на гулянье,  
Везде равно зевал...

Таким изобразил себя Батюшков в начале очерка «Прогулка по Москве» (1811). Здесь он вывел себя в облике некоего «доброего приятеля». И как напоминает он пушкинского Онегина: тоже «доброего приятеля» поэта, «москвича в гарольдовом плаще», который «равно зевал средь модных и старинных зал» и жил посреди светских развлечений, «внимая в шуме и в тиши роптанье вечное души, зевоту подавляя смехом».

Характерной чертой личности Батюшкова был именно этот психологический комплекс «лишнего человека», присущий многим деятелям преддекабристской эпохи. «Друг твой не сумасшедший, не мечтатель, но чудак», — пишет о себе Батюшков в 1811 году своему ближайшему другу поэту Н. И. Гнедичу. Ранняя пресыщенность жизнью и «изношенность души», преждевременная душевная старость и «охота к перемене мест», разочарование, одиночество на людях и стремление к одиночеству «посреди рассеяний столицы» — вот характерные черты внутреннего облика поэта, сложившегося очень рано, уже к двадцати годам.



«...И в тридцать лет я буду тот же, что теперь,— замечает он в том же письме,— то есть лентяй, шалун, чудака, беспечный баловень, маратель стихов, но не читатель их; буду тот же Батюшков, который любит друзей своих, влюбляется от скуки, играет в карты от нечего делать, дурачится как повеса, задумывается как датский щенок, спорит со всяким, но ни с кем не дерется...»

Однако этот устойчивый «античный» образ поэта вовсе не соответствовал обстоятельствам жизни Батюшкова. В 1817 году, подводя итоги своего творческого пути, он роняет в письме к сестре: «Могу служить примером неудачи во всем». Неудача стала спутником хандры. Один из пунктов ответа на риторический вопрос, заданный им в записной книжке 1817 года: «Отчего я не могу рассуждать?» — изначально безрадостен: «...не чиновен, не знатен, не богат». Заложненное и перезаложненное имение, которое вот-вот пойдет с молотка, неудачи в службе, материальная и общественная неустроенность. Тяжелая психическая наследственность: «С рождения я имел на душе черное пятно, которое росло с годами и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок спасли. Надолго ли — не знаю» (из письма к В. А. Жуковскому, 1816). Неудача в любви — сложная история с Анной Фурман, разрыв, в котором неясно, кто был виновен: то ли сам Батюшков, то ли его возлюбленная... В конце 1809 года в письме к Гнедичу поэт с почти хронологической точностью предсказал свое заболевание: «Если я проживу еще десять лет, то сойду с ума».

Вернувшись победителем из заграничного похода 1813—1814 годов, Батюшков замечал: «Мы подобны теперь Гомеровым воинам, рассеянными по лицу земному. Каждого из нас гонит какой-нибудь мститель-бог: кого Марс, кого Аполлон, кого Венера, кого Фурии, а меня — Скука». Скука, преследуя поэта «своими бичами», стала привычным явлением. Скука — везде: в деревне и в Петербурге, в «свете» и в разъездах по России и Европе, в «марании стихов» и «под свистом ядер»<sup>1</sup>. Скука становится основным показателем существования окружающей действительности.

«Со скуки» Батюшков в феврале 1807 года, оставив канцелярскую должность «расставщика кавык и строчных препинаний», ушел в Прусский поход, преодолев раздраженное несогласие отца и недовольство боготворимого им покровителя М. Н. Муравьева. А через полтора года, ничего не «выслуживший» и получивший тяжкое ранение, «наскучив» однообразием финляндского похода, вышел в отставку и уехал в родовое имение Хантоново, затерянное в глухих северных лесах Череповецкого уезда. Но и жизнь помещного дворянина не для него. Прожив в Хантонове около шести месяцев — лето и осень 1809 года, Батюшков уезжает в Москву. Там он окунулся в вихрь развлечений и забав, приобрел новых друзей,— и каких друзей!— Жуковского, Вяземского, Карамзина.

---

<sup>1</sup> Подробнее биографию Батюшкова см. в конце книги («Основные даты жизни и творчества К. Н. Батюшкова»).

Он «якубствует» с ними и «тибуллит на досуге», он весел, он празден, он счастлив... несколько месяцев. Летом 1810 года Батюшков три недели проводит в подмосковном имении Вяземского Остафьево, в компании талантливейших и интереснейших людей России, и бежит от них, ибо ему становится «грустно, очень грустно...». Далее в его биографии следуют бесконечные разъезды, и почти все — без видимой цели. Опять полгода — Хантоново, потом полгода — Москва, и снова полгода — Хантоново, и полгода — Петербург...

Война 1812—1814 годов расширила «географию» этих разъездов. Военная судьба благосклонна к «страннику», посылая ему впечатление за впечатлением. Владимир и Нижний Новгород, Вологда и Москва, Ярославль и Петербург. Затем — Польша и Пруссия, Силезия и Чехия, Франция и Англия, Швеция и Финляндия...

Все видел, все узнал; и что ж? из-за морей  
Ни лучше, ни умней  
Под кров домашний воротился:  
Поклонник суетным мечтам,  
Он осужден искать... чего, не знает сам!

Так Батюшков писал в стихотворной повести «Странствователь и Домосед», созданной сразу после заграничного похода. А два года спустя, в июне 1817 года, сетовал (в письме к Жуковскому): «Какую жизнь я вел для стихов! Три войны, все на коне и в мире на большой дороге. Спрашиваю себя: в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное? Совесть отвечает: нет».

Всю свою жизнь Батюшков ищет способ преодолеть скуку, освободиться от тяжких минут душевной пустоты — от того несчастья, которое стало для него обыденной нормой поведения. Но преодолеть скуку — значит преодолеть действительность, наложить свою волю на ее закономерный ход. А это не под силу и герою. В стихотворении «Судьба Одиссея» (1815) Батюшков высказывает очень трагичный итог «странника»:

...И чашу горести до капли выпил он;  
Казалось, небеса карать его устали,  
И тихо сонного домчали  
До милых родины давно желанных скал.  
Проснулся он: и что ж? отчизны не познал.

\* \* \*

Трагизм своей «лишности» поэт осознает вполне. «Я ничего не пишу, все бросил. Стихи к черту! Это не беда; но вот что беда, мой друг: вместе с способностью писать я потерял способность наслаждаться, становлюсь скучен и ленив, даже немного мизантроп... Есть ли у меня желания? Есть ли надежда?..» Это написано в 1811 году, а через три года, вернувшись с войны и «не познав отчизны», Батюшков пишет Жуковскому,

взывает к другу: «Скажи мне, к чему прибегнуть, чем занять пустоту душевную; скажи мне, как могу быть полезен обществу, себе, друзьям!»

Он так и не нашел ответа на эти «проклятые» вопросы.

Батюшков много думал над своими нравственными скитаниями, и в повести «Странствователь и Домосед» «описал себя, свои собственные заблуждения — и сердца, и ума моего» (из письма к Вяземскому). В повести-сказке рассказана история жителя Афинского предместья Филалета, который, в отличие от своего брата Клита, стремится к путешествиям. Он попадает в Египет, в Кротону, к подножию Этны — и веде терпит лишь неудачи. Наконец, «избитый, полумертвой», возвращается он под кров своего брата...

«Странствователь и Домосед» Батюшкова — это своеобразный ответ на знаменитое стихотворение Жуковского «Теон и Эсхин», которое Белинский называл «программой всей поэзии Жуковского». У Жуковского Эсхин, изнуренный «прожиганием жизни» и долгими скитаниями по свету, находит успокоение в смиренном домике своего друга Теона, который нигде не странствовал, а смысл человеческого бытия искал в себе, во внутреннем совершенствовании, а не в окружающем мире. У Батюшкова Филалет, испытав, подобно Эсхину, много горя и неудач, все-таки не мог прожить больше пяти дней в смиренном домике своего брата:

Наскуча видеть все одно и то же поле,

Все те же лица всякий день,

Наш грех — поверите ль? — как в клетке стосковался...

А новые путешествия героя заранее обречены на неудачу: «За розами побрел — в снега Гипербореев...»

И для себя Батюшков, воспевавший «отечески Пенаты», отвергает понятие «родной дом». Живя в своем имении, он предпочитает быть «у сестер в гостях» — именно эту фразу он употребляет в большинстве писем. «Ничего не хочу, и мне все надоело. Жить дома и сидеть капусту я умею, но у меня нет ни дома, ни капусты...» Если герой Жуковского уповаает на мистический, внеположный реальному мир, то герой Батюшкова, вторгаясь в жестокую действительность, не находит себе пристанища даже и в мечте.

Очень точно сказал об этом Г. А. Гуковский: «Батюшков — поэт еще более трагический, чем Жуковский. Это — поэт безнадежности. Он не может бежать от мира призраков и лжи в мир замкнутой души, ибо он не верит и в душу человеческую, как она есть; душа человека для него — такая же запятнанная, загубленная, как и мир, окружающий ее... И вот Батюшков весь уходит в мечту о другом человеке, не таком, какой есть, а таком, какой должен быть, должен был бы быть»<sup>1</sup>.

«О век железный!» Это крылатое для русской поэзии выражение было впервые употреблено Батюшковым в 1805 году. Тогда «век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век» (А. Блок) еще только

<sup>1</sup> Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики, с. 165—166.

вступал в свои права. А Батюшков уже чувствует его наступление, потесняющее душу человеческую: «С чего начать? О чем писать? Отдавать себе отчет в протекшем, описывать настоящее и планы будущего. Но это — признаться — очень скучно. Говорить о протекшем хорошо на старости, и то великим людям или богатым перед наследниками, которые из снисхождения слушают... Что говорить о настоящем! Оно едва ли существует. Будущее... о, будущее для меня очень тягостно с некоторого времени! Итак, пиши о чем-нибудь, рассуждай!..» («Чужое: мое сокровище!»)

Ни прошлого, ни будущего — даже сама «мечта» поэта помещена вне пространства и времени, в условный мир античности и Возрождения, в мир жизни прекрасных людей под прекрасным солнцем. Еще П. А. Плетнев заметил в 1822 году, что произведения Батюшкова «сбросили с себя личность времени и места и вышли в таком виде, в каком без застенчивости могли бы показаться в древности и в каком спокойно могут идти к будущим поколениям»<sup>1</sup>. Но в глубине этой условной жизненной радости и наслаждений, воспеваемых Батюшковым, — «диссонансы сомнения и муки отчаяния», «страшная пустота» (Белинский). Мечта о красивом человеке в красивом и благоуханном мире строится у Батюшкова как шаткий мостик над пропастью страшной реальности:

Сердце наше кладезь мрачной:  
Тих, покоен сверху вид,  
Но спустись ко дну... ужасно!  
Крокодил на нем лежит!

Над этой строфой из стихотворения «Счастливец» (1810) посмеивались не понявшие ее современники. Между тем образ «крокодила», живущего в глубине человеческого сердца, заимствован Батюшковым из повести Шатобриана «Атала». «Сумасшедшего Шатобриана», одного из любимых своих авторов, Батюшков представлял неотрывно от образа разочарованного, скучающего героя его произведений. В 1818—1819 годах он задумал некую «поэму в прозе» в духе шатобриановых повестей. А в 1823 году, сжигая свою библиотеку, он, наряду с Евангелием, пощадил произведения этого французского романтика.

Батюшкову принадлежит и первый перевод на русский язык произведений Байрона — «Есть наслаждение и в дикости лесов...», строфа из IV песни «Чайльд-Гарольда». В 1826 году, в разгар болезни, Батюшков пишет письмо «лорду Байрону» (которого тогда уже не было в живых) с просьбой прислать учителя английского языка: «...желая читать ваши произведения в подлиннике...» Это тяготение Батюшкова к новому поэтическому поколению — Байрон и Шатобриан станут кумирами русской литературы 1820-х годов — весьма показательно.

В записной книжке «Чужое: мое сокровище!» есть набросок «шатобриановской поэмы». Это известный выразительный автопортрет Ба-

<sup>1</sup> Сочинения и переписка П. А. Плетнева. Спб, 1885, т. 1, с. 28.

тышкова. Он называет себя «человеком, каких много» и наиболее важной чертой своего душевного облика считает некую дисгармоничность. «В нем два человека»: один «белый», другой «черный». Если бы не было «черного», то «белый» мог бы быть идеалом. Но «дурной человек все портит и всему мешает», и что поделаешь, если «оба человека живут в одном теле»? Он отличается от большинства людей, «ни совершенно черных, ни совершенно белых» — «серых», — и должен «жить с серыми или жить в Диогеновой бочке». В этом — социально-историческая трагедия характера, прямо ведущего к Онегину и Печорину, и выхода из нее Батюшков не видит.

Отсюда же — изначальная «незавершенность» творческих порывов, недоговоренность, которая проистекала от самой природы «печального странствователя». П. А. Вяземский в «Старой записной книжке» передает слова Батюшкова, сказанные около 1821—1822 годов: «Что писать мне и что говорить о стихах моих!.. Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было!»<sup>1</sup>

\* \* \*

Чувство разлада между идеалом и действительностью, которое было стержнем мировоззрения Батюшкова, определило и его «маленькую философию», сформировавшуюся в 1809—1811 годах. В отношении политическом это философия пессимизма и скепсиса, своеобразный негативный отклик на Великую французскую революцию и наполеоновские войны, консерватизм и нежелание заниматься вопросами общественными. В отношении этическом — это присущая психологическому романтизму реакция на просветительство XVIII века, неверие в разум, печаль о несбывшихся надеждах, уход в себя — то же, что было, например, у Жуковского (хотя у последнего не нашло столь прямого выражения)<sup>2</sup>.

В комплексе философских суждений Батюшкова поражает именно его стремление независимо от кого бы то ни было, самому дойти до глубинных вопросов человеческого бытия. И «маленькая философия» его оказалась не менее противоречива, чем его личность. Поклонник Монтеня и Вольтера, ученик М. Н. Муравьева, он очень своеобразно соединил скептицизм с чувствительностью, вольнодумство с консерватизмом. Эта философия была с самого начала пронизана тревожными нотами, предчувствием разрушения знакомой картины мира, которые

<sup>1</sup> Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского. Спб., 1883, т. 8, с. 481.

<sup>2</sup> Об эстетических и этических воззрениях Батюшкова см.: Фридрих Н. В. Поэзия Батюшкова. М., 1971; Семенко И. М. Батюшков и его «Опыты». — В кн.: Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977, с. 433—492; Григорьян К. Н. К. Н. Батюшков. — В кн.: История русской литературы. Л., 1981, т. 2, с. 135—149.

усиливались после катаклизмов, происходивших в его судьбе и в судьбе России. Победа в войне 1812—1814 годов, оживившая общество и давшая толчок декабристским настроениям, ожгузила Батюшкова в мрачные раздумья о французах — «народе варваров», о «потерях невозвратных»: «Сколько зла! Когда будет ему конец? На чем основать надежды? Чем наслаждаться?»

Мерилом красоты и «правильности» мироустройства для Батюшкова были культура и искусство. Очень характерно его замечание в статье «Петрарка». Указав, что итальянские критики «на каждый стих Петрарки написали целые страницы толкований», Батюшков продолжает: «Сия дань учености и дарованию покажется иным излишнею, другим смешною; но мы должны признаться, что только в тех землях, где умеют таким образом уважать отличные дарования, рождаются великие авторы». Такой путь культурного развития народа Батюшков считает единственно приемлемым для России в будущем ее совершенствовании: «Общество примет живейшее участие в успехах ума — и тогда имя писателя, ученого и отличного стихотворца не будет дико для слуха: оно будет возбуждать в умах все понятия о славе отечества, о достоинстве полезного гражданина» («Речь о влиянии легкой поэзии на язык»).

Подход Батюшкова к поэзии особый. Его лирические стихотворения резко отличаются от его писем и статей (в отличие, например, от Жуковского). Они почти не содержат ни прямой дидактики, ни политических высказываний. Его традиционные условные формулы и мотивы служат прежде всего для выражения лирического «я» поэта, а не для какого-либо «учительства», хотя бы и поэтического. Форма выявления лирического героя также очень своеобразна: «я» — человек, «я» преподаю моим друзьям «историю моих страстей» и то, каков «я» в собственной душевной жизни, — но это не означает, что все должны быть такими же. Мораль заключается здесь в утверждении права души на самораскрытие. Лирическая правда индивидуального переживания «чувства», которое возобладает над «мыслью», — рождает и неповторимую позицию поэта.

Такое — вполне сознательное — отношение к своему творчеству определило и две существенные стороны облика Батюшкова как литературного критика.

Во-первых, это безусловная самостоятельность, независимость от ходячих «литературных мнений». Батюшков «ворвался» в литературную борьбу эпохи в 1809 году своим «Видением на брегах Леты». Это не просто «спрашный суд над пиитами шишковистского толка», как назвал «Видение...» Д. Д. Благой. Испытания в «реке забвения» не выдерживают такие разные по своим направлениям, симпатиям и «окраске» писатели, как А. Мерзляков, Д. Языков, П. Шаликов, С. Глинка С. Бобров, С. Шихматов, «Сафы русские» (Е. Титова, А. Бунина, М. Извекова). Забвения заслуживают, по Батюшкову, и «шишковисты» («с Невы поэты росски»), и подражатели Карамзина («лица новы из белока-

менной Москвы»). Бессмертия удостоиваются лишь Крылов и... адмирал Шишков:

Один, один *Славнофил*,  
И то, повыбившись из сил,  
За всю трудов своих громаду,  
За твердый ум и за дела  
Вкусил бессмертия награду.

О Карамзине Батюшков в сатире не упомянул, но в письме к Гнедичу высказался двусмысленно: «Карамзина топить не смею, ибо его почитаю». Между тем в письмах этого же периода находим ряд прямых насмешек над стилистикой Карамзина и над общей тематикой сентиментальных повестей. Так, описывая первую встречу с Карамзиным в Москве, Батюшков не без иронии замечает: «Тут-то я был ясно убежден, что он не пастушок, а взрослый малый...» Общее отношение к литературным «партиям» Батюшков недвусмысленно выразил в записной книжке 1810 года: «Читай Державина, перечитай Ломоносова, тверди наизусть Богдановича, заглядывай в Крылова,— но храни тебя бог от Академии, а еще более от Шаликова».

Бывший членом многих литературных обществ, Батюшков не стал вполне «своим» ни в одном из них. Он явно отрицательно относится к «Беседе любителей русского слова», но применительно к ее конкретным деятелям избегает однозначных характеристик. Так, в 1817 году, в плане неосуществленной истории русской литературы, он в отношении к А. С. Шишкову принимает примирительную формулу: «Он прав. Он виноват». А в 1816 году Батюшков почти одновременно вступил и в «Арзамас», и в «Общество любителей российской словесности при Московском университете», которое сам охарактеризовал как «Московскую Беседу», собрание литературных «староверов». «Речь о влиянии легкой поэзии на язык», читанная в этом обществе, также вполне объективна с точки зрения литературной борьбы: в ней Батюшков воздает хвалы Карамзину и Мерзлякову, В. Л. Пушкину и И. М. Долгорукову, то есть представителям обоих враждующих направлений. А в письмах он саркастически отзывается о московских «любителях» («Я истину ослам с улыбкой говорил») и иронически — об «Арзамасе» («Каждого из арзамасцев порознь люблю, но все они вкупе, как и все общества, бредят, корячатся и вредят»). Среди общественных разногласий и литературных стычек эпохи поэт занимает позицию нейтралитета: «Впрочем, бранитесь, друзья мои, мы будем слушать».

Второй важной стороной облика Батюшкова как писателя и как критика была избранная им поза принципиального дилеганта в литературе. Он не только не хотел быть профессиональным писателем (каковыми считал, например, своих друзей — Гнедича, получающего «пенсион» за перевод «Илиады», и Жуковского, пользующегося милостями императрицы), но до 1817 года, до успеха «Опытов», не расценивал себя как «большого» писателя. В июне 1817 года он пишет Жуковскому почти покаянные строки: «Что скажешь о моей прозе? С ужасом делаю этот

вопрос. Зачем я вздумал это печатать? Чувствую, знаю, что много дряни; самые стихи, которые мне стоили столько, меня мучат... Беда, конечно, не велика: побранят и забудут». Тогда же в записной книжке поэт констатирует: «...ничего не знаю с корня, а одни верхки, даже и в поэзии, хотя целый век бледнею над рифмами».

Это постоянное стремление представить себя «маловажным» поэтом, имеющим «маленький ум, маленькое сердчишко» и «крохотную музу», постоянное сомнение в своем даровании явилось источником новаторства Батюшкова. Ф. Шуман назвал его друга композитора М. Ю. Вьельгорского «гениальным дилетантом» — это определение применимо и к самому Батюшкову. Как «дилетант», он оказывался независим не только от устойчивых поэтических традиций своей эпохи, но и от традиций, им самим созданных. Он мог «меняться» гораздо легче, чем, например, Гнедич или Жуковский. Поэт, ориентированный на «безделки», не должен был создавать большие жанровые циклы (вроде баллад Жуковского или греческих песен Гнедича): традиции Батюшкова — «анакреонтика» — воссоздавались на нескольких его ранних стихотворениях, а его антологическая лирика включает в себя несколько небольших по объему переводов и «подражаний древним». Одним словом, поэт, вследствие «дилетантской» позиции, обладал большими возможностями творческих поисков.

Поиски эти нашли особенно яркое отражение в произведениях Батюшкова, не предназначавшихся для печати: в «Прогулке по Москве» и «Воспоминаниях мест, сражений и путешествий», в записных книжках и письмах. В письмах, например, часто прямо сопоставляются два разных поэтических стиля: традиционно «приподнятый», одический и нарочито разговорный. Повествуя в письме к Д. П. Северину от 19 июля 1814 года о своем пребывании в Швеции:

В земле туманов и дождей,  
Где древле скандинавы  
Любили честь, простые нравы,  
Вино, войну и звук мечей,—

Батюшков тут же снижает тональность традиционной романтической условности, рассказывая о современных потомках норманнов:

Теперь полночные цари  
Курят табак и гложут сухари,  
Газету Готскую читают  
И, сидя под окном с супругами, зевают.

В пределах стихотворного экспромта сосуществуют два ряда поэтических образов, которые и сопоставляются, и противопоставляются: «бренные челноки» и «газета Готская», «несли врагам и казнь, и страх» и, «сидя под окном с супругами, зевают». Но второй ряд образов строится не на контрасте с первым и идет не от желания посмеяться над устаревшей условностью, как, например, было в «ирои-комической» поэме



XVIII века. Амбивалентное сосуществование образов мотивируется противопоставлением: «древле» — «теперь». Но Батюшков, в отличие от устойчивой поэтической традиции, вовсе не утверждает поэтичность «прежнего» и непоэтичность «теперешнего»: своеобразная поэзия есть и в том и в другом состоянии.

Поэтому в стихах Батюшкова так естественно соединяются мифологически-возвышенные и низменно-бытовые образы:

Придешь, и все к тебе навстречу прибегут  
Из дрез Гамадриады,  
Из рек обмытые Наяды,  
И даже сельский поп, сатир и пьяный плут.

Эту особенность поэтического мира Батюшкова подметил Пушкин, который на полях стихотворения «Мои Пенаты» записал: «Главный порок в сем прелестном послании есть слишком явное смешение древних обычаев миф (ологических) с обычаями жителя подмосковной деревни. Музы существа идеальные. Христианское воображение наше к ним привыкло, но *норы и келли*, где лары расставлены, слишком переносят нас в греч (ескую) хижину, где с неудовольствием находим стол с изорванным сукном и перед камином суворовского солдата с двуструнной балалайкой. — Это все друг другу слишком уже противоречит». Пушкин-реалист не принял именно батюшковской «многозначности».

Многостороннее видение предмета, попытка отобразить его в разных ракурсах были очень свойственны Батюшкову. В одном из писем к Вяземскому он рассказывает о том, как под впечатлением поэзии скальдов он вздумал «идти в атаку на Гаральда Смелого», перевел стихов с двадцать», но вскоре «пар поэтический исчез» и идеальный герой неожиданно предстал перед ним в неприглядном облике дикаря, которое тут же, в письме, набрасывается в шуточных стихах. Эти стихи в сравнении с «Песнью Гаральда Смелого» (1816) очень ярко демонстрируют многообразное и «объемное» восприятие действительности поэтом-«дилетантом».

#### «Песнь Гаральда Смелого»

Вы, други, видали меня на коне?  
Вы зрели, как ружил секирой твердыни,  
Летая на бурном питомце пустыни  
Сквозь пепел и вьюгу в пожарном огне?  
Железом я ноги мои окриляя,  
И лань упреждаю по звонкому льду;  
Я, хладную влагу рукой рассекая,  
Как лебедь отважный, по морю иду...

#### Письмо к П. А. Вяземскому

...и предо мной  
Явился вдруг... чухна простой:

До плеч висящий волос  
И грубый голос,  
И весь герой — чужна чужной.

.....

Он начал драть ногтями  
Кусок баранины сырой,  
Глотал ее, как зверь лесной,  
И утирался волосами.

Для Батюшкова эти два противоположных облика не противоречивы: они сосуществуют в его сознании. Один облик связан с литературной традицией: до Батюшкова «Висы радости» Харальда Сурового перевели Ф. Моисеенко, Н. Львов, И. Богданович, Н. Карамзин, создавшие определенное возвышенное представление о норманне-конунге. Другой облик возникает из обыденного, бытового представления об «уроде», о «чужне» XI века — и он оказывался невозможен в «литературной» истории (например, в «Истории государства Российского» Карамзина). Именно «бытовое», приземленное восприятие действительности, невозможное в тот период у литератора-«недилетанта», давало особенную жизнь и силу исканиям Батюшкова. В феврале 1817 года, в период активной работы над поэтическим томом «Опытов», он пишет Гнедичу: «Я могу ошибаться, ошибаюсь, но не лгу ни себе, ни людям. Ни за кем не брожу: иду своим путем. Знаю, что это меня не далеко поведет, но как переменить внутреннего человека?»

\* \* \*

Соотношение «прозы» и «поэзии» в восприятии Батюшкова также весьма своеобразно. Посылая в 1817 году И. И. Дмитриеву «Опыты в прозе», Батюшков подчеркнул в сопроводительном письме: «Большая часть моей книги писана *про себя*». Интересно, что это утверждение относится не к поэтическому тому «Опытов», а к прозаическому, объединившему, в сущности, литературно-критические, искусствоведческие, публицистические статьи и очерки и несколько переводов. Казалось бы, в поэзии «исповедь» и самораскрытие естественнее. Однако формы проявления авторского «я» в стихах и в прозе Батюшкова весьма различны.

Несовпадение лирического героя Батюшкова и личности поэта отметил еще П. А. Вяземский: «О характере певца судить не можно по словам, которые он поет... Неужели Батюшков на деле то же, что в стихах? Сладострастие совсем не в нем»<sup>1</sup>. Вяземский в шутку называл Батюшкова «Парни Николаевичем» и «певцом чужих Элеонор» (имея в виду героиню

<sup>1</sup> Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899, т. 2, с. 382.

эротических стихов Парни)<sup>1</sup>. Сам же Батюшков, порой, очень жестоко протестовал против отождествления лирического героя и поэта. В 1821 году П. А. Плетнев в стихотворении «К портрету Батюшкова» назвал его «внуком Анакреона», и это выражение вызвало горячий протест поэта: «Мой прадед был не Анакреон, а бригадир при Петре Первом, человек нрава крутого и твердый духом». Анекдотический пример такого отождествления Батюшков видит хотя бы в следующем толковании Державина: «Он перевел Анакреона, следственно, он — прелюбодей; он славил вино, следственно — пьяница; он хвалил борцов и кулачные бои, ergo — буян; он написал оду «Бог», ergo — безбожник. Такой способ очень легок». Лирический герой в стихах поэта оказывается, как правило, удален от эмпирического авторского «я». Поэтому в стихах Батюшкова так слабо отразилась его личность.

Авторское «я» в прозе Батюшкова строится по другим законам. В одном из писем к Жуковскому, указывая, что «страсть и жажда стихов» у него исчезли, поэт замечает: «Теперь я по горло в прозе,— и объясняет:— Воображение побледнело, но не сердце, и я этому радуюсь». Проза, таким образом, менее подчинена «воображению» и более непосредственно, чем стихи, связана с эмпирическим авторским «я» («сердцем» писателя).

Кроме того, в прозе Батюшков видит форму словесного искусства, вспомогательную по отношению к поэзии. Проза есть «питательница стиха». В записной книжке 1817 года Батюшков замечает: «Для того, чтобы писать хорошо в стихах... надобно много писать прозой, но не для публики, а записывать просто для себя». Последнее означало «писать набело, impromptu, без самолюбия, и посмотрим, что выльется; писать так скоро, как говоришь, без претензий, как мало авторов пишут, ибо самолюбие всегда за полу дергает и на место первого слова заставляет ставить другое».

Хотя проза менее «украшена», чем стихи, в ней, пишет Батюшков, нельзя допускать и «одни мысли» (статья «Петрарка»). Эта позиция значительно отличается от пушкинского требования: проза «требует мыслей и мыслей». По Батюшкову, проза, как подготовительная фаза поэзии, должна быть орнаментальна. Еще Л. Н. Майков указал на то, что, например, «Прогулка в Академию художеств» Батюшкова оказала несомненное влияние на поэму Пушкина «Медный всадник», в особенности начальная часть очерка, картина преобразования «топких болот» в «великолепный Петербург». Здесь заимствование очень значительное, местами дословное, совпадают даже некоторые фразеологические обороты: «Здесь будет город... чудо света. Сюда призову...— и Петербург возник из дикого болота» и т. д. Но сама возможность этого влияния доказывает, что проза Батюшкова не отделялась по «слогу» от поэзии и не соответствовала, например, пушкинскому принципу «нагой простоты».

---

<sup>1</sup> См. неопубликованные письма Вяземского к Батюшкову: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 28.

Проза для Батюшкова есть по своей художественной структуре «преддверие» поэзии.

Эта же установка определила и ту особенность, что проза Батюшкова не сюжетна. Единственное его сюжетное произведение — повесть из русской истории «Предслава и Добрыня» (1810, в «Опыты» не включена) — явно неудачно и не удовлетворило самого автора, который написал вместо концовки повести: «Насилу досказал!» Излюбленные жанры прозы Батюшкова — это очерк, «путешествие» («прогулка»), историко-литературная или искусствоведческая статья. Большинство его прозаических опытов имеет подзаголовок «письмо»: «Письмо к И. М. М (уравьеву)-А (постолу). О сочинениях г. Муравьева»; «Прогулка в Академию художеств. Письмо старого московского жителя к приятелю в деревню его Н.»; «Отрывок из писем русского офицера о Финляндии»; «Путешествие в замок Сирей. Письмо из Франции к г. Д(ашкову)»; «Похвальное слово сну. Письмо к редактору «Вестника Европы» и др. В форме «письма» написаны «Прогулка по Москве» (по сути дела, это и было письмо к Н. И. Гнедичу), «Воспоминание мест, сражений и путешествий». Даже в записных книжках поэта находим характерные письменные «зачины» и окончания: «Выслушайте меня, бога ради!», «Это я! Догадались ли теперь?» и т. д.

Тяготение Батюшкова к жанру «письма» объясняется не только следованием известной сентиментальной традиции. Письма для него (как и для многих других писателей его круга) — не только форма повседневного общения, но и особый жанр, которому присуща предельная свобода повествования, жанр литературный и вместе с тем литературе не подвластный, под ее законы не подпадающий, — и потому создающий наилучшие условия для любых творческих экспериментов.

Письма — это возможность «писать так скоро, как говоришь», которая создает и свободу общения, и свободу размышления и воспоминания, не скованную литературной традицией, «самолюбием» или оглядкой на абстрактного читателя. Для них характерна легкость перехода с предмета на предмет: серьезные литературные замечания то и дело перемежаются шутками по поводу быта, а комментарии творческого процесса — анекдотом, островами, цитатами, пародией. Письмо как своеобразная творческая лаборатория создается не для психологических наблюдений над собой или над адресатом, не для обнажения «жизни души», а прежде всего для столкновения литературной и бытовой реальности, традиционно поэтического и «приземленного», лирического «я» и «я» эмпирического, бытового. Письмо для Батюшкова — это ощущение себя и своего адресата на грани литературы и жизни.

Такая возможность писем открывала широкие просторы для литературных открытий. У Батюшкова они еще редко переходят границы собственно «дружеского письма» (для печати не предназначенного). Подобный переход оказался возможен в следующую литературную эпоху. Пушкин, например, советовал в 1825 году А. Бестужеву: «Возьмись-ка за целый роман и пиши его со всею свободю разговора или письма».

У Батюшкова подобная идея может возникнуть только как шутка: «Проза надоела, а стихи ей-ей огадили. Кончу «Тасса», уморю его и писать ничего не стану, кроме писем к друзьям: это мой настоящий род. Насилу догадался» (из письма Вяземскому, март 1817).

Вместе с тем эта идущая от письма относительная свобода общения автора с читателем создавала новую, открытую именно Батюшковым форму проявления авторского «я». Неоднократно в его письмах употребляется выражение «внутренний человек», и за ним скрывается очень глубокое содержание. Батюшков не «прячется» за изображаемым. Напротив, в своей прозе он всегда приоткрывает значительную часть своего творческого и биографического облика. Из «Путешествия в замок Сирей» мы увидим искреннего и наблюдательного поклонника Вольтера, трепетно относящегося к каждой реликвии, связанной с именем любимого писателя. В «Письме к И. М. М(уравьеву)-А(постолу)…» Батюшков — горячий и восторженный поклонник М. Н. Муравьева, своего родственника и воспитателя. В «Прогулке по Москве» он выступает под личиной «добрého приятеля», зевающего скептика, биографического «двойника» поэта. «Отрывок из писем русского офицера о Финляндии», пишет Белинский, «показывает нам, что фантазия Батюшкова была поражена двумя крайностями — югом и севером, светлою, роскошною Италиєю и мрачною, однообразною Скандинавиею». Словом, заключает Белинский, именно прозаические опыты «знакомят с личностью Батюшкова как человека».

В прозе (а в особенности в письмах, дневниках и воспоминаниях), воспринимавшейся Батюшковым как подготовительный материал к поэзии, гораздо менее, чем в стихах, дистанция между автором и читателем, гораздо явственнее «история страстей» поэта и гораздо ярче — «внутренний человек». Причем именно «внутренний». Батюшков, например, был шокирован «Исповедью» Руссо именно потому, что представленная в ней «страшная повесть целой жизни» была, скорее, внешним, чем внутренним «оправданием» жизни «женеvского мечтателя». Он не увидел за нею внутреннего облика Руссо, и потому вся книга оказалась для него собранием ненужных «признаний», которые нельзя читать «без смеха и жалости».

\* \* \*

28 октября 1816 года в письме Гнедичу Батюшков передавал свои впечатления от заседания в «Обществе любителей российской словесности при Московском университете»: «Ты себе вообразить не можешь, что у нас за собрание, составленное из прозы, стихков детских, чаю, оржаду, детей и дядек! Бедная словесность, бедный университет! Я повторяю сказанное: в Беседе питерской — варварство, у нас — ребячество».

Тема «бедной словесности», ничтожества современного состояния литературы проходит, в том или ином преломлении, через большинство писем Батюшкова и отражается в его литературно-критических статьях.

«Что пишут ваши москвичи? Есть ли у них здравый рассудок? Как? Ни одной путной пиесы в целой книжище! Есть надежда, мой друг, что мы перещеголяем и древних, и новейших, есть надежда! Упрямство и невежество наших писателей подают надежду, которая нам, конечно, не изменит». Это написано в 1812 году. Через четыре года эта тема ставится еще более остро: «В нашей Суздали все хотят писать по-суздальски: на яичке, как в старину писали... у подошвы Парнаса грязь и навоз, то есть личность, корысть, упрямство и варварство. Я забыл прибавить: и зависть».

Современной «бедной словесности» Батюшков подчас противопоставляет (или приводит в качестве «образца») литературу прошлых эпох. В «Видении на берегах Леты» в качестве судей над современными писателями выведены Ломоносов, Сумароков, Тредиаковский, Херасков, Княжнин, Барков, Богданович, Хемницер... Панорама литературной жизни России начала XIX века осмеивается с позиций литературы прошлого столетия. Почему? Тем более что к перечисленным писателям (кроме Ломоносова) Батюшков относился весьма критически, а иных считал и вовсе бездарностями.

Отчасти это объясняется своеобразием литературной эпохи начала XIX века, на которое указал Белинский: «А его (Батюшкова.— В. К.) время было странное время,— время, в которое новое являлось, не сменяя старого, и старое и новое дружно жили друг подле друга, не мешая одно другому. Старое не сердилось на новое, потому что новое низко кланялось старому и на веру, по преданию, благоговело перед его богами».

Но дело не только в «странном времени». Устремленность литературных мнений Батюшкова в прошлое — это особенность его восприятия литературы. Батюшкову принадлежит разработка первого историко-литературного исследования, посвященного русской литературе, подробный конспект неосуществленного труда, который не только свидетельствует о серьезных раздумьях поэта над процессом развития «словесности русской», но и может многое объяснить в его общих воззрениях на движение литературы.

Этот конспект вошел в записную книжку «Чужое: мое сокровище!», обращаясь к условному собеседнику, Батюшков высказывает свои соображения, «каким образом можно составить книгу приятную и полезную». Ее предмет — «одна русская словесность» с момента ее зарождения «до времен наших». И далее составляется подробный проспект труда в 28 главах.

Батюшков предлагает разбор русской литературы, «не начиная с Ледяных яиц, не излагая новых теорий», но собирается рассматривать ее на большом общекультурном материале и широком международном фоне. В проспект включены такие разделы, как «Влияние (пагубное) татар», «Путешественники и ученые», «Борьба старых нравов с новыми, старого языка с новым. Влияние искусств, наук, роскоши, двора и женщин на язык и литературу», «Господствование французской словесности и

вольтеранизм», «Может быть, климат и конституция<sup>1</sup> не позволят нам иметь своего национального театра» и т. д. Особо подчеркнуто: «Должно представить картину нравов при Петре, Елисавете и Екатерине: до Ломоносова, при нем, при Державине, при Карамзине. Пустословить на кафедре по следам Батте и Буттервека легко, но какая польза?»

Серьезное внимание уделяется вопросам языка. Намечаются такие разделы, как: «О славянском языке», «О русском языке», «О языке во времена некоторых князей и царей», «О языке во времена Петра I», «Карамзин. Ход его. Влияние на язык вообще». Особо подчеркнуто: «Богатство и бедность языка. Может ли процветать язык без философии и почему может, но не долго? Влияние церковного языка на гражданский и гражданский на духовное красноречие».

Круг имен, предлагавшихся для изучения, очень широк: их более сорока, и среди них не только писатели, но и ученые, путешественники. Возле имени Ломоносова в автографе нарисовано солнце в лучах — это лишний раз свидетельствует о том исключительном значении, которое Батюшков придавал Ломоносову в развитии русской литературы. История новой русской литературы делится на пять «эпох»: Ломоносова, Фонвизина (с ним связывается «образование прозы»), Державина, Карамзина и «до времен наших». «Сии эпохи должны быть ясными точками...»

Книга, задуманная Батюшковым, должна была стать, как видим, действительно интересной и заключала в себе возможности для создания обобщающего историко-литературного труда. Она не была осуществлена, как и многие другие замыслы поэта. Но сам факт того, что Батюшков, едва закончивший работу над «Опытами», размышляет о большом историко-литературном исследовании, показателен. «Хочется,— замечает он в письме к Вяземскому от 23 июня 1817 года —...приняться за поэму «Русалка» и за словесность русскую. Хочется написать в письмах маленький курс для людей светских и познакомить их с собственным богатством». Литературное «богатство» создается временем, и смысл его не в количестве хороших произведений, которые доселе читают, а в самом движении литературных эпох. Но движение это совершается быстро: Державин и Карамзин, «знамена» двух предшествующих эпох, были современниками поэтов «времен наших» и знакомыми самого Батюшкова!

В том же конспекте истории литературы Батюшков высказывает следующую идею, знаменующую литературное «будущее»: «В чем мы успели? Почему лирический род процветал и должен погаснуть?» «Лирический род», по терминологии Батюшкова (восходящей к античной, горацанской традиции), — это прежде всего ода и близкие к «одическим» жанры. Они-то и должны «погаснуть», ибо язык оды, ее стилистика и выразительные средства безнадежно отстали от мировосприятия современных

---

<sup>1</sup> Слово «конституция» Батюшков употребляет не в политическом, а в биологическом смысле: комплекс индивидуальных особенностей человека, складывающийся в определенных социальных и природных условиях.

людей (от «людскости», по его же терминологии). Поэтому должен возникнуть новый «лирический род» — он именуется Батюшковым «легкая поэзия».

Сам термин «легкая поэзия» (от французского «poésie fuditive» — «скользящая поэзия») употребляется Батюшковым вслед за М. Н. Муравьевым и подразумевает не только малые лирические жанры («безделки»), но разговорный (в отличие от книжно-торжественного) поэтический стиль. «В легком роде поэзии читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости, плавности; он требует истины в чувствах и сохранения строжайшего приличия во всех отношениях; он тотчас делается строгим судьей, ибо внимание его ничем сильно не развлекается». Последнее — доступность — и создает утраченную одой «людскость», «ибо сей род словесности беспрепятственно напоминает об обществе; он образован из его явлений, странностей, предрассудков и должен быть ясным и верным его зеркалом» («Речь о влиянии легкой поэзии на язык»). Поэтому-то Батюшков так ценит «крупницы», «начала» «легкой поэзии» у Ломоносова и Сумарокова, дальнейшее развитие ее у Богдановича, Муравьева, Дмитриева, Крылова, Карамзина, Капниста, Нелединского-Мелецкого, «блестки» ее в произведениях Долгорукова, Воейкова, В. Пушкина, Востокова, поэтому он не скупится здесь на «похвальные слова». Не в конкретных оценках дело, а в том общем движении литературы, которое Батюшков умел улавливать очень чутко.

Наконец, особо важную роль в процессе развития русской литературы — в процессе приобретения ею искомой «людскости» — имеет «образование языка».

\* \* \*

Один из разделов проспекта книги по истории русской литературы Батюшкова был посвящен известной полемике начала XIX века по вопросам языка: «Желание воскресить старинный язык русский. Несообразности». В полемике этой Батюшков был несомненным последователем Карамзина, провозгласившего принцип сближения письменной поэтической речи, норм языка художественной литературы с разговорной речью образованных слоев русского общества. Эталон образованности Карамзин видел в узком социальном слое (столичные дворянские круги, интеллигенция) и потому требовал от литературы «галантности» и светскости. Батюшков вслед за ним декларировал принадлежность свою к тем писателям,

Кто пишет так, как говорит,  
Кого читают дамы.

Ориентация на «даму-читательницу» означала здесь необходимость нового стиля для новой («легкой») поэзии, и потому в «образовании языка» Батюшков принял активное участие не только как теоретик, но и как практик.



Еще в 1809 году, когда Батюшков едва вступил на «поле словесности», критерий поэтического совершенства для него был недвусмыслен: «...ясность, плавность, точность, поэзия и... и... как можно менее славянских слов». Последние, уточняет он, «хороши в описательной поэзии, когда говорит поэт, но в устах героев никуда не годятся: они охлаждают рассказ и делают диким то, что должно быть ясно». Речь здесь идет не о славянизмах как таковых, а о славянизмах как норме, как базе для современного Батюшкову литературного языка — на чем настаивал А. С. Шишков в «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка». Рассматривая литературный язык как нечто постоянное и неизменное, Шишков выдвинул положение о необходимости возврата к «древнему» языку, который бы сохранил в чистоте первоначальное значение почти всех коренных слов «первоначального» русского языка.

Батюшков, сторонник языка живого, развивающегося, выдвигает требование «ясности» поэтической речи, стремится к простоте и разговорности выражений. Когда в 1816 году он услышал «Рассуждение о славянских диалектах» М. Т. Каченовского, который доказал, что «древний коренной славянский язык», придуманный Шишковым, таковым не является, он с возмущением замечает о «Шишкове с партией»: «Они влюблены были в Дульцинею, которая никогда не существовала. Варвары, они исказили язык наш славенщизною!»

Избавление от «славенщизны» для Батюшкова не было борьбой против славянизмов как таковых: в его стихах и прозе они встречаются достаточно часто. Просто он пытается создать иную языковую «норму», противопоставленную устремлениям поэтов-шишковистов. Создание же этой нормы неотделимо от поисков благозвучия, гармонии, «сладкогласия» — эти отличительные качества его стихов отмечали многие современники. Богатство фонетической, синтаксической, стилистической выразительности стихов Батюшкова делает их уникальными в русской поэзии. Благозвучие, красоты «слога» становятся в поэтической системе Батюшкова не просто элементами «формы», но неотъемлемой частью содержания. «Стих его, — пишет Белинский, — часто не только слышим уху, но видим глазу: хочется ощупать извивы и складки его мраморной драпировки». Поэтому идеал красоты для Батюшкова — не «искусство для искусства» и не форма как самоцель, а комплекс представлений о человеке и его мире, данный в необыкновенно утонченной семантике поэтических слов. Эту утонченность семантики блестяще раскрыл Г. А. Гуковский, анализируя причудливую символику слов в стихотворении Батюшкова «Вакханка»<sup>1</sup>.

Поэт творит языковой «образ» красоты — и для его создания ему явно не хватает привычных красот русского языка. «Отгадайте, на что я начинаю сердиться? — замечает Батюшков в письме к Гнедичу. — На что? На русский язык и на наших писателей, которые с ним немилосердно поступают. И язык-то по себе плоховат, грубенец, пахнет татар-

<sup>1</sup> Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики, с. 101—103.

щиной. Что за Ы? Что за Щ? Что за Ш, ШИИ, ЩИИ, ПРИ, ТРЫ? О варвары!» Это вовсе не сомнение «в способности «варварского», «жесточкого» русского языка к самостоятельному развитию» (Д. Д. Благой). За этим заявлением Батюшкова кроются напряженные поиски самобытных «красот» языка русского, желание найти слову, звуку, фразе необычное место, где бы это слово «высветлилось», заиграло всеми красками. И как следствие — поиски новой языковой нормы, которая могла бы быть противопоставлена «нормативным» устремлениям «шишковистов».

Своеобразным идеалом для Батюшкова в этом отношении стал итальянский язык, наиболее разработанный в отношении использования лексической и стилистической окраски слов и очень благозвучный. «Музыкальные звуки авзонийского языка» привлекают не только Батюшкова. Возле 9-й строфы стихотворения Батюшкова «К другу»:

Нрав тихий ангела, дар слова, тонкий вкус,  
Любви и очи, и ланиты;  
Чело открытое одной из важных Муз  
И прелесть — девственной Хариты, —

Пушкин написал: «Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Б(атюшков)!» Приводилось много примеров такого «гармонического» сочетания звуков, звуковой оркестровки в стихотворениях Батюшкова «Привидение», «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы» и т. д. Выражение «звуки итальянские» используется Пушкиным и Батюшковым не для того, чтобы указать образец, под который надобно подвешивать «варварский» язык русский, а для того, чтобы отметить пример истинно литературного русского языка.

Именно в этом смысле и следует понимать известную пушкинскую оценку языкового новаторства поэта: «...Батюшков, счастливый сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для итальянского...» Сам Батюшков склонен был считать «пламенное желание усовершенствования языка нашего» своей не только главной, но едва ли не единственной заслугой в словесности. И к «легкой поэзии» он обратился прежде всего потому, что ее произведения, более чем какой-либо иной вид литературного творчества, являются наилучшим материалом для «образования языка».

С этим связана еще одна отличительная черта творческого облика Батюшкова — взыскательность к себе как к художнику. В записной книжке 1810 года поэт выступает против распространенного взгляда на труд писателя как на что-то вроде развлечения. «Теперь дело идет не о метафизике, о поэзии, которая есть искусство самое легкое и самое трудное, которое требует прилежания и труда гораздо более, нежели как об этом думают светские люди...» Именно труд создает те художественно совершенные вещи, которые могут именоваться поэтическими, — таково убеждение Батюшкова. Он сам много и тяжело работал над своими стихами, и в письмах его к друзьям постоянно проводится требование черновой поэтической работы.

«В стихах твоих,— пишет он Гнедичу в 1811 году,— много мягкости, гармонии, но иные грубы, и есть стечение слов и звуков вовсе неприятных. Исправь это или, лучше сказать, дай времени исправить ошибки сии...» В другом месте он приводит слова Хераскова: «Чистите, чистите, чистите!» — и полушутя-полусерьезно применяет их к стихам приятеля. Отмечая ряд «неблагозвучий», он непременно подчеркивает: «Вот безделки, но важные для уха». И о себе: «Я пишу мало и пишу довольно медленно...» Эта взыскательность создавала стремление поэта непрестанно совершенствовать «механизм стихов», сосредоточивать внимание на «отделке мелких частей». В письме Гнедичу от февраля 1817 года он отмечает: «Иногда перестановка одного слова, как говорит бессмертный Олин Квинтильянович, весьма значительна». И тут же просит друзей «исправлять ошибки против смысла и языка» в его стихах.

«Переправлять», «чистить» стихи — эти слова очень часто встречаются у Батюшкова. В кругу друзей-поэтов он был признанным редактором и критиком чужих произведений. Гнедич, Жуковский, Вяземский часто присылали ему только что написанные вещи «для замечаний», для исправления «слога». Многочисленные примеры таких замечаний приведены в настоящем сборнике. Батюшков, например, не без иронии отзывался о Жуковском: «Он не из тех людей, которые *переправляют*», — ибо сам Батюшков как раз из «переправляющих», и эта кропотливая, сознательная литературная работа позволила ему очень быстро перейти от несовершенных образцов раннего творчества к тем подлинным шедеврам поэзии, какими являются его позднейшие стихотворения.

\* \* \*

«...Я люблю славу и желал бы заслужить ее, вырвать из рук фортуны, не великую славу, нет, а ту маленькую, которую доставляют нам и безделки, когда они совершенны». Думается, что Батюшков заслужил не только эту «маленькую славу». «Наука из жизни стихотворца», которую он проповедовал, гораздо серьезнее и глубже, чем может показаться на первый взгляд. «Я заметил,— писал поэт в 1810 году,— что тот, кто пишет хорошо, рассуждает всегда справедливо о своем искусстве. Если вы хотите научиться, то говорите с часовым мастером о часах, с офицером о солдатах, с крестьянином о земледелии. Если хотите научиться писать, то читайте правила тех, которые подали пример в их искусстве».

Человек многосторонних дарований, крупный художник слова, Батюшков не только создавал эстетические шедевры, но и ясно понимал, как их надобно создавать. В этом — непреходящее значение его эстетических, критических и историко-литературных высказываний. Более того, эти высказывания позволяют иначе, глубже взглянуть и на Батюшкова-поэта.

*В. Кошелев*

## СТИХОТВОРЕНИЯ

### К ДРУЗЬЯМ

Вот список мой стихов,  
Который дружеству быть может драгоценен.  
Я добрым гением уверен,  
Что в сем дедале рифм и слов  
Недостает искусства:  
Но дружество найдет мои в замену чувства —  
Историю моих страстей,  
Ума и сердца заблужденья,  
Заботы, суеты, печали прежних дней  
И легкокрылы наслажденья;  
Как в жизни падал, как вставал,  
Как вовсе умирал для света,  
Как снова мой челнок фортуне поверял...  
И словом, весь журнал  
Здесь дружество найдет беспечного поэта,  
Найдет и молвит так:  
«Наш друг был часто лежковерен;  
Был ветрен в Пафосе; на Пинде был чудак;  
Но дружбе он зато всегда остался верен;  
Стихами никому из нас не докучал  
(А на Парнасе это чудо!)  
И жил так точно, как писал...  
Ни хорошо, ни худо!»

[1815]

## І. ЭЛЕГИИ

### МОИ ГЕНИИ

О, память сердца! Ты сильнее  
Рассудка памяти печальной  
И часто сладостью своей  
Меня в стране пленяешь дальней.  
Я помню голос милых слов,  
Я помню очи голубые,  
Я помню локоны золотые  
Небрежно вьющихся волос.  
Моей пастушки несравненной  
Я помню весь наряд простой,  
И образ милый, незабвенный  
Повсюду странствует со мной.  
Хранитель гений мой — любовью  
В утеху дан разлуке он:  
Засну ль? приникнет к изголовью  
И усладит печальный сон.

[1815]

### ГЕЗИОД И ОМИР, СОПЕРНИКИ

*Посвящено*

*А (лексею) Н (иколаевичу) О (ленину),  
любителю древности*

Народы, как волны, в Халкиду текли,  
Народы счастливой Эллады!  
Там сильный владыка, над прахом отца  
Оконча печальны обряды,  
Ристалище славы бойцам отверзал.  
Три раза с румяной денницей  
Бойцы выступали с бойцами на бой;  
Три раза стремили возницы  
Коней легконогих по звонким полям;  
И трижды владетель Халкиды  
Достойным оливны венки раздавал,

Но солнце на лоно Фетиды  
Склонялось, и новый готовился бой.  
Очистите поле, возницы!  
Спешите! Залейте студеной струей  
    Пылающи оси и спицы;  
Коней отрешите от тягостных уз  
    И в стойлы прохладны ведите;  
Вы, пылью и потом покрыты бойцы,  
    При пламени светлом вздохните.  
Внемлите, народы, Эллады сыны,  
    Высокие песни внемлите!

Пройдя из края в край гостеприимный мир,  
Летами древними и роком удрученный,  
    Здесь песней царь, Омир,  
И юный Гезиод, Каменам драгоценный,  
    Вступают в славный бой.  
Колесит маслину священную рукой,  
Певец Аскреи гимн высокий начинает  
(Он с лирой никогда свой глас не сочетает):

#### Гезиод

Безвестный юноша, с стадами я бродил  
Под тенью пальмовой, близ чистой Ипокрены;  
Там пастыря нашли прелестные Камены,  
И я в обитель их священную вступил.

#### Омир

Мне снилось в юности: орел-громометатель  
От Мелеса меня играючи унес  
    На край земли, на край небес,  
Вещая: ты земли и неба обладатель.

#### Гезиод

Там лавры хижину простую осенят,  
В пустынях процветут Темпейские долины,  
Куда вы бросите свой благотворный взгляд,  
О нежны дочери суровой Мнемозины!

#### Омир

Хвала отцу богов! Как ясный свод небес  
Над царством высится плачевного Эреба,  
Как радостный Олимп стоит превыше неба,  
Так выше всех богов — властитель их, Зевес!..

## Г е з и о д

В священном сумраке, в сиянии Дианы,  
Вы, Музы, любите сплетаться в хоровод  
Или, торжественный в Олимп свершая ход,  
С бессмертными вкушать напиток Гебы рьяный...

## О м и р

Не знает смерти он: кровь алая тельцов  
Не брызнет под ножом над Зевсовой гробницей;  
И кони бурные со звонкой колесницей  
Пред ней не будут прах крутить до облаков.

## Г е з и о д

А мы, все смертные, все Паркам обреченны,  
Увидим области подземного царя,  
И реки спящие, Тенаром заключенны,  
Не льющи дань свою в бездонные моря.

## О м и р

Я приближаюсь к мете сей неизбежной.  
Внемли, о юноша! Ты пел «Труды и дни»...  
Для старца ветхого уж кончились они!

## Г е з и о д

Сын дивный Мелеса! И лебедь белоснежной  
На синем Стримоне, провидя страшный час,  
Не слаще твоего поет в последний раз!  
Твой гений проникал в Олимп: и вечны боги  
Отверзли для тебя заоблачны чертоги.  
И что ж? В юдоли сей страдалец искони,  
Ты роком обречен в печалях кончить дни.  
Певец божественный, скитаясь, как нищий,  
В печальном рубище, без крова и без пищи,  
Слепец всевидящий! ты будешь проклинать  
И день, когда на свет тебя родила мать!

## О м и р

Твой глас подобится амвросии небесной,  
Что Геба юная сапфирной чашей льет.  
Певец! в устах твоих поэзии прелестной  
Сладчайший Ольмия благоухает мед.  
Но... Муз любимый жрец!.. страшись руки злодейской,  
Страшись любви, страшись Эвбеи берегов;  
Твой близок час: увь! тебя Зевес Немейской  
Как жертву славную готовит для врагов.

Умолкли. Облако печали  
Покрыло очи их... народ рукоплескал.  
Но снова сладкий бой поэты начинали  
При шуме радостных похвал.  
Омир, возвыся глас, воспел народов брани,  
Народов, гибнущих по прихоти царей;  
Приама древнего, с мольбой несуща дани  
Убийце грозному и кровных, и детей;  
Мольбу смиренную и быструю Обиду,  
Харит и легких Ор и страшную Эгиду,  
Нептуна области, Олимп и дикий Ад.  
А юный Гезиод, взлелеянный Парнасом,  
С чудесной прелестью воспел веселым гласом  
Весну зеленую, сопутницу Гиад:  
Как Феб торжественно вселенну обтекает,  
Как дни и месяцы роятся в небесах;  
Как нивой золотой Церера награждает  
Труды годовичные оратая в полях;  
Заботы сладкие при сборе винограда;  
Тебя, желанный Мир, лелеятель долин,  
Благословенных сел, и пастырей, и стада,  
Он пел. И слабый царь, Халкиды властелин,  
От самой юности воспитанный средь мира,  
Презрел высокий гимн бессмертного Омира  
И пальму первенства сопернику вручил.  
Счастливым Гезиод в награду получил  
За песни, мирною Каменной вдохновенны,  
Сосуды серебряны, треножник позлащенный  
И черного овна, красу веселых стад.  
За ним, пред ним сыны ахейские, как волны,  
На край ристалища обширного спешат,  
Где победитель сам, благоговенья полный,  
При возлияниях, овна младую кровь  
Довременно богам подземным посвящает  
И Музам светлые сосуды предлагает,  
Как дар, усердный дар певца, за их любовь.  
До самой старости преследуемый роком,  
Но духом царь, не раб разгневанной судьбы,  
Омир скрывается от суетной толпы,  
Снедая грусть свою в молчании глубоком.  
Рожденный в Самосе убогий сирота  
Слепца из края в край, как сын усердный, водит,  
Он с ним пристанища в Элладе не находит;  
И где найдут его талант и нищета?

[1816]



## УМИРАЮЩИЙ ТАСС

...E come alpestre e rapido torrente,  
Come acceso baleno  
In notturno sereno,  
Come aura o fumo, o come stral repente,  
Volan le nostre fame: ed ogni onore  
Sembra languido fiore!  
Che più spera, o che s'attende omai?  
Dopo trionfo e palma  
Sol qui restano all'alma  
Lutto e lamenti, e lagrimosi lai  
Che più giova amicizia o giova amore!  
Ahi lagrime! ahi dolore!  
*„Torrismondo“ Trag. di T. Tasso\*.*

Какое торжество готовит древний Рим?  
Куда текут народа шумны волны?  
К чему сих аромат и мирры сладкий дым,  
Душистых трав кругом кошницы полны?  
До Капитолия от Тибровых валов,  
Над стогнами всемирныя столицы,  
К чему раскинуты средь лавров и цветов  
Бесценные ковры и багряницы?  
К чему сей шум? К чему тимпанов звук и гром?  
Веселья он или победы вестник?  
Почто с хоругвями течет в молитвы дом  
Под митрою апостолов наместник?

---

\*...И как горный и быстрый поток,  
Как яркая вспышка молнии  
В ясной ночи,  
Как дуновение ветра, или дым, или как внезапная стрела,  
Проносится наша слава: и каждая почесть  
Похожа на хрупкий цветок!  
На что надеешься или чего ждешь теперь?  
После триумфа и пальмовых ветвей  
Одно осталось для души —  
Горе и жалобы, и слезные пени.  
Что пользы отныне в дружбе, что пользы в любви!  
О слезы! о скорбь!  
*«Торрисмондо» Траг (едия) Т. Тассо (итал.).*

Кому в руке его сей зыблется венец,  
Бесценный дар признательного Рима;  
Кому триумф? Тебе, божественный певец!  
Тебе сей дар... певец Ерусалима!

И шум веселия достиг до кельи той,  
Где борется с кончиною Торквато:  
Где над божественной страдальца головой  
Дух смерти носится крылатый.  
Ни слезы дружества, ни иноков мольбы,  
Ни почестей столь поздние награды —  
Ничто не укротит железныя судьбы,  
Не знающей к великому пощады.  
Полуразрушенный, он видит грозный час,  
С веселием его благословляет,  
И, лебедь сладостный, еще в последний раз  
Он, с жизнью прощаясь, восклицает:

«Друзья, о! дайте мне взглянуть на пышный Рим,  
Где ждет певца безвременно кладбище.  
Да встречу взорами холмы твои и дым,  
О древнее квиритов пепелище!  
Земля священная героев и чудес!  
Развалины и прах красноречивый!  
Лазурь и пурпуры безоблачных небес,  
Вы, тополы, вы, древние оливы,  
И ты, о вечный Тибр, поитель всех племен,  
Засеянный костями граждан вселенны —  
Вас, вас приветствует из сих унылых стен  
Безвременной кончине обреченный!

Свершилось! Я стою над бездной роковой  
И не вступлю при плесках в Капитолий;  
И лавры славные над дряхлой головой  
Не усладят певца свирепой доли.  
От самой юности игралище людей,  
Младенцем был уже изгнанник;  
Под небом сладостным Италии моей  
Скитаясь, как бедный странник,  
Каких не испытал превратностей судеб?  
Где мой челнок волнами не носился?  
Где успокоился? Где мой насущный хлеб  
Слезами скорби не кропился?  
Сорренто! колыбель моих несчастных дней,  
Где я в ночи, как трепетный Асканий,

Отторжен был судьбой от матери моей,  
От сладостных объятий и лобзаний:  
Ты помнишь, сколько слез младенцем пролил я!  
Увы! с тех пор, добыча злой судьбины,  
Все горести узнал, всю бедность бытия.  
Фортуною изрытые пучины  
Разверзлись подо мной, и гром не умолкал!  
Из веси в весь, из стран в страну гонимый,  
Я тщетно на земли пристанища искал:  
Повсюду перст ее неотразимый!  
Повсюду — молнии, карающей певца!  
Ни в хижине оратая простого,  
Ни под защитою Альфонсова дворца,  
Ни в тишине безвестнейшего крова,  
Ни в дебрях, ни в горах не спас главы моей,  
Бесславием и славой удрученной,  
Главы изгнанника, от колыбельных дней  
Карающей богине обреченной...

Друзья! но что мою стесняет страшно грудь?  
Что сердце так и ноет, и трепещет?  
Откуда я? какой прошел ужасный путь,  
И что за мной еще во мраке блещет?  
Феррара... Фурии... и зависти змия!..  
Куда, куда, убийцы дарованья!  
Я в пристани. Здесь Рим. Здесь братья и семья!  
Вот слезы их и сладки лобызанья...  
И в Капитолии — Вергилиев венец!  
Так я свершил назначенное Фебом.  
От первой юности его усердный жрец,  
Под молнией, под разъяренным небом  
Я пел величие и славу прежних дней,  
И в узах я душой не изменился.  
Муз сладостный восторг не гас в душе моей,  
И гений мой в страданьях укрепился.  
Он жил в стране чудес, у стен твоих, Сион,  
На берегах цветущих Иордана;  
Он вопрошал тебя, мутящийся Кедрон,  
Вас, мирные убежища Ливана!  
Пред ним воскресли вы, герои древних дней,  
В величии и в блеске грозной славы:  
Он зрел тебя, Готфред, владыко, вождь царей,  
Под свистом стрел спокойный, величавый;  
Тебя, младый Ринальд, кипящий, как Ахилл,  
В любви, в войне счастливый победитель:

Он зрел, как ты летал по трупам вражьих сил  
Как огонь, как смерть, как ангел-истребитель...

И Тартар наложен сияющим крестом!  
О, доблести неслыханной примеры!  
О, наших праотцев, давно почивших сном,  
Триумф святой! победа чистой веры!  
Торквато вас исторг из пропасти времен:  
Он пел — и вы не будете забвенны —  
Он пел: ему венец бессмертья обречен,  
Рукою муз и славы соплетенный.

Но поздно! я стою над бездной роковой  
И не вступлю при плесках в Капитолий,  
И лавры славные над дряхлой головой  
Не усладят певца свирепой доли!» —

Умолк. Унылый огонь в очах его горел,  
Последний луч таланта пред кончиной;  
И умирающий, казалось, хотел  
У Парки взять триумфа день единой.  
Он взором все искал Капитолийских стен,  
С усилием еще приподнимался;  
Но, мукой страшною кончины изнурен,  
Недвижимый на ложе оставался.  
Светило дневное уж к западу текло  
И в зареве багряном утопало;  
Час смерти близился... и мрачное чело,  
В последний раз, страдальца просияло.  
С улыбкой тихою на запад он глядел...  
И, оживлен вечернею прохладой,  
Десницу к небесам внимающим воздел,  
Как праведник, с надеждой и отрадой.  
«Смотрите, — он сказал рыдающим друзьям, —  
Как царь светил на западе пылает!  
Он, он зовет меня к безоблачным странам,  
Где вечное Светило засияет...  
Уж ангел надо мной, вожатай оных мест;  
Он осенил меня лазурными крилами...  
Приблизьте знак любви, сей таинственный крест...  
Молитесь с надеждой и слезами...  
Земное гибнет все... и слава, и венец...

Искусств и муз творенья величавы:  
Но там все вечное, как вечен сам творец,  
Податель нам венца небренной славы!  
Там все великое, чем дух питался мой,  
Чем я дышал от самой колыбели.  
О братья! о друзья! не плачьте надо мной:  
Ваш друг достиг давно желанной цели.  
Отыдет с миром он и, верой укреплен,  
Мучительной кончины не приметит:  
Там, там... о счастье!.. средь непорочных жен,  
Средь ангелов, Элеонора встретит!»  
И с именем любви божественной погас.  
Друзья над ним в безмолвии рыдали.  
День тихо догорал... и колокола глас  
Разнес кругом по стогнам весть печали.  
«Погиб Торквато наш!— воскликнул с плачем Рим,—  
Погиб певец, достойный лучшей доли!..»  
Наутро факелов узрели мрачный дым;  
И трауром покрылся Капитолий.

[1817]

## МЕЧТА

Подруга нежных муз, посланница небес,  
Источник сладких дум и сердцу милых слез,  
Где ты скрываешься, Мечта, моя богиня?  
Где тот счастливый край, та мирная пустыня,  
К которому ты стремишь таинственный полет?  
Иль дебри любишь ты, сих грозных скал хребет,  
Где ветер порывистый и бури шум внимаешь?  
Иль в муромских лесах задумчиво блуждаешь,  
Когда на западе зари мерцает луч  
И хладная луна выходит из-за туч?  
Или, влекомая чудесным обаяньем  
В места, где дышит все любви очарованьем,  
Под тенью яворов ты бродишь по холмам,  
Студеной пеною Воклюза орошенным?  
Явись, богиня, мне, и с трепетом священным  
Коснуса я струнам,  
Тобой одушевленным!

Явися! ждет тебя задумчивый прит,  
В безмолвии ночном сидящий у лампы;  
Явись и дай вкусить сердечных отрады.  
Любимца твоего, любимца Аонид,  
И горесть сладостна бывает:  
Он в горести — *мечтает*.

То вдруг он пренесен во Сельмские леса,  
Где ветер шумит, ревет гроза,  
Где тень Оскарова, одетая туманом,  
По небу стелется над пенным океаном;  
То с чашей радости в руках  
Он с бардами поет: и месяц в облаках,  
И Кромлы шумный лес безмолвно им внимает,  
И эхо по горам песнь звучну повторяет.  
Или в полночный час  
Он слышит Скальдов глас,  
Прерывистый и томный.  
Зрит: юноши безмолвны,  
Склоняся на щиты, стоят кругом костров,  
Зажженных в поле брани;  
И древний царь певцов  
Простер на арфу длани.  
Могилу указав, где вождь героев спит,  
— «Чья тень, чья тень, — гласит  
В священном иступленьи, —  
Там с девами плывет в туманных облаках?  
Се ты, младый Инсель, иноплеменных страх,  
Днесь падший на сраженьи!  
Мир, мир тебе, герой!  
Твоей секирою стальной  
Пришельцы гордые разбиты!  
Но сам ты пал на грудях тел,  
Пал, витязь знаменитый,  
Под тучей вражьих стрел!..  
Ты пал! И над тобой посланницы небесны,  
Валкирии прелестны,  
На белых, как снега Биармии, конях,  
С золотыми копьями в руках  
В безмолвии спустились!  
Коснулись до зениц копьем своим, и вновь  
Глаза твои открылись!  
Течет по жилам кровь  
Чистейшего эфира;  
И ты, бесплотный дух,

В страны безвестны мира  
Летишь стрелой... и вдруг —  
Открылись пред тобой те радужны чертоги,  
Где уготовали для сонма храбрых боги  
Любовь и вечный пир.  
При шуме горних вод и тихострунных лир  
Среди полян и свежих сеней,  
Ты будешь поражать там скачущих еленей  
И золоторогих серн».  
Склонясь на злачный дерн  
С дружиною младою,  
Там снова с арфой золотою  
В восторге Скальд поет  
О славе древних лет;  
Поет, и храбрых очи,  
Как звезды тихой ночи,  
Утехою блестят.  
Но вечер притекает,  
Час неги и прохлад,  
Глас Скальда замолкает.  
Замолк — и храбрых сонм  
Идет в Оденов дом,  
Где дочери Веристы,  
Власы свои душисты  
Раскинув по плечам,  
Прелестницы молодые,  
Всегда полунагие,  
На пиршества гостям  
Обильны яствы носят  
И пить умильно просят  
Из чаши сладкий мед.  
Так древний Скальд поет,  
Лесов и дебрей сын угрюмый:  
Он счастлив, погрузясь о счастье в сладки думы!

О сладкая Мечта! О неба дар благой!  
Средь дебрей каменных, средь ужасов природы,  
Где плещут о скалы Ботнические воды,  
В краях изгнанников... я счастлив был тобой.  
Я счастлив был, когда в моем уединенье  
Над кущей рыбаля, в час полночи немой,  
Раздастся ветров свист и вой  
И в кровлю застучит и град, и дождь осенний.  
Тогда на крыльях Мечты  
Летал я в поднебесной;

Или, забывшись на лоне красоты,  
Я сон вкушал прелестной,  
И, счастлив наяву, был счастлив и в мечтах!

Волшебница моя! дары твои бесценны  
И старцу в лета охлажденны,  
С котомкой нищему и узнику в цепях.  
Заклепы страшные с замками на дверях,  
Соломы жесткий пук, свет бледный пепелища,  
Изглоданный сухарь, мышей тюремных пища,  
Сосуды глиняны с водой,  
Всё, всё украшено тобой!..  
Кто сердцем прав, того ты ввек не покидаешь:  
За ним во все страны летаешь  
И счастьем даришь любимца своего.  
Пусть миром позабыт! что нужды для него?  
Но с ним задумчивость в день пасмурный осенний,  
На мирном ложе сна  
В уединенной сени  
Беседует одна.  
О тайных слез неизъяснима сладость!  
Что пред тобой сердце холодных радость,  
Веселий шум и блеск честей  
Тому, кто ничего не ищет под луною,  
Тому, кто сопряжен душою  
С могилкою давно утраченных друзей!

Кто в жизни не любил,  
Кто раз не забывался,  
Любя, мечтам не предавался,  
И счастья в них не находил?  
Кто в час глубокой ночи,  
Когда невольно сон смыкает томны очи,  
Всю сладость не вкусил обманчивой Мечты?  
Теперь, любовник, ты  
На ложе роскоши, с подругой боязливой,  
Ей шепчешь о любви и пламенной рукой  
Снимаешь со груди ее покров стыдливой;  
Теперь блаженствуешь, и счастлив ты — Мечтой!  
Ночь сладострастия тебе дает призраки,  
И нектаром любви кропит ленивы маки.

Мечтание — душа поэтов и стихов.  
И едкость сильная веков  
Не может прелестей лишить Анакреона;



Любовь еще горит во пламенных мечтах  
Любовницы Фаона;  
А ты, лежащий на цветах  
Меж нимф и сельских граций,  
Певец веселия, Гораций!  
Ты сладостно мечтал,  
Мечтал среди пиров и шумных и веселых  
И смерть угрюмую цветами увенчал!  
Как часто в Тибуре, в сих рощах устарелых,  
На скате бархатных лугов,  
В счастливом Тибуре, в твоём уединенье,  
Ты ждал Глицерию, и в сладостном забвенье,  
Томимый негой на ложе из цветов,  
При воскурении мастик благоуханных,  
При пляске нимф венчанных,  
Сплетенных в хоровод,  
При отдаленном шуме  
В лугах журчащих вод,  
Безмолвен в сладкой думе  
Мечтал... и вдруг Мечтой  
Восторжен сладострастной,  
У ног Глицерии стыдливой и прекрасной  
Победу пел любви  
Над юностью беспечной,  
И первый жар в крови,  
И первый вздох сердечной.  
Счастливец! воспевал  
Цитерские забавы  
И все заботы славы  
*Ты ветрам отдавал!*

Ужели в истинах печальных  
Угрюмых стойков и скучных мудрецов,  
Сидящих в платьях погребальных  
Между обломков и гробов,  
Найдем мы жизни нашей сладость?  
От них, я вижу, радость  
Летит, как бабочка от терновых кустов,  
Для них нет прелести и в прелестях природы;  
Им девы не поют, сплетая в хороводы;  
Для них, как для слепцов,  
Весна без радости и лето без цветов...  
Увы! но с юностью исчезнут и мечтанья,  
Исчезнут граций лобызанья,

Надежда изменит — и рой крылатых снов.  
Увы! там нет уже цветов,  
Где тусклый опытность светильник зажигает  
И время старости могилу открывает.

Но ты — пребудь верна, живи еще со мной!  
Ни свет, ни славы блеск пустой,  
Ничто даров твоих для сердца не заменит!  
Пусть дорого глупец сует блистанье ценит,  
Лобзая прах золотый у мраморных палат.  
Но я и счастлив, и богат,  
Когда снискал себе свободу и спокойство,  
А от сует ушел забвения тропой!  
Пусть будет навсегда со мной  
Завидное поэтов свойство:  
Блаженство находить в убожестве — Мечтой!  
Их сердцу малость драгоценна.  
Как пчелка медом отягченна,  
Летает с травки на цветок,  
Считая морем — ручеек;  
Сидящих в платьях погребальных  
Между обломков и гробов,  
Так хижину свою поэт дворцом считает,  
И счастлив — *он мечтает!*

[1803, 1810, 1817]

## БЕСЕДКА МУЗ

Под тению черемухи млечной  
И золотом блистающих акаций  
Спешу восстановить алтарь и муз, и граций,  
Сопутниц жизни молодой.

Спешу принести цветы, и ульев сот янтарный,  
И нежны первенцы полей:  
Да будет сладок им сей дар любви моей  
И гимн поэта благодарный!

Не злата молит он у жертвенника муз:  
Они с фортуною не дружны.

Их крепче с бедностью заботливой союз,  
И боле в шалаше, чем в тереме, досужны.

Не молит славы он сияющих даров:  
Увы! талант его ничтожен.  
Ему отважный путь за стаею орлов,  
Как пчелке, невозможен.

Он молит муз: душе, усталой от сует,  
Отдать любовь утраченну к искусствам,  
Веселость ясную первоначальных лет  
И свежесть — вянущим бесперестанно чувствам.

Пускай забот свинцовый груз  
В реке забвения потонет,  
И время жадное в сей тайной сени муз  
Любимца их не тронет:

Пускай и в седилах, но с бодрою душой,  
Беспечен, как дитя всегда беспечных граций,  
Он некогда придет вздохнуть в сени густой  
Своих черемух и акаций.

[1817]

\* \* \*

Ты знаешь, что изрек,  
Прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек?  
Рабом родится человек,  
Рабом в могилу ляжет,  
И смерть ему едва ли скажет,  
Зачем он шел долиной чудной слез,  
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

[1824]

## II. ПОСЛАНИЯ

### ПОСЛАНИЕ К Н. И. ГНЕДИЧУ

Что делаешь, мой друг, в полтавских ты степях?  
И что в стихах  
Украдкой от друзей на лире воспевашь?  
С Фингаловым певцом мечтаешь  
Иль резвою рукой  
Венок красавице сплетаешь?  
Поешь мечты, любовь, покой,  
Улыбку томных Корины  
Иль страстный поцалуй шалуньи Зефирины?  
Все, словом, прелести Цитерских уз —  
Они так дороги воспитаннику муз —  
Поешь теперь, а твой на Севере приятель,  
Веселий и любви своей летописатель,  
Беспечность полюбя, забыл и Геликон.  
Терпенье и труды ведь любит Аполлон —  
А друг твой славой не прельщался,  
За бабочкой, смеясь, гонялся,  
Красавицам стихи любовные шептал  
И, глядя на людей — на пестрых кукол, — мечтал:  
«Без скуки, без забот не лучше ль жить с друзьями,  
Смеяться с ними и шутить,  
Чем исполинскими шагами  
За славой побежать и в яму поскользить?»  
Охоты, право, не имею  
Чрез то я сделаться смешным  
И умным, и глупцам, и злым,  
Иль, громку лиру взяв, пойти вослед Алкею,  
Надувшись пузырем, родить один лишь дым,  
Как Рифмин, закричать: «Ликуй, земля, со мною!  
Воспряньте, камни, лес! Зрю муз перед собою!  
Восторг! Лечу на Пинд!.. Простите, что упал:  
Ведь я Пиндару подражал!»

Что в громких песнях мне? Доволен я мечтами,  
В покойном уголке тихонько притаюсь,  
Но с светом вовсе не протаясь:  
Играя мыслями, я властвую духами.

Мы, право, не живем  
На месте все одним,  
Но мыслями летаем;  
То в Африку плывем,  
То на развалинах Пальмиры побываем,  
То трубку выкурим с султаном иль пашой,  
Или, пленясь вдруг султановой женой,  
Фатимой томной, молодой,  
Тотчас дарим его рогами;  
Смеясь муфтию, деремся с визирями,  
И после, убежав (кто в мыслях не колдун?),  
Увидим стройных нимф, услышим звуки струн,  
И где ж очутимся? На бале и в Париже!  
И так мечтанием бываем к счастью ближе,  
А счастье лишь там живет,  
Где нас, безумных, нет.

Мы сказки любим все, мы — дети, но большие.  
Что в истине пустой? Она лишь ум сушит,  
Мечта все в мире золотит,  
И от печали злая  
Мечта нам щит.

Ах, должно ль запретить и сердцу забываться,  
Поэтов променя на скучных мудрецов!  
Поэты не дают с фантазией расстаться,  
Мы с ними посреди Армидиных садов,  
В прохладе рощ тенистых,  
Внимаем пению Орфеев голосистых.  
При шуме ветерков на розах нежных спим  
И возле Нимф вздыхаем,  
С богами даже говорим,  
А с мудрецами лишь болтаем,  
Браним несчастный мир, да рассердясь... зеваем.

.....  
Так, сердце может лишь мечтою услаждаться!  
Оно всё хочет оживить:

В лесу на утлом пне Друидов находить,  
Укрывшихся под ель, рукой времян согбенну;  
Услышать Барда песнь священну,  
С Мальвиною вздохнуть на берегу морском  
О ратнике младом.  
Всё сердцу в мире сем вещает.

И гроб безмолвен не бывает,  
И камень иногда пустынный говорит:  
«Герой здесь спит!»

Так, сердцем рождена, Поэзия любезна,  
Как нектар сладостный, приятна и полезна.

Язык ее — язык богов;

Им дивный говорил Омир, отец стихов.  
Язык сей у творца берет Протея виды.  
Иной поет любовь: любимец Афродиты,  
С свирелью тихую, с увенчанной главой,

Вкушает лишь покой,

Лишь радости одни встречает  
И розами стезю сей жизни устилает.

Другой,

Как славный Тасс, волшебною рукой  
Являет дивный храм природы  
И всех чудес ее тьмочисленные роды:

Я зрю то мрачный ад,

То счастья чертог, Армидин дивный сад;  
Когда же он дела героев прославляет

И битвы воспевает,

Я слышу треск и гром, я слышу стон и крик...

Таков Поэзии язык!

Не много ли с тобой уж я заговорился?  
Я чересчур болтлив: я с Фебом подружился,  
А с ним ли бедному поэту сдобровать?  
Но, чтоб к концу привести начатое маранье,

Хочу тебе сказать,

Что пременить себя твой друг имел старанье,  
Увы, и не успел! Прими мое признание!

Никак я не могу *одним* доволен быть,  
И лучше розы мне на терны пременить,  
Чем розами всегда одними восхищаться.

Итак, не должно удивляться,

Что ветреный твой друг —

Поэт, любовник вдруг

И через день потом философ с грозным тоном,

А больше дружен с Аполлоном,

Хоть и нейдет за славы громом,

Но пишет всё стихи,

Которы за грехи,

Краснея, друзьям вполголоса читает

И первый сам от них зевает.

[НА СМЕРТЬ И. П. ПНИНА]

Que vois-je, c'en est fait;  
je t'embrasse, et tu meurs.

*Voltaire\**

Где друг наш? Где певец? Где юности красы?  
Увы, исчезло все под острием косы!  
Любимца нежных муз осиротела лира,  
Замолк певец: он был, как мы, лишь странник мира!  
Нет друга нашего, его навеки нет!  
    Недолго мир им украшался:  
    Завял, увы, как майский цвет,  
И жизни на заре с друзьями он расстался!

Пнин чувствам дружества с восторгом предавался;  
Несчастливым не одно он золото дарил...  
Что в золоте одном? Он слезы с ними лил.  
    Пнин был согражданам полезен,  
Пером от злой судьбы невинность защищал,  
    В беседах дружеских любезен,  
    Друзей в родных он обращал.  
И мы теперь, друзья, вокруг его могилы  
Объемлем только хладный прах,  
Твердим с тоской и во слезах:  
    Покойся в мире, друг наш милый,  
Питомец граций, муз, ты жив у нас в сердцах!

Когда в последний раз его мы обнимали,  
Казалось, с нами мир грустил,  
    И сам Амур в печали  
    Светильник погасил:  
    Не кипарисну ветвь унылу,  
Но розу на его он положил могилу.

[1805]

---

\* Что вижу я, все кончено; я тебя обнимаю, и ты умираешь. *Вольтер* (франц.).

## ПАСТУХ И СОЛОВЕЙ

*Басня*

*Владиславу Александровичу Озерову*

Любимец строгой Мельпомены,  
Прости усердный стих безвестному певцу!  
Не лавры к твоему венцу,  
Рукою дерзкою сплетенны,  
Я в дар тебе принес. К чему мой фимиам  
Творцу «Димитрия», кому бессмертны музы,  
Сложив признательности узы,  
Открыли славы храм?

А храм сей затворен для всех зоилов строгих,  
Богатых завистью, талантами убогих.  
Ах, если и теперь они своей рукой  
Посмеют к твоему творенью прикасаться,  
А ты, наш Эврипид, чтоб позабыть их рой,  
Захочешь с музами расстаться  
И боле не писать,  
Тогда прошу тебя рассказ мой прочитать.

Пастух, задумавшись в ночи безмолвной мая,  
С высокого холма вокруг себя смотрел,  
Как месяц в тишине великолепно шел,  
Лучом серебряным долины освещаая,  
Как в рощах липовых чуть легким ветерком  
Листы колеблемы шептали

И светлые ручьи, почив с природой сном,  
Едва меж берегов струей своей мелькали.

Из рощи соловей

Долины оглашал гармонией своей,  
И эхо песнь его холмам передавало.  
Всё душу пастуха задумчива пленяло,  
Как вдруг певец любви на ветках замолчал.  
Напрасно наш пастух просил о песнях новых.  
Печальный соловей, вздохнув, ему сказал:

«Недолго в рощах сих дубовых

Я радость воспевал!

Пройдет и петь охота,

Когда с соседнего болота

Лягушки кваканьем как бы назло глушат;

Пусть эта тварь поет, а соловьи молчат!»—

«Пой, нежный соловей,— пастух сказал Орфею,—

Для них ушей я не имею.

Ты им молчаньем петь охоту придаешь:

Кто будет слушать их, когда ты запоешь?»

[1807]



## К ТАССУ\*

Позволь, священна тень, безвестному Певцу  
Коснуться к твоему бессмертному венцу  
И сладость пения твоей Авзонской музыки,  
Достойной берегов прозрачной Аретузы,  
Рукою слабою на лире повторить  
И новым языком с тобою говорить!\*\*

Среди Элизия близ древнего Омира  
Почует тень твоя, и Аполлона лира  
Еще согласьем дух поэта веселит.  
Река забвения и пламенный Коцит  
Тебя с любовницей, о Тасс, не разлучили\*\*\*:  
В Элизии теперь вас музы съединили,  
Печали нет для вас, и скорбь протекших дней,  
Как сладостну мечту, объемлете душой...  
Торквато, кто испил все горькие отравы  
Печалей и любви и в храм бессмертной славы,  
Ведомый музами, в дни юности проник,—  
Тот преждевременно несчастлив и велик!\*\*\*\*  
Ты пел, и весь Парнас в восторге пробудился,  
В Феррару с музами Феб юный испустился,  
Назову тебе он лиру *сам* вручил,  
И гений крыльями бессмертья осенил.  
Воспел ты буйну брань, и бледны Эвмениды  
Всех ужасов войны открыли мрачны виды:  
Бегут среди полей и топчут знамена,  
Светильником вражды их ярость разжжена,  
Власы растрепанны и ризы обагрены,  
Я сам среди смертей... и Марс со мною медный...  
Но ужасы войны, мечей и копий звук  
И гласы Марсовы как сон исчезли вдруг:  
Я слышу вдаль пастушечьи свирели,  
И чувствия душой иные овладели.  
Нет более вражды, и бог любви молодой  
Спокойно спит в цветах под миртою густой.  
Он встал, и меч опять в руке твоей блистает!

---

\* Сие послание предположено было напечатать в заглавии перевода «Освобожденного Иерусалима». (Прим. К. Н. Батюшкова.)

\*\* Кажется, до сих пор у нас нет перевода Тассовых творений в стихах. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

\*\*\* Торквато был жертвою любви и зависти. Всем любителям словесности известна жизнь его. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

\*\*\*\* Тасс десяти лет от роду писал стихи и, будучи принужден бежать из Неаполя с отцом своим, сравнивал себя с молодым Асканием. До тридцатилетнего возраста кончил он бессмертную поэму Иерусалима, написал «Аминту», много рассуждений о словесности и пр. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

Какой Протей тебя, Торквато, пременяет,  
Какой чудесный бог чрез дивные мечты  
Рассеял мрачные и нежны красоты?  
То скиптр в его руках или перун зажженный,  
То розы юные, Киприде посвященны,  
Иль факел Эвменид, иль луч златой любви.  
В глазах его — любовь, вражда — в его крови;  
Летит, и я за ним лечу в пределы мира,  
То в ад, то на Олимп! У древнего Омира  
Так шаг один творил огромный бог морей  
И досягал другим краев подлунной всей.  
Армиды чарами, средь моря сотворенной,  
Здесь тенью миртовой в долине осененной,  
Ринальд, молодой герой, забыв воинский глас,  
Вкушает прелести любви и зараз...  
А там что зрят мои обвороженны очи?  
Близ стана воинска, под кровом черной ночи,  
При зареве бойниц, пылающих огнем,  
Два грозных воина, вооружась мечом,  
Неистойвой рукой струят потоки крови...  
О, жертва ярости и плачущей любви!..  
Постойте, воины!.. Увы!.. один падет...  
Танкред в враге своем Клоринду узнает,  
И морем слез теперь он платит, дерзновенный,  
За каплю каждую сей крови драгоценной...

Что ж было для тебя наградою, Торкват,  
За песни стройные? Зоилов острый яд,  
Притворная хвала и ласки царедворцев,  
Отрава для души и самых стихотворцев.  
Любовь жестокая, источник зол твоих,  
Явилася тебе среди палат златых,  
И ты из рук ее взял чашу ядовиту,  
Цветами юными и розами увиту,  
Испил и, упоен любовною мечтой,  
И лиру, и себя поверг пред красотой.  
Но радость наша — ложь, но счастье — крылато;  
Завеса раздрана! Ты узник стал, Торквато!  
В темницу мрачную ты брошен как злодей,  
Лишен и вольности, и Фебовых лучей.  
Печаль глубокая Поэтов дух сразила,  
Исчез талант его и творческая сила,  
И разум весь погиб! О вы, которых яд  
Торквату дал вкусить мучений лютых ад,  
Придите зрелищем достойным веселиться  
И гибелью его таланта насладиться!

Придите! Вот Поэт превыше смертных хвал,  
Который говорить героев заставлял,  
Проникнув взорами в небесные чертоги,—  
В железах стонет здесь... О милосердны боги!  
Доколе жертвою, невинность, будешь ты  
Бесчестной зависти и адской клеветы?

Имело ли конец несчастье Поэта?  
Железною рукой печаль и быстры лета  
Уже безвременно белят его волосы,  
В единообразии бегут, бегут часы,  
Что день, то прежняя скорбь, что ночь — мечты ужасны...  
Смягчился наконец завет судьбы злосчастной.  
Свободен стал Поэт, и солнца луч золотой  
Льет в хладну кровь его отраду и покой:  
Он может опочить на лоне светлой славы.  
Средь Капитолия, где стены обветшала  
И самый прах еще о римлянах твердит,  
Там ждет его триумф... Увы!.. там смерть стоит!  
Неумолимая берет венок лавровый,  
Поэта увенчать из давних лет готовый.  
Премена жалкая столь радостного дня!  
Где знамя почестей, там смертны пелены,  
Не увенчание, но лики погребальны...  
Так кончились твои, бессмертный, дни печальны!

Нет более тебя, божественный Поэт!  
Но славы Тассовой исполнен ввеки свет!  
Едва ли прах один остался древней Трои,  
Не знаем и могил, где спят ее герои,  
Скамандр божественный вертепами течет,  
Но в памяти людей Омир еще живет,  
Но человечество Певцом еще гордится,  
Но мир ему есть храм... И твой не сокрушится!  
[1808]

## СТИХИ Г. СЕМЕНОВОЙ

*E in si bel corpo più cara venia\*.*

*Тасс. V песнь «Освобожденного Иерусалима»*

Я видел красоту, достойную венца,  
Дочь добродетельну, печальну Антигону,  
Опору слабую несчастного слепца;

---

\* В прекрасном теле прекраснейшая душа (итал.).

Я видел, я внимал ее сердечну стону —  
И в рубище простом почтенной нищеты  
Узнал богиню красоты.

Я видел, я познал ее в Моине страстной,  
Средь сонма древних бард, средь копий и мечей,  
Ее глас сладостный достиг души моей,  
Ее взор пламенный, всегда с душой согласный,  
Я видел — и познал небесные черты  
Богини красоты.

О дарование, одно другим венчанно!\*  
Я видел Ксению, стенащу предо мной:  
Любовь и строгий долг владеют вдруг княжной;  
Боренье всех страстей в ней к ужасу слиянно,  
Я видел, чувствовал душевной полнотой  
И счастлив сей мечтой!

Я видел и хвалить не смел в восторге страстном;  
Но ныне, истиной священной вдохновен,  
Скажу: красот собор в ней явно съединен —  
Душа небесная во образе прекрасном  
И сердца доброго все редкие черты,  
Без коих ничего и прелесть красоты.

6 сентября  
Ярославль

### ОТВЕТ Г<НЕДИ> ЧУ

Твой друг тебе навек отныне  
С рукою сердце отдает;  
Он отслужил слепой богине,  
Бесплодных матери сует.  
Увы, мой друг! я в дни молодые  
Цирцеям также отслужил,  
В карманы заглянул пустые,  
Покинул мирт и меч сложил.  
Пускай, кто честолюбьем болен,  
Бросает с Марсом огонь и гром;  
Но я — безвестностью доволен  
В *Сабинском* домике моем!

---

\* Дарование поэта и актрисы. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

Там глиняны свои Пенаты  
Под сенью дружной съединим,  
Поставим брашны небогаты,  
А дни мечтой позолотим.  
И если к нам любовь заглянет  
В приют, где дружбы храм святой...  
Увы! твой друг не перестанет  
Еще ей жертвовать собой!—  
Как гость, весельем пресыщенный,  
Роскошный покидает пир,  
Так я, любовью упоенный,  
Покину равнодушно мир!

[1809]

### МОИ ПЕНАТЫ

*Послание к Ж〈уковскому〉  
и В〈яземскому〉*

Отчески Пенаты,  
О пестуны мои!  
Вы златом не богаты,  
Но любите свои  
Норы и темны кельи,  
Где вас на новосельи  
Смиренно здесь и там  
Расставил по углам;  
Где странник я бездомный,  
Всегда в желаньях скромный,  
Сыскал себе приют.  
О боги! будьте тут  
Доступны, благосклонны!  
Не вина благовонны,  
Не тучный фимиам  
Поэт приносит вам,  
Но слезы умиленья,  
Но сердца тихий жар  
И сладки песнопенья,  
Богинь Пермесских дар!  
О Лары! уживитесь  
В обители моей,  
Поэту улыбнитесь —  
И будет счастлив в ней!..

В сей хижине убогой  
Стоит перед окном  
Стол ветхой и треногой  
С изорванным сукном.  
В углу, свидетель славы  
И суеты мирской,  
Висит полузаржавый  
Меч прадедов тупой;  
Здесь книги выписные,  
Там жесткая постель —  
Всё утвари простые,  
Всё рухляя скудель!  
Скудель!.. Но мне дороже,  
Чем бархатное ложе  
И вазы богачей!..

Отеческие боги!  
Да к хижине моей  
Не сыщет ввек дороги  
Богатство с суетой,  
С наемною душой  
Развратные счастливы,  
Придворные друзья  
И бледны горделивы,  
Надутые князья!  
Но ты, о мой убогой  
Калека и слепой,  
Идя путем-дорогой  
С смиренною клюкой,  
Ты смело постучися,  
О воин, у меня,  
Войди и обсушися  
У яркого огня.  
О старец, убеленный  
Годами и трудом,  
Трижды уязвленный  
На приступе штыком!  
Двуструнной балалайкой  
Походы прозвени  
Про витязя с нагайкой,  
Что в жупел и в огни  
Летал перед полками  
Как вихорь на полях,  
И вокруг его рядами  
Враги ложились в прах!..  
И ты, моя Лилета,

В смиренный уголок  
Приди под вечерок  
Тайком переодета!  
Под шляпою мужской  
И кудри золотые,  
И очи голубые,  
Прелестница, сокрой!  
Накинь мой плащ широкой,  
Мечом вооружись  
И в полночи глубокой  
Внезапно постучись...  
Вошла — наряд военный  
Упал к ее ногам,  
И кудри распущенны  
Взвывают по плечам,  
И грудь ее открылась  
С лилейной белизной:  
Волшебница явилась  
Пастушкой предо мной!  
И вот с улыбкой нежной  
Садится у огня,  
Рукою белоснежной  
Склонившись на меня,  
И алыми устами,  
Как ветер меж листьями,  
Мне шепчет: «Я твоя,  
Твоя, мой друг сердечной!..»  
Блажен в сени беспечной,  
Кто милою своей,  
Под кровом от ненастья,  
На ложе сладострастья,  
До утренних лучей  
Спокойно обладает,  
Спокойно засыпает  
Близ друга сладким сном!..

Уже потухли звезды  
В сиянии дневном,  
И пташки теплы гнезды,  
Что свиты под окном,  
Щебеча, покидают  
И негу отрясают  
Со крылышек своих;  
Зефир листы колышет,  
И все любовью дышит  
Среди полей моих;

Все с утром оживает,  
А Лила почивает  
На ложе из цветов...  
И ветер тиховойный  
С груди ее лилейной  
Сдул дымчатый покров...  
И в локоны золотые  
Две розы молодые  
С нарциссами вплелись;  
Сквозь тонкие преграды  
Нога, ища прохлады,  
Скользит по ложу вниз...  
Я Лилы пью дыханье  
На пламенных устах,  
Как роз благоуханье,  
Как нектар на пирах!..  
Покойся, друг прелестный,  
В объятиях моих!  
Пускай в стране безвестной,  
В тени лесов густых,  
Богинею слепую  
Забыт я от пелен,  
Но дружбой и тобою  
С избытком награжден!  
Мой век спокоен, ясен;  
В убожестве с тобой  
Мне мил шалаш простой,  
Без золота мил и красен  
Лишь прелестью твоей!  
Без золота и честей  
Доступен добрый гений  
Поэзии святой,  
И часто в мирной сени  
Беседует со мной.  
Небесно вдохновенье,  
Порыв крылатых дум!  
(Когда страстей волненье  
Уснет... и светлый ум,  
Летая в поднебесной,  
Земных свободен уз,  
В Аонии прелестной  
Сретаёт хоры муз!)  
Небесно вдохновенье,  
Зачем летишь стрелой  
И сердца упоенье  
Уносишь за собой?



До розовой денницы  
В отрадной тишине,  
Парнасские царицы,  
Подруги будьте мне!  
Пускай веселы тени  
Любимых мне певцов,  
Оставля тайны сени  
Стигийских берегов  
Иль области эфирны,  
Воздушною толпой  
Слетят на голос лирный  
Беседовать со мной!..  
И мертвые с живыми  
Вступили в хор один!..  
Что вижу? Ты пред ними,  
Парнасский исполин,  
Певец героев, славы,  
Вслед вихрям и громам,  
Наш лебедь величавый,  
Плывешь по небесам,  
В толпе и муз, и граций,  
То с лирой, то с трубой,  
Наш Пиндар, наш Гораций  
Сливает голос свой.  
Он громок, быстр и силен,  
Как Суна средь степей,  
И нежен, тих, умилен,  
Как вешний соловей.  
Фантазии небесной  
Давно любимый сын,  
То повестью прелестной  
Пленяет Карамзин,  
То мудрого Платона  
Описывает нам  
И ужин Агатона,  
И наслажденья храм,  
То древню Русь и нравы  
Владимира времяя  
И в колыбели славы  
Рождение славян.  
За ними Сильф прекрасной,  
Воспитанник Харит,  
На цитре сладкогласной  
О Душеньке бренчит;  
Мелецкого с собою  
Улыбкою зовет

И с ним, рука с рукою,  
Гимн радости поет!..  
С Эротами играя,  
Философ и пиит,  
Близ Федра и Пильпая  
Там Дмитриев сидит;  
Беседуя с зверями,  
Как счастливый дитя,  
Парнасскими цветами  
Скрыл истину шутя.  
За ним в часы свободы  
Поют среди певцов  
Два баловня природы,  
Хемницер и Крылов.  
Наставники-пииты,  
О Фебовы жрецы!  
Вам, вам плетут Хариты  
Бессмертные венцы!  
Я вами здесь вкушаю  
Восторги Пиерид  
И в радости взываю:  
О музы! я пиит!  
А вы, смиренной хаты  
О Лары и Пенаты!  
От зависти людской  
Мое сокройте счастье,  
Сердечно сладострастье  
И негу, и покой!  
Фортуна, прочь с дарами  
Блистательных сует!  
Спокойными очами  
Смотрю на твой полет:  
Я в пристань от ненастья  
Челнок мой проводил  
И вас, любимцы счастья,  
Навеки позабыл...  
Но вы, любимцы славы,  
Наперсники забавы,  
Любви и важных муз,  
Беспечные счастливыцы,  
Философы-ленивцы,  
Враги придворных уз,  
Друзья мои сердечны!  
Придите в час беспечный  
Мой домик навестить —  
Поспорить и попить!

Сложи печалей бремя,  
Ж(уковский) добрый мой!  
Стрелюю мчится время,  
Веселие стрелой!  
Позволь же дружбе слезы  
И горесть усладить  
И счастья блеклы розы  
Эротам оживить.  
О В(яземский)! цветами  
Друзей твоих венчай.  
Дар Вакха перед нами:  
Вот кубок — наливай!  
Питомец муз надежный,  
О Аристиппов внук!  
Ты любишь песни нежны  
И рюмок звон и стук!  
В час неги и прохлады  
На ужинах твоих  
Ты любишь томны взгляды  
Прелестниц записных.  
И все заботы славы,  
Сует и шум, и блажь  
За быстрый миг забавы  
С поклонами отдашь.  
О! дай же ты мне руку,  
Товарищ в лени мой,  
И мы... потопим скуку  
В сей чаше золотой!  
Пока бежит за нами  
Бог времени седой  
И губит луг с цветами  
Безжалостной косой,  
Мой друг! скорей за счастьем  
В путь жизни полетим;  
Упьемся сладострастьем  
И смерть опередим;  
Сорвем цветы украдкой  
Под лезвеем косы  
И ленью жизни краткой  
Продлим, продлим часы!  
Когда же Парки тощи  
Нить жизни допрядут  
И нас в обитель нощи  
Ко прадедам снесут,—  
Товарищи любезны!  
Не сетуйте о нас,

К чему рыданья слезны,  
Наемных ликов глас?  
К чему сии куренья,  
И колокола вой,  
И томны псалмопенья  
Над хладною доской?  
К чему?.. Но вы толпами  
При месячных лучах  
Сберитесь и цветами  
Усейте мирный прах;  
Иль бросьте на гробницы  
Богов домашних лик,  
Две чаши, две цевницы  
С листьями повилик;  
И путник угадает  
Без надписей златых,  
Что прах тут почивает  
Счастливец молодых!

[1811]

### К Ж<УКОВСКО>МУ

Прости, балладник мой,  
Белева мирный житель!  
Да будет Феб с тобой,  
Наш давний покровитель!  
Ты счастлив среди полей  
И в хижине укромной.  
Как юный соловей  
В прохладе рощи темной  
С любовью дни ведет,  
Гнезда не покидая,  
Невидимый поет,  
Невидимо пленяя  
Веселых пастухов  
И жителей пустынных,—  
Так ты, краса певцов,  
Среди забав невинных  
В отчизне золотой  
Прелестны гимны пой!  
О! пой, любимец счастья,  
Пока веселы дни  
И розы сладострастья  
Кипридою даны,

И роскошь золотая,  
Все блага рассыпая  
Обильною рукой,  
Тебе подносит вины,  
И портер выписной,  
И сочны апельсины,  
И с трюфлями пирог —  
Весь Амальтеи рог,  
Вовек неистоцимый,  
На жирный твой обед!  
А мне... покоя нет!  
Смотри! неумолимый  
Домашний Гиппократ,  
Наперсник Парки бледной,  
Попов слуга усердной,  
Чуме и смерти брат,  
Поклявшись латынью  
И практикой своей,  
Поит меня полынью  
И супом из костей;  
Без дальнего старанья  
До смерти запоит  
И к вам писать посланья  
Отправит за Коцит!  
Всё в жизни изменило,  
Что сердцу сладко льстило,  
Всё, всё прошло, как сон:  
Здоровье легкокрыло,  
Любовь и Аполлон!  
Я стал подобен тени,  
К смирению сердец,  
Сух, бледен, как мертвец;  
Дрожат мои колени,  
Спина дугой к земле,  
Глаза потухли, впали,  
И скорби начертали  
Морщины на челе;  
Навек исчезла сила  
И доблесть прежних лет.  
Увы! мой друг, и Лила  
Меня не узнает.  
Вчера с улыбкой злою  
Мне молвила она  
(Как древле Громобою  
Коварный Сатана):  
«Усопший! мир с тобою!

Усопший, мир с тобою!» —  
Ах! это ли одно  
Мне роком суждено  
За древни прегрешенья?..  
Нет, новые мученья,  
Достойные бесов!  
Свои стихотворенья  
Читает мне Свистов;  
И с ним певец досужий,  
Его покорный бес,  
Как он, на рифмы дюжий,  
Как он, головорез!  
Поют и напевают  
С ночи до бела дня;  
Читают и читают,  
И до смерти меня  
Убийцы, зачитают!

[1812]

#### ОТВЕТ Т<УРГЕНЕ>ВУ

Ты прав! Поэт не лжец,  
Красавиц воспевая.  
Но часто наш певец,  
В восторге утопая,  
Рассудка строгий глас  
Забудет для Армиды,  
Для двух коварных глаз;  
Под знаменем Киприды  
Сей новый Дон-Кишот  
Проводит век с мечтами:  
С химерами живет,  
Беседует с духами,  
С задумчивой луной  
И мир смешит собой!  
Для света равнодушен,  
Для славы и честей,  
Одной любви послушен,  
Он дышит только ей.  
Везде с своей мечтою,  
В столице и в полях,  
С поникшей головою,

С унынием в очах,  
Как призрак бледный бродит;  
Одно твердит, поет:  
Любовь, любовь зовет...  
И рифмы лишь находит!  
Так! верно, Аполлон  
Давно с любовью в ссоре,  
И мститель Купидон  
Судил поэтам горе.  
Все нимфы строги к нам  
За наши псалмопенья,  
Как Дафна к богу пеняя;  
Мы лавр находим там  
Иль кипарис печали,  
Где счастья роз искали,  
Цветущих не для нас.  
Взгляните на Парнас:  
Любовник строгой Лоры  
Там в горести погас;  
Скалы и дики горы  
Его лишь знали глас  
На берегах Воклюзы.  
Там Душеньки певец,  
Любимец нежный музы  
И пламенных сердец,  
Любил, вздыхал всечасно,  
Везде искал мечты,  
Но лирой сладкогласной  
Не тронул красоты.  
Лесбосская певица,  
Прекрасная в женах,  
Любви и Феба жрица,  
Дни кончила в волнах...  
И я — клянусь глазами,  
Которые стихами  
Мы взапуски поем,  
Клянуся Хлоей в том,  
Что русские поэты  
Давно б на берег Леты  
Толпами перешли,  
Когда б скалу Левкада  
В болота Петрограда  
Судьбы перенесли!

[1812]

## К Д(АШКО)ВУ

Мой друг! Я видел море зла  
И неба мстительного кары:  
Врагов неистовых дела,  
Войну и гибельны пожары.  
Я видел сонмы богачей,  
Бегущих в рубищах изданных,  
Я видел бледных матерей,  
Из милой родины изгнанных!  
Я на распутье видел их,  
Как, к персям чад прижав грудных,  
Они в отчаянье рыдали  
И с новым трепетом взирали  
На небо рдяное кругом.  
Трикраты с ужасом потом  
Бродил в Москве опустошенной,  
Среди развалин и могил;  
Трикраты прах ее священной  
Слезами скорби омочил.  
И там, где зданья величавы  
И башни древние царей,  
Свидетели протекшей славы  
И новой славы наших дней;  
И там, где с миром почивали  
Останки иноков святых  
И мимо веки протекали,  
Святыни не касаясь их;  
И там, где роскоши рукою,  
Дней мира и трудов плоды,  
Пред златоглавою Москвою  
Воздвиглись храмы и сады,—  
Лишь угли, прах и камней горы,  
Лишь груды тел кругом реки,  
Лишь нищих бледные полки  
Везде мои встречали взоры!..  
А ты, мой друг, товарищ мой,  
Велишь мне петь любовь и радость,  
Беспечность, счастье и покой  
И шумную за чашей младость!  
Среди военных непогод,  
При страшном зареве столицы,  
На голос мирных цевницы  
Сзывать пастушек в хоровод!



Мне петь коварные забавы  
Армид и ветреных Цирцей  
Среди могил моих друзей,  
Утраченных на поле славы!..  
Нет, нет! талант погибни мой  
И лира, дружбе драгоценна,  
Когда ты будешь мной забвенна,  
Москва, отчизны край златой!  
Нет, нет! пока на поле чести  
За древний град моих отцов  
Не понесу я в жертву мести  
И жизнь, и к родине любовь;  
Пока с израненным героем,  
Кому известен к славе путь,  
Три раза не поставлю грудь  
Перед врагов сомкнутым строем,—  
Мой друг, дотоле будут мне  
Все чужды музы и хариты,  
Венки, рукой любви свиты,  
И радость шумная в вине!

[1813]

ПОСЛАНИЕ  
К А. И. Т<УРГЕНЕ>ВУ

Есть дача за Невой,  
Верст двадцать от столицы,  
У Выборгской границы,  
Близ Парголы крутой:  
Есть дача или мыза,  
Приют для добрых душ,  
Где добрая Элиза  
И с ней почтенный муж,  
С открытою душою  
И с лаской на устах,  
За трапезой простою  
На бархатных лугах,  
Без дальнего наряда  
В свой маленький приют  
Друзей из Петрограда  
На праздник сельский ждут.

Там муж с супругой нежной  
В час отдыха от дел  
Под кров свой безмятежной  
Муз к грациям привел  
Поэт, лентяй, счастливец  
И тонкий философ,  
Мечтает там Крылов  
Под тению березы  
О басенных зверях  
И рвет парнасски розы  
В приютинских лесах.  
И Гнедич там мечтает  
О греческих богах,  
Меж тем как замечает  
Кипренский лица их  
И кистию чудесной,  
С беспечностью прелестной,  
Вандиков ученик,  
В один крылатый миг  
Он пишет их портреты,  
Которые от Леты  
Спасли бы образцов,  
Когда бы сам Крылов  
И Гнедич сочиняли,  
Как пишет Тянислов  
Иль Балдусы писали,  
Забыв и вкус, и ум.  
Но мы забудем шум  
И суеты столицы,  
Издадим колесницы,  
Ударим по коням  
И пустимся стрелою  
В Приютино с тобою.  
Согласны?— По рукам!

[1812—1814]

ПОСЛАНИЕ  
И. М. М<УРАВЬЕВУ>-А<ПОСТОЛУ>

Ты прав, любимец муз! От первых впечатлений,  
От первых, свежих чувств заемлет силу гений  
И им в течение дней своих не изменит!  
Кто б ни был: пламенный оратор иль пиит,

Светильник мудрости, науки обладатель,  
Иль кистью естества немого подражатель,  
Наперсник муз, — познал от колыбельных дней,  
Что должен быть жрецом парнасских олтарей.  
Младенец счастливый, уже любимец Феба,  
Он с жадностью взирал на свет лазурный неба,  
На зелень, на цветы, на зыбку сень древес,  
На воды быстрые и полный мрака лес.  
Он, к лону матери приникнув, улыбался,  
Когда веселый май цветами убирался  
И жавронок вился над зеленью полей.  
Златая ль радуга, пророчица дождей,  
Весь свод лазоревый подернет облистаньем —  
Ее приветствовал невнятным лепетаньем,  
Ее манил к себе младенческой рукой.  
Что видел в юности, пред хижиной родной,  
Что видел, чувствовал, как новый мира житель,  
Того в душе своей до поздних дней хранитель  
Желает в песнях муз потомству передать.  
Мы видим первых чувств волшебную печать  
В твореньях гения, испытанных веками:  
Из мест, где Мантуя красуется лугами,  
И Минций в камышах недвижимый стоит,  
От милых Лар своих отторженный пиит,  
В чертоги Августа судьбой перенесенной,  
Жалел о вас, ручьи отчизны незабвенной,  
О древней хижине, где юность провождал  
И Титира свирель потомству передал.  
Но там ли, где всегда роскошная природа  
И раскаленный Феб с безоблачного свода  
Обилием поля счастливые дарит,  
Таланта колыбель и область Пиерид?  
Нет! Нет! И в Севере любимец их не дремлет,  
Но гласу громкому самой природы внемлет,  
Свершая славный путь, предписанный судьбой.  
Природы ужасы, стихий враждебных бой,  
Ревущие со скал угрюмых водопады,  
Пустыни снежные, льдов вечные громады  
Иль моря шумного необозримый вид —  
Всё, всё возносит ум, всё сердцу говорит  
Красноречивыми, но тайными словами  
И огонь поэзии питает между нами.  
Близ Колы пасмурной, средь диких рыбарей  
В трудах воспитанный, уже от юных дней  
Наш Пиндар чувствовал сей пламень потаенный,  
Сей огонь жиждительный, дар бога драгоценный,

От юности в душе небесного залог,  
Которым Фебов жрец исполнен, как пророк.  
Он сладко трепетал, когда сквозь мрак тумана  
Стремился по зыбям холодным океана  
К необитаемым, бесплодным островам  
И мрежи расстилал по новым берегам.  
Я вижу мысленно, как отрок вдохновенной  
Стоит в безмолвии над бездной разъяренной  
Среди мечтания и первых сладких дум,  
Прислушивая волн однообразный шум...  
Лице горит его, грудь тягостно вздыхает,  
И сладкая слеза ланиту орошает,  
Слеза, известная таланту одному!  
В красе божественной любимцу своему,  
Природа! ты не раз на Севере являлась  
И в пламенной душе навеки начерталась.  
Исполненный всегда виденьем первых лет,  
Как часто воспевал восторженный поэт:  
«Дрожащий, хладный блеск полуночной Авроры  
И лдяные, в морях носимы ветром, горы,  
И Уну, спящую средь звонких камышей,  
И день, чудесный день, без ночи, без зарей!..»  
В Пальмире Севера, в жилище шумной славы,  
Державин Камские воспоинал дубравы,  
Отчизны сладкий дым и древний град отцов.  
На тучны пажити приволжских берегов  
Как часто Дмитриев, расторгнув светски узы,  
Водил нас по следам своей счастливой музы,  
Столь чистой, как струи царицы светлых вод,  
На коих в первый раз зрел солнечный восход  
Певец сибирского Пизарра вдохновенный!..  
Так, свыше нежною душою одаренный,  
Пиит, от юности до серебряных волос,  
Лелеет в памяти страну своих отцов.  
На жизненном пути ему дарует гений  
Неиссякаемый источник наслаждений  
В замену счастья и скудных мира благ:  
С ним муза тайная живет во всех местах  
И в мире дивный мир любимцу созидает.  
Пускай свирепый рок по воле им играет:  
Пускай незнаемый, без злата и честей,  
С главой поникшею он бродит меж людей;  
Пускай Фортуною от детства удостоин  
Он будет судия, министр иль в поле воин,—  
Но музам и себе нигде не изменит.  
В самом молчании он будет всё пиит.

В самом бездействии он с деятельным духом,  
Всё сильно чувствует, всё ловит взором, слухом,  
Всем наслаждается, и всюду, наконец,  
Готовит Фебу дань его грядущий жрец.

[1815]

НАДПИСЬ  
К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО

Под знаменем Москвы, пред падшею столицей,  
Он храбрым гимны пел, как пламенный Тиртей;  
В дни мира, новый Грей,  
Пленяет нас задумчивой цевницей.

[1817]

〈С. С. УВАРОВУ〉

Среди трудов и важных муз,  
Среди учености всемирной  
Он не утратил нежный вкус;  
Еще он любит голос лирной,  
Еще в душе его огонь,  
И сердце наслаждений просит,  
И борзый Аполлонов конь  
От муз его в Цитеру носит.  
От пепла древнего Афин,  
От гордых памятников Рима,  
С развалин Трои и Солима,  
Умом вселенной гражданин,  
Он любит отдыхать с Эратой,  
Разнообразной и живой,  
И часто водит нас с собой  
В страны Фантазии крылатой.  
Ему легко: он награжден,  
Благословен, взлелеян Фебом;  
Под сумрачным родился небом,  
Но будто в Аттике рожден.

[1817]

К ТВОРЦУ  
«ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

Когда на играх Олимпийских,  
В надежде радостных похвал,  
Отец истории читал,  
Как грек разил вождей азийских  
И силы гордых сокрушал,—  
Народ, любитель шумной славы,  
Забыв ристанье и забавы,  
Стоял и весь вниманье был.  
Но в сей толпе многонародной  
Как старца слушал Фукидид!  
Любимый отрок Аонид,  
Надежда крови благородной!  
С какою жаждою внимал  
Отцов деянья знамениты  
И на горящие ланиты  
Какие слезы проливал!

И я так плакал в восхищенье,  
Когда скрижаль твою читал,  
И гений твой благословлял  
В глубоком, сладком умиленье...  
Пускай талант — не мой удел!  
Но я для муз дышал не даром,  
Любил прекрасное и с жаром  
Твой гений чувствовать умел.

[1818]

КНЯЗЮ П. И. ШАЛИКОВУ  
(при получении от него в подарок книги,  
им переведенной)

Чем заплачу вам, милый князь,  
Чем отдарю почтенного поэта?  
Стихами? Но давно я с музой рушил связь  
И без нее кругом летаю света,  
С востока к западу, от севера на юг —  
Не там, где вы, где граций круг,

Где Аполлон с парнасскими сестрами,  
Нет, нет, в стране иной,  
Где ввек не повстречаюсь с вами:  
В пыли, в грязи, на тряской мостовой,  
«В картузе, с козырьком, с небритыми усами»,  
Как Пушкина герой,

Воспетый им столь сильными стихами.  
Такая жизнь для мыслящего — ад.  
Страданий вам моих не в силах я исчислить.  
Скачи туда, сюда, хоть рад или не рад.

Где ж время чувствовать и мыслить?

Но время к счастью, есть любить

Друзей, их славу и успехи

И в дружбе находить

Неизъяснимые для черствых душ утечи.

Вот мой удел, почтенный мой поэт:

Оставя отчий край, увижу новый свет,

И небо новое, и незнакомы лица,

Везувий в пламени и Этны вечный дым,

Кастратов, оперу, фигляров, папский Рим

И прах, священный прах всемирных столицы.

Но где б я ни был (так я молвлю в добрый час),

Не изменяясь, душою тот же буду

И, умирая, не забуду

Москву, отечество, друзей моих и вас!

*11 сентября 1818*

\* \* \*

Жуковский, время все проглотит,

Тебя, меня и славы дым,

Но то, что в сердце мы храним,

В реке забвенья не потопит!

Нет смерти сердцу, нет ее!

Доколь оно для блага дышит!..

А чем исполнено твое,

И сам Плетаев не опишет.

[1821]

## ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ

Я памятник воздвиг огромный и чудесный,  
Прославя вас в стихах: не знает смерти он!  
Как образ милый ваш, и добрый, и прелестный  
(И в том порукою наш друг Наполеон)  
Не знаю смерти я. И все мои творенья,  
От тлена убежав, в печати будут жить.  
Не Аполлон, но я кую сей цепи звенья,  
В которые могу вселенну заключить.  
Так первый я дерзнул в забавном русском слоге  
О добродетели Елизы говорить,  
В сердечной простоте беседовать о боге  
И истину царям громами возгласить.  
Царицы, царствуйте, и ты, императрица!  
Не царствуйте, цари: я сам на Пинде царь!  
Венера мне сестра, и ты, моя сестрица,  
А кесарь мой — святой косарь.

[8 июля 1826]



### III. САТИРЫ И ЭПИГРАММЫ

#### ПОСЛАНИЕ К СТИХАМ МОИМ

Sifflez — moi librement, je vous  
le rends, mes freres.

*Voltaire\**

Стихи мои! опять за вас я принимаюсь!  
С тех пор, как с музами, к несчастью, обращаюсь.  
Покою ни на час... О, мой враждебный рок!  
Во сне и наяву кастальский льется ток!  
Но с страстию писать не я один родился:  
Чуть стопы размерять кто только научился,  
За славою бежит — и бедный рифмотвор  
В награду обретет не славу, но позор.  
Куда ни погляжу, везде стихи марают,  
Под кровлей песенки и оды сочиняют,  
И бедный Стукодей, что прежде был капрал,  
Не знаю для чего, теперь поэтом стал:  
Нет хлеба ни куска, а роскошь выхваляет  
И грациям стихи, голодный, сочиняет;  
Пьет воду, а вино в стихах льет через край;  
Филису нам твердит: «Филиса, ты мой рай!»  
Потом, возвысив тон, героев воспевает:  
В стихах его и сам Суворов умирает!  
Бедняга! удержиись... брось, брось писать совсем!  
Не лучше ли тебе маршировать с ружьем!  
Плаксивин на слезах с ума у нас сошел:  
Все пишет, что друзей на свете не нашел!  
Поверю: ведь с людьми нельзя ему ужиться,  
И так немудрено, что с ними он бранится.  
Безрифмин говорит о милых... о сердцах...  
Чувствительность души твердит в своих стихах;  
Но книг его — увы! — никто не покупает,  
Хотя и <Глазунов> в газетах выхваляет.  
Глупон за деньги рад нам всякого бранить,  
И даже он готов поэмой уморить.

---

\* Освистывайте меня без стеснения, я вам отвечу тем же, друзья мои. *Вольтер франц.*

Иному в ум придет, что вкус восстанавливает:  
Мы верим все ему — кругами утверждает!  
Другой уже спешит нам драму написать,  
За коей будем мы не плакать, а зевать.  
А третий, наконец... Но можно ли помыслить —  
Все глупости людей в подробности исчислить?..  
Напрасный будет труд, но в нем и пользы нет:  
Сатирую нельзя переменить нам свет.  
Зачем с Глупоном мне, зачем всегда браниться?  
Он также на меня готов вооружиться.  
Зачем Безрифмину бумагу не марать?  
Всяк пишет для себя: зачем же не писать?  
Дым славы, хоть пустой, любезен нам, приятен;  
Глас разума — увы! — к несчастью, не внятен.  
Поэты есть у нас, есть скучные врали;  
Они не вверх летят, не к небу, но к земли.

Давно я сам в себе, давно уже признался,  
Что в мире, в тишине мой век бы провождался,  
Когда б проклятый Феб мне не вскружил весь ум;  
Я презрел бы тогда и славы тщетный шум  
И жил бы так, как хан во славном Кашемире,  
Не мысля о стихах, о музах и о лире.  
Но нет... Стихи мои, без вас нельзя мне жить,  
И дня без рифм, без стоп не можно проводить!  
К несчастью моему, мне надобно признаться,  
Стихи как женщины: нам с ними ли расстаться?..  
Когда не любят нас, хотим мы презирать,  
Но всё не престаем прекрасных обожать!

[1805]

\* \* \*

Безрифмина совет:  
Без жалости все сжечь мое стихотворенье!  
Быть так! Его ж, друзья, невинное творенье  
Своею смертью умрет!

[1805]

\* \* \*

Как трудно Бибрису со славою ужиться!  
Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтоб напиться!

[1809]

#### МАДРИГАЛ НОВОЙ САФЕ

Ты Сафо, я Фаон; об этом и не спорю:  
Но, к моему ты горю,  
Пути не знаешь к морю.

[1809]

#### МАДРИГАЛ МЕЛИНЕ, КОТОРАЯ НАЗЫВАЛА СЕБЯ НИМФОЮ

Ты нимфа, Ио; нет сомненья!  
Но только... после превращенья!

[1809]

#### КНИГИ И ЖУРНАЛИСТ

Крот мыши раз шепнул: «Подруга! ну зачем  
На пыльном чердаке своем  
Царапаешь, грызешь и книги раздираешь:  
Ты крошки в них ума и пользы не собираешь?» —  
— «Не об уме и хлопочу,  
Я есть хочу».

Не знаю, впрок ли то, но эта мышь уликой  
Тебе, обрызганный чернилами Арист,  
Зубами ты живешь, голодный журналист,  
Да нужды жить тебе не видим мы великой.

[1809]

ЭПИГРАММА  
НА ПЕРЕВОД ВЕРГИЛИЯ

Вдали от храма муз и рощей Геликона  
Феб мстительной рукой Сатира задавил\*.  
Воскрес урод и отомстил:  
Друзья, он душит Аполлона!

[1809]

ВИДЕНИЕ НА БРЕГАХ ЛЕТЫ

Ma muse sage et discrète sait de l'homme  
d'honneur distinguer le poète.  
*Boileau\*\**

Вчера, Бобровым утомленный,  
Я спал и видел чудный сон!  
Как будто светлый Аполлон,  
За что, не знаю, прогневленный,  
Поэтам нашим смерть изрек;  
Изрек — и все упали мертвы,  
Невинны Аполлона жертвы!  
Иной из них окончил век,  
Сидя на чердаке высоком  
В издранном шлафроке широком,  
Голоден, наг и утомлен  
Упрямой рифмой к светлу небу.  
Другой, в Цитеру пренесен,  
Красу, умильную, как Гебу,  
Хотел для нас насильно... петь  
И пал без чувств в конце эклоги;  
Везде, о милосерды боги!  
Везде пирует алчна смерть,  
Косою острой быстро машет,  
Богату ниву аду пашет  
И губит Фебовых детей,

---

\* Всем известна участь Марсия. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

\*\* Моя муза, благоразумная и скромная, умеет отличить поэта от честного человека. Буало (франц.).

Как ветер осенний злак полей!  
Меж тем в Элизии священном,  
Лавровым лесом осененном,  
Под шумом Касталийских вод,  
Певцов нечаянный приход  
Узнал почтенный Ломоносов,  
Херасков, честь и слава россов,  
Честолюбивый Фебов сын,  
Насмешник, грозный бич пороков,  
Замысловатый Сумароков  
И, Мельпомены друг, Княжнин.  
И ты сидел в толпе избранной,  
Стыдливо Грацией венчанный,  
Певец прелестных мечты,  
Между Психеи легкокрылой  
И бога нежной красоты;  
И ты там был, наездник хилый  
Строптивя девственниц седла,  
Трудолюбивый, как пчела,  
Отец стихов «Телемахида»,  
И ты, что сотворил обиды  
Венере девственной, Барков!  
И ты, о мой певец незлобный,  
Хемницер, в баснях бесподобный!—  
Все, словом, коих бог певцов  
Венчал бессмертия лучами,  
Сидели там олив в тени,  
Обнявшись с прежними врагами;  
Но спорили еще они  
О том, о сем — и не без шума  
(И в рае, думаю, у нас  
У всякого своя есть дума,  
Рассудок свой, и вкус, и глаз).  
Садились все за пир богатый,  
Как вдруг Маинин сын крылатый,  
Присланный вышним божеством,  
Сказал сидящим за столом:  
«Сюда, на берег тихой Леты,  
Бредут покойные поэты;  
Они в реке сей погрузят  
Себя и вместе юных чад.  
Здесь опыт будет правосудный:  
Стихи и проза безрассудны  
Потонут вмиг: так Феб судил!»—  
Сказал Эрмий — и силой крил  
От ада к небу воспарил.

«Ага! — Фонвизин молвил братьям, —  
Здесь будет встреча не по платьям.  
Но по заслугам и уму». —  
«Да много ли, — в ответ ему  
Шептал, смеясь, Сумароков, —  
Певцов найдется без пороков?  
Поглотит Леты всех струя,  
Поглотит всех, иль я не я!» —  
«Посмотрим, — продолжал вполгласа  
Поэт, проклятый от Парнаса, —  
Егда придут...» Но вот они,  
Подобно как в осенни дни  
Поблекши листья древесны,  
Что буря в долах разнесла, —  
Так теням сим не весть числа!  
Идут толпой в ущелья тесны,  
К реке забвения стихов,  
Идут под бременем трудов;  
Безгласны, бледны, приступают,  
Любезных чад своих купают...  
И более не зрят в волнах!  
Но тут Минос, певцам на страх,  
Старик угрюмый и курносый,  
Чинит жестокие вопросы:

«Кто ты, вещай?» — «Я тот поэт,  
По счастью очень плодовитый  
(Был тени маленькой ответ),  
Я тот, венками роз увитый  
Поэт-философ-педагог,  
Который задушил Вергилия,  
Алкею окоротил крылья.  
Я здесь, *сего бо хочет бог*  
*И долг священныя природы...*»\* —  
«Кто ж ты, болтун?» — «Я... Мерзляков!» —  
«Ступай и окунися в воды!» —  
«Иду... во мне вся мерзнет кровь...  
Душа всего... душа природы.  
Спаси, спаси меня, любовь!  
Авось...» — «Нет, нет, болтун несчастный,

---

\* Полустипшие, взятое из прекрасного сочинения Мерзлякова «Тень Кукова», которое никто не понимает. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

Довольно я с тобою вы!»\*—  
Сказал ему Эрот прекрасный,  
Который тут с Психеей был.  
«Ступай!» Нырнул,— и нет педанта.

«Кто ты?» — спросил допросчик тень,  
Несущу связку фолианта.  
«Увы, я целу ночь и день  
Писал, пишу и вечно буду  
Писать, всё прозой, без еров.  
Невинен я; на эту груду  
Смотри, здесь тысячи листов,  
Священной пылью покрытых,  
Печатью мелкою убитых  
И нет *ера* ни одного.  
Да, я!..» — «Скорей купать его!»

Но тут явились лица новы  
Из белокаменной Москвы.  
Какие странные обнови!  
От самых ног до головы  
Обшиты платья их листами,  
Где прозой детской и стихами  
Иной кладбище, мавзолей,  
Другой журнал души своей,  
Другой Меланию, Зюльмису,  
Глафиру, Хлою, Милитрису,  
Луну, Веспера, голубков,  
Баранов, кошек и котов\*\*  
Воспел в стихах своих унылых  
На всякий лад для женщин *милых*.  
(О, век железный!..) А оне  
Не только въяве, но во сне  
Поэтов не видали бедных.  
Из этих лиц уныло-бледных  
Один, причесанный в тупей,  
Поэт присяжный, князь вралей  
На суд явил творенья новы.

---

\* Г-н Мерзляков продолжал, как видно, *Душеньку*, если неудачно, то пространно. Амур у него на 40 страницах плачет. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

\*\* Свидетельствуюсь московскими журналами. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

«Кто ты?» — «Увы, я пастушок,  
 Вдыхатель, завсегда готовый;  
 Вот мой венок и посошок,  
 Вот мой букет цветов тафтяных,  
 Вот список всех красот упрямых,  
 Которыми дышал и жил,  
 Которым я насильно мил.  
 Вот мой Амур, моя Аглая»\*, —  
 Сказал и, тягостно зевая,  
 Спросонья в Лету поскользнул!  
 «Уф! я устал, подайте стул,  
 Позвольте мне, я очень славен.  
 Бессмертен я, пока забавен». —  
 «Кто ж ты?» — «Я Русский и поэт,  
 Бегом бегу, лечу за славой,  
 Мне враг чужой рассудок здравый.  
 Для Русских прав мой толк кривой,  
 И в том клянусь моей сумой». —  
 «Да кто же ты?» — «Жан-Жак я Русский,  
 Расин и Юнг, и Локк я Русский.  
 Три драмы русских сочинил  
 Для Русских; нет уж боле сил  
 Писать для Русских драмы слезны;  
 Труды мои все бесполезны!  
 Вина тому — разврат умов», —  
 Сказал — в реку! и был таков!  
 Тут Сафы русские печальны,  
 Как бабки наши повивальны,  
 Несли расплаканных детей.  
 Одна — прости бог эту даму! —  
 Несла уродливую драму,  
 Позор себе и для мужей,  
 У коих сочиняют жены.  
 «Вот мой Густав, герой влюбленный...» —  
 «Ага! — судья певиче сей, —  
 Названья этого довольно:  
 Сударыня! мне очень больно,  
 Что вы, забыв последний стыд,  
 Убили драмою Густава.  
 В реку, в реку!» О, жалкий вид!  
 О, тщетная поэтов слава!  
 Исчезла Сафа наших дней  
 С печальной драмою своей;

---

\* Аглая, несчастная Грация, вовсе не дева, а журн(ал) кн. Шаликова. (Прим. К. Н. Багюшкова.)



Потом и две другие дамы,  
На дам живые эпиграммы,  
Нырнули в глубь туманных вод.  
«Кто ты?» — «Я — виноносный гений.  
Поэмы три да сотню од,  
Где всюду ночь, где всюду тени,  
Где роща ржуща ружий ржот\*,  
Писал с заказа Глазунова  
Всегда на срок... Что вижу я?  
Здесь реет между вод ладья,  
А там в разрывах черна крова,  
Урания — душа сих сфер  
И все титаны ледовиты,  
Прозрачной мантией покрыты,  
Слезят!» — Иссякнул изувер  
От взора грозных Эгиды.

Один отец «Тилемахиды»  
Слова сии умел понять.  
На том берегу реки забвенья  
Стояли тени в изумление  
От речи сей: «Изволь купать  
Себя и всех своих уродов», —  
Сказал, не слушая доводов,  
Угрюмый ада судия.  
«Да всех поглотит вас струя!..»  
Но вдруг на адский берег дикий  
Призрак чудесный и великий  
В огромном дедовском возке  
Тихонько тянется к реке.  
Наместо клячей запряженны,  
Там люди в хомуты вложенны  
И тянут кое-как, гужом!  
За ним, как в осень трутни праздны,  
Крылатым в воздухе полком  
Летят толпою тени разны  
И там и сям. По слову «Стой!»  
Кивнула бледна тень главой  
И вышла с кашлем из повозки.  
«Кто ты? — спросил ее Минос. —  
И кто сии?» — На сей вопрос:  
«Мы все с Невы поэты росски», —

---

\* Этот стих слово в слово г. Боброва, я ничего не хочу присваивать. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

Сказала тень. «Но кто сии  
Несчастливы, в клячей превращенны?» —  
«Сочлены юные мои,  
Любовью к славе вдохновенны,  
Они Пожарского поют  
И *тянут* старца Гермогена;  
Их мысль на небеса вперенна,  
Слова ж из Библии берут;  
Стихи их хоть немножко жестки,  
Но истинно варяго-росски». —  
«Да кто ты сам?» — «Я также *член*;  
Кургановым писать учен;  
Известен стал не пустяками,  
Терпеньем, потом и трудами;  
Аз есмь зело *Славенофил*», —  
Сказал и пролог растворил.

При слове сем в блаженной сени  
Поэтов приподнялись тени;  
Певец любовныя езды  
Ослабил взор *усмешкой блудной*\*  
И рек: «О муж, умом не скудный!  
Обретший редки красоты  
И смысл в моей «Деидамии»,  
Се ты! се ты!..» — «Слова пустые», —  
Угрюмый судия сказал  
И в реку путь им показал.  
К реке все двинулись толпою,  
Ныряли всячески в водах;  
Тот книжку потопил в струях,  
Тот целу книжицу с собою.  
Один, один *Славенофил*,  
И то повыбившись из сил,  
За всю трудов своих громаду,  
За твердый ум и за дела  
Вкусил бессмертия награду.  
Тут тень к Миносу подошла  
Неряхой и в наряде странном,  
В широком шлафроке издранном,  
В пуху, с нечёсаной главой,  
С салфеткой, с книгой под рукой.  
«Меня врасплох, — она сказала, —  
В обед нарочно смерть застала,

---

\* В «Езде на остров любви» истолкована *блудная усмешка*. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

Но с вами я опять готов  
Еще хоть сызнава отведать  
Вина и адских пирогов:  
Теперь же час, друзья, обедать,  
Я — вам знакомый, я — Крылов!»\*  
«Крылов, Крылов», — в одно вскричало  
Собрание шумное духов,  
И эхо гулко повторяло  
Под сводом адским: «Здесь Крылов!»  
«Садись сюда, приятель милый!  
Здоров ли ты?» — «И так и сяк».  
«Ну, что ж ты делал?» — «Всё пустяк —  
Тянул тихонько век унылый,  
Пил, сладко ел, а боле спал.  
Ну, вот, Минос, мои творенья,  
С собой я очень мало взял:  
Комедии, стихотворенья  
Да басни, — всё купай, купай!»  
О, чудо! — всплыли все, и вскоре  
Крылов, забыв житейско горе,  
Пошел обедать прямо в рай.

Еще продлилось сновиденье,  
Но ваше длится ли терпенье  
Дослушать до конца его?  
Болтать, друзья, неосторожно —  
Другого и обидеть можно.  
А боже упаси того!

[1809]

## ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ

«О хлеб-соль русская! о прадед Филарет!  
О милые останки,  
Упрямство дедушки и ферези прабабки!  
Без вас спасенья нет!  
А вы, а вы забыты нами!» —  
Вчера горланил Фирс с гостями  
И, сидя у меня за лакомым столом,

---

\* Он познакомился с духами через «Почту». (Прим. К. Н. Батюшкова.)

В восторге пламенном, как истый витязь русский,  
Съел соус, съел другой, а там сальмис французский,  
А там шампанского хлебнул с бутылку он,  
А там... подвинул стул и сел играть в бостон.

[1810]

### НА ПЕРЕВОД «ГЕНРИАДЫ», ИЛИ ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОЛЬТЕРА

«Что это! — говорил Плутон, —  
Остановился Флегетон,  
Мегера, Фурии и Цербер онемели,  
Внимая пенью твоему,  
Певец бессмертный Габриели?  
Умолкни!.. Но сему  
Безбожнику в награду  
Пойдем страшных мук, ужасных даже аду,  
Соделаем его  
Гнуснее самого  
Сизифа злого!»  
Сказал и превратил — о ужас! — в Осяжкова.

[1810]

### СОВЕТ ЭПИЧЕСКОМУ СТИХОТВОРЦУ

Какое хочешь имя дай  
Твоей поэме полудикой:  
Петр длинный, Петр большой, но только Петр Великой —  
Ее не называй.

[1810]

### НА ПОЭМЫ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ

Не странен ли судеб устав!  
Певцы Петра — несчастья жертвы:  
Наш Пиндар кончил жизнь, поэмы не скончав,  
Другие живы все, но их поэмы мертвы!

[1811]

\* \* \*

Всегдашний гость, мучитель мой,  
О Балдус! долго ль мне зевать, дремать с тобой?  
Будь крошечку умней или — дай жить в покое!  
Когда жестокий рок сведет тебя со мной —  
Я не один и нас не двое.

[1812]

## ПЕВЕЦ В БЕСЕДЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА

### П е в е ц

Друзья! все гости по домам!  
От чтенья охмелели!  
Конец и прозе, и стихам  
До будущей недели!  
Мы здесь одни!.. Что делать? Пить  
Вино из полной чаши!  
Давайте взапуски хвалить  
Славянски оды наши.

### С о т р у д н и к и

Мы здесь одни!.. Что делать? Пить (*и проч.*)

### П е в е ц

Сей кубок чадам древних лет!  
Вам слава, наши деды!  
Друзья! Почто покойных нет  
Певцов среди «Беседы»!  
Их вирши сгнили в кладовых  
Иль съедены мышами,  
Иль продают на рынке в них  
Салакушку с сельдями.  
Но дух отцов воскрес в сынах,  
Мы все для славы дышим,  
Давно здесь в прозе и стихах,  
Как Тредьяковский, пишем.

## Сотрудники

Но дух отцов воскрес в сынах (*и проч.*)

### Певец

Чья тень парит под потолком  
Над нашими главами?  
За ней, пред ней... о страх! — кругом  
Поэты со стихами!  
Се Тредьяковский в парике  
Засаленном, с кудрями,  
С «Тилемахидою» в руке,  
С Ролленем за плечами!  
Почто на нас, о муж седой!  
Вперил ты грозны очи?  
Мы все клялись, клялись тобой  
С утра до полуночи  
Писать, как ты, тебе служить;  
Мы все с рассудком в споре,  
Для славы будем жить и пить,  
Нам по колено море!  
Нашьемся пьяны музе в дань,  
Так пили наши деды!  
Рассудку — гибель, вкусу — брань,  
Хвала, сыны «Беседы»!  
Пусть Ломоносов был умен,  
И нас еще умнее;  
За пьянство стал бессмертен он,  
А мы его пьянее.

## Сотрудники

Для славы будем жить и пить.  
Врагу беда и горе!  
Почто рассудок нам щадить?  
Нам по колено море.

### Певец

Друзья! большой бокал отцов  
За лавку Глазунова!  
Там царство вечное стихов  
Шихматова лихого,  
Родного крова милый свет,  
Знакомые подвалы,  
Златые игры прежних лет —  
Невинны мадригалы!  
Что вашу прелесть заменит?

О лавка дорогая!  
Какое сердце не дрожит,  
Тебя благославляя?

С о т р у д н и к и

Что вашу прелесть заменит (*и проч.*)

П е в е ц

Там все знакомо для певцов,  
Там наши дети милы,  
Кладбище мирное стихов,  
Бумажные могилы,  
Там царство тленья и мышей,  
Там Николев почтенный,  
И древний прах календарей,  
И прах газет священный.  
Да здравствует «Беседы» царь!  
Цвети твоя держава!  
Бумажный трон твой — наш алтарь,  
Пред ним обет наш — слава!  
Не изменим: мы от отцов  
Прияли глупость с кровью;  
Сумбур! здесь сонм твоих сынов,  
К тебе горим любовью!  
Наш каждый писарь — славянин,  
Галиматьею дышит,  
Бежит, предатель сих дружин,  
И галлицизмы пишет!

С о т р у д н и к и

Наш каждый писарь — славянин (*и проч.*)

П е в е ц

Тот наш, кто каждый день кадит  
И нам молебны служит;  
Пусть публика его бранит,  
Но он о том не тужит!  
За нас стоит гора горой,  
В «Беседе» не зевает.  
Прямой сотрудник, брат прямой  
И в брани помогает!  
Хвала тебе, Славенофил,  
О муж неукротимой!  
Ты здесь рассудок победил  
Рукой неутомимой.

О, сколь с наморщенным челом  
В «Беседе» он прекрасен,  
И сколь он хладен пред столом  
И критикам ужасен!  
Упрямство в нем старинных лет,  
Хвала седому деду!  
Друзья! он, он родил на свет  
Славянскую «Беседу»!

Сотрудники

Он нас, сироток, воскормил!

Потемкин

Меня читать он учит.

Жихарев

Моих он «Бардов» похвалил!

Шихматов

Меня в Пиндары кручит.

Певец

Хвала тебе, о дед седой!  
Хвала и многи лета!  
Ошую пусть сидит с тобой  
Осьмое чудо света,  
Твой сын, наперсник и клевет —  
Шихматов безглагольный,  
Как ты, славян краса и цвет,  
Как ты, собой довольный!  
Хвала тебе, о Шаховской,  
Холодных шуб родитель!  
Отец талантов, муж прямой,  
Ежовой покровитель!  
Телец, упитанный у нас,  
О ты, болван болванов!  
Хвала тебе, хвала сто раз,  
Раздутый Карабанов!  
Хвала, читателей тиран,  
Хвостов неистоцимый!  
Стихи твои — наш барабан,  
Для слуха нестерпимый;  
Везде с стихами ты готов,  
Везде ты волком рыщешь,  
Пускаешь притчу в тыл врагов,  
Стихами в уши свищешь;



Лишь за поэму — прочь идут,  
За оду — засыпают,  
Ты за посланье — все бегут  
И уши затыкают.  
Хвала, псаломщик наш, старик,  
Захаров-преложитель!  
Ревет он так, как волк иль бык,  
Лугов пустынных житель;  
Хвала тебе, протяжный Львов,  
Ковач речений смелый!  
И Палицын, гроза певцов,  
В Поповке поседелый!  
Хвала, наш пасмурный Гервей,  
Обруганный Станевич,  
И с польской музыкой своей  
Холуй Анастасевич!  
Друзья, сей полный ковш пивной  
За здравье Соколова!  
Он, право, чтец у нас лихой  
И создан для Хвостова.  
В его устах стихи ревут,  
Как волны в уши плещут;  
От грома их невольно тут  
Все барыни трепещут;  
Хвала, беседы сей дьячок,  
Бездушный Политковской!  
Жует, гнусит и вдруг стишок  
Родит славянорусской.

.....  
.....

Их груди каменной хвала!  
Хвала скуле железной!

#### Сотрудники

.....  
.....

Их груди каменной хвала!  
Хвала скуле железной!  
Но месть тому, кто нас бранит  
И пишет эпиграммы,  
Кто пишет так, как говорит,  
Кого читают дамы.

#### Певец

Сей кубок мщенью! Други! в строй!  
И мигом — перья в длани!

Сразить иль пасть — наш роковой  
Обет в чернильной брани.  
Вотще свои, о Карамзин,  
Ты издал сочиненья:  
Я, я на Пинде властелин  
И жажду лишь отмщенья!  
Нет логики у нас в домах,  
Грамматик не бывало;  
Мы пролог в руки — гибни, враг,  
С твоей дружиной вялой!  
Отведай, дерзкий, что сильней —  
Рассудок или мщенье;  
Пришлец! мы в родине своей  
За глупых — провиденье!  
Друзья! прощанью сей стакан.  
Уж свечи погасили,  
Пробили зорю в барабан,  
К заутрени звонили;  
Пора домой, пора ко сну:  
От хмеля я шатаюсь.

#### Х в о с т о в

Дай, басню я прочту одну  
И после распрощаюсь.

#### В с е

Ах! нет, друзья, домой, домой!  
Чу... петухи пропели.  
Прощай, Шишков, наш дед седой,  
Прощай, мы охмелели —  
И ты нас в путь благослови.  
А вы, друзья, — лобзанья!  
В завет и новья любви,  
И нового свиданья.

[1813]

### НОВЫЙ РОД СМЕРТИ

За чашей пуншевой в политику с друзьями  
Пустился Бавий наш, присяжный стихотвор.  
Одомаратели все сделались судьями,  
И каждый прокричал свой умный приговор,

Как ныне водится, Наполеону:  
— «Сорвем с него корону!»  
— «Повесим!» — «Нет, сожжем!»  
— «Нет, это жестоко... в Каэну отвезем  
И медленным отравим ядом».  
— «Очнется!» — «Как же быть?» — «Пускай истаёт  
гладом!»  
— «От жажды!..» — «Нет!» — вскричал насмешливый  
Филон, —  
Нет! с большей лютостью дни изверга скончайте!  
На Эльбе виршами до смерти зачитайте,  
Ручаюсь: с двух стихов у вас зачахнет он!»

[1814]

НА КНИГУ  
ПОД НАЗВАНИЕМ «СМЕСЬ»

По чести, это *смесь*:  
Тут проза, и стихи, и авторская спесь.

[1817]

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ  
ГРАФА БУКСГЕВДЕНА,  
ШВЕДСКОГО И ФИНСКОГО

*Та же надпись к образу  
графа Хвостова-Суворова*

Премудро создан я, могу на свет сослаться:  
Могу чихнуть, могу зевнуть;  
Я просыпаюсь, чтоб заснуть,  
И сплю, чтоб вечно просыпаться.

*14-го мая 1853 года.  
Вологда, Вологодская удельная контора,  
квартира г. Гревенса*

ОБ ИСКУССТВЕ ПИСАТЬ

*Почерпнуто из Бюффона*

Во все времена находились люди, которые умели властвовать над другими силою слова, но в одни только просвещенные века хорошо говорили и писали. Истинное красноречие неразлучно с образованием гения и разума. Оно различествует от сей природной способности изъясняться, которая не что иное есть, как дарование, качество, свойственное тем людям, которых страсти сильны, органы гибки и воображение быстро. Сии люди чувствуют живо, живо поражаются предметам и сильно оное изъясляют; они механически передают другим восторг свой и страсти. Это тело, говорящее телу: все движения, все знаки к тому споспешествуют. Что нужно для увлечения толпы? Что нужно для убеждения большей части людей? Страстный и пылкий тон, частые выразительные мановения, слова быстрые и громкие. Но для малого числа образованных, рассудительных слушателей, у которых вкус нежен и чувства верны, которые мало уважают голос, мановения и тщетный звук слов — для тех нужны мысли и доводы, которые надобно уметь представить, оттенить, расположить. Уметь поражать слух — не довольно; должно уметь действовать над душой, уметь тронуть сердце, говоря с рассудком.

Слог есть расположение и действие, в которое мы приводим свои мысли. Если мы их стесним, то и слог делается силен и краток. Если мы их распустим, а свяжем одними словами, хотя и благозвучными, то слог будет растянут, вял и мертв.

Но прежде отыскания порядка, в котором представим мысли свои, мы должны изобрести оный в обширнейшем виде. Он предполагает первые обозрения, первые идеи. Назначь их место на первом плане, и предмет твой будет окружен, и ты познаешь его меру и пространство. Не выпускай из виду сии первые границы, и познаешь верные расстояния, разделяющие побочные и средние

идеи, долженствующие оные наполнить. Сила гения представит тебе все общие и частные идеи с истинной точки зрения, тонкость рассуждения заставит тебя отличить мысли бесплодные от мыслей обильных; чрез рассудительность — которая приобретаетя от большого упражнения в искусстве писать — ты предузнаешь плоды ума твоего. Если предмет и обширен, и многосложен, то редко можно обнять его одним взглядом или проникнуть в первых усилиях ума, даже и по частом рассуждении редко, очень редко можно угадать все отношения. Итак, им должно заниматься ежечасно! Вот единственный способ усилить, распространить, возвысить мысли свои. Чем более им дают силы и тела размышлением, тем более оживают впоследствии выражения.

План сей не есть ещё слог, но есть его основа. Он поддерживает, направляет его действия; он дает ему законы — без сего лучший писатель блуждает. Перо его идет без путеводителя и почерпывает беспорядочные, несогласные между собою фигуры. Пусть краски его будут живы, части исполнены красот, но целое не явственно, а потому похоже на неоконченное здание. Мы будем удивляться силе разума сочинителя, а усомнимся в даровании. Потому-то те, которые пишут, как говорят, хотя б и говорили хорошо, пишут дурно. По сей же причине те, которые отдаются на произвол первому огню воображения, принимают тон, который впоследствии трудно выдержать. Те, которые боятся потерять частные мимоходящие мысли и которые в различные времена пишут отрывками, не могут их впоследствии тесно соединить между собою по причине великих промежутков, одним словом, по сей причине так много творений составных и так мало отлитых в один раз.

Всякий предмет имеет единство и, несмотря на обширность свою, может быть заключен в единой речи. Препинания, отдыхи, отсечения должны употребляться в предметах, различных между собою, или когда мы говорим о предметах важных, затруднительных, несообразных (*disparates*); тогда ход гения преткновен обилием предметов и прерван обстоятельствами: иначе великое число разделений не токмо не сплотит здания, но разрушит его единство. Книга сделается яснее, но намерение творца покроется темнотою. Творец не может действовать иначе на разум читателя, как последовательным развитием нити, согласным отношением мыслей; развитием постепенным, восхождением мерным, которое всякое преткновение разрушает или ослабляет.

Зачем творения природы столь совершенны? — Потому что всякое творение составляет нечто целое, ибо она трудится по плану вечному, от которого никогда не уклоняется. Она в безмолвии приготовляет семена своих произведений, она предначертывает единожды первобытный образ всякого живого творения, она заставляет продумать, усовершенствует беспрестан-

ным действием в течение предписанного времени. Ее творения удивляют нас, но что причиняет это чувство?— Печать божественной творческой руки! Разум человеческий ничего создать не может; его плодотворность зависит от опыта и глубокого размышления. Его познания суть имена его произведений. Но если он будет подражать природе в ее ходе, в ее трудах, если он созерцанием оной возвысится к истинам небесным, если он их соединит, образует нечто целое, приведет их в систему силою размышления — тогда только основать может на подобных седищах вечные памятники.

Ежели умный человек не знает, как и чем начать свое сочинение, то это происходит оттого, что он не предначертал плана и не обдумал своего предмета. Ему вдруг представляется тьма мыслей, и предпочесть одну другой не может, ибо он их ниже сравнил одну с другою, ниже поработил размышлению — и сомнение им обладало! Но если он сочинит план, если единожды соберет и приведет в порядок мысли свои, то легко почувствует минуту, в которую должен будет взяться за перо; он поспешит дать ей жизнь, он даже будет писать с чувством сердечного удовольствия: мысли будут постепенно следовать одна за другою.

[1805?]

## МЫСЛИ

Молчание есть украшение и щит юности.

Скупые на похвалу доказывают, что они небогаты достоинствами.

Путешественник имеет много хозяев и мало друзей.

Не делай ничего такого, чего б не должен был знать твой неприятель.

Если хочешь взвесить услугу и обиду, то отними весу у одной, прибавь отнятое к другой — и будешь справедлив.

Что есть благодарность?— Память сердца.

Добродетель идет мимо счастья и злополучия, на то и на другое бросая презрительные взоры.

Боги, даруйте мне мудрость, остальное все — вам!

Философия господствует над протекшим и будущим: настоящее бивает ее.

Любовь стареется, почтение также.

Великие люди предпринимают великие дела, потому что они велики, а дураки — потому, что считают их безделками.

Великие мысли истекают из сердца.

Кондильяк говорит, что чтение стихотворцев образует лучше способность мыслить верно, нежели чтение философов: в трагедиях Расиновых более логики, нежели в Сенеке, и проч.

[1810]

## ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАМОК СИРЕИ

*Письмо из Франции к г. Д(ашкову)*

Из деревни Болонь, лежащей близ города Шомона, я поскакал верхом в Сонкур, где ожидали меня б(арон) де Д(амас) и г. П(исарев), с которыми накануне уговорился я посетить замок Сирей и поклониться теням Вольтера и его приятельницы. В окрестностях Сирея назначены были квартиры нашему отряду; полки тянулись по дороге, и мы их опередили в ближнем селении. Сначала погода нам вовсе не благоприятствовала: холодный и резкий ветер наносил снег и дождь; наконец небо прояснилось, и солнце осветило прекрасные долины, рощи и горы. Мы проехали чрез местечко Виньори, где заметили развалины весьма древнего замка на высоком утесе, который господствует над селением и близлежащими долинами.

Ein bethürmtes Schloss, voll Majestät,  
Auf des Berges Felsenstirn erhöht!\*

«Кому принадлежит этот замок?» — спросил я у старика, сидящего на пороге сельского домика, тесно примыкающего к развалинам. «Какой-то старой дворянке», — отвечал он, приподняв красный колпак, старый, изношенный и который, конечно, играл большую роль в бурные годы революции. Это замечание я сделал мимоходом и продолжал вопросы: «Когда построен замок?» — «Во время шампанских графов, сказывал мне покойный дед\*\*». Храбрые рыцари искали здесь убежища от народных

\* Многобашенный замок, полный величия,

Подымается на скалистом склоне горы (нем.).

\*\* Французы и теперь мало заботятся о древних памятниках. Развалины, временем сделанные, — ничего в сравнении с опустошениями революции; бурные времена прошли, но невежество или корыстолюбие самое варварское пережили и революцию. Один путешественник, который недавно объехал всю полуденную Францию, уверял меня, что целые замки продаются на своз и таким образом вдруг уничтожаются драгоценные исторические памятники. Напрасно правительство хотело остановить сии святотатства; ничто не помогало, ибо для нынешних фран-

возмущений и укрепили замок башнями, рвами, палисадами. Время и революция все разрушили. Здесь не одна была революция, господин офицер! не одна революция! Я на веку моем пережил одну; тяжелые времена... не лучше нынешних. Посадили дерево вольности... я сам имел честь садить его, вот там, на зеленом лугу... Разорили храмы божии... у меня рука не поднималась на злое!.. Но чем же это все кончилось? Дерево срубили, а надписи на паперти церковной: *вольность, братство или смерть* — мелом забелили. Чего я не посмотрелся в жизни? и неприятелей на родине моей увидел, и с офицером *козачьим* теперь разговариваю! Чудеса! По совести чудеса!» — «Ты разорился от войны, добрый старичок?» — «Много пострадал, а бедные соседи еще более. Мы все желаем мира». — «О! мы знаем это: но император ваш не желает». — «Прямой корсиканец! Знаете ли, что он объявил нам?» Здесь старик покачал головою, посмотрел на меня пристально, и — конечно, от робости — заикнулся. «Говори, говори!» — «Охотно, если прикажете. Император... — это было сказано важным и торжественным голосом, — император объявил нам, что он не хочет трактовать о мире с пленными; ибо он почитает вас в плену. Он нарочно завел вас сюда, чтобы истребить до последнего человека: это была военная хитрость, понимаете ли? военная хитрость, не что иное... Но вы смеетесь... и нам это смешно показалось, так смешно, что мы префекта, приехавшего сюда с этим объявлением, камнями и грязью закидали. *Il s'en souviendra!*\*... Но вам пора догонять товарищей. Добрый путь, господин офицер!»

Размышляя о странном характере французов, которые смеются и плачут, режут ближних, как разбойники, и дают себя резать, как агнцы, я догнал моих товарищей.

Час от часу дорога становилась приятнее: холмы, одетые виноградником и плодоносными деревьями, между коими мелькали приятные сельские домики, напоминали нам Саксонию, благословенные долины Дрездена, места очаровательные! Разговаривая с товарищами и любуясь красотой видов, мы неприметно проехали несколько миль; каждый замок, каждое местечко мы принимали за Сирей и смеялись своей ошибке. Наконец, по-

---

цузов ничего нет ни священного, ни святого — кроме денег, разумеется. Какая разница с немцами! В Германии вы узнаете от крестьянина множество исторических подробностей о малейшем остатке древнего замка или готической церкви. Все рейнские развалины описаны с возможною историческою точностию учеными путешественниками и художниками, и сии описания вы нередко увидите в хижине рыбака или земледельца. Притом же немцы издавна любят все сохранять, а французы разрушать: верный знак, с одной стороны, доброго сердца, уважения к законам, к нравам и обычаям предков; а с другой стороны — легкомыслия, суетности и жестокого презрения ко всему, что не может насытить корыстолюбия, отца пороков. (Прим. К. Н. Балюшкова.)

\* Он об этом вспомнит! (франц.)



воротя вправо с большой дороги, вдоль по речке Блез, мы увидели жилище славной нимфы Сирейской, которой одно имя рождает столько приятных воспоминаний...

Во ста шагах от селения возвышается замок на высоком уступе; кругом — рощи и кустарники. Все просто, но природа все украсила.

К замку примыкает английский сад и несколько тенистых аллей, к которым никогда не прикасались ножницы, даже в те времена, когда безжалостный Ленотр остригал боскеты Версальские, когда последний провинциальный дворянин рассаживал по шнуру смиренные акации и овощи в своем огороде. Вольтер, говоря о замке Сирейском, описывая красоты его окрестностей — кажется, в письме к королю Прусскому, — прибавляет:

Trop d'art me révolte et m'ennuie:  
J'aime mieux ces vastes forêts!\*

Эти леса и поныне украшают Сирей своею дикостью. Замок сохранил древнюю наружность; можно отличить новые пристройки и балконы. Они принадлежат к Вольтерову времени. На крутой кровле (à la mansarde) я заметил некоторые украшения и высокие продолговатые трубы, обложенные лепными изображениями, похожие на трубы замка Port-sur-Seine, принадлежащего Летиции, матери Наполеона. Мы вошли в Сирей и удивились обширным залам, убранным в новейшем вкусе. Наружность того не обещала.

Замок принадлежит г-же де Семиан, женщине весьма умной, некогда прекрасной. Он был разграблен в революцию, и после того времени все строение возобновлено\*\*. К сожалению, мы нашли мало следов прежней собственности и ее славного друга, который, как говорит Лебрюн, *утомил стогласную Славу*.

В столовой несколько картин, изображающих зверей и охоту. Эта живопись, довольно приятная, существовала уже при маркизе, и мы смотрели на нее с большим удовольствием. Пройдя несколько покоев, в правом флигеле замка нам открыли дверь в залу Вольтеру.

Здесь мы нашли большой мраморный камин, тот самый, который согревал Вольтера; несколько новых мебели: клавесин, маленький орган и два комода. Окны до полу. Две круглые стеклянные двери в сад; одна из них украшена надписями, на камне высеченными. На фронте мы прочитали Вергилиев стих: Deus

\* Избыток искусства меня возмущает и надоедает мне:  
Я предпочитаю эти обширные леса (франц.).

\*\* По отступлении русских Сирей был снова разграблен французами за то именно, что русские варвары его пощадили! (Прим. К. Н. Багюшкова.)

nobis haec otia fecit\* из первой эклоги; на косяке несколько стихов из Попе, которого Вольтер всегда любил, и наконец:

Azile des beaux arts, solitude où mon coeur  
Est toujours occupé dans une paix profonde,  
C'est vous qui donnez le bonheur,  
Que promettait en vain le monde\*\*—

стихи, написанные Вольтером в счастливую минуту наслаждения душевного, в глазах божественной Эмилии, единственной женщины, которую он любил наравне со славою, которой он был обязан всем и которая достойно гордилась дружбою творца Заиры\*\*\*. Из окон сей залы видны ближние деревни и два ряда холмов, заключающих прелестную долину, по которой извивается речка Блез. В глубоком молчании и я, и товарищи долго любовались приятным видом отдаленных гор, на которых потухали лучи вечернего солнца. Может быть, совершенная тишина, царствующая вокруг замка, печальное спокойствие зимнего вечера, зелень, кое-где одетая снегом, высокие сосны и древние кедры, осеняющие балкон густыми наклоненными ветвями и едва колеблемые дыханием вечернего ветра, наконец, сладкие воспоминания о жителях Сирея, которых имена принадлежат истории, которых имена от детства нам были драгоценны,—погрузили нас в тихую задумчивость.

«Здесь фернейский мудрец,— так воскликнул г. Р-н, житель Сирея, прервав наше молчание,— здесь славнейший муж своего века, чудесный, единственный, который, как говорят, вырезывал на меди для потомства\*\*\*\*, который все знал, все сказал\*\*\*\*\*, который имел доброе, редкое сердце, ум гибкий, обширный, блестящий, способный на все, и, наконец, характер вовсе не сообразный ни с умом его, ни с сердцем,— здесь он жил, сей Протей ума человеческого; здесь во цвете лет своих наслаждался он уединением и свободой, которым знал цену, и долго не покидал их для *коронованной сирены*, для рукоплесканий и для прихожей г-жи Помпадур. Станный человек! Он многое предвидел, многое предска-

---

\* Бог нам предоставил этот досуг (лат.).

\*\* Убежище искусств, одиночество, где мое сердце  
Всегда занято в глубоком покое,  
Это вы даете счастье,  
Которое напрасно обещает свет (франц.).

\*\*\* Напрасно мы искали в саду мраморного Амура, который некогда стоял под балконом, с надписью из Антологии: «Qui que tu sois, voici ton maitre» [Кто бы ни был ты, вот твой властелин (франц.)] и проч., которую перевел г. Дмитриев:

Кто бы ни был ты, пади пред ним:

Был, есть иль будет он владыкою твоим! (Прим. К. Н. Батюшкова.)

\*\*\*\* Qui gravait pour la postérité — выражение Паллисота, если не ошибаюсь. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

\*\*\*\*\* Qui a tout dit — Шагобриан, говоря о Вольтере. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

зал в политике; но мог ли он предвидеть, что несколько десятков лет спустя вы придете в замок Эмилии с оружием в руках, с толпою жителей берегов Волги и людей, пиющих воды сибирские; и что там, где маркиза прекрасною рукою поливала мак, розы и лилеи, кормила голубей ячменем,— вот у этой самой голубятни,— что там, где она любила отдыхать под тенью древних кедров, у входа в *Заурину* аллею\*, где Вольтер у ног ее в восторге читал первые стихи бессмертной трагедии и искал похвал и одобрения в голубых глазах своей Урании, в божественной ее улыбке, там, милостивые государи, там вы расставите часовых с ужасными усами, гренадер и козаков, которые приводят в трепет всю Францию?..» Мы засмеялись словам г. Р-на, и он продолжал, понизив немного свой голос:

«Здесь долгое время был счастлив Вольтер в объятиях муз и попечительной дружбы. Там, где я обитаю, земной рай,— писал он к приятелю своему Терио. Немудрено! Представьте себе лучшее общество, ученейших людей во Франции, придворных, остроумных поэтов — таких, например, как С. Ламбер, который умел соединять любезность с глубокими сведениями, философию с людскостию; и в кругу таких людей — маркизу, которая умела все одушевить своим присутствием, всему давала неизъяснимую прелесть: и вы будете иметь понятие о земном рае Вольтера. «Она чудо во Франции!— говорил Вольтер\*\*. — Ум необыкновенный, лице прекрасное, душа ангела, откровенность ребенка и ученость глубокая — все было очаровательно в этой волшебнице! Она, вопреки г-же Жанлис, вопреки журналисту Жоффруа и всем врагам философии, была достойна и пламенной любви С. Ламбера, и дружбы Вольтера, и славы века своего. Здесь маркиза кончила жизнь свою, на лоне дружества. Все жители плакали о ней, как о нежной, попечительной матери. У бедных память в сердце: они еще благословляли прах ее, когда литераторы наши начали возмущать его спокойствие клеветами и постыдными ругательствами. Но Вольтер был неутешен. Вы помните его письмо, в котором он из Бар-Сюр-Оба уведомляет о болезни и потом о смерти маркизы. Беспорядок этого письма доказывал его глубокую горечь. И мог ли он не сожалеть об утрате единственной женщины, о которой и вы — иностранцы, неприятели — говорите с любовию, с уважением!»

---

\* И до сих пор одна аллея называется *Зауриною*. Там сочинял Вольтер свою трагедию. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

\*\* «Madame du Châtelet sera comptée au rang des choses qu'il faut voir en France, parmi celles, qu'on y regrettera toujours». [«Мадам дю Шатле будет причислена к разряду вещей, которые надо видеть во Франции, среди тех, о которых будут всегда сожалеть» (франц.)], — писал Вольтер Кайзерлингу. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

Наш учтивый путеводитель продолжал бы более речь свою, если бы не позвали к обеду.

Столовая была украшена русскими знаменами... Но мы утешили пугливые тени сирейской нимфы и ее друга, прочитав несколько стихов из «Альзиры».

Таким образом примирились мы с Пенатами замка и с некоторою гордостью, простительною воинам, в тех покоях, где Вольтер написал лучшие свои стихи, мы читали с восхищением оды певца Фелицы и бессмертного Ломоносова, в которых вдохновенные лирики славят чудесное величие России, любовь к отечеству сынов ее и славу меча русского.

C'est du Nord à présent que nous vient la lumière\*  
От Севера теперь сияет свет наук.

Обед продолжался долго. Вечер застал нас, как героев древнего Омера, с чашею в руках и в сладких разговорах, основанных на откровенности сердечной, известных более добродушным воинам, нежели вам, жителям столицы и блестящего большого света.

Но мы еще воспользовались сумерками: обошли нижнее жилье замка, где живет г-жа де Семиян; осмотрели ее библиотеку, — прекрасный и строгий выбор лучших писателей, составляющих любимое чтение сей умной женщины, достойной племянницы г-жи дю Шатле: любезность, ум и красота наследственны в этом семействе. Есть другая библиотека в нижнем этаже; она, кажется, предоставлена гостям. Древнее собрание книг, важное по многим отношениям, совершенно расхищено в революцию. Вольтеровских книг и не было в замке со времени его отъезда; по смерти маркизы он увез с собою книги, ему принадлежавшие, и некоторые рукописи. «Надобно ехать в Ферней, — говорил г. Р-н, — там, может быть, найдутся сии драгоценности». — «Надобно ехать в Петербург, — заметил справедливо г. П<исарев>; — в Эрмитаже и рукописи, и библиотека фернейские».

Стужа увеличилась с наступлением ночи. В Вольтеровой галерее мы развели большой огонь, который не мог нас согреть совершенно. Перед нами на столе лежали все Вольтеровы сочинения, и мы читали с большим удовольствием некоторые места его переписки, в которых он говорит о г-же дю Шатле. В шуме военном приятно отдохнуть мыслями на предмете, столь любви достойном. Глубокая ночь застала нас в разговорах о протекшем веке, о великой Екатерине, лучшем его украшении, о ссоре короля прусского с своим камергером и проч., у того самого камина, на том самом месте, где Вольтер сочинял свои послания к славным современникам и те бессмертные стихи,

---

\* С Севера теперь к нам приходит свет (франц.).

для которых единственно простит его памяти справедливо раздраженное потомство. Г. П (исарев) был в восхищении. Наконец, надобно было расстаться и думать о постели. Мне отвели комнату в верхнем жиле, весьма покойную, но где с трудом можно было развести огонь. Старый ключник объявил мне, что в этом покое обыкновенно живет г. Монтескью, родственник хозяйки, весьма умный и благосклонный человек; и что он, ключник, радуется тому, что мне досталась его спальня. «Vous avez l'air d'un bon enfant, mon officier»\*, — продолжал он, дружелюбно ударив меня по плечу. Прекрасно; но от его *учтивостей* комната мне не показалась теплее. Во всю ночь я раскладывал огонь, проклинал французские каминные и только на рассвете заснул железным сном, позабыв и Вольтера, и маркизу, и войну, и всю Францию.

Проснувшись довольно поздно, подхожу к окну и с горестью смотрю на окрестность, покрытую снегом.

Я не могу изъяснить того чувства, с которым, стоя у окна, высчитывал я все перемены, случившиеся в замке. Сердце мое сжалось. Все, что было приятно моим взорам накануне, — и луга, и рощи, и речка, близ текущая по долине между веселых холмов, украшенных садами, виноградником и сельскими хижинами, — все нахмурилось, все уныло. Ветер шумит в кедровой роще, в темной аллее *Зауриной* и клубит сухие листья вокруг цветников, истоптанных лошадьми и обезображенных снегом и грязью. В замке, напротив того, тишина глубокая. В камине пылают два дубовых корня и приглашают меня к огню. На столе лежат письма Вольтеровы, из сего замка писанные. В них все напоминает о временах прошедших, о людях, которые все исчезли с лица земного с своими страстями, с предразсудками, с надеждами и с печальями, неразлучными спутницами бедного человечества. К чему столько шуму, столько беспокойства? К чему эта жажда славы и почестей? — спрашиваю себя и страшусь найти ответ в собственном моем сердце.

### *На другой день*

Вечеру я простился с товарищами, как будто предчувствуя, что их долго, долго не увижу. Печален

Come navigante  
Ch'a detto a dolci amici addio\*\*.

На дворе ожидал меня казак с верховою лошадыю. «*Поздно мы пустились в путь!*», — сказал он, как мертвец в балла-

\* «У вас вид доброго малого, мой офицер» (франц.).

\*\* Как мореплаватель, который сказал милым друзьям прости (итал.).

де. «Что нужды? — отвечал я, — дорога известна. Притом же...

Вот и месяц величавой  
Встал над тихою дубравой».

Топот конских ног раздался по мостовой обширного двора. Мы удалились от замка... Между тем ночь становилась темнее и темнее. С трудом находили мы дорогу, пробирались по высоким горам дремучим лесом в виду древнего замка Виньори, где австрийцы расположились биваками посреди лошадей и высоких фур в различных положениях, достойных кисти Орловского. Одни спокойно спали на соломе, которая начинала загораться; другие распевали тирольские и богемские песни вокруг пылающего пня, который осыпал их искрами при малейшем дуновении ветра; другие оборачивали вертел с большою частью барана, в ожидании товарищей, которые толпились вокруг маркитанта, разливающего им вино и водку. Одевание и лица их еще страшнее казались, освещенные пламенем бивака, и напоминали мне Валленштейнов лагерь, описанный Шиллером, или «Сбиров» Сальватора Розы. Из Виньори мы поворотили вправо по дороге, продолженной по лесу. Поднялась страшная буря: конь мой от страху останавливался, ибо вдали раздавался вой волков, на который собаки в ближних селениях отвечали протяжным лаем...

Вот, скажете вы, прекрасное предисловие к рыцарскому походу! Бога ради, сбейся с пути своего, избавь какую-нибудь красавицу от разбойников или заезжай в древний замок. Хозяин его, старый дворянин, роялист, если тебе угодно, примет тебя как странника, угостит в зале трубадуров, украшенной фамильными гербами, ржавыми панцирями, мечами и племями; хозяйка осыплет тебя ласками, станет расспрашивать о родине твоей, будет выхвалять дочь свою, прелестную, томную Агнессу, которая, потупив глаза, покраснеет, как роза, — а за десертом, в угождение родителям, запоет древний романс о древнем рыцаре, который в бурную ночь нашел пристанище у неверных... и проч., и проч., и проч. Напрасно, милый друг! Со мной ничего подобного не случилось. Не стану следовать похвальной привычке путешественников, не стану украшать истину вымыслами, а скажу просто, что, не желая ночевать на дороге с волками, я пришпорил моего коня и благополучно возвратился в деревню Болонь, откуда пишу эти строки в сладостной надежде, что они напомнят вам о странствующем приятеле. Сказан поход — вдали слышны выстрелы. Простите!

26 февраля, 1814

ПИСЬМО  
К И. М. М<УРАВЬЕВУ>-А <ПОСТОЛУ>

*О сочинениях г. Муравьева*

Перечитывая снова рукописи и сочинения М. Н. Муравьева (изданные по его кончине, Москва, 1810), я осмелился сделать несколько замечаний. Две причины были моим побуждением. Вам будет приятно, милостивый государь, беседовать со мною о незабвенном муже, которого утрата была столь горестна для сердца вашего. Все теснее и теснее связывало вас с покойным вашим родственником. Самая дружба питалась, возвеличивалась взаимною любовью к музам, единственным утешительницам сей бурной жизни. Она украсила дни цветущей молодости вашей и поздним летам приготовила сладостные воспоминания. Конечно, каждый стих, каждое слово Вергилия напоминает вам о незабвенном друге вашем; ибо с ним вы читали древних, с ним наслаждались прекрасными вымыслами чувствительного поэта Мантуи, глубоким смыслом и гармонией Горация, величественными картинами Тасса, Мильтона и неизъяснимою прелестью степеней Петрарка; одним словом, всеми сокровищами древней и новейшей словесности.

Вторую причину, побудившую меня говорить о сочинениях г. Муравьева, могу смело отнести на счет пользы общественной. В 1810 году г. Карамзин взял на себя приятный труд быть издателем оных, несмотря на важные свои занятия по части истории; ибо он любил в покойном авторе не одно искусство писать, соединенное с обширною ученостию, но душу, прекрасную его душу. Говоря о писателе в кратком предисловии, он заключает следующими словами: «Страсть его к учению равнялась в нем только со страстию к добродетели». Прекрасные слова и совершенно справедливые! Кто знал сего мужа в гражданской и семейственной его жизни, тот мог легко угадывать самые тайные помышления его души. Они клонились к пользе общественной, к любви изящного во всех родах и особенно к успехам отечественной словесности. Он любил отечество и славу его, как Цицерон любил Рим; он любил добродетель, как пламенный ее любовник, и всегда, во всех случаях жизни, остался верен своей благородной страсти.

После долгого отсутствия возвращаясь в отчизну и с новым удовольствием принимаясь за русские книги, я искал во всех журналах выгодного или строгого приговора сочинениям г. Муравьева. Четыре года прошло со времени их издания в свет, и никто, ни один из журналистов не упоминает об них\*. Чему

---

\* В прошлом 1813 году г. Гнедич упомянул о сочинениях г. Муравьева, говоря о лучших наших прозаических писателях в «Рассуждении о причинах,

приписать сие молчание? Лени господ редакторов и холодности читателей к книгам полезным, которых появление столь редко на горизонте нашей словесности. Некоторые из господ журналистов наших поставляют себе долгом говорить только о том, что подействовало на чернь нашей публики. Они захвалят по одному предубеждению юный, возникающий талант или в одном слове напишут ему страшный и несправедливый приговор. Их леность собирает плоды с одного невежества. К несчастью, они во многом похожи на наших актеров, которые, играя для партера, забывают, что в ложах присутствуют строгие судьи искусства.

Я пропущу другую причину хладнокровия и малого любопытства нашей публики к отечественным книгам. Они происходят от исключительной любви к французской словесности — и эта любовь неизлечима. Она выдержала все возможные испытания и времени и политических обстоятельств\*. Все было сказано на сей счет; все укоризны, все насмешки Талии и людей просвещенных... остались без пользы, без внимания. Но я твердо уверен, что есть благоразумные читатели, которые, желая находить в чтении приятность, соединенную с пользою, и будучи недовольны нашею литературою, столь бедною в некоторых отношениях, часто с горестию прибегают к иностранной. Такого рода люди — их число ограничено — радуются появлению хорошей книги и перечитывают ее с удовольствием. Для них я спешу сделать некоторые замечания на сочинения г. Муравьева вообще и напомянуть им о собственном их богатстве.

Собрание сих сочинений (изданных в Москве, 1810) составлено из отдельных пиэс, которые, как говорит г. Карамзин, были написаны автором для чтения великих князей. Он имел счастье

---

замедляющих успехи нашей словесности». Мы с удовольствием услышали, что его превосходительство г. попечитель Санкт-Петербургского учебного округа предписал чтение сочинений г. Муравьева в училищах сего округа. (*Прим. К. Н. Батюшкова.*)

\* Бурный и славный 1812 год миновался, и любовь к Отечеству, страсть благородная, не ослепляет нас на счет французской словесности. Просвещенный россиянин будет всегда уважать писателей Лудовикова века: не Север есть родина Омеров. Наши воины, спасители Европы от нового Аттилы, потушили пламенный брани в отечестве Расина и Мольера и на другой день по вступлении в Париж, к общему удивлению его жителей, рукоплескали величественным стихам французской Мельпомены на собственном ее театре. *Но исключительная страсть к какой-либо словесности может быть вредна успехам просвещения.* Истина, неоспоримая, которую г. Уваров, в письме к г. Капнисту, изложил столь блестящим образом: «Без основательных познаний и долговременных трудов в древней словесности, — говорит почтенный защитник Омера и экзаметров, — никакая новейшая существовать не может; без тесного знакомства с другими новейшими мы не в состоянии объять все поле человеческого ума, обширное и блистательное поле, на котором все предубеждения должны бы умирать и все ненависти гаснуть». (*Прим. К. Н. Батюшкова.*)



преподавать им наставления в российском языке, в нравственности и словесности\*.

Желая начертать в юной памяти исторические лица знаменитых мужей, а особливо великих князей и царей русских, автор, подобно Фонтенелю, заставляет разговаривать их тени в царстве мертвых. Но французский писатель гонялся единственно за остроумием: действующие лица в его разговорах разрешают какую-нибудь истину блестящими словами; они, кажется нам, любят сами тем, что сказали. Под пером Фонтенеля нередко древние герои преобразуются в придворных Лудовикового времени и напоминают нам живо учтивых пастухов того же автора, которым недостает парика, манжет и красных каблучков, чтобы шаркать в королевской передней, как замечает Вольтер — не помню в котором месте. Здесь совершенно тому противное: всякое лицо говорит приличным ему языком, и автор знакомит нас, как будто невольню, с Руриком, с Карлом Великим, с Кантемиром, с Горацием и пр. Он, как Фонтенель, разрешает в маленькой драме своей какую-нибудь истину, или политическую или нравственную; но жертвует ей ничтожными выгодами остроумия, и, если смею сказать, скрывается за действующее лицо. Например, желая сказать, что истинное богопочитание неразлучно с человеколюбием, он заставляет разговаривать Игоря и Ольгу, которая была жестокою по добродетели и действовала по ложным понятиям воспитания и народных нравов. В другом разговоре он выводит на сцену Карла Великого и Владимира, имея в виду следующее предложение: «Слава добрых государей никогда не погибает, и беспристрастный глас истории, отделяя от них некоторые легкие несовершенства человечества, представляет добродетели их для подражания потомству». И так далее.

Сии разговоры и письма обитателя предместия могут заменить в руках наставников лучшие произведения иностранных писателей. В них моральные истины изложены с такою ясностью, с таким добродушием, облечены в столь приятные формы слога, что самая разборчивая критика увенчает их похвалами. Нас лучше удостоверят примеры. Возьмем их наудачу из писем. Сочинитель, удаленный от городского шума, в приятном сельском убежище — «на берегах светлого ручья, по которым разбросано несколько кустов орешника» — пишет к своему приятелю о различных предметах, его окружающих; веселится сельскими картинами, мирным счастьем полей и человеком, обитающим посреди чудес первобытной природы. Часто облако задумчивости осеняет его душу; часто углубляется он в самого себя и извлекает истины, всегда утешительные, из собственного своего сердца.

---

\* Ныне благополучно царствующему государю императору и цесаревичу великому князю Константину Павловичу. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

Тихая, простая, но веселая философия, неразлучная подруга прекрасной, образованной души, исполненной любви и доброжелания ко всему человечеству, с неизъяснимой прелестью дышит в сих письмах. «Никакое неприятное воспоминание не отравляет моего уединения (здесь видна вся душа автора): чувствую сердце мое способным к добродетели; оно бьется с сладостною чувствительностью при едином помышлении о каком-нибудь деле благотворительности и великодушия. Имею благородную надежду, что, будучи поставлен между добродетели и несчастья, выберу лучше смерть, нежели злодейство. И кто в свете счастливее смертного, который справедливым образом может чтить самого себя?» — Прекрасные, золотые строки! Кто, кто не желал бы написать их в излиянии сердечном? — Потом, описав сладостные занятия любителя муз в тихом кабинете, наш автор прибавляет: «И после того есть еще люди, которые ищут благополучие в рассеянии, в многолюдстве, далеко от домашних богов своих! — Какое счастье отереть слезы невинностраждущего, оказать услугу маломощному, облегчить зависимость подчиненных? Но что я скажу о дружбе? Чувствовать себя в другом, разуместь друг друга столь искренно, столь скоро, при едином слове, при едином взоре? Кто называет *дружбу*, называет *добродетель*». — Сии строки и многие другие напоминают нам Монтаня, там, где он, предаваясь счастливому излиянию своего сердца, говорил о незабвенном своем Лабоесе\*. Тон иных писем важнее, — но нравственная цель всегда одинакова. Признаюсь вам, милостивый государь, я не могу удержаться от удовольствия выписывать; притом это единственный и лучший способ показать красоты сочинения и дать ясное понятие об авторе. «Тихий вечер оканчивал знойный день. Солнце, величественнее и медленнее на конце пути своего, покоилось за мгновение пред закатом на крайних горах горизонта, а я прогуливался на крутом берегу Волги с добродетельным другом юности моей, с кротким моим наставником. Власы главы его белели уже от хлада старости; весна жизни моей не расцветала еще совершенно. Мы касались оба противоположных крайностей века. Но дружба его и опытность сокращали расстояние, которое разделяло нас, и часто, позабываясь, мнил я видеть в нем старшего и благоразумного товарища. Будучи важнее обыкновенного в тот вечер, он говорил мне: «Сын мой! — сим именем любви я одолжен был нежности сердца его, — озирая холмы сии, одеваемые небесною лазурью, поля, жатвы и напоющие их струи, не чувствуешь ли в сердце

---

\* Si on me presse de dire, pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant: parceque c'était lui, parceque c'était moi. [Если меня понуждают сказать, почему я его любил, я чувствую, что это можно выразить, только ответив: потому что это был он, потому что это был я (франц.)] Монтань. (Прим. К. Н. Багюшкова.)

твоим благополучия? Чудеса природы не довольны ли для счастья человека? Но одно худое дело, которого сознание оскорбляет сердце, может разрушить прелесть наслаждения. Великолепие и вся красота природы вкушается только невинным сердцем. Одно счастье — добродетель; одно несчастье — порок. И все вечера твои будут так тихи, ясны, как нынешний. Спокойная совесть творит и природу спокойною». Слова его проникли в душу мою, и я с умилением повергся в объятия старца».

Другие отрывки принадлежат к вышнему роду словесности. Между ими повесть «Оскольд», в которой автор изображает поход северных народов на Царь-град, блистает красота. Здесь мы видим толпы диких воинов, которых как будто невидимая сила влечет к роскошной столице Восточной империи. Мы переносимся во времена глубокой древности; в степи и дремучие леса полуобитаемой России; то на бурные волны Варяжского моря, покрытые судами отважных плователей; то в непроходимые снежные пустыни Биармии, освещенные холодным солнцем; то в роскошное царство Михаила, «где игры, удивительные ристалища занимают ежедневно праздность народа.— Счастлив, кто видел все сие единожды в жизни! Сладостное воспоминание распространится на остальное течение дней его и облегчит ему бремя ненавистной старости». Автор с обыкновенным искусством говорит о Труворе и Синеусе, сохраняя всю приличность историческую; выводит честолюбивого Вадима, «которого взоры изображают столько же упреков новгородцам, сколько строгости воинской», и возбуждает в памяти нашей цепь великих отечественных воспоминаний. Сила изобретения блистает в исчислении Оскольдовых ратников. Они отличены резкими чертами один от другого; они живут, действуют перед вами. «Но кто может назвать имена бесчисленного воинства? Таковы тучи пернатых, наполняющих воздух криком, когда, почувствовав приход зимы, оставляют крутые берега Русского моря, не памятуя любви и прекрасных дней, коими там наслаждались летом; удивленный путешественник позабывает дорогу свою, на них взирая, и унывает в сердце, видя себя оставляемого свирепости мразов и бурных ветров». — Вы видите пред полками сонм вдохновенных скальдов с золотыми арфами. «Нетерпеливый, добрый между ими, юный славянин, который на влажных берегах моря и на краю земли бесплодной почувствовал вдохновение скальда, оставил сети и парусы, способы скудного пропитания, и воспел соотчичам неслыханные песни о бранях и героях». Этот юный скальд напоминает нам Ломоносова. Конечно, его имел в виду наш автор, и здесь, сохраняя всю приличность рассказа, представил нам в блистательном виде отца русского стихотворства, сего чудесного мужа, которого не только дарования поэтические, неимоверные успехи и труды в искусствах и науках, но самая

жизнь, исполненная поэзии, — если смею употребить сие выражение, — заслуживает внимание позднейшего потомства\*.

Искусство, неразлучное с глубоким познанием истории, более всего блистает в описании нравов северных племен. Автор «Оскольда» краткими словами умеет возбудить внимание читателя и перенести его на сцену тогдашнего мира, который знаком ему, как Омеру древняя Трояда. Заметим еще, что эпоха, избранная им для поэтического повествования, соединяет все возможные выгоды и доказывает его верный вкус и обширные сведения. Действие происходит в России во времена отдаленные, которые поэту столь удобно украшать вымыслами и цветами творческого воображения. Оскольд, товарищ Руриков, поклоняется Одну, сему кровавому божеству скандинавов, которых и жизнь и суеверия ознаменованы были мрачною поэзиею. Спутники Оскольдовы имеют или могут иметь свои предания, как славяне имеют свою веру, и от сего рождается приятное разнообразие, истинная принадлежность эпопеи! В некотором отдалении мы видим Царьград, жилище роскоши и неги, колыбель христианской религии, куда кочующие народы Севера вторгались с мечом и пламенем для похищения земных сокровищ — и нередко возвращались с святым знамением веры в свои непостоянные становища. Туда устремлены воины Оскольда и любопытство читателя... К сожалению, сия повесть не кончена: она есть начало большого творения, которое, без сомнения, имел в виду наш автор; но государственные занятия отклонили его от словесности. При конце жизни своей он редко беседовал с музами, уделяя несколько свободных минут на чтение древних в подлиннике, и особенно греческих историков, ему от детства любезных.

Исторические отрывки г. Муравьева заслуживают особенное внимание, и мы смело уверить можем — опираясь на мнение ученых мужей по этой части — что на русском языке едва ли находится что-нибудь подобное «*Краткому начертанию российской истории*», напечатанному в первый раз в 1810 году, и статьям, под названием «*Рассеянные черты из землеописания российского*» и «*Соединение удельных княжений в единое государство*». Они начертаны пером ученого, политика и философа. Вот редкое явление в нашей словесности! Ибо наши писатели не всегда соединяли в себе качества, потребные историку: философию и критику. Мы надеемся, что ученые люди, занимающиеся отечественною историею, сообщат читающей публике свои замечания о сих бесценных отрывках, а наставники включают их в малое число книг, посвященных чтению юношества. История наша — история народа, совершенно отличного от других по граж-

---

\* Мы приглашаем прочитать в «Опытах истории, словесности и нравоведения» г. Муравьева прекрасную статью о заслугах Ломоносова в науках. (Прим. К. Н. Ватюшкова.)

данскому положению, по нравам и обычаям, история народа, сильного и воинственного от самой его колыбели и ныне удивившего невероятными подвигами всю Европу,— должна быть любимым нашим чтением от самого детства. «Мы ходим,— говорит красноречивый автор *«Землеописания русского»*,— мы ходим по земле, обгаренной кровию предков наших и прославленной отважными предприятиями и подвигами князей и полководцев, которые только для того осенены глубокою ношью забвения, что не имели достойных провозвестников славы своей. Да настанет некогда время пристрастия к отечественным происшествиям, к своим государям, ко нравам и добродетелям, которые суть природныя произрастения нашего отечества»\*.

Мы должны упомянуть о философических и нравственных произведениях нашего автора. Здесь более, нежели где-нибудь, видна его душа и горячие впечатления его сердца. К нему можно применить то, что Шиллер сказал о Маттисоне: «Тесное обращение с природою и с классическими образцами напитало его дух, очистило его вкус и сохранило его *нравственную грацию*; пламенная и чистейшая любовь к человечеству одушевляет его произведения, и все явления природы отражаются в душе его со всеми оттенками, как в тихом зеркале воды». Здесь находим мы самого автора, вступаем с ним в тесное знакомство. Искусство человеческое может всему подражать, кроме движений доброго сердца. Вот истинная оригинальность нашего автора! Он часто, как будто против воли своей, обнажает прекрасную душу и редкую чувствительность; и более всего в отрывке под названием: *«Просвещение и Роскошь»*, где, описывая странный характер Руссо, он готов с ним предаться сладостной мечтательности; в статье о *«Блаженстве»*, где он, определяя счастье, увлекается своим воображением и отдыхает в тишине сельской, на лоне природы, ему всегда любезной. Вы можете читать его во всякое время, и в шуме деятельной жизни, и в тишине уединения; его слова подобны словам старого друга, который, в откровенности сердечной говоря о себе, напоминает вам собственную вашу жизнь, ваши страсти, печали, надежды и наслаждения. Он сообщает вам тишину и ясность своей души и оставляет в памяти продолжительное воспоминание своей беседы. Одним словом, самое бремя печалей и забот — я занимаю его выражение — отпадает по его утешительному гласу.

В *«Забавах воображения»*, говоря о том государственном человеке, который первый в России ознаменовал дни свои покро-

---

\* Любители истории и словесности ожидают с нетерпением полной «Истории русской» того писателя, который показал нам истинные образцы русской прозы и в трудолюбивом молчании более десяти лет приготавливает своему отечеству новое удовольствие, новую славу. Его творение будет иметь непосредственное влияние на умы и более всего на словесность. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

вительством отечественных муз, которого имя должно быть драгоценно позднему потомству, — ибо перейдет к нему с именами Ломоносова и Державина, — говоря о Шувалове, сочинитель продолжает: «Приятно вспоминать государственного человека, который был чувствителен к прелестям письмен, поэзии и художеств и посреди сияния знатности и попечений правления удостоивал взорами своими просвещение; как любимец Августов или Кольберт, давал покровительство наукам или призывал дарования из чужих земель». Конечно, иные черты можно применить к нашему автору, которого память столь любезна и художникам, и ученым. Он посещал их кабинеты, их мастерские; они искали в нем покровителя и часто находили попечительного друга. Имя его и до сих пор почтенные члены Московского университета произносят со слезами живейшей благодарности. Незабвенное имя для сердец благородных! Оно напоминает отечеству все гражданские добродетели.

«Все то, что способствует к доставлению вкусу более тонкости и разборчивости, — прибавляет сочинитель в статье о *«Забавах воображения»*, из которой я выписываю сии строки, — все то, что приводит в совершенство чувствования красоты в искусствах и письменах, отводит нас в то же самое время от грубых излишеств страстей, от неистовых воспалений гнева, жестокости, корыстолюбия и прочих подлых наслаждений. Кто восхищается красотами поэмы или расположением картины, не в состоянии полагать благополучия в несчастьи других, в шумных сборищах беспутства или в искании подлой корысти. Нежное сердце и просвещенный разум услаждаются возвышенными чувствованиями дружбы, великодушия и благотворительности». Давно сказано было, что слог есть зеркало души, и относительно к нашему автору это совершенно справедливо. Слог его можно уподобить слогу Фенелона. Та же чистота и точность выражений, стройность мыслей; то ж сердечное, убедительное красноречие. Образованный в училище древних, его слог сохранил на себе их печать неизгладимую: простоту, важность и приличие.

Я не сделаю ни одного замечания на погрешности. Пускай другие ищут ошибок грамматических, галлицизмов и проч.

Мы предоставим себе сладостное удовольствие хвалить то, что достойно похвал и самой разборчивой критики, которая в словесности нашей более приносит пользы, указывая на красоты, нежели порицая недостатки ядовитым пером своим — и часто несправедливым.

Вам известно, милостивый государь, что я многим обязан покойному автору; но благодарность меня не ослепляет. Я опирался на суд людей просвещенных, знатоков в нашей словесности, отдавая должную справедливость тому, что заслуживает похвалы; и назову себя совершенно счастливым, если мог быть хотя сла-

бым, но верным отголоском их мыслей и суждений о том человеке, которого память будет мне драгоценна до поздних дней жизни и украсит их горестным и вместе сладким воспоминанием протекшего!

Долгом поставляю упомянуть здесь о стихотворных его произведениях. Многие из них напечатаны были без имени сочинителя в разных журналах и в последний раз в «Собрании русских стихотворений», изданных г. Жуковским, который взял на себя труд, пересмотрев несколько рукописей автора, приготовить их для печати, особенно то, что не входило в план книги, изданной в Москве в 1810 году. Конечно, любители словесности ожидают с нетерпением третьей части сочинений г. Муравьева, которая будет состоять из его стихотворений. Желательно, милостивый государь, чтобы вы сделали несколько замечаний на жизнь автора: она любопытна не только для любителя словесности, но и для каждого друга добродетели. Истинному патриоту приятно узнать некоторые обстоятельства жизни гражданина, принесшего пользу отечеству непрерывными трудами и пером своим: мы будем помнить сынов России, прославивших отечество на поле брани; история вписывает уже имена их в свои скрижали; но должны ли мы забывать и тех сограждан, которые, употребляя всю жизнь свою для пользы нашей, отличились гражданскими добродетелями и редкими талантами? — Древние, чувствительные ко всему прекрасному, ко всему полезному, имели два венца: один для воина, другой для гражданина. Плутарх, описывая жизнь великих полководцев, царей и законодателей, поместил между ими Гезиода и Пиндара. Мы желаем от всей души, чтобы вы исполнили надежду нашу. Замечания ваши на жизнь г. Муравьева могут служить предисловием к третьей части полного собрания его сочинений.

Стихотворения г. Муравьева, без сомнения, будут стоять наряду с лучшими его произведениями в прозе. В них то же достоинство: философия, которой источник чувствительное и доброе сердце; выбор мыслей, образованных прилежным чтением древних; стройность и чистота слога. Вот несколько примеров из послания к покойному И. П. Тургеневу, достойному приятелю автора, которого он любил и уважал от самой юности. Наклонности и страсти друзей были одинаковы: добродетель и пламенная любовь к музам. Они запечатлели их священный союз, который могла разрушить единая смерть. Посмотрим, как автор, описывая в своем послании деятельного мудреца, доброго отца семейства, истинного патриота, любителя порядка и счастья ближних, описывает себя и друга своего:

Любовью истины, любовью красоты  
Исполнен дух его, украшены мечты.  
Искусства! вас к себе он в помощь призывает;

От зависти себя он в вашу сень скрывает;  
Без гордости велик и важен без чинов,  
На пользу общую всегда, везде готов;  
Он свято чтит родства священные союзы;  
И чтоб свободным быть, приемлет легки узы;  
Внимательный супруг и счастливый отец,  
Он властью облечен по выбору сердец.  
Счастлив, кто может быть семейства благодетель!  
Что нужды, дом тому иль целый мир свидетель!  
Таков Эмилий был, равно достоин хвал,  
Как жил в семье своей иль как при Каннах пал.

Прекрасное начертание добродетельного и деятельного мудреца! Прекрасный и счастливый пример! Далее продолжает поэт:

Служить отечеству — верховный душ обет.  
Наш долг — туда спешить, куда оно зовет.  
Но если, в множестве равнителей ко славе,  
Мне должно уступить, — ужели буду вправе  
Пренебреженною заслугой досаждать?  
Мне только что — служить; отчизне — награждать.  
Из трех сот праздных мест спартанского совета  
Народ ни на одно не избрал Педарета.  
— Хвала богам, — сказал, народа не вина, —  
Есть триста человек достойнее меня.

Здесь каждая мысль может служить правилом честному гражданину. И какая утешительная мудрость! Какое сладостное излияние чистой и праведной души! Скажем более с одним из лучших наших писателей: счастлив тот, кто мог жить, как писал, и писать, как жил!

Полезным можно быть, не бывши знаменитым;  
Сретают счастье и по тропинкам скрытым.  
Сей старец, коего Вергилий воспевал,  
Что близ Тарента мак и розы поливал,  
И в поздню ночь под кров склоняся домашний,  
Столы отягощал некупленными брашны;  
Он счастье в хижине, конечно, находил  
И пышных богачей душой превосходил!

Тот истинно свободен, куда бы он ни был брошен фортуною, куда бы он ни был поставлен людьми, управлять ими или повиноваться, сиять в венце или скрывать себя в пустыне, — тот истинно счастлив, говорит наш поэт вслед за Горацием,

Кто счастья в крайностях всегда с собою сходен;  
В сиянии не горд, в упадке не уныл,  
В самом себе свое величие сокрыл,  
Владыка чувств своих, их бури усмиряет  
И скуку жития ученьем услаждает.

В другом послании, в котором автор более предается игре



своего воображения, мы находим блестящее изображение Вольтера,

Сего чудесного, столетнего шалбера,  
По превосходству мудреца,  
Который говорил прекрасными стихами,  
К которому стихи в уста входили сами...  
В его приветствиях не виден труд певца —  
Учтивость тонкого маркиза!  
Заметьте, что маркиз не мог воспеть бы Гиза,  
Не мог бы начертать шестидесяти лет  
В Китае страшного Чингиза;  
Потом унизить свой трагический полет  
В маркизе де Вильет,  
И во власах седых бречать еще на лире  
Младые шалости иль растворять в сатире  
Свой лицемерный слог;  
Иль философствовать с величием о мире,  
О мироздателе: — Вольтер все это мог!  
И славу старость вел он с завистью у ног  
Превыше хвал и порицаний.  
В Париже сколько восклицаний,  
Когда явился он к принятию венца!  
Великие умы, красавицы, вельможи,  
Придворных легкий рой из королевской ложи,  
Плескали долго в честь бессмертного творца!  
За ними вся толпа плескала без конца! —  
Такой-то нравится нам в обществе творец,  
Который изжил бы во свете лета юны,  
И сделался мудрец  
Волненьями фортуны,  
Открывшими ему излучины сердец.

К несчастью, говорит поэт, трудно быть светским человеком и писателем. Одно вредит другому:

Условия общества для мыслящего — цепи!  
А тот, кто в обществе свой выдержал искус,  
Зевает в обожденье муз.  
В науке нравится учу я основанья;  
Но, старый ученик, не знаю ни аза,  
И не задремлетя со мной лоза,  
Которой общество чинит увещеванья.  
Меж тем замедлены успехи дарованья,  
Что льстился в юности иметь.  
Замедлены?.. Я выражаюсь мало! —  
Их уничтожено в душе моей начало;  
Прелестна лень поставила мне сеть,  
Из коей я не выду.  
Не быв Ринальдом, я нашел свою Армиду  
И в лени сладостной забыл искусство петь.  
Поэтом трудно быть, а легче офицером, —  
С Доратом я успел сравниться в том,  
Что он, как я, был мушкетером.

Часто в стихах нашего поэта видна сладкая задумчивость, истинный признак чувствительной и нежной души; часто, подоб-

но Тибуллу и Горацию, сожалеет он об утрате юности, об утрате пламенных восторгов любви и беспредельных желаний юного сердца, исполненной жизни и силы. В стихотворении под названием «Муза», обращаясь к тайной подруге души своей, он делает ей нежные упреки:

Ты утро дней моих прилежно посещала:  
Почто ж печальная распространилась мгла,  
И ясный полдень мой покрыла черной тенью?  
Иль лавров по следам твоим не соберу,  
И в песнях не преяду к другому поколенью,  
Или я весь умру?

Нет, мы надеемся, что сердце человеческое бессмертно. Все пламенные отпечатки его, в счастливых стихах поэта, побеждают и самое время. Музы сохраняют в своей памяти песни своего любимца, и имя его перейдет к другому поколению с именами, с священными именами мужей добродетельных. Музы, взирая на преждевременную его могилу, восклицают с поэтом Мантуи:

Manibus date lilia plenis:  
Purpureos spargam flores!\*

*С. Петербург, 1814 года*

## ПРОГУЛКА В АКАДЕМИЮ ХУДОЖЕСТВ

*Письмо старого московского жителя к приятелю,  
в деревню его Н.*

Ты требуешь от меня, мой старый друг, продолжения моих прогулок по Петербургу. Повинуюсь тебе.

На этот раз я буду говорить об Академии Художеств, которая после двадцатилетнего нашего отсутствия из Петербурга столько переменилась... «Говори, говори об Академии Художеств! — так воскликнешь ты, начиная чтение моего болтливого письма. — Мы издавна любили живопись и скульптуру, и в твоём маленьком домике на Пресне (которого теперь и следов не осталось!) мы часто заводили жаркие споры о голове Аполлона Бельведерского, о мизинце Гебы славного Кановы, о коне Петра Великого, о кисти Рафаэля, Кореджио, даже самого Сальва-

---

\* Дайте лилий и пурпурных цветов, чтоб осыпать щедрой рукой! (лат.)

тора Розы, Мурилло, Койпеля и проч. Так — я во многом с тобой соглашался, а ты ни в чем со мною, а еще менее с добрым живописцем Ализовым, с товарищем славного Лосенкова, который часто смешил и сердил нас своим упрямством и добродушием. Мы спорили; время летело в приятных разговорах. Счастлирое, невозвратное время! Пожар Москвы поглотил и домик твой со всеми дурными картинами и эстампами, которые ты покупал за бесценок у торгашей на аукционах, а в Немецкой слободе у отставных стряпчих; он поглотил маленькую Венеру, в которой ты находил нечто божественное, и бюст Вольтеров с отбитым носом, и маленького Амура с факелом, и бронзового Фавна, которого Ализов отрыл... будто бы на развалинах какой-то бани близ Неаполя и которым он приводил в восхищение и тебя и меня и всех знатоков нашего квартала. Пожар, немилосердый пожар поглотил даже акациеву беседку, с красивыми скамейками, с дубовым столом, на котором мы, разливая чай, любовались прелестными видами: Москвой-рекою, которая извивается по лугу вокруг стен и высоких башен Девичьего монастыря, Васильевским, Воробьевыми горами с тенистыми рощами — и закатом вечернего солнца. Пожар поглотил наше убежище. Но в памяти моей осталось воспоминание твоей любви к изящным художествам и охоты спорить, которая, конечно, укротилась от времени, а более всего от политических обстоятельств. Итак, говори об Академии Художеств, о произведениях наших артистов: я буду слушать с удовольствием. Всякая новость из столицы приятна пустынноку, который и на старости лет еще пламенно любит отечество, успехи и славу сограждан». Вот что ты скажешь, развернув мое письмо. Я начну мой рассказ сначала, как начинает обыкновенно болтливая старость. Слушай.

Вчерашний день поутру, сидя у окна моего с Винкельманом в руке, я предался сладостному мечтанию, в котором тебе не могу дать совершенно отчета; книга и читанное мною было совершенно забыто. Помню только, что, взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную, на которую, благодаря привычке, жители петербургские смотрят холодным оком, — любуясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, сим чудесным смешанием всех наций, в котором я отличал англичан и азиатцев, французов и калмыков, русских и финнов, я сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу — лачуга рыбака, кругом которой развешаны были мрежи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый финн...

За ланью быстрой и рогатой,  
Прицелясь к ней стрелой пернатой.

Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал молчание пустыни дикой, мрачной; а ныне?.. Я взглянул невольно на Троицкий мост, потом на хижину великого монарха, к которой по справедливости можно применить известный стих:

Souvent un faible gland recéle un chêne immense!\*

И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные! Из крепости Нюсканц еще гремели шведские пушки; устье Невы еще было покрыто неприятелем, и частые ружейные выстрелы раздавались по болотным берегам, когда великая мысль родилась в уме великого человека. Здесь будет город, сказал он, чудо света. Сюда призову все художества, все искусства. Здесь художества, искусства, гражданские установления и законы победят самую природу. Сказал — и Петербург возник из дикого болота.

С каким удовольствием я воображал себе монарха, обозревающего начальные работы: здесь вал крепости, там магазины, фабрики, Адмиралтейство. В ожидании обедни в праздничный день или в день торжества победы государь часто сиживал на новом вале с планом города в руках против крепостных ворот, украшенных изваянием апостола Петра из грубого дерева. Именем святого должен был назваться город, и на жестяной доске, прибитой под его изваянием, изображался славный в летописях мира 1703 год римскими цифрами. На ближнем бастионе развевался желтый флаг с большим черным орлом, который заключал в когтях своих четыре моря, подвластные России. Здесь толпились вокруг монарха иностранные корабельщики, матрозы, художники, ученые, полководцы, воины; меж ними — простой рождением, великий умом — любимец царский Меншиков, великодушный Долгорукий, храбрый и деятельный Шереметев и вся фаланга героев, которые создали с Петром величие Русского царства...

Таким образом, погруженный в мое мечтание, я не заметил, что двери комнаты отворились и сын моего старого приятеля Н., молодой, весьма искусный художник, приветствовал меня с добрым утром. «Я пришел нарочно за вами, — сказал он, — сегодня Академия Художеств открыта для любопытных, и я готов быть вашим путеводителем, вашим чичероне, если угодно! Вы увидите много хорошего, полюбуетесь некоторыми произведе-

\* Часто малый желудь таит в себе огромный дуб! (франц.)

ниями русского резца и кисти; о других теперь — ни слова. Посмотрите, — продолжал он, открывая окно: — какое прекрасное время! Весь город гуляет, и мы с толпой гуляющих неприметным образом пройдем в Академию». — «С удовольствием, — отвечал я молодому человеку, — около двадцати лет я не видел Академии, и как здесь все идет исполинскими шагами к совершенству, то надеюсь, что и художества приведут меня в приятное изумление. Вот мой посох, моя шляпа, — пойдем!»

И в самом деле, время было прекрасное. Ни малейший ветерок не струил поверхности величественной, первой реки в мире, и я приветствовал мысленно богиню Невы словами поэта:

Обтекай спокойно, плавно,  
Горделивая Нева,  
Государей здание славно  
И тенисты острова.

Великолепные здания, позлащенные утренним солнцем, ярко отражались в чистом зеркале Невы, и мы оба единогласно воскликнули: «Какой город! Какая река!»

«Единственный город! — повторил молодой человек. — Сколько предметов для кисти художника! умеи только выбирать. И как жаль, что мои товарищи мало пользуются собственным богатством; живописцы перспективы охотнее пишут виды из Италии и других земель, нежели сии очаровательные предметы. Я часто с горестию смотрел, как в трескучие морозы они трудятся над пламенным небом Неаполя, тиранят свое воображение — и часто взоры наши. Пейзаж должен быть портрет. Если он не совершенно похож на природу, то что в нем? Надобно расстаться с Петербургом, — продолжал он, — надобно расстаться на некоторое время, надобно видеть древние столицы: ветхий Париж, закопченный Лондон, чтобы почувствовать цену Петербурга. Смотрите — какое единство! как все части отвечают целому! какая красота зданий, какой вкус и в целом какое разнообразие, происходящее от смешения воды со зданиями. Взгляните на решетку Летнего сада, которая отражается зеленью высоких лип, вязов и дубов! Какая легкость и стройность в ее рисунке! Я видел славную решетку Тюльерийского замка, отягченную, раздавленную, так сказать, украшениями — пиками, касками, трофеями. Она безобразна в сравнении с этой».

Энтузиазм, с которым говорил молодой художник, мне весьма понравился. Я пожал у него руку и сказал ему: «Из тебя будет художник!» Не знаю, понял ли он мои пророческие слова, но, посмотрев на меня с улыбкою удовольствия, продолжал: «Взгляните теперь на набережную, на сии огромные дворцы — один другого величественнее! на сии дома — один другого красивее! Посмотрите на Васильевский остров, образующий треугольник,

украшенный биржею, ростральными колоннами и гранитною набережною, с прекрасными спусками и лестницами к воде. Как величественна и красива эта часть города! Вот произведение, достойное покойного Томона, сего неутомимого иностранца, который посвятил нам свои дарования и столько способствовал к украшению северной Пальмиры! Теперь, от биржи, с каким удовольствием взор мой следует вдоль берегов и теряется в туманном отдалении между двух набережных, единственных в мире!» — «Так, мой друг, — воскликнул я, — сколько чудес мы видим перед собою, и чудес, созданных в столь короткое время, в столетие — в одно столетие! Хвала и честь великому основателю сего города! Хвала и честь его преемникам, которые довершили едва начатое им, среди войн, внутренних и внешних раздоров. Хвала и честь Александру, который более всех, в течение своего царствования, украсил столицу Севера! И в какие времена? Когда бремя и участь целой Европы лежали на его сердце, когда враг поглощал землю русскую, когда меч и пламень безумца пожирал то, что созидали веки!..»

Разговаривая таким образом, мы подходили к Адмиралтейству. «Помню, — скажешь ты, — помню эту безобразную длинную фабрику, окруженную подъемными мостами, рвами глубокими, но нечистыми, заваленными досками и бревнами». Остановись, почтенный мой приятель! кто не был двадцать лет в Петербурге, тот его, конечно, не узнает. Тот увидит новый город, новых людей, новые обычаи, новые нравы. Вот что я повторяю тебе ежедневно в моих записках. И здесь то же превращение. Адмиралтейство, перестроенное Захаровым, превратилось в прекрасное здание и составляет теперь украшение города. Прихотливые знатоки недовольны старым шпицом, который не соответствует, по словам их, новой колоннаде, — но зато колоннада и новые павильоны или отдельные флигели прелестны. Вокруг сего здания расположен сей прекрасный бульвар, обсаженный липами, которые все принялись и защищают от солнечных лучей. Прелестное, единственное гульбище, с которого можно видеть все, что Петербург имеет величественного и прекрасного: Неву, Зимний дворец, великолепные дома дворцовой площади, образующей полукружие, Невский проспект, Исаакиевскую площадь, Конногвардейский манеж, который напоминает Партедон, прелестное строение г. Гваренги, Сенат, монумент Петра I и снова Неву с ее набережными!

Я хотел отдохнуть, и мы сели на одну из лавок бульвара. Площадь была покрыта каретами, бульвар — гуляющими. Между тем как я рассматривал знакомые и незнакомые лица, некто, человек пожилой и хворой, присел на лавку возле меня. Черты его мне были знакомы, но время изгладило из моей памяти его имя. Знакомый незнакомец глядел на меня пристально, минуту,

две, три... и наконец — я узнал в нем Старожилова. «Как ты переменялся!» — воскликнули мы оба, глядя пристально друг на друга. «Как все переменялось с тех пор, как я тебя видел здесь!» — прибавил Старожилов с тяжелым вздохом, от которого морщины на его лбу сделались еще глубже. Я не стану тебе говорить о вопросах, которые мы делали взапуски друг другу: можешь их легко угадать; скажу только, что наш старый знакомый, узнав намерение наше посетить Академию, взглянул на часы и сказал мне: «Теперь еще рано; к трем часам я могу поспеть в клуб, где я должен пробовать новое вино и сказать мое мнение насчет важного постановления в клубе, о котором я размышлял целое утро». Важность, с которою он говорил, заставила нас улыбнуться. К счастью, Старожилов того не приметил и продолжал: «Прогулка мне будет полезна; ибо сегодня солнце греет, как летом. Я побреду с вами в Академию — вовсе не из любопытства; там ничего хорошего нет. Я давно недоволен нашими художниками во всех родах, — но мне нужно рассеяние, единственно рассеяние!» — прибавил он, кашляя беспрестанно.

Между тем как мы идем медленными шагами в Академию, соображаясь с походкою подагрика, я скажу тебе мимоходом, что Старожилов, которого мы знали в молодости нашей столь блестящего, столь веселого, столь рассеянного, ныне сделался брюзгою, недовольным, одним словом, совершенным образцом старого холостого человека. Ты помнишь, что в молодости он имел живой ум, некоторые познания и большой навык в свете. Ныне цвет ума его завял, прежняя живость исчезла, познания, не усовершенные беспрестанными трудами, изгладились или превратились в закоренелые предрассудки, и все остроумие его погибло, как блестящий фейерверк. Конечно, рассудок забыл шепнуть ему: старайся быть полезен обществу! Недеятельная жизнь, говорит мудрец херонейский, расслабляет тело и душу. Стоячая вода гниет; способности человека в бездействии увядают, и за молодостию невидимо крадется время:

Придут, придут часы те скучны,  
Когда твои ланиты тучны  
Престанут грации трепать!

Тогда общество справедливою холодностию отмстит тебе за то, что ты был его бесплодным членом. Старожилов, проживший вертопрахом до некоторого времени, проснулся в сорок лет стариком, с подагрою, с полурасстроенным имением, без друга, без привязанностей сердечных, которые составляют и мучение, и сладость жизни; он проснулся с душевною пустотою, которая превратилась в эгоизм и мелочное самолюбие. Ему все наскучило, он всем недоволен: в его время и лучше веселились, и лучше говорили, и лучше писали. Трагедии Княжнина, по его мнению,

лучше трагедий Озерова; басни Сумарокова предпочитает он басням Крылова, игру Сахаровой игре Семеновой и так далее. «Как скучна нынешняя жизнь!» — говорит он; и этому поверить можно. Зачем, спрашиваю я, зачем постоянно десять лет является он в клуб? Чтобы слушать, изобретать или распускать городские вести или газетные тайны, чтобы бранить нещадно все новое и прославлять любезную старину, отобедать и заснуть за чашкою кофе при стуке шаров и при единообразном счете маркера, который, насчитав 48, ненавистным числом напоминает ему его лета. Сонный садится он в карету и едва просыпается в театре при первом ударе смычка.

Разговаривая с ним о старине, которую я выхвалял из снисхождения, мы приближались к Академии.

Я долго любовался сим зданием, достойным Екатерины, покровительницы наук и художеств. Здесь на каждом шагу просвещенный патриот должен благословлять память монархини, которая не столько завоеваниями, сколько полезными заведениями заслуживает от признательного потомства имя великой и мудрой. Сколько полезных людей приобрело общество чрез Академию Художеств! Редкое заведение у нас в России принесло столько пользы. Но чему приписать это? Постоянному и мудрому плану, которому следует с давнего времени начальство, и достойному выбору вельмож деятельных и просвещенных на место президентское. Я стар уже; но при мысли о полезном деле или учреждении для общества чувствую, что сердце мое бьется живее, как у юноши, который не утратил еще прелестной способности чувствовать красоту истинно полезного и предается первому движению благородной души своей. Вступая на лестницу, я готов был хвалить с жаром монархиню и некоторых вельмож, покровителей отечественных муз; но докучный Старожилов воскликнул, с трудом переводя дух и отдыхая на первых ступенях: «Боже мой! какая крутая лестница! и как она узка, и как безобразна! И к чему эта Венера с амазонками? Я никогда не был охотник до гипсов; лучше ничего или все — вот мое правило. Здесь надлежало бы поставить что-нибудь свое, произведение наших художников» и проч. и проч. Толпа у дверей не позволила ему окончить своего критического замечания, и мы остановились, весьма кстати, у двух превеликих сатиров, называемых теламонами или атлантами (мужеские кариатиды). «Вот украшение довольно странное, — заметил молодой художник, — и которое новейшие художники употребляли часто не кстати, а более всего в Париже. Женские кариатиды еще безобразнее мужеских. Можно ли видеть без отвращения прекрасную женщину, страдающую под тягостным бременем и с необыкновенным усилием во всех членах и мускулах поддерживающую целое здание или огромную часть оногo? Одно жестокое сердце



может любить такого рода изображения, и затем-то, может быть, французские артисты, тайно угождая вкусу Наполеона, ставили кариатиды везде, где только можно было. В некоторых его замках каждую дверь поддерживают две страдалицы. В самом музее их множество. Здесь же сии кариатиды приличны; ибо могут служить образцами любопытным молодым художникам».

Мы вошли в ротонду, установленную гипсовыми слепками с антиков. «Вот консул Бальбус,— сказал мне наш спутник, указывая на большого всадника.— Подлинник статуи найден в Геркулануме».— «Но эта лошадь вовсе не красива...» — заметил Старожилов молодому артисту, качая головою.

«Вы правы,— отвечал он,— конь не весьма статен, короток, высок на ногах, шея толстая, голова с выпуклыми щеками, поворот ушей неприятный. То же самое заметите в другой зале у славного коня Марка Аврелия. Художники новейшие с большим искусством изображают коней. У нас перед глазами Фальконетово произведение, сей чудесный конь, живой, пламенный, статный и столь смело поставленный, что один иностранец, пораженный смелостию мысли, сказал мне, указывая на коня Фальконетова: — «Он скачет, как Россия!» — Но я не смею мыслить вслух о коне Бальбуса, боясь, чтобы меня не подслушали некоторые упрямые любители древности. Вы себе представить не можете, что теряет в их мнении молодой художник, свободно мыслящий о некоторых условных красотах в изящных художествах... Пойдемте далее».

Мы вошли в другую залу, где находятся слепки с неподражаемых произведений резца у греков и римлян. Прекрасное наследие древности, драгоценные остатки, которые яснее всех историков свидетельствуют о просвещении древних; в них-то искусство есть, так сказать, отголосок глубоких познаний природы, страстей и человеческого сердца. Какое истинное богатство, какое разнообразие! Здесь вы видите Геркулеса Фарнезского, образец силы душевной и телесной. Вот умирающий боец или варвар; вот комический поэт и бесподобный фавн. Здесь прекрасные группы: Лаокоон с детьми — драматическое творение резца неизвестного! Вот Ария и Петус и семейство несчастной Ниобы. Здесь вы видите Венеру, образец всего красивейшего, одним словом: Венеру Медицис. Вот целый ряд колоссальных бюстов Юпитера Олимпийского,

Кто манием бровей колеблет неба свод,

Юноны, Менелая, Аякса, Кесаря и пр. И наконец, я спрашиваю себя, отчего сердце мое забилося сильнее?

Наполнил грудь восторг священный,  
Благоговейный обнял страх,

Приятный ужас потаенный  
Течет во всех моих костях;  
В веселье сердце утопает,  
Как будто Бога ощущает,  
Присутствующего со мной!..  
Я вижу, вижу Аполлона  
В тот миг, как он сразил Пифона  
Божественной своей стрелой!  
Зубчата молния сверкает,  
Звенит в руке спущенный лук,  
Ужасная змия зияет  
И вмиг свой испускает дух.

Вот сей божественный Аполлон, прекрасный бог стихотворцев! Взирая на сие чудесное произведение искусства, я вспоминаю слова Винкельмана. «Я забываю вселенную,— говорит он,— взирая на Аполлона; я сам принимаю благороднейшую осанку, чтобы достойнее созерцать его». Имея столь прекрасного бога покровителем, мудрено ли, спрашиваю вас, мудрено ли, что один из наших поэтов воскликнул однажды в припадке пиитической гордости:

Я с возвышенною везде хожу главою!

«Вот наши сокровища,— сказал художник Н., указывая на Аполлона и другие антики,— вот источник наших дарований, наших познаний, истинное богатство нашей Академии; богатство, на котором основаны все успехи бывших, нынешних и будущих воспитанников. Отнимите у нас это драгоценное собрание и скажите, какие бы мы сделали успехи в живописи и в ваянии? Нужно желать, чтоб оно еще было удвоено, утроено. Здесь многого недостает; но то, что есть, прекрасно, ибо слепки верны и могут удовлетворить самого строгого наблюдателя древности».

Пройдя две небольшие залы, мы увидели толпу зрителей перед большою картиною. Вот новая картина г. Егорова! Одно имя сего почтенного академика возбуждает твое любопытство... Итак, я перескажу от слова до слова суждение о его новой картине, то есть то, что я слушал в глубоком молчании.

«Подойдемте поближе,— сказал Старожилов, надевая с комической важностию очки свои.— Я немного наслышался об этом художнике».

Художник изобразил истязание Христа в темнице. Четыре фигуры выше человеческого роста. Главная из них — Спаситель перед каменным столпом со связанными назад руками и три мучителя, из которых один прикрепляет веревку к столпу, другой снимает ризы, покрывающие Искупителя, и в одной руке держит пук розог; третий воин... кажется, делает упреки божественному страдальцу; но решительно определить намерение артиста весьма трудно, хотя он и старался дать сильное выражение лицу воина — может быть, для противоположности с фигурую Христа.

«Посмотрите, — сказал нам молодой художник, — как туловище Христа нарисовано правильно, просто и благородно. Кажется, что глубокий вздох готов вырваться из поднятой груди его». — «Но лицо не соответствует красоте всего тела, — возразил Старожилов: — признайтесь сами, что глаза его слишком велики; в них нет ничего божественного». — «Я с вами не совсем согласен: положение головы прекрасно, и в лице вы видите сильное выражение страдания, горести и покорности воле отца небесного». — «К сожалению, эта фигура напоминает изображение Христа у других живописцев, и я напрасно ищу во сей картине оригинальности, чего-то нового, необыкновенного, одним словом, своей мысли, а не чужой». — «Вы правы, хотя не совершенно: этот предмет был написан несколько раз. Но какая в том нужда? Рубенс и Пуссень каждый писали его по-своему, и если картина Егорова уступает Пуссеновой, то, конечно, выше картины Рубенсовой...» — «Как, что нужды? Пуссень и Рубенс писали истязание Христово: тем я строже буду судить художника, тем я буду прихотливее. Если б какой-нибудь, впрочем и весьма искусный живописец, вздумал написать картину Преображения, я сказал бы ему: конечно, вы не видели картины Рафаэлевой? Если б поэт вздумал написать нам Ифигению в Авлиде, я сказал бы ему: ее написал Расин прежде тебя; и так далее». — «Но признайтесь, по крайней мере, что мучитель, прикрепляющий веревку, которою связаны руки Христа, написан прекрасно, правильно и может назваться образцом рисунка. Он ясно доказывает, сколько г. Егоров силен в рисунке, сколько ему известна анатомия человеческого тела. Вот оригинальность нашего живописца!» — «Это все справедливо; но к чему усилие сего человека? Чтобы затянуть узел? Я вижу, что живописец хотел написать академическую фигуру и написал ее прекрасно; но я не одних побежденных трудностей ищу в картине. Я ищу в ней более: я ищу в ней пищи для ума, для сердца; желаю, чтоб она сделала на меня сильное впечатление, чтоб она оставила в сердце моем продолжительное воспоминание, подобно прекрасному драматическому представлению, если изображает предмет важный, трогательный. К тому же согласитесь, что другой мучитель поставлен дурно. А воин?.. он вовсе лишний, он ни на кого не глядит... хотя глаза его отверсты необыкновенным образом. К чему, спрашиваю вас, на римском воине шлем с змеем и почему в темнице Христовой лежит железная рукавица? Их начали употреблять десять веков — или более — после рожества Христова; не значит ли это...»

«Конечно, так! — сказал Старожилову какой-то незнакомец, который долго вслушивался в разговор (мы приняли его за художника), — конечно, так! Если художники наши будут более читать и рассматривать прилежнее книги, в которых представлены обряды, одежды и вооружение древних, то подобных ана-

хронизмов делать не будут. Но признайтесь, государь мой, признайтесь, отложив всякое пристрастие, что эта картина обещает дальнейшие успехи. Если обстоятельства, которые часто не благоприятствовали нашим артистам, если обстоятельства позволяют ее живописцу заниматься постоянно сочинением больших картин, то можно ожидать, что он, утвердись в выборе, в употреблении и согласовании красок и познакомясь со многими механическими приемами (тайны, которые должен угадывать художник в живописном деле), при твердой, правильной и красивой его рисовке, при изобретательном и благоразумном даровании, со временем не уступит лучшим живописцам италийской, французской и испанской школы».

Будучи от природы снисходительнее и любя наслаждаться всем прекрасным, я с большим удовольствием смотрел на картину г. Егорова и сказал мысленно: «Вот художник, который приносит честь Академии и которым мы, русские, можем справедливо гордиться».

В следующих комнатах продолжались выставки и по большей части молодых воспитанников Академии. Я смотрел с любопытством на ландшафт, изображающий вид окрестностей Шафгаузена и хижину, в которой государь император с великою княгиней Екатериною Павловною угощены новым Филемоном и Бавкидою. Вдали видно падение Рейна, не весьма удачно написанное.

В той же самой комнате проект на соборную церковь и два проекта для монумента из отнятых у неприятеля пушек: оба не соответствуют прекрасной и высокой мысли. Вот празднование пасхи в Париже Александром и его победоносными войсками. Какой предмет для патриота! С каким чистейшим удовольствием смотрел я на эту картину! Толпы народа и войска представлены ясно; но я заметил, что цвет неба и облаков холоден и тяжел.

Множество зрителей всякого звания толпились перед большою картиною, изображающей Христа с учениками и блудницею. Одни хвалили с жаром, другие осуждали. *De gustibus non est disputandum!*\* «Видно, что живописец,— сказал нам молодой наш путеводитель,— живописец, скупой на искусство и вкус, не пощадил полотна, розовой и голубой краски».— «И времени»,— прибавил Старожилов. Вы видите здесь и другую картину— Венеру розовую, на голубом поле, с голубками и с Купидоном; неудачное подражание Тициану или китайским картинам без теней; Венеру, которая не имеет ни малейшего сходства с Венерою Омера, Овидия или Лукреция, но живым образом напоминает нам какую-нибудь богиню из шуточной поэмы Майкова или из «Энеиды, вывороченной наизнанку». Вы видите там, на другой стене, триумф государя, наподобие Рубенса. Теперь взгля-

---

\* О вкусах не спорят (*лат.*).

ните на этого больного старика с факелом, подражание Жирану де ла Нотте, и признайтесь, что эти живописцы в своем подражании оригинальны. Они-то могут назваться со временем основателями новой италийской школы, *La Scuola Petroborghese\** и затмить свою чудесною кистью славу своих соотечественников — славу Рафаэля, Кореджио, Тициана, Альбана и проч.

Пускай глаза наши, ослепленные яркими красками сих живописей, на которых Ньютон мог бы открыть все преломления луча солнечного, пускай глаза наши отдохнут на произведениях г. Есакова. Вот его резные камни: один изображает Геркулеса, бросающего Иоласа в море, другой — киевлянина, переплывшего Днепр. Большая твердость в рисунке! Пожелаем искусному художнику\*\* более навыка, без которого нет легкости и свободы в отделке мелких частей. Смелости у него довольно, а знаний?.. «Век живи, век учись, — сказал Старожилов. — Согласитесь, однако же, — шепнул он молодому художнику, — согласитесь, что кроме картины Егорова мы ничего еще не видели совершенного или близкого к совершенству».

— «Может быть! — отвечал он, — но прошу вас взглянуть на рисунок Уткина. Этот превосходный рисунок, как вы видите, изображает святую фамилию с Гвидо Рени. Другой рисунок — портрет князя Александра Борисовича Куракина, и с него гравированный портрет сего вельможи». — «Вот истинное искусство!» — сказал Старожилов, изменяя своему прекрасному правилу: *nil admirari\*\*\**. Г-н Уткин, известный и уважаемый в Париже, может стать наряду с лучшими граверами в Европе. Конечно, и в отечестве своем найдет он людей просвещенных, достойных ценителей его редкого таланта!»

Но с каким удовольствием смотрели мы на портреты г. Кипренского, любимого живописца нашей публики! Правильная и необыкновенная приятность в его рисунке, свежесть, согласие и живость красок — все доказывает его дарование, ум и вкус нежный, образованный\*\*\*\*.

\* Петербургской школы (*итал.*).

\*\* Пожелаем об этом искусном художнике: ранняя смерть похитила с ним хорошие надежды. — *Издатель.*

\*\*\* Ничему не удивляться (*лат.*).

\*\*\*\* В собрании портретов г. Кипренского, по важности предмета и по отделке, занимают первое место два портрета великих князей Николая Павловича и Михаила Павловича; голова старика с седою бородою или образец для апостольской головы; им же гравированный портрет, и весьма схожий, славного актера Дмитревского и рисованный черным карандашом — Фигнера, славного соглядатая нашей армии, о котором можно сказать, что Тасс говорил о Вафрине:

...per dritto sentier tra regie porte  
Trapassa; e or dimanda, e or risponde.  
A dimande, e risposte astute, e pronte  
Accoppia baldanzosa, audace fronte.

Старожилов, к удивлению нашему, пленился мастерскою его кистью и, отрыв в своей памяти два италиянские стиха, сказал их с необыкновенною живостию...

Manca il parlar, di vivo altro non chiedi.  
Ne manca questo ancor s'agli occhi credi\*.

«Видите ли,— продолжал он,— видите ли, как образуются наши живописцы? Скажите, что б был г. Кипренский, если б он не ездил в Париж, если бы...» — «Он не был еще в Париже, ни в Риме»,— отвечал ему художник.— «Это удивительно! удивительно!»,— повторил Старожилов.— «Почему? Разве нет образцов и здесь для портретного живописца? Разве Эрмитаж закрыт для любопытного, а особенно для художника? Разве не позволяется художнику списывать там портреты с Вандика, пейзажисту учиться над богатым собранием картин, единственных в своем роде? Или вы думаете, что нужен непременно воздух римский для артиста, для любителя древности; что ему нужно долговременное пребывание в Париже? В Париже... согласен; но сколько дарований погибло в этой столице? Рассеяние, все прелести света не только препятствовали развитию дарования, но губили его навеки».

«Вот московские виды»,— сказал молодой художник, указывая на картины, изображающие Каменный мост, Кремль и проч.

---

Di qua, di là sollecito s'aggira  
Per le vie, per le piazze, e per le tende.  
I guerrier, i destrier l'arme rimira;  
L'arti e gli ordini osserva, e i nomi apprende  
Né di ciò pago a maggior cose aspira;  
Spia occulti disegni, e parte intende.  
Tanto s'avvolge, e così destro, a piano...

То есть: «Прямым путем проходит чрез врата царские. Делает вопросы, дает ответы; хитрым вопросам и быстрым ответам соответствует его смелое и гордое чело. Туда и сюда проходит торопливыми шагами, чрез пути и площади между шатров неприятельских. Осматривая ряды воинов, коней и оружия, замечает порядок, искусство воинов; познает их имена. Сего недоволен: он стремится к высшей цели; проникает в тайные замыслы и хитрые намерения врагов...»

Наш Фигнер старцем в стан врагов  
Идет во мраке ночи:  
Как тень прокрался вкруг шатров,  
Все зрели быстры очи.  
И стан еще в глубоком сне,  
День светлый не проглянул,  
А он — уж витязь на коне,  
Уже с дружиной грянул...

*Жуковский. (Прим. К. Н. Батюшкова.)*

\* Недостает лишь, чтоб он заговорил, тогда бы он совсем ожил. Лишь этого недостает, если ты веришь своим глазам (*итал.*).

с большою истиною и искусством. Какие воспоминания для московского жителя! Рассматривая живопись, я погрузился в сладостное мечтание и готов был воскликнуть почти то же, что Эней у Гелена, в долинах Хаонейских, где все чудесным образом напоминало изгнаннику его священную Трою, рощи, луга и источники родины незабвенной\*; я готов был сказать моим товарищам:

Что матушки-Москвы и краше и милее?

Но Старожилов рассеял воспоминание о древней белокаменной столице громким и непрерывным смехом, рассматривая чудесные мозаики, в той же комнате выставленные. Я взглянул на него с негодованием, пожал плечами и пошел в другую комнату, где ожидал нас портрет покойного гр<афа> А. С. Строганова, писанный г. Варником. Вокруг него мы нашли толпу зрителей: одни хвалили смелость кисти, отделку платья, белого глазета и весь рисунок картины; другие, напротив того, утверждали, что краски вообще тусклы, отделка груба, нетщательна и проч., и проч., и проч.; а я восхищался удивительным сходством лица.

«Так, это он! точно он! — сказал какой-то пожилой человек нашему путеводителю. — Эта прекрасная картина г. Варника возбуждает в моей памяти тысячу горестных и сладких воспоминаний! Она живо представляет лице покойного графа, сего просвещенного покровителя и друга наук и художеств, вельможу, которого мы будем всегда оплакивать, как дети — нежного и попечительного отца. Полезные советы, лестное одобрение знатока, редкое добродушие, истинный признак великой и прекрасной души, желание быть полезным каждому из нас, пламенная, но просвещенная любовь к отечеству, любовь ко всему, что может возвысить его славу и сияние: вот чем отличался почтенный президент нашей Академии, вот что мы будем вспоминать со слезами вечной признательности и что искусная кисть г. Варника столь живо напоминает всем академикам, которые имели счастье пользоваться покровительством любезнейшего и добрейшего из людей. Черты, незабвенные черты нашего мецената будут нам всегда драгоценны!»

Художник говорил с большим жаром, и слезы навернулись на его глазах. Я был вне себя от радости; ибо я разделял вполне его чувства. Сам Старожилов был тронут и долго стоял в молчании пред почтенным ликом почтенного старца, престарелого

---

\* Proce<sup>o</sup>, et parvam Trojam, simulataque magnis Pergama, et arentem Xanthi cognomine rivum, Agnosco, Scaea<sup>e</sup>que amplector limina portae.

Aeneid. liber III.

[Подвигаюсь вперед и узнаю малую Трою, изображение великого Пергама, иссохший ручей, называемый Ксанф, и обнимаю порог Скейских ворот. *Энеида*, книга III (лат.).]

Нестора искусств, истинного образца людей государственных; вельможи, который доказал красноречивым примером целой жизни, что вышний сан заимствует прочное сияние не от богатства и почестей наружных, но от истинного, неотъемлемого достоинства души, ума и сердца.

Долго сладкое впечатление оставалось в моей душе, и я, занятый разговором почтенного художника, прошел без внимания мимо некоторых картин ученической работы иностранцев, которые на сей раз, как будто нарочно, согласились уступить бесспорно преимущество нашим художникам, выставя безобразные и уродливые произведения своей кисти. Мы остановились у подножия Актеона (изобретения г. Мартоса), большой статуи, отлитой для графа Н. П. Румянцева г. Екимовым: прекрасное произведение русских художников! «Заметьте,— сказал нам услужливый путеводитель наш,— заметьте, что литейное искусство сделало большой шаг в России под руководством г. Екимова»\*.

Картина г. Куртеля «Спартанец при Фермопилах» привлекла наше внимание. Прекрасный юноша, сразившийся за свободу Греции, умирает один, без помощи, без друга, в местах пустынных. Кровавый долг Спарте отдан, оружие избито, кровь пролита ручьями из ран глубоких и смертельных, и последние минуты убегающей жизни принадлежат ему: последние взоры, исполненные страдания и любви, устремлены на медальон, изображающий черты, ему любезные. «Вот прекрасная мысль,— сказал я моим товарищам,— и выраженная мастерскою кистью». Но они заметили, и справедливо, что в фигуре нет ни соразмерности, ни согласия. «Это туловище небольшого фавна, приставленное к ногам боргезского борца,— сказал молодой художник.— Конечно, много истины в выражении лица и мертвенности других членов; но, признаюсь вам, я неохотно смотрю на подобные сему изображения! И можно ли смотреть спокойно на картины Давида и школы, им образованной, которая напоминает нам одни ужасы революции: терзание умирающих насильственною смертью, оцепенение глаз, трепещущие, побледневшие уста, глубокие раны, судороги — одним словом, ужасную победу смерти над жизнью. Согласен с вами, что это представлено с большою живостию; но эта самая истина отвратительна, как некоторые истины, из природы почерпнутые, которые не могут быть приняты в картине, в статуе, в поэме и на театре»

---

\* Отлитая г. Екимовым фигура Актеона, по разобрании формы, не была ни опилена, ни отчеканена; но отлитие оной так совершенно, что по отбитии *пугцев*, чрез которые течет в форму растопленный металл, осталось только всю фигуру пройти песком, для того чтоб ей дать общий цвет. Хвала г. Екимову, особливо за удачное во всех частях отлитие колоссальных статуй для Казанского собора, также конченных без чеканки!



Разговаривая таким образом, мы оставили Академию. Если мое письмо не наскучило пустынною, то я сообщу тебе продолжение нашей прогулки и разговора о художествах. Прости до первой почты.

N. N.

P. S. На третий день моей прогулки в Академию я кончил мое письмо к тебе и готов был его запечатать, как вдруг мне пришла на ум следующая мысль: если кто-нибудь прочтает то, что я сообщил приятелю в откровенной беседе?.. «Что нужды!— отвечал молодой художник Н., которому я прочитал мое письмо.— Что нужды? Разве вы обидели кого-нибудь из художников, достойных уважения? Выставка картину для глаз целого города, разве художник не подвергает себя похвале и критике добровольно? Один маляр гневается за суждение знатока или любителя; истинный талант не страшится критики: напротив того, он любит ее, он уважает ее, как истинную, единственную путеводительницу к совершенству. Знаете ли, что убивает дарование, особливо если оно досталось в удел человеку без твердого характера? Хладнокровие общества: оно ужаснее всего! Какие сокровища могут заменить лестное одобрение людей чувствительных к прелестям искусств! Один богатый невежда заказал картину моему приятелю; картина была написана, и художник получил кучу золота... Поверите ли, он был в отчаянии. «Ты недоволен платою?»— спросил я. «О нет! я награжден слишком щедро!»— «Что же огорчает тебя?»— «Ах, любезный друг, моя картина досталась невежде и сгниет в его кабинете: что мне в золоте без славы! В Париже художники знают свою выгоду. Они живут в тесной связи с писателями, которые за них сражаются с журналистами, с знатоками и любителями и проливают на них источники чернил. Две, три недели, часто месяц занимают они публику после первого выставления картин».— «Это все справедливо; но я мог ошибаться».— «Что нужды, если без намерения!»— «Но я употребил в моем письме новые выражения, например: *механический прием* (в живописном деле), желая изъяснить то, что французы называют *le faire\**, и боюсь...» — «Пускай другие переведут лучше, исправнее; у нас еще не было своего Менгса, который открыл бы нам тайны своего искусства и к искусству живописи присоединил другое, столь же трудное: искусство изъяснять свои мысли. У нас не было Винкельмана... Но запечатайте, запечатайте письмо: его никто не прочтает!» — повторял художник с хитрою улыбкою. И его слова успокоили меня, хотя не совершенно. Признаюсь тебе, любезный друг, я боюсь огорчить наших художников, которые нередко до того простирают

---

\* Создавать, делать (франц.).

ревность к своей славе, что малейшую критику, самую умеренную, самую осторожную, почитают личным оскорблением.

[1814]

## НЕЧТО О ПОЭТЕ И ПОЭЗИИ

Поэзия — сей пламень небесный, который менее или более входит в состав души человеческой, — сие сочетание воображения, чувствительности, мечтательности — поэзия нередко составляет и муку, и услаждение людей, единственно для нее созданных. *«Вдохновением гения тревожится поэт»*, — сказал известный стихотворец. Это совершенно справедливо. Есть минуты деятельной чувственности: их испытали люди с истинным дарованием; их-то должно ловить на лету живописцу, музыканту и, более всех, поэту: ибо они редки, преходящи и зависят часто от здоровья, от времени, от влияния внешних предметов, которыми по произволу мы управлять не в силах. Но в минуту вдохновения, в сладостную минуту очарования поэтического я никогда не взял бы пера моего, если бы нашел сердце, способное чувствовать вполне то, что я чувствую; если бы мог передать ему все тайные помышления, всю свежесть моего мечтания и заставить в нем трепетать те же струны, которые издали голос в моем сердце. Где сыскать сердце, готовое разделять с нами все чувства и ощущения наши? Нет его с нами — и мы прибегаем к искусству выражать мысли свои, в сладостной надежде, что есть на земле сердца добрые, умы образованные, для которых сильное и благородное чувство, счастливое выражение, прекрасный стих и страница живой, красноречивой прозы — суть сокровища истинные... *«Они не могут читать в моем сердце, но прочитают книгу мою»*, — говорил Монтань; и в самые бурные времена Франции, при звуке оружия, при зареве костров, зажженных суеверием, писал *«Опыты»* свои и, беседуя с добрыми сердцами всех веков, забывал недостойных современников.

Некто сравнивал душу поэта в минуту вдохновения с расплавленным в горниле металлом: в сильном и постоянном пламени он долго остается в первобытном положении, долго недвижим; но раскаленный — рдеет, закипает и клокочет; снятый с огня, в одну минуту успокаивается и упадает. Вот прекрасное изображение поэта, которого вся жизнь должна готовить несколько плодотворных минут: все предметы, все чувства, все зримое и

незримое должно распалать его душу и медленно приближать сии ясные минуты деятельности, в которые столь легко изображать всю историю наших впечатлений, чувств и страстей. Плодотворная минута поэзии! ты быстро исчезаешь, но оставляешь вечные следы у людей, владеющих языком богов.

Люди, счастливо рожденные, которых природа щедро наделила памятью, воображением, огненным сердцем и великим рассудком, умеющим давать верное направление и памяти, и воображению, — сии люди имеют, без сомнения, дар выражаться, прелестный дар, лучшее достояние человека; ибо посредством его он оставляет вернейшие следы в обществе и имеет на него сильное влияние. Без него не было бы ничего продолжительного, верного, определенного; и то, что мы называем бессмертием на земле, не могло бы существовать. Веки мелькают, памятники рук человеческих разрушаются, изустные предания изменяются, исчезают; но Омер и книги священные говорят о протекшем. На них основана опытность человеческая. Вечные кладези, откуда мы почерпаем истины утешительные или печальные! что дает вам сию прочность? Искусство письма и другое, важнейшее — искусство выражения.

Сей дар выражать и чувства, и мысли свои давно подчинен строгой науке. Он подлежит постоянным правилам, проистекшим от опытности и наблюдения. Но самое изучение правил, беспрестанное и упорное наблюдение изящных образцов — недостаточны. Надобно, чтобы вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия клонились к одному предмету, и сей предмет должен быть — Искусство. Поэзия, осмелюсь сказать, требует *всего человека*.

Я желаю — пускай назовут странным мое желание! — желаю, чтобы поэту предписали особенный образ жизни, пиитическую *диэтику*; одним словом, чтобы сделали науку из жизни стихотворца. Эта наука была бы для многих едва ли не полезнее всех Аристотелевых правил, по которым научаемся избегать ошибок; но как творить изящное — никогда не научимся!

Первое правило сей науки должно быть: живи, как пишешь, и пиши, как живешь. *Talis hominibus fuit oratio, qualis vita\**. Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы. К чему произвела тебя природа? Что вложила в сердце твое? Чем пленяется воображение, часто против воли твоей? При чтении какого писателя трепетал твой гений с неизъяснимою радостью, и глас, громкий глас твоей пиитической совести восклицал: проснись, и ты поэт! — При чтении творцов эпических? Итак, удались от общества, окружи себя природою: в тишине сельской, посреди грубых, неиспорченных нравов читай историю времен протекших,

---

\* Речь людей такова, какой была их жизнь (лат.).

поучайся в печальных летописях мира, узнавай человека и страсти его, но исполнись любви и благоволения ко всему человечеству: да будут мысли твои важны и величественны, движения души твоей нежны и страстны, но всегда покорены рассудку, спокойному властелину их. Этого мало! Эпическому стихотворцу надобно все испытать, *обе фортуны*. Подобно Тассу, любить и страдать всем сердцем; подобно Камоэнсу, сражаться за отечество, обтекать все страны, вопрошать все народы, дикие и просвещенные, вопрошать все памятники искусства, всю природу, которая говорит всегда красноречиво и внятно уму возвышенному, обогащенному опытами, воспоминаниями. Одним словом, надобно, забыв все ничтожные выгоды жизни и самолюбия, пожертвовать всем — славе; и тогда только погрузиться (не с дерзостию кичливого ума, но с решимостию человека, носящего в груди своей внутреннее сознание собственной силы), тогда только погрузиться в бурное и пространное море эпопеи...

Жить в обществе, носить на себе тяжелое ярмо должностей, часто ничтожных и суетных, и хотеть согласовать выгоды самолюбия с желанием славы — есть требование истинно суетное. Что образ жизни действует сильно и постоянно на талант, в том нет сомнения. Пример тому французы: их словесность, столь богатая во всех родах, не имеет ни эпопеи, ни истории. Их писатели по большей части жили посреди шумного города, посреди всех обольщений двора и праздности; а история и эпопея требуют внимания постоянного, и сей важности и сей душевной силы, которую общество не только что отнимает у человека рассеянного, но уничтожает совершенно. «Хотите ли быть красноречивыми писателями? — говорит красноречивая женщина нашего времени, — будьте добродетельны и свободны, почитайте предмет любви вашей, ищите бессмертия в любви, божества в природе; освятите душу, как освящают храм, и ангел возвышенных мыслей предстанет вам во всем велелепии!» Прелестные строки, исполненные истины! вас рассеянные умы или не поймут, или прочитают с гордым презрением.

Взглянем на жизнь некоторых стихотворцев, которых имена столь любезны сердцу нашему. Гораций, Катулл и Овидий так жили, как писали, Тибулл не обманывал ни себя, ни других, говоря покровителю своему, Мессале, что его не обрадуют ни триумфы, ни пышный Рим; но спокойствие полей, здоровый воздух лесов, мягкие луга, родимый ручеек и эта хижина с простым, соломенным кровом — ветхая хижина, в которой Делия ожидает его с распущенными власами по высокой груди. Петрарка точно стоял, опершись на скалу Воклюзскую, погруженный в глубокую задумчивость, когда вылетали из уст его гармонические стихи:

Sott'un gran sasso  
In una chiusa valle, ond'esce Sorga,

Si stà: nè chi lo scorga  
V'è se no Amor, che mai no'l lascia un passo  
E l'immagine d'una che lo strugge\*.

Счастливым Шолье мечтал под ветхими и тенистыми деревьями фонтенейского убежища; там сожалел он об утрате юности, об утрате неверных наслаждений любви. Богданович жил в мире фантазии, им созданном, когда рука его рисовала пленительное изображение Душеньки\*\*. Державин на диких берегах Суны, орошенной кипящею ее пеною, воспевал водопад и бога в пророческом исступлении. И в наши времена, более обильные славою, нежели благоприятные музам, Жуковский, оторванный Беллоною от милых полей своих, Жуковский, одаренный пламенным воображением и редкою способностью передавать другим глубокие ощущения души сильной и благородной, — в стане воинов, при громе пушек, при зареве пылающей столицы писал вдохновенные стихи, исполненные огня, движения и силы.

Если образ жизни имеет столь сильное влияние на произведения поэта, то воспитание действует на него еще сильнее. Ничто не может изгладить из памяти сердца нашего первых, сладостных впечатлений юности! Время украшает их и дает им восхитительную прелесть. В среднем возрасте зримые предметы слабо врезаются в памяти, и душа, утомленная ощущениями, пренебрегает ими: ее занимают одни страсти; в преклонных летах человек не приобретает, и последним его сокровищем остается то единственно, чем он запас себя в молодости. Таким образом природа соединяет вечер с утром жизни, как вечерняя заря сливается с утреннею в долгие дни лета под нашим северным небом.

Если первые впечатления столь сильны в сердце каждого человека, если не изглаживаются во все течение его жизни, то тем более они должны быть сильны и сохранять неувядаемую свежесть в душе писателя, одаренного глубокою чувствительностию.

Утешно вспоминать под старость детски леты,  
Забавы, резвости, различные предметы,  
Которые тогда увеселяли нас!

Если бы мы знали подробно обстоятельства жизни великих писателей, то без сомнения могли бы найти в их творениях

---

\* Под большой скалой  
В замкнутой долине, откуда вытекает Сорга,  
Стоит он: и того, кто бы видел его, там нет,  
Кроме Амура, который никогда не оставляет его ни на шаг,  
И образа той, которая его сокрушает (*итал.*).

\*\* Богданович жил в совершенном уединении. У него были два товарища, достойные добродушного Лафонтена: кот и петух. Об них он говорил, как о друзьях своих, рассказывал чудеса, беспокоился об их здоровье и долго оплакивал их кончину. (*Прим. К. Н. Батюшкова.*)

следы первых, всегда сильных ощущений. Сердце имеет свою особенную память. Руссо помнил начало песни, которую ему напевала его добродушная тетка. Молодой Ариост, в бытность свою во Флоренции, влюбился в прелестную женщину. Он часто посещал ее; целые часы в глубоком безмолвии просиживал, любясь красавицею, которая вышивала по серебру пурпурным шелком. Впечатление прелестных рук навсегда осталось в памяти любовника, и столь сильно, что в последствии времени, рассказывая битву Мандрикара с злополучным Сербином, он сравнивает алую кровь, текущую из глубокой раны юноши, с пурпурными начертаниями, которые вышивала по серебру белоснежная рука незабвенной флорентинки. Нежные сердца помнят те места в Вергилии, где поэт говорит о своей милой Мантуе; стихи римского Омера исполнены воспоминаний о юности; они исполнены сих глубоких, неизгладимых впечатлений, которые погружают читателя в сладкую задумчивость, напоминая ему его собственную жизнь и ясную зарю молодости.

Климат, вид неба, воды и земли — все действует на душу поэта, отверстую для впечатлений. Мы видим в песнях северных скальдов и эрских бардов нечто суровое, мрачное, дикое и всегда мечтательное, напоминающее и пасмурное небо севера, и туманы морские, и всю природу, скудную дарами жизни, но всегда величественную, прелестную и в ужасах. Мы видим неизгладимый отпечаток климата в стихотворцах полуденных: некоторую негу, роскошь воображения, свежесть чувств и ясность мыслей, напоминающих и небо, и всю благотворную природу стран южных, где человек наслаждается двойною жизнью, в сравнении с нами, где все питает и нежит его чувства, где все говорит его воображению. Напрасно уроженец Сицилии или Неаполя желал бы состояться в песнях своих с бардом Морвена и описывать, подобно ему, мрачную природу севера; напрасно северный поэт желал бы изображать роскошные долины, прохладные пещеры, плодоносные рощи, тихие заливы и небо Сицилии, высокое, прозрачное и вечно ясное. Один Тасс, рожденный под раскаленным солнцем Неаполя, мог описать столь верными и свежими красками ужасную засуху, гибельную для крестовых воинов. По сему описанию, говорит ученый Женгене, можно узнать полуденного жителя, который неоднократно подвергался смертному влиянию ветров африканских, неоднократно изнемогал под бременем зноя. У нас Ломоносов, рожденный на берегу шумного моря, воспитанный в трудах промысла, сопряженного с опасностью, сей удивительный человек в первых годах юношества был сильно поражен явлениями природы: солнцем, которое в должайшие дни лета, дошед до края горизонта, снова восстает и снова течет по тверди небесной; северным сиянием, которое в полуночном краю заменяет солнце и проливает холодный и дрожащий свет на

природу, спящую под глубокими снегами,— Ломоносов с каким-то особенным удовольствием описывает сии явления природы, величественные и прекрасные, и повторяет их в великолепных стихах своих:

Закрылись крайние с пучиною леса,  
Лишь с морем видны вокруг слиянны небеса.  
.....  
...Сквозь воздух в юге чистый  
Открылись два холма и берега лесисты.  
Меж ними кораблям в залив отверзся вход,  
Убежище пловцам от беспокойных вод,  
Где, в влажных берегах крутятся, печальная Уна  
Медлительно течет в объятия Нептуна...  
Достигло дневное до полночи светило,  
Но в глубине лица горящего не скрыло;  
Как пламенная гора казалось средь валов  
И простирало блеск багровый из-за льдов.  
Среди пречудных при ясном солнце ночи  
Верхи золотых зыбей пловцам сверкают в очи.

Мы не остановимся на красоте стихов. Здесь все выражения великолепны: горящее лицо солнца, противоположенное холодным водам океана; солнце, остановившееся на горизонте, и, подобно пламенной горе, простирающее блеск из-за льдов,— суть первоклассные красоты описательной поэзии. Два последние стиха, заключающие картину, восхитительны:

Среди пречудных при ясном солнце ночи  
Верхи золотых зыбей пловцам сверкают в очи.

Но мы заметим, что поэт не мог бы написать их, если бы он не был свидетелем сего чудесного явления, которое поразило огненное воображение вдохновенного отрока и оставило в нем глубокое, неизгладимое впечатление.

[1815]

## О ЛУЧШИХ СВОЙСТВАХ СЕРДЦА

Масье, воспитанник Сикаров, на вопрос: «Что есть благодарность?» — отвечал: «Память сердца». Прекрасный ответ, который еще более делает чести сердцу, нежели уму глухонемого философа. Эта память сердца есть лучшая добродетель человека, и не столь редка, как полагают некоторые строгие наблюдатели. «Человек добр по природе», — кричал женевский мизантроп — и клеветал общество, следственно, клеветал человека,

ибо он создан жить в обществе, как муравей, как пчела: все его добродетели относительно к ближнему и отвлеченно от оного существовать не могут, как рука, отделенная от тела. «Человек есть создание злое», — говорят другие моралисты и приводят множество свидетельств о разврате и злобе сердца нашего; но я не верю им и не могу верить, чтобы общество походило на скопище свирепых зверей. Живут ли тигры вместе? Строят ли города? Нет. Ясное доказательство, что злоба не связывает, но разлучает. Кто живет в обществе? Незлобные создания: голубь, муравей, бобр, умный слон, и каждое из сих созданий имеет какое-нибудь *качество*, которое украшает человека и есть одно из незыблемых оснований общежительности.

Первый наш долг: благодарность к творцу. Но для исполнения его надобно начать с людей. Провидению угодно было связать чрез общество все наши отношения к небу. Быть виновником бытия не есть достоинство перед богом и людьми; но принять младенца из рук матери в минуту его рождения, от колыбели до зрелых лет служить ему защитою и опоркою, передать ему в наследие имя, звание, сокровища, землю, праотцами возделанную: вот обязанность отца. Благодарность есть обязанность детей. На подобных взаимных обязанностях основано все благосостояние общества. Все основания его суть *добро*, и чем более добра, тем тверже его основание, ибо одно добро имеет здесь прочность и постоянность. Зло есть насильственное состояние. Под шумом ли бури или при сладостном сиянии солнца зреют нивы? Как сила плодородия имеет свое основание в теплоте, так сила гражданственности основана на добре.

Многие умы наблюдали человека в одном тесном кругу, в котором действовали сами. Ларошфуко, остроумнейший из писателей остроумного века, основал мораль свою на подобных наблюдениях. Но я спрашиваю: если бы натуроиспытатель глядел на муравья во время его странствования за былинкою или за зерном, наблюдал его ссоры с товарищами, а забыл заглянуть в огромное гнездо, где все имеет вид порядка, стройности, где все части относятся совершенно одна к другой и составляют прекрасное целое, то какое произнес бы он суждение о трудолюбивом насекомом? Вот что сделал Ларошфуко, говоря о человеке и наблюдая за ним в прихожей Тюльерийского замка. Но прихожая не есть вселенная, и человек придворный не есть лучший из людей.

Впрочем, меня никто не уверит, чтобы чувство благодарности было следствием нашего эгоизма, и я не могу постигнуть добродетели, основанной на исключительной любви к самому себе. Напротив того, добродетель есть пожертвование добровольное какой-нибудь выгоды; она есть отречение от самого себя. Есть добродетели, уму принадлежащие, другие — сердцу; благодар-



ность, лучшая из наших добродетелей, или, вернее, отголосок многих душевных качеств, принадлежит сердцу. «Ты мне сделал добро: следовательно, я тебя люблю», — так говорит благородное сердце. Эгоист иначе: «Ты мне сделал добро; но будешь ли мне делать добро и впредь? добро, тобой сделанное, не требует ли жертвований с моей стороны?» Вот слова эгоиста; они совершенно противны благодарности, которая тем прелестнее, тем святее, чем менее рассуждает, чем менее торгуется с пользой личною и более предается одному сердечному движению.

Сердца, одаренные глубокою или раздражительною чувствительностию, часто не знают середины; для них все есть зло или добро: видят совершенный порядок в обществе — или отсутствие одного, скорее последнее. Чувствительный человек, страдавший в течение всей жизни, делается наконец мизантропом и убегает в дремучие леса от взоров людей неблагодарных. Там возносит он клеветы на все человечество, оскорбившее его сердце, и в гневном своем забывает, что он сам есть человек, то есть создание слабое, доброе, злое и нерассудительное; луч божества, заключенный в прахе; существо, поработанное всем стихиям, всем изменениям нравственным и физическим. Но пусть мизантроп приведет себе на память всю жизнь свою от колыбельных дней до той страшной эпохи, когда сердце его воскликнуло в гнев: «Человек зол, и люди подобны тиграм!», пусть приведет он на память и младенчество, и юношество, и зрелый возраст, в котором воля и рассудок начинали заглушать голос страстей; пусть он спросит себя: «Или я не нашел добрых и честных людей в течение целой жизни? Или я лучше и добрее всех людей, имею все добродетели и все качества, и чужд страстей, и чужд всего низкого и порочного?» — «Нет, — скажут ему рассудок и опыт, — и ты человек, и ты заплатил человечеству дань пороков, слабости и страстей; ты не ангел, ты и не чудовище». Опыт и рассудок показывают нам редкие добродетели, и часто в сердце порочном наблюдатель чудес нравственных с неизъяснимою радостью открывает яркие лучи душевной доблести: великодушие, сострадание, презрение к корысти и тысячу прелестных качеств, которые примиряют его с порочным и с небом, создавшим человека не для одних преступлений.

Кто из нас, отложив все предрассудки и все предубеждения, не сосчитает несколько примерных людей, утешивших собою человечество? Не станем искать героев добродетели в истории; поищем вокруг себя — и найдем, конечно! Курций бросился в пропасть, но Рим на него смотрел. Леонид обрекает себя смерти, но все отечество (и какое отечество? Спарта!) об нем в страхе и надежде. Долгорукий раздирает роковую бумагу в присутствии разгневанного монарха; но он совершает подвиг свой в сенате, окруженный великими людьми, достойными его и первого вла-

дыки в мире. Прекрасные подвиги, достойные подражания и слез удивления — неподкупных, сладостных и божественных слез! Теперь спрашиваю: если мы удивляемся великим делам в великом поприще, если веруем добродетели, твердости душевной, бескорыстию в великих обстоятельствах, то почему не веровать им в малых? Добродетель под спудом не есть ли добродетель? Бедный, который делится последними крохами с нищим; сестра милосердия, в душной больнице стоящая с сосудом врачевания при ложе врага ее отечества; смелый и человеколюбивый врач, испытующий свое искусство и терпение в дальней хижине дровосека, без свидетелей своего доброго дела, кроме одного в небесах и другого в груди своей, — все эти люди, обреченные забвению, не суть ли добродетельные люди? И тот, кто беспристрастно рукою начертывает имена их в книге судеб, не напишет ли их наряду с именами Говарда, Лас Казаса, Еропкина и других людей, которых добродетель и человечество называют *своими*. Монтань заметил справедливо, что лучшие подвиги храбрости теряются в неизвестности: один похищает знамя — имя его гремит в рядах; но сотни неустрашимых погибли перед ним и кругом его... Перенесите сей порядок в мир нравственный. Лас Казас спасает любезных своих американцев от рабства, — он бессмертен. Бедный миссионер в снегах канадских бродит из шалаша в шалаш, из степи в степь; окруженный смертию, проповедует бога и утешает страждущих: каких? Семью дикого или изгнанника, живущего на неизвестном берегу безымянной реки или озера. Сей смиренный воин Христа не есть ли великий человек в полном нравственном смысле? Но к чему нам переноситься в дальняя страны? Здесь, кругом нас, кто не испытал, что есть добрые люди, что в обществе есть добродетели редкие, посреди страстей, посреди разврата и роскоши: одно злое сердце может в них сомневаться; одно жестокое сердце не находило сердец нежных.

И в странах отдаленных и в делях, не знакомых взорам человека, родятся цветы: на диких берегах Амура, среди мхов и болот выходит прелестный цветок, до сих пор не известный любопытному испытателю природы; медленно распускается он под кротким веянием летнего ветерка; наконец, украшение пустыни, цветок увядает:

*В пустынном воздухе теряя запах свой!*

Но семена его, падая на землю, расцветают с первою весною в новой красоте, в новом убранстве. Вот истинная эмблема сей добродетели, не известной человекам, но не потерянной для человечества; ибо ничто доброе здесь не теряется, подобно как ни одна былинка в природе: все имеет свою цель, свое назначение; все принадлежит к вечному и пространному чертежу и входит в состав целого в нравственном мире. В роскошном Париже, в многолюдном Лондоне и Пекине та же самая сумма или то же

количество добра и зла, по мере пространства, какое и в юртах кочующих народов Сибири или в землянках лапландцев. Добродетельный старец (Мальзерб) защищает монарха, покинутого друзьями, родственниками, дворянством, целым народом; он защищает его под лезвием мечей, при проклятии озлобленных тиранов (но в виду вселенной, и, так сказать, в присутствии потомства). В ту же самую минуту — сделаем сие предположение — лапландец пробегает на лыжах необъятное пространство в трескучий мороз, посреди ужасной вьюги: зачем? чтобы принести несколько пищи бедному семейству друга своего, утешить больную вдовицу и спасти от явной смерти грудного младенца. Мальзерб и лапландец равны перед тем, кто их создал, равны перед лицом добродетели и правосудия небесного: оба жертвуют жизнью для доброго дела.

[1815]

## АРИОСТ И ТАСС

Учение италиянского языка имеет особенную прелесть. Язык гибкий, звучный, сладостный, язык, воспитанный под счастливым небом Рима, Неаполя и Сицилии, среди бурь политических и потом при блестящем дворе Медицисов, язык, образованный великими писателями, лучшими поэтами, мужами учеными, политиками глубокомысленными, — этот язык сделался способным принимать все виды и все формы. Он имеет характер, отличный от других новейших наречий и коренных языков, в которых менее или более приметна суровость, глухие или дикие звуки, медленность в выговоре и нечто принадлежащее Северу. Великие писатели образуют язык; они дают ему некоторое направление, они оставляют на нем неизгладимую печать своего гения — но, обратно, язык имеет влияние на писателей. Трудность выражать свободно некоторые действия природы, все оттенки ее, все изменения останавливает нередко перо искусное и опытное. Ариост, например, выражается свободно, описывает верно все, что ни видит (а взор сего чудесного Протея обнимает все мироздание): он описывает сельскую природу с удивительною точностию — благовонные луга и рощи, прохладные ключи и пещеры полуденной Франции, леса, где Медор, утомленный негою, почивает на сладостном лоне Анжелики; роскошные чертоги Альцины, где волшебница сияет между нимфами (Si come è bello il sol più

d'ogni stella\*); все живет, все дышит под его пером. Переходя из тона в тон, от картины к картине, он изображает звук оружия, треск щитов, свист пращей, преломление копий, нетерпеливость коней, жаждающих боя, единоборство рыцарей и неимоверные подвиги мужества и храбрости; или брань стихий и природу, всегда прелестную, даже в самых ужасах (*bello è l'ottoge\*\**)! Он рассказывает, и рассказ его имеет живость необыкновенную. Все выражения его верны и с строгою точностью прозы передают читателю блестящие мысли поэта. Он шутит, и шутки его, легкие веселые, игривые и часто незлобные, растворены аттическим остроумием. Часто он предается движению души своей и удивляет вас, как оратор, порывами и силою мужественного красноречия. Он трогает, убеждает, он невольно исторгает у вас слезы, сам плачет с вами и смеется над вами и над собою; или увлекает вас в мир неизвестный, созданный его музою; заставляет странствовать из края в край, подниматься на воздух; он вступает с вами в царство Луны, где находит все, утраченное под луною, и все, что мы видим на земноводном шаре, но все в новом, переменном виде; снова спускается на землю и снова описывает знакомые страны, и человека, и страсти его. Вы без малейшего усилия следуете за чародеем, вы удивляетесь поэту и в сладостном восторге восклицаете: какой ум! какое дарование! А я прибавлю: какой язык!

Так, один язык итальянский (из новейших, разумеется), столь обильный, столь живой и гибкий, столь свободный в словосочинении, в выговоре, в ходе своем, один он в состоянии был выражать все игривые мечты и вымыслы Ариоста, и как еще? в теснейших узах стихотворца (Ариост писал октавами). Но перенесите этого чародея в другой век, менее свободный в мыслях\*\*\*, более поработенный правилами сочинения, основанными на опытности и размышлении, дайте ему язык северного народа, какой заблагорассудите, — английский или немецкий, например, — и я твердо уверен, что певец «Орланда» не в силах будет изображать природу так, как он постигал ее и как описал в своей поэме: ибо (еще повторю) поэма его заключает в себе все видимое творение и все страсти человеческие; это «Илиада» и «Одиссея»; одним словом, природа, поработенная жезлу волшебника Ариоста\*\*\*\*. Но счаст-

---

\* Подобно тому, как солнце прекраснее всякой звезды! (*итал.*)

\*\* Прекрасен ужас (*итал.*).

\*\*\* Ариост писал, что хотел, против пап. Он смеялся над подложной хартией, которою император Константин уступает викарию святого Петра Рим в потомственное правление, и книга его напечатана в Риме — *con licentia de superiori* [с соизволения властей — *лат.*]. (*Прим. К. Н. Батюшкова.*)

\*\*\*\* Напрасно будут мне указывать на английских и немецких писателей, подражавших Ариосту. Я отдаю полную справедливость Виланду, остроумному поэту и зиждителю нового языка в своем отечестве; но скажу, и должно со мною согласиться, что в «Обероне» менее *вещей*, нежели в «Орланде»; язык

ливому языку Италии, богатейшему наследнику древнего латинского, упрекают в излишней изнеженности! Этот упрек совершенно несправедлив и доказывает одно невежество; знатоки могут указать на множество мест в Тассе, в Ариосте, в самом нежном поэте Валлакиузском и в других писателях, менее или более славных, множество стихов, в которых сильные и величественные мысли выражены в звуках сильных и совершенно сообразных с оными; где язык есть прямое выражение души мужественной, исполненной любви к отечеству и свободе. Не одно «*Chiama gli abitator*»\* найдете в Тассе; множество других мест доказывают силу поэта и языка. Сколько описаний битв в поэме Торквато! И мы смело сказать можем, что сии картины не уступают или редко ниже картин Вергилия. Они часто напоминают нам самого Омера.

Посмотрите на это ужасное последствие войны, на груды бледных тел, по которым бегут иступленные воины, преследуя матерей, прижавших трепетных младенцев к персям своим:

Ogni cosa strage era già pieno;  
Vedeansi in mucchi e in monti i corpi avvolti.  
Là i feriti su i morti, e qui giacieno  
Sotto morti in sepolti, egri sepolti.  
Fuggian premendo i pargoletti al seno,  
Le meste madri, co' capelli sciolti:  
E'l predator di spoglie e di rapine  
Carco, stringea le vergine nel crine.

«Все места преисполнились убийством. Груды и горы убиенных! Там раненые на мертвых, здесь мертвыми завалены раненые; прижав к персям младенцев, убегают отчаянные матери с раскиданными власами; и хищник, отягченный ограбленными сокровищами, хватает за власы дев устрашенных».

Желаете ли видеть поле сражения, покрытое нетерпеливыми воинами; — картину единственную, величественную! Солнце проливает лучи свои на долину; все сияет: и оружие разноцветное, и стальные доспехи, и шлемы, и щиты, и знамена. Слова поэта имеют нечто блестящее, торжественное, и мы невольно восклицаем с ним: *bello in sí bella vista anco è l'orrore!*\*\*

Grande e mirabil cosa era il vedere  
Quando quel campo, e questo a fronte venne:

---

не столь полон и заставляет всегда чего-нибудь желать; поэт не договаривает, и — весьма часто. Позвольте сделать следующий вопрос: если бы Виланд писал в Италии, во время Ариоста, то такой вид получила бы его поэма? Язык у стихотворца то же, что крылья у птицы, что материал у ваятеля, что краски у живописца. (Прим. К. Н. Ватюшкова.)

\* Призывает обитателей (итал.).

\*\* В столь прекрасном зрелище прекрасен даже ужас (итал.).

Come spiegate in ordine le schiere;  
Di mover già, già d'assalire accenne:  
Sparse al vento ondeggiando ir le bandière,  
E ventolar su i gran cimier' le penne;  
Abiti, fregi, imprese, arme e colori  
D'oro e di ferro al sol lampi e folgori.

Sembra d'alberi densi alta foresta  
(L'un campo e l'altro, di tant'aste abonda!)  
Son tesi gli archi, e son le lance in resta:  
Vibransi i dardi, e rotasi ogni fionda.—  
Ogni cavallo in guerra anco s'appresta:  
Gli odi e'l furor del suo signor seconda:  
Raspa, batte, nitrisce e si raggira;  
Gonfia le nari, e fumo e foco spira.

*Bello in si bella vista anco è l'orrore!*

«Открылось великолепное и удивительное зрелище, когда оба войска выстроились одно против другого, когда развернулись в порядке полчища, двигаться и нападать готовые! Распущенные по ветру знамена волнуются; на высоких гребнях шлемов перья колеблются; испещренные одежды, вензели и цветы оружий, золото и сталь ярким блеском и сиянием лучи солнечные отражают.

В густой и высокий лес сомкнулись копья: столь многочисленно и то и другое воинство! Натянуты луки, обращены копья, сверкают дротики, пращи крутятся, самый конь жаждет кровавой битвы: он разделяет ненависть и гнев ожесточенного вадника; он роет землю, бьет копытами, ржет, крутится, раздувает ноздри и дымом и пламенем дышит».

Но битва закипела, час от часу становится сильнее и сильнее. В сражении есть минуты решительные; я на опыте знаю, что они не столь ужасны. Победитель преследует, побежденный убегает; и тот и другой увлекаются примером товарищей своих, и тот и другой заняты собою. Но минута ужасная есть та, когда оба войска, после продолжительного и упорного сопротивления, истощив все усилия храбрости и искусства воинского, ожидают решительного конца,— победы или поражения; когда все гласы, все громы сольются воедино и составят нечто мрачное, неопределенное и беспрестанно возрастающее,— эту минуту поэт описывает с необыкновенною верностию:

Così si combatteva: e in dubbia lance  
Col timor le speranze eran sospese.  
Pien tutto il campo è di spezzate lance,  
Di rotti scudi, e di troncato arnese:  
Di spade a i petti, a le squarciate pance  
Altre confitte, altre per terra stese:  
Di corpi altri supini, altri co'volti  
Quasi mordendo il zuolo, al suol rivolti.  
Giace il cavallo al suo signore appresso,  
Giace il compagno appo il compagno estinto,

Giace il nemico appo il nemico, e spesso  
Sul morto il vivo, il vincitor sul vinto.  
Non v'è silenzio, e non v'è grido espresso,  
Ma odi un non sò che roco, e indistinto.  
Fremiti di furor, mormori d'ira,  
Gemiti di chi langue, e di chi spira.

L'arme, che già si liete in vista foro,  
Faceano or mostra spaventosa e mesta.  
Perduti ha i lampi il ferro, e i raggi l'oro,  
Nulla vaghezza a i bei color'più resta.  
Quanto apparia d'adorno, e di decoro  
Ne'cimieri, e ne'fregi, or si calpesta.  
La polve ingombra ciò ch'al sangue avanza,  
Tanto i campi mutata avean sembianza!\*

«Так ратовало воинство с равным страхом и надеждою. Все поле завалено преломленными копьями, разбитыми щитами и доспехами. Мечи вонзились в грудь, в прободенные панцири; иные по земле разметаны. Здесь трупы, ниц поверженные в прах; там трупы, лицом обращенные к солнцу.

Лежит конь близ всадника, лежит товарищ близ бездыханного товарища; лежит враг близ врага своего и часто мертвый на живом, победитель на побежденном. Нет молчания, нет криков явственных; но слышится нечто мрачное, глухое: клики отчаяния, гласы гнева, воздыхания страждущих, вопли умирающих.

Оружие, дотоле приятное взорам, являет зрелище ужасное и плачевное. Утратила блеск и лучи свои гладкая сталь. Утратили красоту свою разноцветные доспехи. Богатые шлемы, прекрасные латы в прахе ногами попораны. Все покрыто пылью и кровью: столь ужасно пременялось воинство!»\*\*

Мы не можем останавливаться на всех красотах «Освобожденного Иерусалима»; их множество! Прелестный эпизод Эрми-

---

\* В сих трех октавах бессмертный Тасс превзошел себя. Здесь полная картина. Ничего лишнего, ничего натянутого, сверхъестественного. Non v'è silenzio non v'è grido espresso и три следующие стиха живописны. В последней октаве стихотворец повторяет все подробности и кончит как мастер: Tanto i campi avean mutata sembianza. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

\*\* Сия картина поля сражения напоминает нам прекрасные стихи Ломоносова:

Различным образом повержены тела:  
Иный с размаху меч занес на сопостата,  
Но прежде прободен, удара не скончал.  
Иный, забыв врага, прельщался блеском злата;  
Но мертвый на корысть желанную упал.  
Иный, от сильного удара убегая,  
Стремглав на низ слетел и *стонет* под конем;  
Иный, пронзен, *угас*, противника сражая;  
Иный врага поверг и *умер* сам на нем.

Заметим мимоходом для стихотворцев, какую силу получают самые обыкновенные слова, когда они поставлены на своем месте. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

нии, смерть Клоринды, Армидины сады и единоборство Танкреда с Аргантом: кто читал вас без восхищения? Вы останетесь незабвенными для сердец чувствительных и для любителей всего прекрасного! Но в поэме Тассовой есть красоты другого рода; и на них должно обратить внимание поэту и критику. Описание нравов народных и обрядов веры есть лучшая принадлежность эпопеи. Тасс отличился в оном. С каким искусством изображал он нравы рыцарей, их великодушие, смирение в победе, невероятную храбрость и набожность! С каким искусством приводит он крестовых воинов к стенам Иерусалима! Они горят нетерпением увидеть священные верхи града господня. Издали воинство приветствует его непрерывными восклицаниями, подобно мореплавателям, открывшим желанный берег. Но вскоре священный страх и уныние сменяют радость: никто без ужаса и сокрушения не дерзает взглянуть на священное место, где сын божий искупил человечество страданием и вольною смертью. Главы и ноги начальников обнажены; все воинство последует их примеру, и гордое чело рыцарей смиряется пред тем, кто располагает по воле и победою, и лаврами, и славою земною, и царством неба. Такого рода красоты, суровые и важные, почерпнуты в нашей религии: древние ничего не оставили нам подобного. Все обряды веры, все страшные таинства обогатили Тассову поэму. Ринальдо вырывается из объятий Армиды; войско встречает его с радостными восклицаниями. Юный витязь беседует снова с товарищами о войне, о чудесах очарованного леса, которые он один может разрушить: но простой отшельник Петр советует рыцарю исповедью очиститься от заблуждений юности, прежде нежели он приступит к совершению великого подвига. «Сколько ты обязан всевышнему!— говорит он.— Его рука спасла тебя; она спасла заблуждшую овцу и причислила ее к своему стаду. Но ты покрыт еще тиною мира, и самые воды Нила, Гангеса и Океана не могут очистить тебя: одна благодать совершит сие...» Он умолк, и сын прелестной Софии, сей гордый и нетерпеливый юноша, повергается к стопам смиренного отшельника, исповедует ему прегрешения юности своей и, очищенный от оных, идет бестрепетно в леса, исполненные очарований волшебника Исмена. Годофред, желая осадить город, приготовляет махины, стенобитные орудия; но строгий Петр является в шатер к военачальнику. «Ты приготовляешь земные орудия,— говорит он набожному повелителю,— а не начинаешь, отколе надлежит. Начало всего на небе. Умоляй ангелов и полки святых; подай пример набожности войску». И наутро отшельник развеивает страшное знамя, в самом раю почитаемое; за ним следует лик медленным шагом; священнослужители и воины (соединившие в руке своей кадильницу с мечом), Гвильем и Адимар, заключают шествие лика; за ними Годофред, начальники и войско обездороженное. Не слышно



звуков трубы и гласов бранных; но гласы молитвы и смирения:

Te genitor, te figlio eguale al padre,  
E te, che d'ambo uniti amando spiri,  
E te d'uomo, e di dio vergine madre,  
Invocano propizia a i lor desiri\*

*и проч. и проч.*

Так шествует поющее воинство, и гласы его повторяют глубокие долины, высокие холмы и эхо пустынь отдаленных. Кажется, другой лик проходит в лесах, доселе безмолвных, и явственно великие имена Марии и Христа воспевают. Между тем со стен города взирают в безмолвии удивленные поклонники Могаммеда на обряды чуждые, на велелепие чудесное и пение божественное. Вскоре гласы проклятий и хулений неверных наполняют воздух: горы, долины и потоки пустынные их с ужасом повторяют.

Таким образом великий стихотворец умел противопоставить обряды, нравы и религии двух враждебных народов и из садов Армидиных, от сельского убежища Эрминии перенестись в стан христианский, где все дышит благочестием, набожностью и смирением. Самый язык его изменяется. В чертогах Армиды он сладостен, нежен, изобилен; здесь он мужествен, величествен и даже суров.

Те, которые упрекают италийцев в излишней изнеженности, конечно, забывают трех поэтов: Альфьери — душою римлянина, Данта — зиждителя языка италийского и Петрарку, который нежность, сладость и постоянное согласие умел сочетать с силою и краткостью.

[1815]

## ПЕТРАРКА

S'amor non è, che dunque è quel ch'io sento?\*

Вот что говорит Петрарка, которого одно имя напоминает Лауру, любовь и славу. Он заслужил славу трудами постоянными

\* Тебя, родитель, тебя, сын, равный отцу,  
И тебя, который из двух единых, любя, исходишь,  
И тебя, человека и бога дева-мать,  
Призывают в покровительство своим желаниям  
(итал.).

\*\* Что же я чувствую, если и это не любовь? (итал.)

и пользою, которую принес всему человечеству, как ученый прилежный, неутомимый; он первый восстановил учение латинского языка; он первый занимался критическим разбором древних рукописей как истинный знаток и любитель всего изящного. Не по одним заслугам в учености имя Петрарки сияет в истории итальянской; он участвовал в распрях народных, был употреблен в важнейших переговорах и посольствах, осыпан милостями императора Римского и, наконец, от Роберта, короля Неаполитанского, — назван и другом, и величайшим гением. Заметьте, что Роберт был ученейший муж своего времени и предпочитал (это собственные его слова) науки и дарования самой диадиме. Наконец, Петрарка сделался бессмертен стихами, которых он сам не уважал\* , — стихами, писанными на языке итальянском, или народном наречии. Итак, славы никто не оспаривает у Петрарки; но многие сомневались в любви его к Лауре. Многие французские писатели утверждали, что Лаура никогда не существовала, что Петрарка воспевал один призрак, красоту, созданную его воображением, как создана была Дульцинея Сервантовым героем.

Итальянские критики, ревнители славы божественного Петрарки, утвердили существование Лауры; они входили в малейшие подробности ее жизни и на каждый стих Петрарки написали целые страницы толкований. Сия дань учености дарованию покажется иным излишнею, другим смешною; но мы должны признаться, что только в тех землях, где умеют таким образом уважать отличные дарования, рождаются великие авторы. Любители поэзии и чувствительные люди, которые по движениям собственного сердца, пламенного и возвышенного, угадывают сердце поэта и истину его выражений, не будут сомневаться в любви Петрарки к Лауре: каждый стих, каждое слово носит неизгладимую печать любви.

Любовь способна принимать все виды. Она имеет свой особенный характер в Анакреоне, Феокрите, Катулле, Проперции, Овидии, Тибулле и в других древних поэтах. Один сладострастен, другой нежен и так далее. Петрарка, подобно им, испытал все мучения любви и самую ревность; но наслаждения его были духовные. Для него Лаура была нечто невещественное, чистейший дух, излившийся из недр божества и облекшийся в прелести земные. Древние стихотворцы были идолопоклонниками; они не имели и не могли иметь сих возвышенных и отвлеченных поня-

---

\* В этом неуважении к стихам своим Богданович много сходствовал с Петраркой. Он часто говаривал М(уравьев)у: «Стихи мои, которые вам так нравятся, умрут со мною; но моя «Русская история» переживет меня. Стихи мне не много стоили труда; над «Историей» я много пролил поту: на ней-то основана моя слава...» Петрарка и Богданович обманулись! (Прим. К. Н. Батюшкова.)

тий о чистоте душевной, о непорочности, о надежде увидиться в лучшем мире, где нет ничего земного, преходящего, низкого. Они наслаждались и воспевали свои наслаждения; они страдали и описывали ревность, тоску в разлуке или надежду близкого свидания. Слезы горести или восторга, некоторые обряды идолопоклонства, очарования какой-нибудь волшебницы (любовь всегда суеверна), воспоминание о золотом веке и вечные сожаления о юности, улетающей как призрак, как сон,— вот из чего были составлены любовные поэмы древних, вот почему в их творениях мы видим более движения и лучшее развитие страстей, одним словом, более драматической жизни, нежели в одах Петрарки,— но не более истины.

Тибулл, задумчивый и нежный Тибулл, любил напоминать о смерти своей Делии и Немезиде. «Ты будешь плакать над умирающим Тибуллом; я сожму руку твою хладающую рукою, о Делия!..»

Te spectem, suprema mihi cum venerit hors,  
Te teneam moriens, deficiente manu...\*

И сии слова драгоценны для сердец чувствительных! Но после смерти всему конец для поэта; самый Элизий не есть верное жилище. Каждый поэт переделывал его по-своему и переносил туда грубые, земные наслаждения. Петрарка напротив того: он надеется увидеть Лауру в лоне божества, посреди ангелов и святых; ибо Лаура его есть ангел непорочности; самая смерть ее — торжество жизни над смертию. «Она погасла, как лампада,— говорит стихотворец,— смерть не обезобразила ее прелестей; нет! не смертная бледность покрыла ее лице: белизна его подоби-лась снегу, медленно падающему на прекрасный холм в безветренную погоду. Она покоилась, как человек по совершении великих трудов: и это называют смертию слепые человеки!»

Петрарка девять лет оплакивал кончину Лауры. Смерть красавицы не истребила его страсти; напротив того, она дала новую пищу его слезам, новые цветы его дарованию: гимны поэта сделались божественными. Никакая земная мысль не помрачила его печали. Горесть его была вечная, горесть христианина и любовника. Он жил в небесах: там был его ум, его сердце, все воспоминания; там была его Лаура! Стихи Петрарки, сии гимны на смерть его возлюбленной, не должно переводить ни на какой язык; ибо ни один язык не может выразить постоянной сладости тосканского и особенной сладости музыки Петрарковой. Но я желаю оправдать поэта, которого часто критика (отдавая, впрочем, похвалу гармонии стихов его) ставит наравне с обыкновенными

---

\* На тебя взирал я, когда последний час ко мне пришел,  
И, умирающий, держал тебя слабеющей рукой (лат.).

писателями по части изобретения и мыслей. В прозе остаются одни мысли.

«Исчезла твоя слава, мир неблагоприятный! и ты сего не видишь, не чувствуешь. Ты не достойна была знать ее, земля неблагоприятная! ты не достойна быть попираема ее священными стопами! Прекрасная душа ее преселилась на небо. Но я, несчастный! я не могу любить без нее ни смертной жизни, ни самого себя! Лаура! тебя призываю со слезами! слезы — последнее мое утешение; они меня подкрепляют в горести. Увы! в землю превратились ее прелести; они были здесь залогом красоты небесной и наслаждений райских. Там ее невидимый образ; здесь покрывало, затемнявшее его сияние. Она облечется снова и навеки в красоту небесную, которая без сравнения превосходит земную. Ее образ является мне одному (ибо кто мог обожать ее, как я?), он является и прелестнее и светлее. Божественный образ ее, милое имя, которое отзывается столь сладостно в моем сердце, — вы единственные опоры слабой жизни моей... Но когда минутное заблуждение исчезает, когда я вспомню, что лишился надежды моей в самом цвете и сиянии: любовь! ты знаешь, что со мною тогда бывает, знает и она, та, которая приблизилась к божественной истине... Я страдаю; а она из жилища вечной жизни с гордою улыбкою презрения взирает на земное одеяние свое, здесь оставленное. Она о тебе одном вздыхает и умоляет тебя не затмить сияния славы ее, тобою на земле распространенного; да будет глас твоих песней еще звучнее, еще сладостнее, если сладостны и драгоценны были очи ее твоему сердцу!»

Древность ничего не может представить нам подобного. Горесть Петрарки услаждается мыслию о бессмертии души, строгою мыслию, которая одна в силах искоренить страсти земные; но поэзия не теряет своих красок. Стихотворец умел сочетать землю и небо; он заставил Лауру заботиться о славе земной, единственном сокровище, которое осталось в руках ее друга, осиротелого на земле. Иначе плачет над урною любовницы древний поэт; иначе Овидий сетует о кончине Тибулла: ибо все понятия древних о душе, о бессмертии были неопределенны. Петрарка, пораженный ужасною вестью о кончине Лауры, написал несколько строк на заглавном листе Вергилия, который весь наполнен был его замечаниями, ибо Петрарка читал Вергилия и учил наизусть беспрестанно. Сия рукопись, драгоценный остаток двух великих людей, хранилась в Амброзианской библиотеке, а ныне, если не ошибаюсь, находится в Париже. Простота немногих строк, начертанных в глубокой горести, прелестна и стоит лучшего гимна. Из них-то можно видеть, что Петрарка не *сочинял* свою страсть и что стихи его были только слабым воспоминанием того, что он чувствовал.

Вот сии строки: «Лаура, славная по качествам души своей и

столь долго мною прославляемая, предстала в первый раз моим глазам в начале моего юношеского возраста, в 1327 году 6 апреля, в церкви св. Клары, в Авиньоне, в первом часу пополудни. И в том же самом городе, в том же месяце, 6 числа, в первом часу, 1348 года, сия небесная лампада потухла, когда я находился в Вероне, не ведая ничего о моем несчастье. В Парме узнал я эту плачевную новость чрез письмо друга моего Лудовика, того же года, в мае, поутру. Ее чистейшее, ее прелестное тело было положено, в самый день ее смерти, в церкви кармелитов. Я уверен, что ее душа возвратилась на небо, откуда она пришла, так, как Сципионова, по словам Сенеки».

Петрарка любил; но он чувствовал всю суетность своей страсти и с нею боролся не однажды. Любовь к Лауре и любовь к славе под конец жизни его слились в одно. Любовь к славе, по словам одного русского писателя, есть последняя страсть, занимающая великую душу. Поэмы: Триумф Любви — Непорочности — Смерти — Божества, в которых и самый снисходительный критик найдет множество несообразностей и оскорблений вкуса, заключают, однако же, в себе неувядаемые красоты слога, выражения и особенно мыслей. В них-то стихотворец описывает все мучения любви, которой мир, как тирану, приносит беспрестанные жертвы. «Я знаю,— говорит он,— как непостоянна и прменчива жизнь любовников. Они то робки, то предприимчивы. Немного радостей награждают их за непрерывные мучения. Знаю их нравы, их воздыхания, их песни, прерывные разговоры, внезапное молчание, краткий смех и вечные слезы. Любовь подобна сладкому меду, распущенному в соку полынном»\*. Сию последнюю мысль Тасс повторил в своей поэме. Певец Иерусалима испытал все мучения любви.

Во времена Петрарковы, столь смежные с временами рыцарства, любовь не утратила еще своего владычества над людьми всех состояний. Во Франции, от короля до простого воина, каждый имел *свою даму*: «Madame et St. Denis!»\*\* — восклицали французские рыцари в пылу сражений и совершали невероятные подвиги. Рыцарь Сир де Флеранж, водружая знамя на стене крепости, взятой приступом, кричал своим товарищам: «Ах! если бы видела красавица своего рыцаря!» Трубадуры воспевали красоту; за ними и все поэты (не исключая важного и мрачного Данте, остроумного и веселого Боккачио), все прославляли своих красавиц, и имена их остались в памяти муз. История Парнаса италийнского есть история любви. В одном из своих «Триумфов» Петрарка исчисляет великих мужей, древних и новейших, которые

---

\* Гордый и пламенный Альфьери называет Петрарку учителем любви и поэзии: *Maestro in amare ed in poesia (итал.)*. (Прим. К. Н. Багюшкова.)

\*\* Госпожа и святой Денис! (франц.)

все учинились жертвами страсти. Конечно, здравый вкус негодует на сочетание имен Давида и Соломона с именами Тибулла и Проперция; но некоторые места сей поэмы имеют особенную прелесть, а более всего те, в которых стихотворец исчисляет своих друзей в плену у сурового бога.

«Я увидел Вергилия, — говорит он, — с ним Овидия, Катулла и Проперция, которые все столь пламенно воспевали любовь, — и, наконец, нежного Тибулла. Юная гречанка (Сафо) шествовала рядом с возвышенными певцами, воспевая сладкие гимны. Бросив взоры на окрестные места, я увидел на цветущей зеленой долине толпу, рассуждающую о любви. Вот Данте с Беатриксой! вот Сельважиа с Чино! и проч. и проч. Но теперь я не могу сокрыть моей горести: я увидел друзей моих, и посреди их Томасса, украшение Болонии, Томасса, которого прах истлевет на земле мессинской. О минутные радости! горестная жизнь! кто отнял у меня так рано мое сокровище, моего друга, без которого я не мог дышать? Где он теперь находится? Прежде он был со мною неразлучен... Жизнь смертных, горестная жизнь! Ты не что иное, как сон больного страдальца, пустая басня романа! Уклонясь в сторону от прямого пути, я встретил моего Сократа и Лелия. С ними желал бы я долее шествовать. Какая чета друзей! Ни проза, ни стихи мои не могут их достойно прославить; их нагая добродетель и без песней муз заслуживает почтение мира. С ними я похитил слишком рано славный лавр, который доселе украшает мою главу, в воспоминание той, которую обожаю!» Лавр (*lauro*) напоминает имя Лауры и потому был вдвойне драгоценен сердцу поэта. По смерти славного Колонны и Лауры стихотворец воскликнул:

*Rotta è l'alta colonna, e l'verde lauro!\**

Мы заметили уже, что неумеренная любовь к славе равнялась или спорила с любовью к Лауре в пламенной душе Петрарки. Одна чистейшая набожность и возвышенные мысли о бессмертии души могли уменьшать их силу, и то временно; но искоренить совершенно не имели власти. С каким чистосердечным сокрушением описывает он борьбу религии с любовью к славе! В каждом слове виден христианин, который знает, что ничто земное ему принадлежать не может; что все труды и усилия человека напрасны, что слава земная исчезает, как след облака на небе: знает твердо, убежден в сей истине, и все не престаёт жертвовать своей страсти! «Мой ум занят сладкою и горестною мыслию, — говорит он, — мыслию, которая меня утруждает и исполняет надеждою мятежное сердце. Когда вообразю себе сияние славы, то не чувствую ни хлада зимы, ни лучей солнечных, забываю страшную бледность моего чела и самые недуги. Напрасно

\* Разбита высокая колонна и зеленый лавр! (*итал.*)

желаю умертвить сию мысль; она снова и сильнее рождается в моем сердце. Она встретила меня в пеленах младенчества, день ото дня со мною возрастала, и страшусь, чтобы со мною не заключилась в могиле. Но к чему послужат мне сии льстивые желания, когда моя душа отделится от брэнного тела? После кончины моей если и вся вселенная будет обо мне говорить... суета! суета! Один миг разрушает все труды наши. Так! я желал бы обнять истину и забыть навеки суетную тень славы!»

И самый слог Петрарки сообразно с предметами изменяется: важность мыслей в «Триумфе» Смерти и Божества дает слог особенную силу, возвышенность и краткость. Часто два или три слова заключают в себе мысль или глубокое чувство. Ода, в которой поэт обращается к Риензи (так полагает Вольтер, а другие критики утверждают, что сия ода писана не к Риензи, а к Колонне), сия ода, в которой он умоляет народного трибуна священными именами Сципионов и Брутов расторгнуть оковы Рима и поставить его на древнюю степень сияния и славы, напоминает нам прекрасные оды Горация. Она исполнена древнего вкуса и того величия, которое италиянцы, чувствительные ко всему изящному, называют *grandioso* в поэзии, в ваянии, в живописи, во всех искусствах. Рим был страстию Петрарки. Он не мог простить папе перенесение трона в Авиньон и вот в каких словах изливает свое негодование перед защитником прав народных; вот каким образом взывает к воскресителю столицы мира:

«Сии древние стены, пред коими мир благоговеет и смертные страшатся, когда обращают вспять взоры на давно минувшие веки, сии камни надгробные, под коими истлевает прах великих людей, славных даже до разрушения мира: все сии развалины древнего величия надеются воскреснуть тобою. О великие Сципионы! о верный Брут! с какою радостью познаете вы благоденствие нового героя! с каким веселием и ты, Фабриций, узнаешь весть сию! Ты скажешь: мой Рим еще будет прекрасен!»

Надежды Петрарки не сбылись. Но любители изящной поэзии знают наизусть прекрасные стихи любовника Лауры, обожателя древнего Рима и древней свободы. Ни любовь, ни мелкие выгоды самолюбия, ни опасность говорить истину в смутные времена междоусобия — ничто не могло ослабить в нем любви к Риму, к древнему отечеству добродетелей и муз, ему драгоценных: ибо ничто не могло потушить любви к изящному и к истине в его сердце. Узнав неистовые поступки Риензи, с чистосердечною гордостью, достойною лучших времен Рима, Петрарка писал к нему: «Я хотел прославить тебя; страшись теперь, чтобы я не превратил моей похвалы в жестокую сатиру!» Но все угрозы и советы Петрарки были напрасны. Свобода, дарованная Риму иступленным трибуном, походила на свободу Робеспьерову: началась убийствами, кончилась тиранством.

Все знают, что Петрарка воспользовался песнями сицилийских поэтов и трубадуров счастливого Прованса, которые много заняли у мавров, народа образованного, гостеприимного, учтивого, ученого и одаренного самым блестящим воображением. От них он заимствовал игру слов, изысканные выражения, отвлеченные мысли и наконец излишнее употребление аллегорий; но сии самые недостатки дают какую-то особенную оригинальность его сонетам и прелесть чудесную его неподражаемым одам, которые ни на какой язык перевести невозможно. Слога нельзя присвоить, говорит Бюффон, сей исполин в искусстве писать; и особенно слога Петрарки. Любовь к цветам господствовала на Востоке. До сих пор арабские и персидские стихотворцы беспрестанно сравнивают красоту с цветами и цветы с красотой. Цветы играют большую роль у любовников на Востоке. Рождающаяся любовь, ревность, надежда, одним словом, вся суетная и прелестная история любви изъясняется посредством цветов. Трубадуры также любили воспевать цветы, а за ними и Петрарка. Желаете ли видеть, каким образом он воспользовался цветами? Еще раз повторяю: я удерживаю одну тень слога живого, исполненного неги, гармонии и этого сердечного излишния, которое только можно чувствовать, а не описывать. Кстати о цветах: слог Петрарки можно сравнить с сим чувствительным цветком, который вянет от прикосновения.

«Если глаза мои остановятся на розах белых и пурпуровых, собранных в золотом сосуде рукою прелестной девицы, тогда мне кажется, что вижу лице той, которая все чудеса природы собою затмевает. Я вижу белокурые локоны ее, по лилейной шее развеянные, белизною и самое молоко затмевающей; я вижу сии ланиты, сладостным и тихим румянцем горящие! Но когда легкое дыхание зефира начинает колебать на долине цветочки желтые и белые, тогда воспоминаю невольно и место, и первый день, в который увидел Лауру с развеянными власами по воздуху, и воспоминаю с горестию начало моей пламенной страсти».

Таким образом, цветок в поле, закат солнца, водопад, шумящий в уединенной роще, малейшее обстоятельство в природе напоминали Петрарке красоту, вечно любезную его сердцу. Путешествие стихотворца чрез леса Арденнские или чрез Альпы, прогулка Лауры в лодке по озеру или обряды набожности, ею совершенные при наступлении какого-нибудь праздника, — все служило поводом к сонету или новой оде: ни одно чувство, ни одно духовное наслаждение, ни одно огорчение не было утрачено для муз. Сие смешение глубокой чувствительности и набожности чистосердечной с тонким познанием света и людей, с обширными сведениями в истории народов, сии следы и воспоминания классических красот древних авторов, рассеянные посреди блестящих и романических вымыслов сицилийских поэтов,



наконец, сей очаровательный язык тосканский, исполненный величия, сладости и гармонии неизъяснимой, сие счастливое сочетание любви, религии, учености, философии, глубокомыслия и суетности любовника — все это вместе в стихах Петрарки представляет чтение усладительное и совершенно новое для любителя словесности. Надобно предаться своему сердцу, любить изящное, любить тишину души, возвышенные мысли и чувства, одним словом, любить сладостный язык муз, чтобы чувствовать вполне красоту сих волшебных песней, которые предали потомству имена Петрарки и Лауры. Мы знали людей, которые смотрели холодными глазами на Аполлона Бельведерского; мы знали людей, которые никогда не трепетали от восхищения при чтении стихов Державина; и мы не удивляемся, что есть писатели, для которых слагатель мадригалов Дорат и Петрарка — одно и то же. Часто умные люди отказывали ему в уважении! Ум нередко бывает тупой судия произведений сердца. Но для тех, которые любили хотя один раз в жизни, стоит только назвать Петрарку: они знают ему цену и чувствуют вполне прелесть поэзии, которая не раз отзывалась в их сердце. *Il cantar che nell'anima si sente!*\*

ПРИМЕЧАНИЕ. Я сделал открытие в итальянской словесности, к которому меня не руководствовали иностранные писатели, по крайней мере те, кои мне более известны. Я нашел многие места и целые стихи Петрарки в «Освобожденном Иерусалиме». Такого рода похищения доказывают уважение и любовь Тасса к Петрарке. Мудрено ли? Петрарка был его предшественником; он и Данте открыли новое поле словесности своим соотечественникам; беспрестанное чтение сих образцов, особенно певца Лауры, столь близкого сердцу чувствительного певца Танкреда и Эрминии, — это чтение врезало в памяти его многие стихи и выражения, которые он невольным образом повторял в своей поэме. Кто не знает прелестной оды «*Chiare, fresche e dolci acque*»\*\*, которой Вольтер подражал столь удачно, и неподражаемого эпизода Эрминии в VII песни «Освобожденного Иерусалима»? Нет сомнения, что Тасс имел в памяти стихи Петрарки, которые можно назвать сокровищем итальянской поэзии. Любовник Лауры обращается к Триаде, источнику окрестностей Авиньона\*\*\*, которого воды прохлаждали красавицу. На благовонных берегах его, освященных некогда присутствием единственной для него женщины («*che sola a me par donna*»), он желает, чтобы покоились его остатки. «Может быть, — говорит он, — может быть, там, где

\* Пение, которое в душе чувствуется! (итал.)

\*\* Светлые, свежие и сладкие воды (итал.).

\*\*\* А не к Воклюзе, как полагали некоторые писатели. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

увидела меня в благословенный день первого свидания, там любопытный взор ее будет меня искать снова и — увы! — прах один найдет, прах между камней рассеянный» и пр. От сих унылых мыслей поэт переходит снова к роскошному описанию Лауры, оставляющей студёные воды источника; облако цветов рассыпалось на красавицу — «*ed ella si sedea umile in tanta gloria*»\*. Древность не производила ничего подобного. Самое рождение Венеры из пены морской и пришествие ее на землю, которая затрепетала от сладострастия, почувствовав прикосновение богини, не столько пленяет воображение. Но перейдем к Тассу. У него Эрминия, нашед убежище у пастырей, оплакивает вечную разлуку с Танкредом. Дочь царей, покрытая рубищем, но и в рубище прелестная и величественная, начертывает имя Танкреда на коре древних дубов и вязов и с ним всю печальную повесть любви своей. Сто раз перечитывает ее, и, проливая слезы, обращается к роцам, немым свидетелям ее тоски: «Сокройте, сокройте в себе мою тайну, дружественные роци! Может быть, верный любовник, когда-нибудь привлеченный прохладой теней ваших, с сожалением прочтает мои печальные приключения и, тронутый до глубины сердца, скажет: «Счастье и любовь неблагодарностию воздали за толикие страдания и за примерную верность! Может быть — если небо внимает благосклонно усерднейшим молениям смертных — может быть, в сии пустыни зайдет случайно и тот, который ко мне столько равнодушен, и, обращая взоры на то место, где будут покоиться мои бранные остатки, поздние слезы прольет в награду за мои страдания и верность».

Теперь увидим похищения. В оде, которая начинается: «*Nella stagion che'l ciel rapido inchina etc\*\**, — Петрарка описывает пастушку, которая при закате солнца спешит в сельское убежище и там забывает усталость:

*La noja e'l mal della passata vita\*\*\*.*

Тасс в III песни «Иерусалима», воспевая торжественное пришествие крестовых воинов к священному граду, сравнивает их с мореплавателями, которые, открыв желанный берег, после бурь и трудов забывают опасности минувшие:

*La noja, e'l mal della passata vita\*\*\*\*.*

В сонете «*Zefiro torna e'l bel tempo rimena etc\*\*\*\*\**» Петрарка говорит, что весна все оживляет, поля улыбаются, небо светлеет;

---

\* И она сидела кроткая в толикой славе (итал.).

\*\* То время года, когда небо быстро наклоняет (итал.).

\*\*\* Тоску и боль прошедшей жизни (итал.).

\*\*\*\* Тоску и боль прошедшей жизни (итал.).

\*\*\*\*\* Зефир возвращается и приводит прекрасное время года (итал.).

Зевес с радостью взирает на Киприду, милую дочь свою; воздух,  
вода и земля дышат любовью:

Ogni animal d'amar si riconsiglia \*.

И у Тасса мы находим этот стих в садах Армиды:

Raddopian le colombe i baci loro,  
Ogni animal d'amar si riconsiglia\*\* .

Есть и другие похищения; но я не могу их теперь привести  
на память.

[1815]

## О ХАРАКТЕРЕ ЛОМОНОСОВА

По слогу можно узнать человека, сказал Бюффон: характер писателя весь в его творениях. Это с одной стороны справедливо. Без сомнения, по стихам и прозе Ломоносова мы можем заключить, что он имел возвышенную душу, ясный и пронизательный ум, характер необыкновенно предприимчивый и сильный. Но любителю словесности, скажу более, наблюдателю-философу приятно было бы узнать некоторые подробности частной жизни великого человека; познакомиться с ним, узнать его страсти, его заботы, его печали, наслаждения, привычки, странности, слабости и самые пороки, неразлучные спутники человека. «Разум, услаждавшийся величественными понятиями всеобщего порядка, не может быть соединен с сердцем холодным», — говорил о Ломоносове писатель, которого имя равно любезно музам и добродетели. Сия истина утверждена жизнью Ломоносова. Воображение и сердце часто увлекали его в молодости: они были источниками его наслаждений и мучений, не известных, не изъяснимых обыкновенным людям. Конечно, не одна страсть к учению, которая не могла еще вполне овладеть душою отрока, воспитанного среди болот холмогорских, не одна сия страсть, столь благородная и бескорыстная, принудила его оставить родину. Семейственные огорчения и некоторое тайное беспокойство души

\* Каждое животное любить вновь располагает (*итал.*).

\*\* Удваивают голубки свои поцелуи, каждое животное любить вновь располагает (*итал.*).

было к тому важнейшим побуждением. Но сие беспокойство, сие тусклое желание чего-то нового и лучшего, сия предприимчивость, удивительная в столь нежном возрасте, не означали ли великую душу и нечто необыкновенное?

Пламенное рвение к учению, неутомимая жажда познаний, постоянство в преодолении преград, поставленных неприязненным роком, дерзость в предприятиях, увенчанная сияющим успехом, — все сии качества соединены были с сильными страстями, с пламенным сердцем; или, лучше сказать, проистекали из оных, и потому должно ли удивляться, что Ломоносов в молодости своей пожертвовал всеми выгодами любви? В Марбурге он женился тайно на дочери бедного ремесленника, и в скором времени обстоятельства принудили его разлучиться с супругою. Музы любят провождать любимцев своих по тернистой тропе несчастья в храм славы и успехов. Бедствия не всегда убивают талант: напротив того, они пробуждают в душе множество прекрасных свойств и знакомят ее с собственными силами. Ломоносов, гонимый судьбою, скитался по Германии, переходил из земли в землю, без пристанища, часто без насущного хлеба: он боролся со всеми нуждами и горестями и никогда, нигде не преступил законов чести, никогда не забывал оставленной супруги. С какою чувствительностью (возвратясь в Петербург) прочитал он письмо ее и воскликнул пред посланным от г. Бестужева: «Боже мой! могу ли ее оставить!» Слезы прерывали беспрестанно слова его. Сладостно видеть наблюдателю человечества соединение столь глубокой чувствительности с умом обширным, верным и прозорливым! Чувствительность и сильное, пламенное воображение часто владели нашим поэтом, конечно, против воли его. На возвратном пути из Амстердама по морю Ломоносов, сидя на палубе, при шуме волн погружался в сладкую задумчивость. Открытое море, шум ветра и непрерывное колебание корабля напоминали ему первые лета юности, проведенные посреди непостоянной стихии: они напоминали приморскую его родину и все, что ни есть сладостного для сердца нежного и доброго. Исполненному воспоминаний, однажды во сне ему привиделась страшная буря на волнах Ледовитого моря, кораблекрушение и хладный труп отца его, выброшенный на тот самый остров, куда Ломоносов в молодости своей приставал с ним для совершения рыбной ловли. Он в ужасе проснулся. Напрасно призывает на помощь рассудок свой, напрасно желает рассеять мрачные следы сновидения: мечта остается в глубине сердца, и ничто не в силах изгладить ее. Снова засыпает и снова видит шумное море, необитаемый остров и бледный труп родителя. Так! мы нередко уверяемся опытом, что провидение влагает в нас какие-то тайные мысли, какое-то неизъяснимое предчувствие будущих злополучий, и событие часто подтверждает предсказание таинствен-

ного сна — к удивлению, к смирению слабого и гордого рас-судка. Ломоносов это испытал в жизни своей. Отец его погиб в волнах, и тело его найдено рыбаками на том необитаемом острове, который назначил им печальный сын, по внушению пророческого сновидения.

По краткой биографии, напечатанной при сочинениях Ломоносова, мы теснее знакомимся с поэтом, когда он покидает родину свою. Самое юношество необыкновенного человека любопытно; каждое обстоятельство, каждая подробность драгоценны. Конечно, Ломоносов в откровенной беседе ближних и друзей любил рассказывать им первые свои печали и наслаждения; с каким восхищением он певал на крилосе священные песни и пожирал духовные книги! С каким усилием он промыслил славенскую грамматику и арифметику: *врата учености своей!* Как сердце его унывало, покидая отца, родину, ближних! Как трепетало от радости, вступая в обширную Москву!.. К сожалению, немного подробностей дошло до нас, и почти все исчезли с холодными слушателями. Одни великие души чувствуют всю важность дружеских поверений знаменитого человека, их современника. Ломоносов — нет сомнения — казался обыкновенным человеком в кругу приятелей своих, людей весьма обыкновенных. И мог ли Тредьяковский с *братиею* быть ценителем величайшего ума своего времени, ценителем Ломоносова?

Но, к счастью нашему, Россия имела в молодом вельможе покровителя дарований. Мы забудем со временем однофамильца Шувалова, который писал остроумные стихи на французском языке, который удивлял Парни, Мармонтеля, Лагарпа и Вольтера, ученых и неученых парижан любезностию, веселостию и учтивостию, достойною времен Лудовика XIV; но того Шувалова, который покровительствовал Ломоносова, никогда не забудем. Имя его навсегда останется драгоценно Музам отечественным. Он был все для нашего лирика: деятельный и просвещенный покровитель, попечительный друг, часто снисходительный и всегда постоянный. Без него Ломоносов не мог бы предпринять сих великих трудов, требующих издержек и беспрестанных пособий. Скажем более: как ученый, как стихотворец Ломоносов обязан ему всем, даже постоянством в любви ко славе. Прозорливый Шувалов в уроженце Холмогор угадал великого человека: счастливый поэт нашел в вельможе истинный патриотизм, обширные сведения, вкус образованный и, что всего лучше, — благородную, деятельную душу! Одним словом (редкое явление!), вельможа и поэт понимали друг друга. Письма Ломоносова к Шувалову суть бесценный памятник словесности русской: в них виден и стихотворец, и покровитель его. Они заключают в себе множество любопытных подробностей, анекдотов и, наконец, известие о кончине профессора Рихмана, достойного товарища

Ломоносова. *Рихман умер прекрасною смертию\**, и Ломоносов с убедительным, сердечным красноречием ходатайствует за осиротевшее семейство, страшась, чтобы сей случай *не был перетолкован прогиву наук*, вечно ему любезных! Часто в письмах своих он жалуется на Тредиаковского и Сумарокова. Если сии строки доказывают печальную истину — что дарования во все времена, даже при самой колыбели словесности, имеют врагов и завистников, то они же, к радости нашей, открывают прекрасную душу великого писателя: «Никакого не желаю мщениа,— говорит он,— но способов продолжить труды мои для славы, для пользы отечества. Мои зоилы хвалят меня своею хулою, называя мои изображения надутыми; нападая на меня, они нападают на древних...» До последней минуты жизни своей Ломоносов не изменил себе, и прелестная мысль о славе его не покидала. На одре мучений и смерти Рафаэль соболезновал о недоконченных картинах, наш северный гений — о не совершенных трудах своих. «Я умираю,— говорил он Штелину,— я умираю, приятель! На смерть взираю равнодушно: сожалею о том, чего не успел довершить для пользы наук, для славы отечества и Академии нашей. К сожалению, вижу, что благие мои намерения исчезнут вместе со мною...»

Тень великого стихотворца утешилась. Труды его не потеряны. Имя его бессмертно.

[1815]

## ДВЕ АЛЛЕГОРИИ

### I

Если б достаток позволял мне исполнять по воле все мои прихоти, то я побежал бы к художнику N с полным кошельком и предложил ему две *мысли* для двух картин. Вообще аллегории холодны, особливо те, которыми живописцы хотят изобразить исторические происшествия; но мои будут говорить рассудку, потому что они ясны и точны: они будут говорить воображению и сердцу, если художник выразит то, что я теперь мыслю и чувствую.

— Напишите,— сказал бы я живописцу, который до сих пор

---

\* Это собственное выражение Ломоносова. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

не написал ничего оригинального, а только рабски подражал Рафаэлю, но который может изобретать, ибо имеет ум, сердце и воображение, — напишите мне Гения и Фортуны, обрезающую у него крылья.

*Х. А! Я вас понимаю! (немного подумав).* Вы хотите избрать жестокую победу несчастья над талантом. Гения живописи...

*Я.* Я не назначаю, именно какого Гения; от вас зависит выбор: Гения поэзии, Гения войны, Гения философии, науки или художества, какого вам угодно; только Гения пламенного, пылкого, наполненного гордости и себяпознания, которого крылья неутомимы, которого взор орлиный пронизает, объемлет природу, ему подчиненную; которого сердце утопает в сладострастии чистейшем и неизъяснимом для простого смертного при одном помышлении о добродетели, при одном именовании славы и бессмертия.

*Х. (с радостью взяв мел, подбегает к грунтованному холсту).* Я вас понимаю, очень понимаю...

*Я.* Я уверен, что художник N меня поймет, когда дело идет о славе.

*Х. (взяв меня за руку и краснея при каждом слове).* Вы не поверите, как я люблю славу: стыдно признаться; но вы хотите... (*чертит мелом абрис фигуры*) вы хотите...

*Я.* Гения. Чтоб изобразить живо, как я его чувствую, прочитайте жизнь Ломоносова, этого рыбака, который, по словам другого поэта, из простой хижины шагнул в Академию; прочитайте жизнь Петра Великого, который сам себя создал и потом Россию; прочитайте жизнь чудесного Суворова, которого душу, сердце и ум природа отлила в особенной форме и потом изломала ее вдребезги; взгляните, если угодно, на творения вашего Рафаэля, в памяти которого помещалась вся природа! Напитавши воображение идеалом величия во всех родах, пишите смело; ваш Гений будет Гений, а не фигура академическая. Теперь вообразите себе, что он борется с враждебным роком; запутайте его ноги в сетях несчастья, брошенных коварною рукою Фортуны; пусть слепая и жестокая богиня обрезает у него крылья с таким же хладнокровием, как Лахезиса прерывает нить жизни героя или лучшего из смертных — Сократа или Моро, Лас Казаса или Еропкина, благодетеля Москвы.

*Х.* Я разумею. Фортуны изображу, как обыкновенно: с повязкою на глазах, с колесом под ногами.

*Я.* Это ваше дело! Теперь заметьте, что побежденный Гений потушает свой пламенник. Нет крыльев, нет и пламенника!

*Х.* Справедливо.

*Я.* Но зато нет слез в очах, ни малейших упреков в устах божественного. Чувство негодования и — если можно слить другое чувство, совершенно тому противоположное, — сожаление об утра-

ченной Славе, которая с ужасом направляет полет свой, куда перст Фортуны ей указывает.

Х. Гений мой будет походить на Аполлона Дельфийского...

Я. Если бы Аполлон промахнулся, метя в чудовище, то выражение лица его могло бы иметь некоторое сходство с лицом несчастного Гения, у которого Фортуна обрезала крылья.

Х. (*задумавшись и потом с глубоким вздохом*). Я вас понял совершенно: художник не всегда был баловнем Фортуны. Мы все, дети Аполлоновы, менее или более боролись с несчастием. Многие победили его, многие утратили свои крылья в жестокой борьбе, и пламенный талант потух сам собою. Вы будете довольны картиною. Теперь же стану ее компоновать. Простите.

## II

Я. Картина ваша прелестна! Для вас Гений не потушил своего пламенника, когда вы изображали его божественное лицо.

Х. Я доволен: но спросите у меня, как я страдал! Сколько печальных мыслей бродило в голове моей, когда я изображал Гения, потушившего пламенник свой, и лице этой неумолимой, безрассудной Фортуны, которая, исполняя долг свой, так спокойна, *ибо не ведает, что творит!* — она с повязкою на глазах. Верите ли, что сердце мое обливалось кровью при одной мысли об участи художников, которые в отечестве своем не находят пропитания...

Я. (*рассматривая картину*). Прекрасно!.. Но знаете ли, что можно воскресить вашего Гения?

Х. (*с радостью*). Воскресить?

Я. Выслушайте меня: я шел однажды в диком лесу и потерял дорогу. Выхожу на свет, вижу пещеру, осененную густыми ветвями, и в этой пещере... вашего Гения.

Х. Моего Гения?

Я. Он сидел в глубокой задумчивости, опершись на одну руку. Потухший светильник лежал у ног, а кругом — обрезанные крылья, которые развевал пустынный ветер, с шумом пролетающий в пещере: я ужаснулся.

Х. Далее.

Я. Глубокий вздох вырвался из груди страдальца: он взглянул на потухший пламенник, и мне показалось, что слезы его падали на холодный помост пещеры.

Х. Слезы, одному дарованию известные! Так плакал умирающий Рафаэль! Далее...

Я. Вдруг вся пещера осветилась необыкновенным сиянием. Вступают два божества: Любовь и Слава. За ними влечется окованная Фортуна.

Х. Опять эта слепая колдунья!



*Я.* Вы ошибаетесь. Любовь оковала ее, сдернула повязку с очей и привела в пещеру, где страдал бедный Гений.

*Х.* Я воображаю удивление Фортуны, которая в первый раз в жизни разглядела глупость, сделанную в слепоте.

*Я.* Слава отдает свои крылья Гению; Любовь зажигает его пламенник; Гений прощает изумленной Фортуне и в лучах торжественного сияния воспаряет медленно к небу.

*Х.* Вот картина!

*Я.* Вы угадали. Берите животворную кисть вашу.

*Х.* Я напишу эту картину. Эта работа облегчит мое сердце... Так! надобно, непременно надобно воскресить бедного Гения!

[1815]

## РЕЧЬ О ВЛИЯНИИ ЛЕГКОЙ ПОЭЗИИ НА ЯЗЫК,

*читанная при вступлении  
в «Общество любителей российской словесности»  
в Москве 17 июля 1816*

Избрание меня в сочлены ваши есть новое свидетельство, милостивые государи, вашей снисходительности. Вы обращаете внимательные взоры не на одно дарование, вы награждаете слабые труды и малейшие успехи; ибо имеете в виду важную цель: будущее богатство языка, столь тесно сопряженное с образованностью гражданскою, с просвещением, и следственно — с благоденствием страны, славнейшей и обширнейшей в мире. По заслугам моим я не имею права заседать с вами; но если усердие к словесности есть достоинство, то по пламенному желанию усовершенствования языка нашего, единственно по любви моей к поэзии, я могу смело сказать, что выбор ваш соответствует цели общества. Занятия мои были маловажны, но непрерывны. Они были пред вами красноречивыми свидетелями моего усердия и доставили мне счастье заседать в древнейшем святилище муз отечественных, которое возрождается из пепла вместе с столицею царства русского и со временем будет достойно ее древнего величия.

Обозревая мысленно обширное поле словесности, необъятные труды и подвиги ума человеческого, драгоценные сокровища красноречия и стихотворства, я с горестию познаю и чувствую слабость сил и маловажность занятий моих; не утешаюсь мыслию,

что успехи и в малейшей отрасли словесности могут быть полезны языку нашему. Эпопея, драматическое искусство, лирическая поэзия, история, красноречие духовное и гражданское требуют великих усилий ума, высокого и пламенного воображения. Счастливы те, которые похищают пальму первенства в сих родах: имена их становятся бессмертными; ибо счастливые произведения творческого ума не принадлежат одному народу исключительно, но делаются достоянием всего человечества. Особенно великие произведения муз имеют влияние на язык новый и необработанный. Ломоносов тому явный пример. Он преобразовал язык наш, созидавая образцы во всех родах. Он то же учинил на трудном поприще словесности, что Петр Великий на поприще гражданского. Петр Великий пробудил народ, усыпленный в оковах невежества; он создал для него законы, силу военную и славу. Ломоносов пробудил язык усыпленного народа; он создал ему красноречие и стихотворство, он испытал его силу во всех родах и приготовил для грядущих талантов верные орудия к успехам. Он возвел в свое время язык русский до возможной степени совершенства — возможной, говорю, ибо язык идет всегда наравне с успехами оружия и славы народной, с просвещением, с нуждами общества, с гражданской образованностью и людскостию. Но Ломоносов, сей исполин в науках и в искусстве писать, испытуя русский язык в важных родах, желал обогатить его нежнейшими выражениями Анакреоновой музыки. Сей великий образователь нашей словесности знал и чувствовал, что язык просвещенного народа должен удовлетворять всем его требованиям и состоять не из одних высокопарных слов и выражений. Он знал, что у всех народов, и древних и новейших, легкая поэзия, которую можно назвать прелестною роскошью словесности, имела отличное место на Парнасе и давала новую пищу языку стихотворному. Греки восхищались Омером и тремя трагиками, веле-речием историков своих, убедительным и стремительным красноречием Демосфена; но Вион, Мосх, Симонид, Феокрит, мудрец Феосский и пламенная Сафо были увенчаны современниками. Римляне, победители греков оружием, не талантом, подражали им во всех родах: Цицерон, Вергилий, Гораций, Тит Ливий и другие состязались с греками. Важные римляне, потомки суровых Кориоланов, внимали им с удивлением; но эротическую музу Катуллу, Тибулла и Проперция не отвергали. По возрождении муз, Петрарка, один из ученейших мужей своего века, светильник богословия и политики, один из первых создателей славы возрождающейся Италии из развалин классического Рима, Петрарка, немедленно шествуя за суровым Дантом, довершил образование великолепного наречия тосканского, подражая Тибуллу, Овидию и поэзии мавров, странной, но исполненной воображения. Маро, царедворец Франциска I, известный по эротическим

стихотворениям, был один из первых образователей языка французского, которого владычество, почти пагубное, распространилось на все народы, достигшие высокой степени просвещения. В Англии Валлер, певец Захариссы, в Германии Гагедорн и другие писатели, предшественники творца «Мессиады» и великого Шиллера, спешили жертвовать грациями и говорить языком страсти и любви, любимейшим языком муз, по словам глубокомысленного Монтаня. У нас преемник лиры Ломоносова, Державин, которого одно имя истинный талант произносит с благоговением, — Державин, вдохновенный певец высоких истин, и в зиму дней своих любил отдыхать со старцем Феосским. По следам сих поэтов, множество писателей отличились в этом роде, по видимому столь легком, но в самом деле имеющем великие трудности и преткновения, особенно у нас; ибо язык русский, громкий, сильный и выразительный, сохранил еще некоторую суровость и упрямство, не совершенно исчезающие даже под пером опытного таланта, поддержанного наукою и терпением.

Главные достоинства стихотворного слога суть: движение, сила, ясность. В больших родах читатель, увлеченный описанием страстей, ослепленный живейшими красками поэзии, может забыть недостатки и неровности слога и с жадностью внимает вдохновенному поэту или действующему лицу, им созданному. Во время представления какой холодный зритель будет искать ошибок в слоге, когда Полиник, лишенный венца и внутреннего спокойствия, в слезах, в отчаянии бросается к стопам разгневанного Эдипа? Но сии ошибки, поучительные для дарования, замечает просвещенный критик в тишине своей учебной храмы: каждое слово, каждое выражение он взвешивает на весах строгого вкуса; отвергает слабое, ложно блестящее, неверное и научает наслаждаться истинно прекрасным. В легком роде поэзии читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости, плавности; он требует истины в чувствах и сохранения строжайшего приличия во всех отношениях; он тотчас делается строгим судьей, ибо внимание его ничем сильно не отвлекается. Красивость в слоге здесь нужна необходимо и ничем замениться не может. Она есть тайна, известная одному дарованию и особенно постоянному напряжению внимания к одному предмету: ибо поэзия и в малых родах есть искусство трудное, требующее всей жизни и всех усилий душевных; надобно родиться для поэзии; этого мало: родясь, надобно сделаться поэтом, в каком бы то ни было роде.

Так называемый эротический и вообще легкий род поэзии восприял у нас со времен Ломоносова и Сумарокова. Опыты их предшественников были маловажны: язык и общество еще не были образованы. Мы не будем исчислять всех видов, разделений и изменений легкой поэзии, которая менее или более при-

надлежит к важным родам; но заметим, что на поприще изящных искусств (подобно как и в нравственном мире) ничто прекрасное не теряется, приносит со временем пользу и действует непосредственно на весь состав языка. Стихотворная повесть Богдановича, первый и прелестный цветок легкой поэзии на языке нашем, ознаменованный истинным и великим талантом; остроумные, неподражаемые сказки Дмитриева, в которых поэзия в первый раз украсила разговор лучшего общества; послания и другие произведения сего стихотворца, в которых философия оживилась неувядающими цветами воображения; басни его, в которых он боролся с Лафонтеном и часто побеждал его; басни Хемницера и оригинальные басни Крылова, которых остроумные, счастливые стихи превратились в пословицы, ибо в них виден и тонкий ум наблюдателя света, и редкий талант; стихотворения Карамзина, исполненные чувства, образец ясности и стройности мыслей; горацянские оды Капниста, вдохновенные страстью песни Нелединского, прекрасные подражания древним Мерзлякова, баллады Жуковского, сияющие воображением, часто своенравным, но всегда пламенным, всегда сильным; стихотворения Востокова, в которых видно отличное дарование поэта, налитанного чтением древних и германских писателей; послания кн(язя) Долгорукова, исполненные живости; некоторые послания Воейкова, Пушкина и других новейших стихотворцев, писанные слогом чистым и всегда благородным все сии блестящие произведения дарования и остроумия менее или более приближались к желанному совершенству, и все — нет сомнения — принесли пользу языку стихотворному, образовали его, очистили, утвердили. Так светлые ручьи, текущие разными излучинами по одному постоянному наклонению, соединяясь в долине, образуют глубокие и обширные озера: благотворительные воды сии не иссякают от времен; напротив того, они возрастают и увеличиваются с веками и вечно существуют для блага земли, ими орошаемой!

В первом периоде словесности нашей, со времен Ломоносова, у нас много написано в легком роде; но малое число стихов спаслось от общего забвения. Главною тому причиною можно положить не один недостаток таланта или изменение языка, но изменение самого общества; большую его образованность и, может быть, большее просвещение, требующее от языка и писателей большего знания света и сохранения его приличий: ибо сей род словесности беспрестанно напоминает об обществе; он образован из его явлений, странностей, предрассудков и должен быть ясным и верным его зеркалом. Большая часть писателей, мною названных, провели жизнь свою посреди общества Екатеринина века, столь благоприятного наукам и словесности; там заимствовали они эту людскость и вежливость, это благородство, которых

отпечаток мы видим в их творениях: в лучшем обществе научились они угадывать тайную игру страстей, наблюдать нравы, сохранять все условия и отношения светские и говорить ясно, легко и приятно. Этого мало: все сии писатели обогатились мыслями в прилежном чтении иностранных авторов, иные древних, другие новейших, и запаслись обильною жатвою слов в наших старинных книгах. Все сии писатели имеют истинный талант, испытанный временем; истинную любовь к лучшему, благороднейшему из искусств, к поэзии, и уважают, смею утвердительно сказать, боготворят свое искусство, как лучшее достояние человека образованного, истинный дар неба, который доставляет нам чистейшие наслаждения посреди забот и терний жизни, который дает нам то, что мы называем бессмертием на земли — мечту прелестную для душ возвышенных!

Все роды хороши, кроме скучного. В словесности все роды приносят пользу языку и образованности. Одно невежественное упрямство не любит и старается ограничить наслаждения ума. Истинная, просвещенная любовь к искусствам снисходительна и, так сказать, жадна к новым духовным наслаждениям. Она ничем не ограничивается, ничего не желает исключить и никакой отрасли словесности не презирает. Шекспир и Расин, драма и комедия, древний экзаметр и ямб, давно присвоенный нами, пиндарическая ода и новая баллада, эпопея Омера, Ариоста и Клопштока, столь различные по изобретению и формам, ей равно известны, равно драгоценны. Она с любопытством замечает успехи языка во всех родах, ничего не чуждается, кроме того, что может вредить нравам, успехам просвещения и здравому вкусу (я беру сие слово в обширном значении). Она с удовольствием замечает дарование в толпе писателей и готова ему подать полезные советы: она, как говорит поэт, готова обнять

В отважном мальчике грядущего поэта!

Ни расколы, ни зависть, ни пристрастие, никакие предрассудки ей не известны. Польза языка, слава отечества: вот благородная ее цель! Вы, милостивые государи, являете прекрасный пример, созывая дарования со всех сторон, без лицепрятия, без пристрастия. Вы говорите каждому из них: несите, несите свои сокровища в обитель муз, отверстую каждому таланту, каждому успеху; совершите прекрасное, великое, святое дело: обогатите, образуйте язык славнейшего народа, населяющего почти половину мира; поравняйте славу языка его со славою военною, успехи ума с успехами оружия. Важные музы подают здесь дружественно руку младшим сестрам своим, и олтарь вкуса обогащается их взаимными дарами.

И когда удобнее совершить желаемый подвиг? в каком месте

приличнее? В Москве, столь красноречивой и в развалинах своих, близ полей, ознаменованных неслыханными доселе победами, в древнем отечестве славы и нового величия народного!

Так! с давнего времени все благоприятствовало дарованию в Университете московском, в старшем святилище муз отечественных. Здесь пламенный их любитель с радостью созерцает следы просвещенных и деятельных покровителей. Имя Шувалова, первого мецената русского, сливается здесь с громким именем Ломоносова. Между знаменитыми покровителями наук мы обретаем Хераскова: творец «Россияды» посещал сии мирные убежища, он покровительствовал сему рассаднику наук; он первый ободрял возникающий талант и славу писателя соединил с другою славою, не менее лестною для души благородной, не менее прочною, — со славою покровителя наук. Муравьев, как человек государственный, как попечитель, принимал живейшее участие в успехах Университета, которому в молодости был обязан своим образованием. Под руководством славнейших профессоров московских, в недрах своего отечества он приобрел сии обширные сведения во всех отраслях ума человеческого, которым нередко удивлялись ученые иностранцы: за благодеяния наставников он платил благодеяниями сему святилищу наук; имя его будет любезно сердцам добрым и чувствительным, имя его напоминает все заслуги, все добродетели, — ученость обширную, утвержденную на прочном основании, на знании языков древних; редкое искусство писать он умел соединить с искреннею кротостию, с снисходительностию, великому уму и добрейшему сердцу свойственною. Казалось, в его виде посетил землю один из сих гениев, из сих светильников философии, которые некогда рождались под счастливым небом Аттики для разлития практической и умозрительной мудрости, для утешения и назидания человечества красноречивым словом и красноречивейшим примером. Вы наслаждались его беседою; вы читали в глазах его живое участие, которое он принимал в успехах и славе вашей; вы знаете все заслуги сего редкого человека... и — простите мне несколько слов, в его воспоминание чистейшею благодарностию исторгнутых! — я ему обязан моим образованием и счастьем заседать с вами, которое умею ценить, которым умею гордиться.

И этот человек столь рано похищен смертию с поприща наук и добродетели! И он не был свидетелем великих подвигов боготворимого им монарха и славы народной! Он не будет свидетелем новых успехов словесности в счастливейшие времена для наук и просвещения: ибо никогда, ни в какое время обстоятельства не были им столько благоприятны. Храм Януса закрыт рукою Победы, неразлучной сопутницы монарха. Великая душа его услаждается успехами ума в стране, вверенной ему святым провидением, и каждый труд, каждый полезный подвиг щедро им награжда-

дается. В недавнем времени, в лице славного писателя, он ободрил все отечественные таланты, и нет сомнения, что все благородные сердца, все патриоты с признательностию благословляют руку, которая столь щедро награждает полезные труды, постоянство и чистую славу писателя, известного и в странах отдаленных, и которым должно гордиться отечество. Правительство, благотворительное и прозорливое, пользуясь счастливейшими обстоятельствами — тишиною внешнею и внутреннею государства, — отверзает снова все пути к просвещению. Под его руководством процветут науки, художества и словесность, коснеющие посреди шума военного; процветут все отрасли, все способности ума человеческого, которые только в неразрывном и тесном союзе ведут народы к истинному благоденствию и славу его делают прочною, незабываемою. Самая поэзия, которая питается учением, возрастает и мужает наравне с образованием общества, поэзия принесет зрелые плоды и доставит новые наслаждения душам возвышенным, рожденным любить и чувствовать изящное. Общество примет живейшее участие в успехах ума — и тогда имя писателя, ученого и отличного стихотворца не будет дико для слуха: оно будет возбуждать в умах все понятия о славе отечества, о достоинстве полезного гражданина. В ожидании сего счастливого времени мы совершим все, что в силах совершить. Деятельное покровительство блюстителей просвещения, которым сие общество обязано существованием; рвение, с которым мы приступаем к важнейшим трудам в словесности; беспристрастие, которое мы желаем сохранить посреди разногласных мнений, еще не просвещенных здравою критикою: все обещает нам верные успехи; и мы достигнем, по крайней мере, приблизимся к желаемой цели, одушевленные именами *пользы* и *славы*, руководимые беспристрастием и критикою.

## ВЕЧЕР У КАНТЕМИРА

Антиох Кантемир, посланник русский при дворе Лудовика XV, предпочитал уединение шуму и рассеянию блестящего двора. Свободное время от должности он посвящал наукам и поэзии. В мирном кабинете, окруженный любимыми книгами, он часто восклидал, перечитывая Плутарха, Горація и Вергилия: «Счастлив, кто, довольствуясь малым, свободен, чужд зависти и предрассудков, имеет совесть чистую и провождает время с вами, наставники человечества, мудрецы всех веков и народов:

*...с вами, греки и латины...*

*Исследуя всех вещей действия и причины».*

Ум его имел свойства, редко соединяемые: основательность, точность и воображение. Часто, углубленный в исчисления алгебраические, Кантемир искал истины и — подобно мудрецу Сиракуз — забывал мир, людей и общество, беспрестанно изменяющееся. Он занимался науками. Не для того, чтобы щеголять знаниями в суетном кругу ученых женщин или академиков: нет! он любил науки для наук, поэзию для поэзии, редкое качество, истинный признак великого ума и прекрасной, сильной души! В Париже, где самолюбие знатного человека может собирать беспрестанно похвалы и приветствия за малейший успех в словесности, где несколько небрежных стихов, иностранцем написанных, дают право гражданства в республике словесности, Кантемир... писал русские стихи! И в какое время? Когда язык наш едва становился способным выражать мысли просвещенного человека. Бросьте на остров необитаемый математика и стихотворца, говорил Д'Аламберт: первый будет проводить линии и составлять углы, не заботясь, что никто не воспользуется его наблюдениями; второй перестанет сочинять стихи, ибо некому хвалить их; следственно, поэзия и поэт, заключает *рассудительный* философ, питаются суетностию. Париж был сей необитаемый остров для Кантемира. Кто понимал его? Кто восхищался его *русскими* стихами? — В самой России, где общество, науки и словесность были еще в пеленах, он, нет сомнения, находил мало ценителей своего таланта. Душою и умом выше времени и обстоятельств, он писал стихи, он поправлял их беспрестанно, желая достигнуть возможного совершенства, и, казалось, завещал благородному потомству и книгу, и славу свою. Талант питается хвалою, но истинный, великий талант и без нее не умирает. Поэт может быть суетным — равно как и ученый — но истинный любитель всего прекрасного не может существовать без деятельности, и то, что было сказано нашим Катуллом о нашем Бавии,—

С последним вздохом он издаст последний стих,—

почти то же можно сказать о великом стихотворце. На одре смерти Сервантес не покидал пера своего. Камознс писал «Лузияду» посреди племен диких. Тасс, несчастный Тасс, в ужасном заключении беседовал с музами. Державин, за час пред смерти, кладеющими перстами извлекал звуки из бессмертной лиры своей. Сих ли людей обвиним в суетности?.. Но возвратимся к Кантемиру.

Однажды по вечеру Монтескье и аббат В., известный остроумец, навестили нашего стихотворца. Он беседовал с своею музою и не заметил входящих друзей, которые имели к нему свободный доступ. Несколько минут Кантемир перечитывал начало послания своего к кн<язю> Никите Трубецкому, и всегда с новым жаром и удовольствием. При чтении спокойное и даже холодное



лицо Кантемира приметным образом изменялось: глаза его сверкали, как молнии, щеки разгорелись, и рука его ударила такту по отверстой пред ним книге. Монтескье взглянул на аббата, кивнул ему головою и намеревался удалиться. Они не хотели беспокоить министра, полагая, что он занят важным государственным делом. Кантемир услышал за собою шорох, оглянулся — и бросился обнимать неожиданных гостей. — «Мы вам помешали: мы пришли не в пору». — «Нимало!» — «Вы читали важные бумаги?» — «Я забавлялся: перечитывал стихи моего сочинения». — «Но какие? мы ни слова не поняли». — «Русские». — «Русские стихи! — восклицал аббат, пожимая плечами от удивления, — русские стихи! это любопытно...»

**К а н т е м и р.** Слабое подражание Горацию, Ювеналу и Персию. Вы знаете мою страсть к древним писателям; она завлекла меня далеко. Не в силах будучи сравниться с древними поэтами Рима, я влачусь за ними, как раб за господином, или — как страстный любовник за гордою красавицею. Вы никогда не писали стихов, г. президент, и не знаете сего мучения и удовольствия, которое называют метроманиею?

**М о н т е с к ь е.** Ваша правда. Я не писал стихов, но люблю стихи, когда нахожу в них столько же мыслей, сколько слов: когда они ясны, сильны, выразительны, одним словом... хороши, как проза. Я всегда уважал сатиры и послания Горация: они знакомят нас с Римом, со нравами, с образом жизни переродившихся потомков Брутов, Кориоланов и Сципионов, Ювенала перечитываю с удовольствием: прямой римлянин душою! Он то же в стихах, что Тацит в прозе. Я люблю творения сих поэтов, как памятники языка, образованного целыми веками славы народной, языка мужественного, обильного, выразительного: почтенного родителя языков новейших.

**А б б а т В. И г.** президент, конечно, сожалеет, что вы пишете русские стихи. Зная совершенно язык латинский и наш французский, столь ясный, точный и красивый, вы лишаете нас удовольствия читать ваши прелестные произведения.

**М о н т е с к ь е.** Сожалею и удивляюсь, как можно писать, скажу более, как можно мыслить на языке необразованном? Вы пишете по-русски, а ваш язык и нация — еще в пеленах.

**К а н т е м и р.** Справедливо: русский язык в младенчестве; но он богат, выразителен, как язык латинский, и со временем будет точен и ясен, как язык остроумного Фонтенеля и глубокомысленного Монтескье. Теперь я принужден бороться с величайшими трудностями: принужден изобретать беспрестанно новые слова, выражения и обороты, которые, без сомнения, обветшают через несколько годов. Переводя «Миры» Фонтенелевы, я создавал новые слова: академия Петербургская часто одобряла мои опыты. Я очищал путь для моих последователей.

**А б б а т В.** Но скажите, бога ради, как же вы могли присвоить все тонкие выражения и обороты первого щеголя языка французского, нашего семидесятилетнего Фонтенеля?

**К а н т е м и р.** Как уметь! Я следовал рабски по следам его. Перевод мой слаб, груб, неверен. Скифы заставили пленного грека изваять Венеру и обещали ему свободу. Грек был дурный ваятель; в Скифии не было ни паросского мрамора, ни хороших резцов; за неимением их — соотечественник Праксителев употребил грубый гранит, молот, простую пилу и создал нечто похожее на Венеру, следуя заочно образцу, столь славному не только в Греции, но даже в землях варваров. Скифы были довольны, ибо не знали божественного подлинника, и поклонялись новой богине с детским усердием. Скифы — мои соотечественники; Праксителева статуя — книга бессмертного Фонтенеля; а я — сей грек, неискусный ваятель.

**А б б а т В.** О! вы слишком скромны, почтенный князь!

**К а н т е м и р.** Не довольствуясь опытом моим над Фонтенелем, я принялся за «Персидские письма».

**А б б а т В.** «Персидские письма» по-русски!

**М о н т е с к ь е.** Мог ли я ожидать, что первое, слабое произведение моего пера отнимет у вас столько драгоценного времени?

**А б б а т В.** Теперь гиперборейцы узнают, как ветрены и малодушны обитатели берегов Сейны.

**К а н т е м и р.** И как остроумны.

**А б б а т В.** Я давно на вечерах г-жи Жофрень — которая вас превозносит, но в душе своей ненавидит — давно предсказывал вашу славу, г. Монтескье!

В земле своей никто пророком не бывал.

Но мое пророчество сбылось, как видите. Легко быть может, что в эту самую минуту на берегах Ледовитого моря, на берегах Лены или Оби, в пустынях Татарии — читают ваши остроумные письма, и имя Монтескье гремит в становищах калмыков и самоедов.

**М о н т е с к ь е.** Читают «Персидские письма» при свете лампы, налитой рыбьим жиром...

**А б б а т В.** Или при свете северного сияния... Конечно, странно, чудесно! — А мы говорим с таким пренебрежением о великой Московии!

**К а н т е м и р.** Калмыки и самоеды не читают философических книг, и, конечно, долго читать не будут. Но в Москве многолюдной, в рождающейся столице Петра, в монастырях малой и великой России есть люди просвещенные и мыслящие, которые умеют наслаждаться прекрасными произведениями муз.

**М о н т е с к ь е.** Число таких людей должно быть весьма огра-

ниченно. До сих пор я думал и думаю, что климат ваш, суровый и непостоянный, земля, по большей части бесплодная, покрытая в зиму глубокими снегами, малое население, трудность сообщения, образ правления почти азиатский, закоренелые предрассудки и рабство, утвержденные веками навыка,— все это вместе надолго замедлит ход ума и просвещения. Власть климата есть первая из властей.

**А б б а т В.** Я с вами согласен; и полагаю, что все усилия исполинского царя, все, что он ни сотворил железною рукою,— все разрушится, упадет, исчезнет. Природа, обычаи древние, суеверие, неисцелимое варварство возьмут верх над просвещением слабым и неосновательным; и вся полудикая Московия — снова будет дикою Московиею, и вечный туман забвения покроет дела и жизнь преемников Петра Великого.

**К а н т е м и р.** Я осмелюсь спорить с великим творцом книги о существовании законов и с вами, любезный аббат. Россия пробудилась от глубокого сна, подобно баснословному Эпимениду. Заря, осветившая нашу землю, предвещает прекрасное утро, великолепный полдень и ясный вечер: вот мое пророчество!

**А б б а т В.** Но это не заря — северное сияние. Блеску много, но без света и без теплоты.

**М о н т е с к ь е.** Остроумный аббат сказал великую истину. Положим — трудное предложение, едва ли сбыточное дело! — положим, что правительство откроет все пути к просвещению, что будет беспрестанно призывать иностранцев для воспитания юношества, построит теплые дома для училищ и из сих парников и теплиц просвещения соберет несколько незрелых и несочных плодов; положим, что правительство образует военных людей, довольно искусных, несколько мореходцев, небольшое число артиллеристов, инженеров и проч. Но скажите, может ли правительство вдохнуть вкус к изящному, к наукам отвлеченным, умозрительным? Какая сила изменит климат? Кто может вам даровать новое небо, новый воздух, новую землю?

**А б б а т В.** И новое солнце? Как можно сеять науки там, где осенью серп земледельца пожинает редкие класы на бродях, потом его орошенных; где зимою от холоду чугун распадается и топор жидкости рубит?..

*Caeduntque securibus humida vina!\**

**М о н т е с к ь е.** Холодный воздух сжимает железо; как же не действовать ему на человека? Он сжимает его фибры; он дает им силу необыкновенную. Эта сила физическая сообщается душе. Она внушает ей храбрость в опасности, решительность, бодрость,

---

\* Они рубят секирами влажные вина! (лат.)

крепкую надежду на себя; она есть тайная пружина многих прекрасных свойств характера; но она же лишает чувствительности, необходимой для наук и искусств. Теплота, напротив того, расширяя тончайшую плену кожи, раскрывает оконечности нервов и сообщает им чудесную раздражительность. В землях холодных наружная кожа столь сильно сжата воздухом, что нервы, так сказать, лишены жизни и редко, очень редко сообщают слабые ощущения свои мозгу. Вы знаете, что от бесчисленного количества слабых ощущений зависят воображение, вкус, чувствительность и живость. Надобно содрать кожу с гипербореяца, чтоб заставить его что-нибудь почувствовать\*.

**А б б а т В.** Что можете отвечать на это? Вы станете защищать соотечественников ваших, как министр, и на сильные, неотразимые силлогизмы президента отвечать дипломатическими, отклоняющими истину фразами?

**К а н т е м и р.** Я родился в Константинополе. Праотцы мои происходят от древней фамилии, некогда обладавшей престолом Восточной империи. Следственно, во мне играет еще кровь греческая, и я непритворно люблю голубое небо и вечно зеленые оливы стран полуденных. В молодости я странствовал с отцом моим, неразлучным спутником, искренним другом Петра Великого, и видел обширные долины России от Днепра до Кавказа, от Каспийского моря до берегов величественной Москвы. Я знаю Россию и обитателей ее. Хижина земледельца и терем боярина мне равно известны. Руководимый наставлениями отца моего, просвещеннейшего человека в Европе, с ранних лет воспитанный в училище философии и опытности, будучи обязан по званию моему иметь беспрестанные и тесные сношения с иностранцами всех наций, я не мог сохранить предрассудков *варварских* и привык смотреть на новое отечество мое оком беспристрастного наблюдателя. В Версале, в кабинете короля вашего, в присутствии министров я — представитель великого народа и всемогущей его монархии: но здесь, в обществе дружеском, с великим гением Европы, поставляю обязанностью говорить откровенно; и вы, г. аббат, скорее обличите Кантемира в невежестве, нежели в пристрастии или нечистосердечии. Вот мой ответ: вы знаете, что Петр сделал для России; он создал людей, — нет! он развил в них все способности душевные; он вылечил их от болезни невежества; и русские, под руководством великого человека, доказали в короткое время, что таланты *свойственны всему человечеству*. Не прошло пятнадцати лет — и великий монарх наслаждался уже плодами знаний своих сподвижников: все вспомогательные

---

\* Il faut écorcher un Moscovite pour lui donner du sentiment (?) [Надобно содрать кожу с жителя Московии, чтобы дать ему что-либо почувствовать (франц.)] (Прим. К. Н. Ватюшкова.)

науки военного дела процвели внезапно в государстве его. Мы громами побед возвестили Европе, что имеем артиллерию, флот, инженеров, ученых, даже опытных мореходцев. Чего же хотите от нас в столь короткое время? Успехов ума, успехов в науках отвлеченных, в изящных искусствах, в красноречии, в поэзии? — Дайте нам время, продлите благоприятные обстоятельства, и вы не откажете нам в *лучших* способностях ума. Вы говорите, что власть климата есть первая из властей. Не спорю: климат имеет влияние на жителей; но это влияние, как вы сами заметили в бессмертной книге своей, это влияние уменьшается или смягчается образом правления, нравами, общежитием. Самый климат России разнообразен. Иностранцы, говоря о нашем отечестве, полагают вообще, что *Московия* покрываю вечными снегами, населена — дикими. Они забывают неизмеримое пространство России; они забывают, что в то время, когда житель влажных берегов Белого моря ходит за куницею на быстрых лыжах своих — счастливый обитатель устьев Волги собирает пшеницу и благодатное просо. Самый Север не столь ужасен взорам путешественника; ибо он дает все потребное возделывателю полей. Плуг есть основание общества, истинный узел гражданства, опора законов; а где, в какой стране России не оставляет он благодетельных следов своих? С успехами людности и просвещения Север беспредстанно изменяется, и, если смею сказать, прирастает к просвещенной Европе. Скажите: когда Тацит описывал германцев, думал ли тогда Тацит, что в диких лесах ее возникнут города великолепные, что в древней Паннонии и Норике родятся светильники ума человеческого? Нет, конечно! Но Петр Великий, заключив судьбу полумира в руке своей, утешал себя великою мыслию, что на берегах Невы древо наук будет процветать под тению его державы и рано или поздно, но даст новые плоды, и человечество обогатится ими. Вы, г. Монтескье, наблюдаете беспредстанно мир политический: на развалинах протекших веков, на прахе гордого Рима и прелестной Греции вы постигли причины настоящих явлений, научились пророчествовать о будущем. Вы знаете, что с успехами просвещения изменяются явным и непременно образом все формы правления: вы заметили сии изменения в земле русской. Время все разрушает и созидает, портит и совершенствует. Может быть, через два или три столетия, может быть, и ранее благе небеса даруют нам гения, который постигнет вполне великую мысль Петра — и обширнейшая земля в мире, по творческому гласу его, учинится хранилищем законов, свободы, на них основанной, нравов, дающих постоянство законам, одним словом — хранилищем просвещения. Лестные надежды! вы сбудетесь, конечно. Благодетель семейства моего, благодетель России — почивает во гробе; но дух его, сей деятельный, сей великий дух — не покидает страны, ему любезной: он всюду

присутствует, все оживляет, всему дает душу, и новую жизнь, и новую силу; он, кажется мне, беспрестанно вещает России — иди вперед! не останавливайся на поприще, мною отверстом, и достигнешь великой цели, мною назначеной!

**Монтескье.** Но искусства? Могут ли они процветать в туманах невских или под суровым небом московским?

**Аббат В. Искусства...** Ах! им-то нужен прозрачный воздух и яркое солнце Рима, древней Эллады или умеренный климат нашей Франции.

**Кантемир.** Полуденные страны были родиною искусств; но сии прелестные дети воображения были часто вытесняемы из родины своей варварством, суеверием, железом завоевателей и, как быстрые волны, разлились по лицу земному. Музыка, живопись и скульптура любят свое древнее отечество, а еще более — многолюдные города, роскошь, нравы изнеженные. Но поэзия свойственна всему человечеству; там, где человек дышит воздухом, питается плодами земли, там, где он существует, — там же он наслаждается и чувствует добро или зло, любит и ненавидит, укоряет и ласкает, веселится и страдает. Сердце человеческое есть лучший источник поэзии...

**Аббат В.** Так! но оно, признайтесь, не столь чувствительно на Севере.

**Монтескье.** Я видел оперу в Англии и в Италии. От музыки, которую англичане слушают спокойно, итальянцы бывают вне себя и прыгают, как пифия на пророческом треножнике.

**Кантемир.** Что доказывает это? Что чувствительность народов южных раздражительнее, сообщительнее: но едва ли столь глубока, столь сильна, как чувствительность народов северных. В бытность мою в Лондоне ученый шотландец N.N. показывал мне песни его горных соотечественников: они напоминают древнего Омера и силою мыслей, глубиною чувств превосходят многие произведения музы итальянской.

**Аббат В.** Невероятно!

**Кантемир.** Мы, русские, имеем народные песни; в них дышит нежность, красноречие сердца; в них видна сия задумчивость, тихая и глубокая, которая дает неизъяснимую прелесть и самым грубым произведениям северной музыки.

**Аббат В.** Чудесно! по чести, невероятно!

**Кантемир.** ...Скажите, если грубые дети Севера умеют чувствовать и изъясняться столь живо и приятно, то чего нельзя ожидать нам от людей образованных?

**Аббат В.** Но... почтенный защитник Севера... вы знаете, что народные песни... лепетание младенцев!

**Кантемир.** Младенцев, которые со временем возмужают. Как знать? Может быть, на диких берегах Камы или величественной Волги возникнут великие умы, редкие таланты. Что скаже-

те, г. президент, что скажете, услыша, что при льдах Северного моря, между полудиких родился великий гений? Что он прошел исполинскими шагами все поле наук; как философ, как оратор и поэт преобразовал язык свой и оставил по себе вечные памятники? Это одно предположение, но дело возможное. Что скажете, если...

**А б б а т В.** Но к чему сии гипотезы? Легче поверю, что русские взяли приступом Париж и уничтожили все крепости, Вобаном построенные!! *Впрочем, для чудес нет законов*, говорил мне Фонтенель с значительною усмешкою, прочитав в первый раз свое глубокомысленное рассуждение об оракулах. Все надежды ваши, может быть, и сбудутся, или вы найдете их в царстве Луны, с утраченными надеждами Астольфа. Но, простите моему чистосердечию... признаюсь, я до сих пор смотрю на вас с удивлением и не могу постигнуть, как можно в Париже — на земле Расина и Корнеля — писать русские стихи?

**К а н т е м и р.** Это напоминает: как можно быть персиянином?

**М о н т е с к ь е.** Вы хотели поразить нас собственным нашим оружием. Но позвольте сделать одно замечание. Вы подражаете Горацию и Ювеналу: следственно, пишете сатиры, — сатиры на нравы... которые еще не установились. Гораций и Ювенал осмеивали пороки народа развратного, но достигшего высокой степени просвещения; остроумный и всегда рассудительный Буало писал при дворе великого короля, в самую блестящую эпоху монархии французской. Теперь общество в России должно представлять ужасный хаос: грубое слияние всего порочного, смешение закоренелых предрассудков, невежества, древнего варварства, татарских обычаев с некоторым блеском роскоши азиатской, с некоторыми искрами просвещения европейского! Какая тут пища для поэта сатирического? Могут ли проникнуть тонкие стрелы эпиграммы сквозь тройную броню невежества и уязвить сердце, окаменелое от пороков, закаленное в невежестве? И что значат сии стрелы в земле, где женщины, хранительницы нравов, едва начинают освобождаться из-под ига мужей своих; в земле, где общественное мнение еще шатается, еще не установилось и не может наказывать своим приговором того, что не подлежит суду законов? Одним словом: как можно смеяться говорить истину властелинам или рабам? Первым — опасно; другим — бесполезно.

**К а н т е м и р.** Пользуясь покровительством монархов и вельмож, занимающих первые степени в государстве, я без страха говорил истину, и мои сатиры принесли некоторую пользу. Петр Великий, преобразуя Россию, старался преобразовать и нравы: новое поприще открылось наблюдателю человечества и страстей его. Мы увидели в древней Москве чудесное смешение старины и новизны, две стихии в беспрестанной борьбе одна с другою. Новые обычаи, новые платья, новый род жизни, новый язык не могли

еще изменить древних людей, изгладить древний характер. Иные бояра, надевая парик и новое платье, оставались с прежними предрассудками, с древним упрямством и тем казались еще страннее; другие, отложив бороду и длинный кафтан праотеческий, с платьем европейским надевали все пороки, все слабости ваших соотечественников, но вашей любезности и людскости занять не умели. Частые перемены при дворе возводили на высокие степени государственные людей низких и недостойных: они являлись и — исчезали. Временщик сменял временщика, толпа льстецов другую толпу. Гордость и низость, суеверие и кощунство, лицемерие и явный разврат, скупость и расточительность неимоверная: одним словом, страсти, по всему противоположенные, сливались чудесным образом и представляли новое зрелище равнодушному наблюдателю и философу, который только ощупью, и с Горацием в руках, мог отыскать счастливую средину вещей. Я старался изловить некоторые черты сих времен; скажу более: я старался явить порок во всей наготе его и намекнуть соотечественникам истинный путь честности, благих нравов и добродетели. Ученый Феофан, архимандрит Кролин (оба достойные пастыря), Никита Трубецкий и другие вельможи одобрили мои слабые опыты, мое перо неискусное, но смелое, чистосердечное. Я первый осмелился писать так, как говорят: я первый изгнал из языка нашего грубые слова славянские, чужестранные, не свойственные языку русскому, — и открыл новую дорогу для грядущих талантов. Сатиры мои будут иметь некоторую цену для потомков наших, подобно древним картинам первых живописцев, предшественников Рафаэля: в них они найдут изображение верное нравов и языка русского, в славном периоде для России — от времен Петра до царствования счастливой, обожаемой нами Елисаветы, — и имя мое (простите мне авторское самолюбие) будет уважаемо в России более потому, что я первый осмелился говорить языком муз и философии, нежели потому, что занимал важное место при дворе вашем.

А б б а т В. Прекрасно! Вы говорите, как истинный философ.

М о н т е с к ь е. Мы желали бы видеть ваши сатиры на французском языке. Отчасти я согласен с вами: картина нравов народа почти нового всегда любопытна. Но... вот и аббат Гуаско, ваш приятель...

— Вы очень кстати навестили нас! — сказал Кантемир, обнимая аббата. — Вы перевели мои сатиры на французский язык: прочитайте что-нибудь в угождение г. президенту; а вас, господа, прошу терпения и снисхождения...

Чтение и разговоры продолжались долго, даже за полночь. Наконец Монтескье и аббат В. откланялись министру и расстались... довольны ли им? не знаю.



Знаю только, что Кантемир, шевеля гаснувшие уголья в камине, сказал аббату Гуаско:

— Признайся, любезный друг, Монтескье умный человек, великий писатель... но...

— Но говорит о России, как невежда,— прибавил аббат Гуаско. Скромный Кантемир улыбнулся, пожелал доброй ночи аббату, и они расстались.

[1816]

## ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

### РАЗНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1807

Дано в Москве 1810-го года мая 12 дня  
Ж(уковски)м — Б(агюшко)ву

.....  
Вот описание роскоши римской, достойное кисти Ювеналово <й> и ужасного века, в котором жил стихотворец, века варварства, роскоши, развращения нравов, бесстыдства, пороков, когда они не имеют даже нужды покрываться покровом добродетели.  
.....

Гораций был всегда болен глазами, а Вергилий имел слабую грудь и прерывистое дыхание. Вот отчего Август говаривал, когда находился в обществе сих поэтов: «Я нахожусь между вздохов и слез».

.....  
Гораций всегда был осторожным. Глубокое познание людей и света заставило его написать следующие строки, ибо, верно, Меценат с ним был откровенен, когда не Менандр, а поэт его называет просто своим другом. «Меценат, — говорит наш счастливец, — Меценат, когда я с ним бываю в колеснице, спрашивает меня, который час?.. Думаешь ли ты, что Галлина Фракийский единоборец устоит против единоборца Сирейского? Холод утренний становится чувствителен тем, которые не предохраняют себя и пр.»

«Сатира VI» — Г(ораций)

.....  
Если б я управлял государством, то Г(линке С. Н.) дал бы пенсию. Его журнал можно назвать политическим. Он же сам похож на проповедника крестового похода: тот же девиз и у него, что у Пустынника Петра: бог, вера, отечество.

Вкус можно назвать самым тонким рассудком. Шиш(ков) богат рассудком, то, что называют французы *gros bon sens*\*; он видит, чувствует довольно верно. Но все ли он видит, все ли чувствует?

.....  
Уродливая поэма к(нязя) Ш(ихматова). — Есть мозаика славенских слов, говорил М(ерзляков).

\* Здравый смысл (франц.).

Какой великий писатель Тацит! Какой философ! Какой живописец! Он вовсе не похож на обыкновенных историков. Он рисует фигуры, дает им приличное положение, окружает их природою. Например, Агрипина, супруга Гертаника, на острове Корсике (Корфу) представлена летописцем с урною в руках, окруженная детьми, царедворцами, бесчисленным народом, который вместе с вдовицею оплакивает и ее, и собственную трату. Или Тиверий, бледный, растерзанный совестью, входит в Сенат: консулы, желая изъяснить печаль свою о смерти Друзия (сына Тивериева), встречают его на нижних ступенях, сенаторы плачут — и тиран посреди стона и рыданий начинает речь свою. — Но выпишем лучше два места, которые меня поразили. Первое: смерть Тиверия; другое: Агрипины, матери Нерона.

.....

Нет, я не поверю, чтоб Шолио, Шапель и все эти эпикурейцы были так счастливы, как они об этом пишут. Но они были счастливее иногда Паскаля, Ларошефуко, Мольера и проч. А это уже много! Лафонтен их был всех счастливее, оттого что он был совершенный дурак, выключая своего великого таланта.

«Trop de vers emporte trop d'enmi»\*, — сказал любезный Гресет. Это правда. Стихи и хорошее вино все то же. Пей, а не упивайся. Херасков, говорил мне Капнист, имел привычку или правило всякий день писать положенное число стихов. Вот почему его читать трудно. Горе тому, кто пишет от скуки! Счастлив тот, кто пишет потому, что *чувствует*.

Прекрасная женщина всегда божество, особливо если мила и умна, если хочет нравиться. Но где она привлекательнее? — За арфой, за книгою, за пяльцами, за молитвою или в кадрили? — Нет совсем! — а за столом, когда она делает салат.

Терпеть не могу людей, которые всё бранят, затем чтоб прослыть глубокомысленными умниками. Правление дурно, войска дерутся дурно, погода дурна, прежде лучше варили пиво и так далее. Но отчего они сами дурны в своем семействе? отчего домашние их ненавидят?

Мадам Жанлис мерзавка такая подлая, что я ее ненавижу. Можно написать «Les vraies réputations»\*\* — и еще женщине! Можно ли бранить La Harpe, который ее всегда превозносил до небес, был в нее влюблен и поправлял, а может быть, и сочинял ее *сочинения*? Можно ли ей бранить Мармонтеля за незнание

---

\* Излишество стихов приводит к излишеству врагов (франц.).

\*\* «Истинная репутация» (франц.).

света, который описан в его сказках мастерским пером? Можно ли этой бабе поносить Вольтера и критиковать его как мальчишку? Можно ли, наконец, написать сказку, исполненную соблазнительных сцен, исполненную ужаснейших картин, извлеченных не из света, а из собственного сердца этой целомудренной госпожи, и все это посвятить aux jeunes personnes qui ont déjà leurs seize ans? \*—???

---

Некоторые слова должно употреблять с благоговением. Кажется, Франклин снимал шляпу, произнося имя бога. А у нас бог, вера, отечество, русские, русское — все это, везде, кстати и некстати, в важном и в безделицах, пишут, поют, напевают и, так сказать, по словам Ивана Афанасьевича Дмитревского, без всякого стыда!

---

Кто-то сказал и сказал правду: «Этот человек умен, да только по-французски» (говоря о N.), — т<о> е<сть> нам кажется, что он умен!

---

Нет ничего скучнее, как жить с человеком, который ничего не любит, ни собак, ни людей, ни лошадей, ни книг. Что в офицере без честолюбия? Ты не любишь крестов? — Иди в отставку! а не смейся над теми, которые их покупают кровью. Ты не имеешь охоты к ружью! — Но зачем же мешать N. ходить на охоту? Ты не играешь на скрипке? — Пусть же играет сосед твой!.. Но отчего есть такие люди на свете? — от самолюбия. Поверьте мне, что эта страсть есть ключ всех страстей.

---

Женщины меня бесят. Они имеют дар ослеплять и ослепляться. Они упрямы, оттого что слабы. Неверчивы, оттого что слабы. Они злопамятны, оттого что слабы. У них нет Mezzo termine\*\*. Любить или ненавидеть! — им надобна беспрестанная пища для чувств, они не видят пороков в своих идолах, потому что их обожают; а оттого-то они не способны к дружбе, ибо дружба едва ли ослепляется! — Но можно ли бранить женщин? Можно: браните смело. У них столько же добродетелей, сколько пороков.

---

Писать и поправлять одно другого труднее. Гораций говорит, чтоб стихотворец хранил девять лет свои сочинения. Но я думаю, что девять лет поправлять невозможно. Минута, в которую мы писали, так будет далека от нас!.. а эта минута есть творческая. В эту минуту мы гораздо умнее, дальновиднее, пронизательнее, нежели после. Поправим выражение, слово, безделку, а испортим мысль, прервем связь, нарушим целое, ослабим краски. Вдали

---

\* Молодым людям, которым уже исполнилось шестнадцать лет (франц.).

\*\* Золотой середины (итал.).

предметы слишком тусклы, вблизи ослепляют нас. Итак, должно поправлять через неделю или две, когда еще мы можем отдавать себе отчет в наших чувствованиях, мыслях, соображении при сочинении стихов или прозы. Как бы кто ни писал, как бы ни грешил против правил и языка, но дарование, если он его имеет, будет всегда видно. Но дарования одного, без искусства, мало.

Кто пишет стихи, тому не советую читать без разбору все, что попадется под руку. Чтение хороших стихов заранивает *искру*, которая воспламенит тебя. Чтение дурных, особливо гладких, но вялых стихов охлаждает дарование. Читай Державина, перечитывай Ломоносова, тверди наизусть Богдановича, заглядывай в Крылова, но храни тебя бог от Академии, а еще более от Шаликова.

.....

*Сочинения в прозе*

«Финляндия» . . . . .	1
«Похвальное слово сну» . . . . .	2
«Предслава и Добрыня», повесть . . . . .	3
«Корчма в Молдавии» <i>ibid.</i> . . . . .	4
«Венера» . . . . .	5
«Стихотворец судья» . . . . .	6

⟨По каким цензурным законам⟩ будет он судить стихотворца?— По законам вкуса! Но вкус не есть закон, ибо не имеет никакого основания, ибо основан на чувствах изящного, на сердце, уме, познании, опытности и пр. Но во вкусе ошибались целые Академии, начиная от нашей и до Парижской. Цензор может сказать: книга ваша не будет напечатана, потому что вы пишете против обрядов, против религии, против системы, политики,— а я должен повиноваться, ибо это есть закон, ибо цензор в таком случае опирается на закон, ибо всякий человек, который еще в полном разуме, должен необходимо повиноваться законам или ехать к ирокойзам. Но если этот же самый цензор скажет мне: не печатайте ваши книги, но потому, что у вас не богаты рифмы, 2-е, потому, что вы написали «горизонт», а не «обзор» и пр.,— что ему отвечать?—«Нет!..» Если б воскрес и сам Ломоносов, то я не выбрал бы его в цензоры, ибо и он мог бы ошибиться; может быть, грубее Ваксина. Теперь спросим мы, какое зло приносят книги, писанные дурным слогом? Кто перенимает у Шаликова? Кто перенимает у Захарова? И кто читает их?— Невежи или те, которые не в состоянии читать лучшего. Я думаю, что свободы книгопечатания ограничивать никак не должно, особливо в наше время. Мы запрещаем переводы французских книг, а эти же самые книги продаются во всех иностран-

ных лавках, начиная от похабного Аретина, до безбожного Гольбака, начиная от «Орлеанской девки» и до «Метафизики» Д'Аламберта.

Конечно, не должно позволять печатание безбожных книг, не должно позволять переводов декламаций против веры; должно запретить, и весьма строго, все, что может привести в соблазн молодежь; но должно ли положить меру продажи иностранных сочинений? Вот в каком случае цензура должна употребить возможную строгость. Но и это почти невозможно. К чему послужило б запрещение вывоза?— У нас, везде, во всяком доме, найдут сотни этих же самых книг. Французы сделали великое зло изобретением стереотипов, ибо Дидот без зазрения совести перепечатал «La ruselle»\* и пр., ибо эти книги продаются за безделку везде, во всех лавках. В Риме, в Мадриде и в Вене цензура славилась своею строгостию: какая же польза?— В Риме столько же безбожия и суеверия, сколько и при Боржихах, в Вене распутство превосходит или, по крайней мере, не уступает английскому и парижскому, и даже сия излишняя строгость принесла вред, ибо обратила на себя взоры Германии, и ученые немцы запутали Берлин, Лейпциг, Лейден и проч., обрадовавшись случаю показать свой тяжелой аттицизм, и закидали венское правительство грубыми, несправедливыми насмешками. Мадрид один устоял, почти невредим: он сохранил нравы. Но и тут какая польза для народа?— Так-то трудно удержать государство от разврата, когда соседние народы оным заражены!

Теперь можно спросить у политиков: что нужно народу для блага общественного? Просвещение или невежество? Изберите то, либо другое, и ведите народ ваш к избранной цели, не уклоняясь ни вправо, ни влево. У вас два примера: Англия и Испания.

### Замечание

*Валькирии* были у скандинавов и всех северных народов богини вестницы смерти, послушные *Одену*. Они во время битвы носились невидимо над войском, вооруженные мечом, на белом коне воздушного Естества, и избирали жертвы. Храбрых провождали в *Валкаллу*, чертоги Оденовы, где уготован им был пир и красавицы. Скальды воспевали воинам прежнюю славу. Вот рай совершенно военный!

Готическое предание повествует, что есть такое земное отверстие, ведущее к аду или *Нифлеймру*. Многие воины туда спускались.

В книге «*Эдда*» (или готическое) баснословие) говорят о

---

\* «Девственница» (франц.) (поэма Вольтера «Орлеанская девственница». — ред.).

каком-то адском псе *Монагармаре*, который питается последними вздохами умирающих.

*Норпиры* (или Парки): Урда, Верданда, Скульда — имена их значат: прошедшее, настоящее, будущее.

*Гела* — богиня смерти.

*Лукк* — злое начало, отец Гелы, пребывает в оковах до появления новых богов. Когда он расторгнет узы свои, то люди, земля, солнце, звезды, весь мир исчезнет — земля поглотится водою либо сгорит от огня небесного. Сам Оден погибнет с божествами своего семейства.

Это баснословие, кроме пиитической стороны, представляет воображению и уму сторону совершенно новую. Оден есть верховное существо, бог страшный и мстительный, в руках его награда *храбрости*, единственная добродетель, которую почитали сии варвары; но и он, и сие страшное божество, предмет почитания смертных, и его *Валкалла*, исполинские чертоги, должны некогда пасть перед роком! Следственно, Оден есть первый бог, которому народы не даровали *вечности!*

Британцы вовсе не признавали богов и поклонялись теням предков своих, которые жили в воздухе, в облаках и являлись с месячным восходом. Сколько красот Оссиан умел извлечь из этих басен! — Однако народы сии, кажется, признавали какое-то верховное существо.

---

Конечно, *независимость* есть благо, по крайней мере, для меня. Есть люди, которым ничего не стоит торговать своей свободой: эти люди созданы для света. А я во сто раз счастливее, как бываю один, нежели в многолюдном обществе, особливо, когда я не в духе; тогда и самая малейшая обязанность для меня тягостна. Человек в *пустыне* свободен, человек в *обществе* раб, бедный еще более *раб*, нежели богатый. Но иногда богатство — тягостно; покойный Ш-в тому пример. Кстати, я вспомнил теперь о каком-то чудаке из «Жилблаза», который хотел быть независим и всегда весел. Он спрятал свое сокровище в стену и из нее ежедневно брал по червонцу, высчитав вперед, сколько ему осталось времени жить. Я бы желал иметь кошелек и в этом кошельке один рубль, не более. Но чтобы этот рубль всегда *возрождался* для *истинных* нужд.

.....

Иные удивляются тому, что ученые люди (под этим названием я разумею не тех, которые навьючили память свою словами) бывают рассеяны в обществе: а я удивляюсь тому, как иные из них могут быть примечательны и всегда осторожны в обществе. Человек, который занимается словесностью, имеет во сто раз более мыслей и *воспоминаний*, нежели политик, министр, генерал.

---

Я прочитал Монтаня недавно. Вот книга, которую буду перечитывать во всю мою жизнь!

Путешественник, проходя по долине, орошенной ручьями, часто говорит: откуда эти воды? откуда столько ключей? — Идет далее и находит озеро; тогда его удивление исчезает. Это озеро, говорит он, есть источник маленьких речек, ручьев и протоков.

Этот путешественник — я, эти ключи — авторы, которых я читал в молодости, это озеро — Монтань. Все писатели, все моралисты, все стихотворцы почерпали в Монтане мысли, обороты или выражения. Из всякой его страницы делали том. Его книгу можно назвать весьма ученой, весьма забавной, весьма глубоко-мысленной, никогда не утомительной, всегда новой; одним словом, историей и романом человеческого сердца.

Монтаня можно сравнить с Гомером.

---

Боже мой, как скучен Д'Аламберт с академической диалектикой! — Я насилу мог прочитать его философию. Всё из головы! — ни одной мысли из сердца! А видно, что честный человек, что желает добра людям и любит их, вопреки материализму. Жаль, что он заморозился и высушил себя математикой! — Он писал об музыке, затем что хотел прослыть светским человеком. Лучшее его сочинение есть «Предисловие к Энциклопедии». Я уверен, что если б он жил в средних веках, то был бы схоластиком и ничего более, а Дидерот был бы Кальвином, или Лютером, или папистом, то есть ему надобно б было наделать шума, жечь других или быть повешену.

---

Обстоятельства образуют великих людей, а потом великие люди образуют обстоятельства. Это старое!

---

Отчего Кантемира читаешь с удовольствием? — Оттого, что он пишет о себе. Отчего Шаликова читаешь с досадою? — Оттого, что он пишет о себе.

---

Я говорил с одним офицером про М.: «Он пишет хорошо стихи». — «И! быть не может!» — отвечал офицер. «Почему же быть не может?» — «Потому что я с ним служил в одном полку!» — Каков ответ?

---

Поверьте мне, что дарование редко, что его надобно уважать, даже баловать. Что б был Вольтер без Ниноны <де Ланкло>? — Марот без François?!?

---

Как легко, как трудно написать книгу! — Напр<имер>, как легко написать грамматику (я не говорю философическую, я не говорю о изобретении или открытии новых истин). Как трудно на-



писать сказку, такую, как <напр>имер, «Eleibiade»\*. Как легко написать трактат: о союзах, о упадках государств, о ископаемом царстве, о летучих рыбах, о бобрах, о бумажной фабрике. Как трудно написать песню, такую, как пишет Сегюр. «Быть не может!» — А вот почему. Чтоб написать толстую ученую книгу, вам надобно иметь бумагу, перо и книги. Выбирай и пиши. Чтоб написать умную песню, надобно иметь сердце и ум. Однако ж иные не любят ни певца, ни дарования, а очень любят толстые книги. Я видел людей, которые стояли на коленях перед профессором, сочинителем «Лексикона» (!!!), и те же люди разговаривали с Крыловым как с простяком.

.....

### О Горации

Гораций родился в самых счастливейших обстоятельствах для словесности. Латинский язык, образованный великими писател(ям)и, получил твердое основание. Высокий Лукреций, сладостный Катулл прославили Италию. Саллустий уже обнародовал до сего времени маленькую книгу, которая его поставила наряду с Титом Ливием. Кипр, удививший сограждан высокими дарованиями, очаровал их чистотою слога своего. Одним словом, Цицерон, вознесший римское красноречие на самую высшую степень, украсил прозу возможною ей гармониею. Гораций, образовавший свой вкус в отечестве, на двадцатилетнем возрасте учился философии и словесности в Афинах. На двадцать шестом году он был представлен Меценату Вергилием и Варием, а вскоре и Августу самим Меценатом. Император дважды его обогащал, но не мог заставить его принять должность секретаря — ибо он дорожил своей свободою. Дарования и людскость (urbanite), отличающие сего поэта, не могли бы всегда удержать его на гряде любимца, когда б он не был исполнен *благоразумия*. Он жил в таком веке, в котором осторожность была единою позволительною добродетелью. Он не был защитником ни одной особенной секты, а пользовался учением и опытностию всех мудрецов. — Тонкий философ, тонкий придворный, Гораций доказал, что человек не может быть совершенно счастлив, что сердце наше есть источник вечных желаний, и всегда новых. Посреди шумного двора Августа, посреди театра славы своей он мечтал о уединении, восклицал: «О милый мой деревен(ски)й домик, убежище мое, когда увижу тебя!» — Он же написал сие глубокое рассуждение, исполненное чувства: *«Счастье не принадлежит богатым исключительно, и тот, кто от дня своего рождения до последнего часу жизни своей укрывался от взора человеческого, и тот не менее достоин сожаления!»*

---

\* «Случайность» (франц.).

Он был одержим неизлечимую болезнь *ю* тех людей, которых фортуна рано осыпает дарами — *пресыщением*. Послушаем, что он пишет к Селоту, другу своему: «Вопреки моим предприятням, я не могу сделаться ни лучше, ни счастливее; ибо я гораздо здоровее телом, нежели умом. Я не хочу ни слушать, ниже читать то, что меня могло бы успокоить. Сержусь на верных лекарей, которые хотят меня вылечить, сержусь и на друзей моих, желающих извлечь меня из сего пагубного состояния. Одним словом, я все делаю противное моему благосостоянию и противное собственному рассудку. Когда я в Тиволи, мне хочется быть в Риме, когда я в Риме, то мне желается быть в Тиволи». — Вот что писал счастливейший из всех стихотворцев, человек, которого всегда фортуна лелеяла как любимца своего! Не должно ли жалеть об умных людях, о тех, которые своими дарованиями услаждают досуг наш, когда последний поденщик, дровосек, в поте и пыли снискивающий хлеб свой, их стократ счастливее! Если науки услаждают несколько часов в жизни, то не оставляют ли они в душе какую-то пустоту, которая отвлекает нас от всех предметов, которая *разочаровывает их*, которая делает нас недовольными приближающ*ю* друзьями и пр.?

.....

И. М. М *уравьев-Апостол* — любезнейший из людей, человек, который имеет блестящий ум и сердце, способное чувствовать все изящное, — сказывал мне, что он не выпускает Горация из рук, что учение сего стихотворца может заменить целый век опытности, что он всякий день более и более открывает в нем не только поэтических красот, но истин, глубоких и утешительных.

Гораций был льстец Августов. Об этом написаны были целые книги. Одни говорили, что льстить Октавию, рушителю вольности, рушителю всякого права, трусу на войне, коварному изменнику отечества и друзей, есть пятно неизгладимое. Другие, не столь строгие, утверждали, что он должен был быть благодарен императору, который усмирил междоусобную войну, водворил порядок, науки и законы, что Горациева признательность к благодетелю не есть порок и проч. Всякой может оставаться при своем мнении. Мне же кажется, что стихотворец сей, как и все люди, платил дань порокам и слабости, что трудно, очень трудно не ослепиться ласками Владельца, что Владелец, человек с увенчанной главою, есть, по словам Вольтера, *волшебник*, что самые строгие писатели, что пылкий Ювенал не устоял бы против ласк Августовых; одним словом, что трудно, весьма трудно судить поведение человека умного, которого слава перешла в потомство почти без пятен. Расин, честный, набожный Расин, умер оттого, что Лудвиг взглянул на него косо. Но Гораций никогда не хотел продать свою вольность за золото. Он отказался от почестей,

страшился забот, любил уединение. Не доказывает ли это, что он имел прекрасную душу, исполненную благородства?

К какой-то книге, которая говорит о материях отвлеченных, метафизических, была приложена картина, весьма остроумная, следующего содержания. Представлен был ребенок, перед ним зеркало. Ребенок, видя в нем свой образ, хочет его обнять. Философ, стоящий вдали, смеется над его ошибкою, а внизу картины надпись, относящаяся к Мудрецу: «*Quid rides? — Fabula de te narratur!*»\*.

.....

*Расписание моим сочинениям*

	Иерусалима, песнь первая . . . . .	1
	ibid — из десятой . . . . .	2
	Послание к Тассу . . . . .	3
	Мечта . . . . .	4
	Воспоминания . . . . .	5
	Видение на берегах Леты . . . . .	6
	Тибуллова элегия X (из I книги) . . . . .	7
	ibid — III из III книги . . . . .	8
	Послание к Гнедичу . . . . .	9
	К Петину . . . . .	10
<i>Анакреон:</i>	Веселый час . . . . .	11
	Ложный страх . . . . .	12
	Привидение . . . . .	13
	Источник . . . . .	14
	Челнок . . . . .	15
	Счастливец . . . . .	16
	Элизий . . . . .	17
	Ответ Г<недичу> . . . . .	18
	К Хлое из деревни . . . . .	19
	К Ч-й . . . . .	20
	Желания . . . . .	21
	Из Метастазия . . . . .	22
	Семеновой . . . . .	23
	Семь грехов . . . . .	24
	Ода Лебрюна на старость . . . . .	25
<i>Басни:</i>	Сон могольца . . . . .	26
	Блестящий червяк . . . . .	27
	Книги и журналист . . . . .	28
	Орел и уж . . . . .	29

---

\* «Кто смеется?— Сказание умалчивает!» (лат.)

<i>Из Петрарки:</i>	Вечер . . . . .	30
	На смерть Лауры . . . . .	31
<i>Смесь:</i>	Эпиграммы . . . . .	32
	На смерть Пнина . . . . .	33
	В день рождения N . . . . .	34
	На смерть Хераскова . . . . .	35
	Урок красавице . . . . .	36
	Хлоин ответ . . . . .	37
	А. П. С. Приписание . . . . .	38
	Надпись на могиле пастушки . . . . .	39
<i>Басня:</i>	Лиса и пчелы . . . . .	40
	Песнь песней . . . . .	41
	Русский витязь . . . . .	42
	Отрывок из «Инсель и Аслеги» . . . . .	43
	Мадагаскарские песни . . . . .	44

.....

Я знаю одного человека, который ежедневно влюбляется, потому что он празден. Другой же никогда влюблен не был, потому что ему недосуг. Одного почитают степенным, а другого — помешанным. Но поставьте первого на место последнего... Любовь может быть в голове, в сердце и в крови. Головная всех опаснее и всех холоднее. Это любовь мечтателей, стихотворцев и сумасшедших. Любовь сердечная менее других. Любовь в крови весьма обыкновенна: это любовь бюффона. Но истинная любовь должна быть и в голове, и в сердце, и в крови... Вот блаженство! — Вот ад!

.....

Cosner, известный схоластик, говаривал о своих творениях, что они ему не стоили ни малейших усилий. Другие играли в кости, бросая их по столу; он бросил чернила на бумагу — это была его игра. Сколько у нас стихотворцев Cosner-ов!

.....

### Элегия

Я заметил, что тот, кто пишет хорошо, рассуждает всегда справедливо о своем искусстве. Если вы хотите научиться, то говорите с часовым мастером о часах, с офицером о солдатах, с крестьянином о землепашестве. Если хотите научиться писать, то читайте правила тех, которые подали примеры в их искусстве. Теперь дело идет не о метафизике, о поэзии, которая есть искусство самое легкое и самое трудное, которое требует прилежания и труда гораздо более, нежели как об этом думают светские люди...

.....

Я уверен в том, что Тасс нередко подражал Петрарке. Вот тому доказательство: Эрминия, начертывая на вязах имя Танкредово, погружается в сладкую задумчивость... всё вокруг ее безмолвствует, природа разделяет с ней печаль ее, полуденный зной опалает долину, козы покоятся под тенью широких ветвей... Эта картина прелестна...

.....

*Май 1811.* Я недавно нашел в Донском монастыре между прочими надписями одну, которая меня тронула до слез; вот она:

**НЕ УМРЕ, СПИТ ДЕВИЦА.**

Эти слова взяты, конечно, из Евангелия и весьма кстати приложены к девице, которая завяла на утре жизни своей, et rose elle a vecu ce que vivent les roses, l'espace du matin...\*

### ЧУЖОЕ: МОЕ СОКРОВИЩЕ!

1817<sup>7</sup>  
*Дережня — летом*

Во множестве старейшин ставай. И аще кто премудр, тому прилепись. Всяку повесть божественную восхощи слушати, и притчи разума да не убежат тебе! Аще узриши разумна, утренюю к нему, и степени дверей его да трет нога твоя.

*Иисуса сына Сирахова*

.....

### Что писать в прозе

«Опыт об открытии Исландии» Буле. Поэма «Скандинавы» Монбронна. Писарев. Маллет.

О сочинении Радищева.

Что-нибудь об искусствах. Например, опыт о русском ландшафте. Смотри Геснера о ландшафте, Гиршфельда и проч. О баталиях. О рисунке карандашом и проч.

О войне и баталиях относительно к живописи и поэзии.

---

\* А роза прожила столько, сколько живут розы — одно утро... (*франц.*)

Что-нибудь о немецкой литературе. По крайней мере, отдать себе отчет в том, что я прочитал.

.....

Надобно, чтобы в душе моей никогда не погасала прекрасная страсть к *прекрасному*, которое столь привлекательно в искусствах и в словесности; но не должно пресытиться им. Всему есть мера. Творения Расина, Тасса, Вергилия, Ариоста вечно пленительны для новой души: счастлив — кто умеет плакать, кто может проливать слезы удивления за тридцать лет. Гораций просил, чтобы Зевес прекратил его жизнь, когда он учинится *бесчувствен ко звукам лир*. Я очень его понимаю молитву.

.....

### МОЕ

Я заметил, что посреди великих чувств дружбы и любви имеются какие-то искры эгоизма, которые рано или поздно разгораются и дружбу и любовь пожирают. Одна добродетель, но твердая, и постоянная, и деятельная, может погасить их.

Сенека, разъезжая в дурной повозке в окрестностях пышного Рима, краснел, когда встречал богатых людей. «Кто краснеет от худой повозки,— воскликнул он,— будет гордиться богатою колесницею!» *Avis au lecteur, à celui plutôt qui vient de transcrire le passage de Sénèque\**.

У Сенеки было несчетное множество костяных столов: посудите о его богатстве; верить ли похвале его бедности? Лагарп на него жестоко нападает, а из комментаторов Юст-Липсий. Справлюсь с ними. Но Лагарпу нельзя во всем верить: он человек пристрастный. Дидерот пожаловал Сенеку в Сократы,— то как не бранить его Лагарпу?

Чем более читаю Сенеку, тем более нахожу, что он похож на Шатобриана: Шатобриан — Сенека в христианстве по слогу, по душе, не смею сказать по поведению.

.....

Мая 3-го 1817

Болезнь моя не миновала, а немного затихла. Кругом мрачное молчание. Дом пуст, дождик накрапывает, в саду слякоть. Что делать? Все прочитал, что было, даже «Вестник Европы». Давай вспоминать старину. Давай писать набело, *impromptu\*\**,

---

\* Совет тому читателю, кто только что переписал отрывок из Сенеки (*франц.*).

\*\* Экспромтом (*франц.*).

без самолюбия, и посмотрим, что выльется. Писать так скоро, как говоришь, без претензий, как мало авторов пишут, ибо самолюбие всегда за полу дергает и на место первого слова заставляет ставить другое. Но Монтань писал, как на ум приходило ему: верю. Но Монтань — человек истинно необыкновенный. Я сравниваю его ум с запруженным источником: поднимите шлюзу, и вода хлынет и течет беспрестанно, пенясь, кипя, течет всегда чистая, всегда здоровая — отчего? Оттого, что резервуар был обилен. С маленьким умом, с вялым и небыстрым, каков мой, писать прямо набело очень трудно; но сегодня я в духе и хочу сделать *tour de force*\*. Перо немного рассеет тоску мою. Итак... Но вот уж я и в тупик стал. С чего начать? о чем писать? Отдавать себе отчет в протекшем, описывать настоящее и планы будущего. Но это, признаться, очень скучно. Говорить о протекшем хорошо на старости, и то великим людям или богатым перед наследниками, которые из снисхождения слушают: *On en vaut mieux quand on est écouté*\*\*.

Что говорить о настоящем! Оно едва ли существует. Будущее... о, будущее для меня очень тягостно с некоторого времени! Итак, пиши о чем-нибудь. Рассуждай! Рассуждать несколько раз пробовал, но мне что-то все не удается: для меня, говорят добрые люди, рассуждать все равно, что иному умничать. Это больно. Отчего я не могу рассуждать?

Первый резон: мал ростом.

2 — не довольно дороден.

3 — рассеян.

4 — слишком снисходителен.

5 — ничего не знаю с корня, а одни верхки, даже и в поэзии, хотя целый век бледнею над рифмами.

6 — не чиновен, не знатен, не богат.

7 — не женат.

8 — не умею играть в бостон и в вист.

9 — ни в шах и мат.

10

11. После придумая остальные резоны, по которым рассудок заставляет меня смиряться. Но писать надобно. Мне очень скучно без пера. Пробовал рисовать — не рисуется, писать вензеля — теперь ни в кого не влюблен; что же делать? Научите, добрые люди, а говорить не с кем. Не знаю, как помочь горю. Давай — подумаю. Кстати, вспоминаю чужие слова — Вольтера, помнится — *et voila comme on écrit l'histoire*\*\*\*.

\* Героическое усилие (*франц.*).

\*\* Когда вас слушают, ваша цена возрастает (*франц.*).

\*\*\* И вот как пишут историю! (*франц.*).

Я вспомнил их машинально, почему, не знаю. А эти слова заставляют меня вспомнить о том, чему я бывал свидетелем в жизни моей и что видел после в описании. Какая разница — боже мой, какая!

*Et voila comme on écrit l'histoire!*

Простой ратник, я видел падение Москвы, видел войну 1812, 13 и 14 <годов>, видел и читал газеты и современные истории. *Сколько лжи!* И вот тому пример в «Северной почте».

Мы были в Эльзасе. Раевский командовал тогда гренадерами. Призывает меня вечером кой о чем поболтать у камина. Войско было тогда в совершенном бездействии, и время, как свинец, лежало у генерала на сердце. Он курил, очень много по обыкновению, читал журналы, гладил свою американскую собачку — животное самое гнусное, не тем бы вспомнать его! — и которое мы, адъютанты, исподтишка били и ласкали в присутствии генерала: что очень не похвально, скажете вы — но что же делать? Пример подавали свыше, другие генералы, находившиеся под начальством Раев<ского>. Мало-помалу все разошлись, и я остался один. «Садись!» Сел. «Хочешь курить?» — «Очень благодарен». Я из гордости не позволял себе никакой вольности при его высокопревос<ходительстве>. «Ну так давай говорить!» — «Извольте». Слово за слово — разговор сделался любопытным. Раев<ский> очень умен и удивительно искренен, даже до ребячества, при всей хитрости своей. Он же меня любил (в это время), и слова лились рекою. Всем доставалось. *Silis a sela de bon, c'est que quand il frappe, il assome\**. Он вовсе не учен, но что знает, то знает. Ум его ленив, но в минуты деятельности ясен, остер. Он засыпает и просыпается. Но дело теперь о том, что он мне говорил. Кампания 1812 года была предметом нашего болтанья.

«Из меня сделали римлянина, милый Бат<юшков>, — сказал он мне, — из Мил<оравича> великого человека, из Вит<генштейна> спасителя отечества, из Кутузова — Фабия. Я не римлянин, — но зато и эти господа — не великие птицы. Обстоятельства ими управляли, теперь всем движет государь. Провидение спасало отечество. Европу спасает государь, или провидение его внушает. Приехал царь — все великие люди исчезли. Он был в Петербурге, и карлы выросли. Сколько небылиц напечатали эти карлы! Про меня сказали, что я под Дашковой принес на жертву детей моих». — «Помню, — отвечал я, — в Петербурге вас до небес превозносили». — «За то, чего я не сделал, а за истинные мои заслуги хвалили Милорадови<ча> и Остермана. Вот слава! вот плоды трудов!» — «Но помилуйте, ваше высокопр<евосходительство>! — не вы ли, взяв за руку детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: «Вперед, ребята. Я и дети мои откроем вам

---

\* У Силиса то хорошо, что когда он бьет, то наповал (*франц.*).



путь ко славе», — или что-то тому подобное». Раевский засмеялся. «Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились. Я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило. На мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын собирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок), и пуля прострелила ему панталоны; вот и все тут, весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель (Жуковский) воспел в стихах. Гравверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован римлянином. Et voilà comme on écrit l'histoire!»

Вот что мне говорил Раевский.

Но охотникам до анекдотов я могу рассказать другой, не менее любопытный, и который доказывает его присутствие ума и обнажает его душу; он мне не сделал никакого добра, но хвалить его мне приятно, хвалить как истинного героя, и я с удовольствием теперь, в тишине сельского кабинета, вспоминаю старину. Под Лейпцигом мы бились (4-го числа) у красного дома. Направо, налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Раевский стоял в цепи, мрачен, безмолвен. Дело шло не весьма хорошо. Я видел неудовольствие на лице его, беспокойства ни малого. В опасности он истинный герой, он прелестен. Глаза его разгорятся, как угли, и благородная осанка его поистине делается величественною. Писарев летал, как вихорь, на коне по грудам тел — точно по грудам — и Раевский мне говорил: «Он молодец».

Французы усиливались. Мы слабели: но ни шагу вперед, ни шагу назад. Минута ужасная. Я заметил изменение в лице генерала и подумал: «Видно, дело идет дурно». Он, оборотясь ко мне, сказал очень тихо, так, что я едва услышал: «Батюшков», посмотри, что у меня». Взял меня за руку (мы были верхами), и руку мою положил себе под плащ, потом под мундир. Второпях я не мог догадаться, чего он хочет. Наконец, и свою руку, освободя от поводов, положил за пазуху, вынул ее и очень хладнокровно поглядел на капли крови. Я ахнул, побледнел. Он сказал мне довольно сухо: «Молчи!» Еще минута — еще другая — пули летали беспрестанно, — наконец, Раевский, наклонясь ко мне, прошептал: «Отъедем несколько шагов: я ранен жестоко!» Отъехали. «Скачи за лекарем!» Поскакал. Нашли двоих. Один решился ехать под пули, другой воротился. Но я не нашел генерала там, где его оставил. Казак указал мне на деревню пикою, проговоря: «Он там ожидает вас». Мы прилетели. Раевский сходил с лошади, окруженный двумя или тремя офицерами. Помнится, Давыдовым и Медемом, храбрейшими и лучшими из товарищей. На лице его видна бледность и страдание, но беспокойство не о себе, о гренадерах. Он все поглядывал за воро-

ты на огни неприятельские и наши. Мы раздели его. Сняли плащ, мундир, фуфайку, рубашку — пуля раздробила кость грудную, но выпала сама собою. Мы суетились, как обыкновенно водится при таких случаях. Кровь меня пугала, ибо место было весьма важно: я сказал это на ухо хирургу. «Ничего, ничего», — отвечал Р (аевский) (который, несмотря на свою глухоту, вслушался в разговор наш) и потом, оборотясь ко мне: «Чего бояться, г (осподин) Поэт (он так называл меня в шутку, когда был весел):

Je n'ai plus rien du sang qui m'a donné la vie.  
Il a dans les combats coulé pour la patrie\*.

И это он сказал с необыкновенною живостью. Издранная его рубашка, ручьи крови, лекарь, перевязывающий рану, офицеры, которые суетились вокруг тяжело раненного генерала — лучшего, может быть, из всей армии — беспрестанная пальба и дым орудий, важность минуты! одним словом, все обстоятельство придавали интерес этим стихам. Вот анекдот. Он стоит тяжело прозы «Северной почты»: «Ребята, вперед» и проч. За истину его я ручаюсь. Я был свидетелем, Давыдов, Медем и лекарь Витгенштейновой главной квартиры.

Он тем более важен, сей анекдот, что про Раевск (ого) набрать не много. Он молчалив, скромн отчасти, скрыт, недоверчив, знает людей, не уважает ими. Он, одним словом, во всем контраст Милорадовичу и, кажется, находит удовольствие не походить на него ни в чем. У него есть большие слабости и великие военные качества. С лишком одиннадцать месяцев я был при нем неотлучен. Спал и ел при нем: я его знаю совершенно, более, нежели он меня. И здесь, про себя, с удовольствием отдаю ему справедливость, не угождением, не признательностию исторгнутую. Раевский славный воин и иногда хороший человек — иногда очень странный.

Вот что я намарал не херя. Слава богу! Часок пролетел так, что я его и не заметил. Я могу писать скоро, без поправок и буду писать все, что придет на ум, пока лень не выдернет пера из руки.

8 мая. Я предполагал — случилось иначе — что нынешнею весною могу предпринять путешествие для моего здоровья по России. В половине апреля быть в Москве. Закупить все нужное, книги, вещи, экипаж. Провести три недели посреди шума городского. Посоветоваться с лекарями, и в первых числах мая отправиться на Кавказ. Пробыть там два курса, а на осень в Тавриду. Конец сентября, октябрь и ноябрь весь пробыть на берегах Черного моря, в счастливейшей стране, и потом через Киев, к

\* У меня нет больше крови, которая дала мне жизнь.  
Она в сраженьях пролита за родину» (франц.).

Новому году воротиться в Москву.— Но ветры унесли мои желания!

В молодости мы полагаем, что люди или добры, или злы: они белы или черны. Вступая в средние лета, открываем людей ни совершенно черных, ни совершенно белых; Монтань бы сказал: серых. Но зато истинная опытность должна научать снисхождению, без которого нет ни одной общественной добродетели: надобно жить с серыми или жить в Диогеновой бочке.

Для того, чтобы писать хорошо в стихах — в каком бы то ни было роде, — писать разнообразно, слогом сильным и приятным, с мыслями незаемными, с чувствами, — надобно много писать прозою, но не для публики, а записывать просто для себя. Я часто испытывал на себе, что этот способ мне удавался: рано или поздно писанное в прозе пригодится. — «Она питательница стиха», — сказал Альфьери, если память мне не изменила. Кстати, о памяти, моя так упряма, своенравна, что я прихожу часто в отчаяние. Учю наизусть стихи и ничего затвердить не мог: одни итальянские врезаются в моей памяти. Отчего? Не оттого ли, что они угождают слуху более других?

Я прежде мало писал от лени, теперь от болезни, и мир ушам!

Сен-Ламбер советует экзаменовать себя по истечении некоторого времени: прекрасный способ. Лучшее средство уничтожить некоторую часть своего самолюбия. Самый ученейший человек без книг, без пособий знает мало и не твердо. Знание профессоров науки есть знание или *искусство* пользоваться чужими сведениями.

В прекрасных садах Швенцина и потом, в трактире местном, я видел в первый раз Ланского и Ушакова. Генералы оба, и оба убиты в 1814-м, под Лаоном, если не ошибаюсь. Блюхера видел в первый раз во Франкфурте-на-Майне, потом в сражении под Бриенном. Клейста в Богемии и под Лейпцигом часто. Цитена в Ноллендорфе часто. Шварценберга — везде. Славного Воронцова я видел в окрестностях Парижа.

«Быть весьма умным, весьма сведущим — не в нашей состоит воле; быть же героем в деле зависит от каждого. Кто же не захочет быть героем?» — Так говорит Воронцов в приказе 12-й дивизии 1815 (г). Но я здесь в тишине думаю, и, конечно, не ошибаюсь, что эти слова можно приложить и к дарованию; вот как: не в нашей воле иметь дарования, часто не в нашей воле развить и те, которые нам дала природа, но быть честным в нашей воле: ergo!\* Но быть добрым в нашей воле, ergo! Но быть снисходительным, великодушным, постоянным в нашей воле. Ergo!

Карамзин мне говорил однажды: «Человек создан трудиться, работать и наслаждаться. Он всех тварей живущее, он все пере-

---

\* Следовательно (лат.).

нести может. Для него нет совершенного лишения, совершенного бедствия — я, по крайней мере, не знаю — кроме *бесславия*», — прибавил он, подумав немного.

Может быть, лучший признак мудрости есть кротость, *«тихий нрав в крови»*, как говорит Державин.

Слава богу, еще можно жить и наслаждаться жизнью: прогулка в поле не скучна; это я сегодня с радостью испытал.

С какой стороны ни рассматривай человека и себя в обществе, найдешь, что снисхождение должно быть первою добродетелию. Снисхождение в речах, в поступках, в мыслях: оно-то дает эту прелесть доброты, которая едва ли не любезнее всего на свете. Наморщить лоб и взять Ювеналову дубину не так-то трудно. Но шутить с жизнью, как Гораций, — вот истинный камень философии. Снисхождение должно иметь границы. Брань пороку, прощение слабости. Рассудок отличит порок от слабости. Надобно быть снисходительным и к себе: сделал дурно сегодня — не унывай: теперь упал — завтра встанешь. Не валяйся только в грязи. Мемнон хотел быть совершенно добродетельным и очутился без глаза. Александр убил Клита и загладил преступление свое великими делами. Несчастия, болезни часто лишают нас снисхождения или благоволения, но должно стараться вырвать их из рук несчастия и вечно таить в сердце.

.....

В 1814 <г.>, в бытность мою в Париже, я жил у Д<амаса> и сделался болен. Послал в ближайшую биб<лиотеку> за книгами. Приносят «Paul et Virginie»\*, которую я читал уже несколько раз, читал и заливался слезами, и какие слезы! Самые приятнейшие, чистейшие! После шума военного, после ядер и грома, после страшного зрелища разрушения и, наконец, после всей роскоши и прелести нового Вавилона, которые я успел уже вкусить до пресыщения, чтение этой книги облегчило мое сердце и примирило с миром. Автор оной, Bernardin de St.-Pierre, умер незадолго перед нами. Он много странствовал, служил в России офицером и, видно, был несчастлив. Мечтатель, подобный Руссо. Его философия — бред, в котором сияет воображение и всегда видно доброе и чувствительное сердце.

Выслушайте меня, бога ради. Я намекну вам только, каким образом можно составить книгу приятную и полезную. Удивляюсь, что ни один из наших литераторов не принялся за подобный труд. Вот план en grand\*\*.

Говорить об одной русской словесности, не начиная с Ледяных

---

\* «Поля и Виргинию» (франц.).

\*\* В целом (франц.).

яиц, не излагая новых теорий: но говорить просто, как можно приятнее и яснее для людей светских; и предполагая, что читатели имеют обширные сведения в иностранной литературе, но своей собственной не знают, показать им ее рождение, ход, сходство и разницу ее от других литератур, все эпохи ее и, наконец, довести до времен наших.

Дайте форму, какую вздумается. Но вот изложение материй.

1. О славенском языке. Опять не начинать от Сима, Хама и Афета! А с Библии, которую мы, по привычке, зовем славенскою. О русском языке.

2. О языке во времена некоторых князей и царей. Влияние (пагубное) татар.

3. О языке во времена Петра I. Проповедники. Переводы иностранных книг по именному указу.

4. Тредьяковский и его товарищи. Путешественники и ученые.

5 и 6. Кантемир. Статья интересная. Академия наук. Ученые иностранцы. Борьба старых нравов с новыми, старого языка с новым. Влияние искусств, наук, роскоши, двора и женщин на язык и литера(туру).

7. *Ломоносов\**.

8. Сумароков.

9. Современные им писатели.

10. *Фонвизин*. Образование прозы.

11. Болтин, Елагин, историки. Переводчики.

12. Обзорение журналов. Влияние их. Участие Екатерины в издании «Собеседника». Придворный театр. Господствование французской словесности и вольтерианизм. Желание имп(ератрицы) воскресить старинный язык русской. Несообразности.

13. Петров, Майков.

14. *Державин*: «Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный».

15. Подражатели его. Взгляд на словесность вообще. Успехи. Недостатки.

16. *Богданович*. Влияние его.

17. *Херасков*. Проза его и стихи.

18. *Карамзин*. Ход его. Влияние на язык вообще.

19. *Дмитриев*. Характер его дарования, красивость и точность. Он то же делает у нас, что Буало или Попе у себя.

20. Подражатели их.

21. Княжнин. Взгляд на театр вообще. Княжнина комедия и трагедия. Может быть, климат и конституция не позволяют нам иметь своего, национального театра.

---

\* Рядом с именем Ломоносова изображено солнце в лучах.

22. *Озеров*.

23. Хемницер. Крылов. Жуковский.

24. *Муравьев*. Книги его изданы недавно. Он первой говорил о морали. Он выше своего времени и духом, и сведениями.

25. Бобров. Мерзляков. Востоков. Воейков. Переводы Кострова и Гнедича. Пушкин. Вяземский. Сумароков Панкратий. Нелединский. Взгляд на издание Жуковского и потом Кавелина. Замечание на письма И. М. (Муравьева-Апостола) из Нижнего.

26. *Шишков*. Его мнения. Он прав, он виноват. Его противники: Макаров, Дашков, Никольской.

27. Обзорение словесности с тех пор, как Карамзин оставил «Вестник». Труды Каченовского.

28. Статьи интересные о некоторых писателях, как-то: Радищев, Пнин. Беницки (й). Колычев.

Словесность надлежит разделить на эпохи.

I. Ломоносова.

II. Фонвизина.

III. Державина.

IV. Карамзина.

V. До времен наших.

Сии эпохи должны быть ясными точками. Потом: не должно из виду упускать действие иностранных языков на наш язык. Переводы ученых с греческого и латинского. Что заняли мы у французов, и какое действие имели переводы романов Вольтера и проч.

Новикова труды. Влияние новорожденной немецкой словесности и отчасти английской. В чем мы успели? Почему лирический род процветал и должен погаснуть? Что всего свойственнее русским? Богатство и бедность языка. Может ли процветать язык без философии и почему может, но не долго? Влияние церковного языка на гражданской и гражданского на духовное красноречие. Все сии вопросы требуют ясного разрешения и должны быть размещены по приличным местам.

Должно представить картину нравов при Петре, Елисавете и Екатерине: до Ломоносова, при нем, при Державине, при Карамзине. Пустословить на кафедре по следам Батте и Буттервека легко; но какая польза? Здесь надобно говорить дело просто, свободно, приятно.

---

### *Мысли о литературе*

«*Tout vouloir est d'un fou*»\*, — сказал Вольтер, который сам погрешил, желая успеть во всех родах словесности: границы

---

\* «Всего желать свойственно безумцу» (*франц.*).

есть уму, и даже величайшему. Может ли один человек написать басни Лафонтеновы, Шекспирова «Отелло», Мольерова «Мизантропа» и Д'Аламбертово «Предисловие к Энциклопедии»? Нет, конечно. Зачем же Вольтер... но бог с ним!

Не надобно любителю изящного отставать от словесности. Те, которые не читали Виланда, Гете, Шиллера, Миллера и даже Канта, похожи на деревенских старух, которые не знают, что мы взяли Париж и что Москва сожжена — до сих пор сомневаются. Но не надобно вдаваться в другую крайность. Не надобно беспрестанно слоняться из одной литерат(уры) в другую или заниматься одною древностию. И те, и другие *шалеют*, как говорит мой чистосердечный Кантемир о сытом и моте. Есть середина.

Какая пучина! Англичане, немцы, итальянцы, португальцы, гишпанцы, французы, восточные полуденные народы, и вечные древние! Кто обнимет все творения ума человеческого! и зачем? Крылов ничего не читает, кроме «Всемирного путешественника», расходной книги и календаря, а его будут читать и внуки наши. Талант нелюбопытен — ум жаден к новости: но что в уме без таланта, скажите, бога ради! И талант есть ум — правда! Но ум сосредоточенный.

Каждый язык имеет свое словотечение, свою гармонию. И странно бы было русскому, или итальянцу, или англичанину писать для французского уха, и наоборот. Гармония, мужественная гармония, не всегда прибегает к плавности. Я не знаю плавнее этих стихов:

На светло-голубом эфире  
Златая плавала луна

*и пр.*

И оды «Соловей» Державина. Но какая гармония в «Водопаде» и в «Оде на смерть Мещерского»: «Глагол времен, металла звон!»

Данте — великий поэт: он говорит памяти, уху, глазам, рассудку, воображению, сердцу. Есть писатели, у которых слог темен; у иных мутен. Мутен, когда слова не на месте, темен, когда слова не выражают мысли или мысли не ясны от недостатка точности и натуральной логики. Можно быть глубокомысленным и не темным, и должно быть ясным, всегда ясным для людей образованных и для великих душ.

Ученость сушит ум, рассеяние — сердце.

Театральные издержки в Греции были столь высоки, что представление одной трагедии Софокла и Эврипида стоило государству более, нежели война с персами, говорит Плутарх. Мы платим актерам по двести, по триста рублей; лучшему тысячи две в год. Наши декорации не стоят ничего. Зато... у нас и трагики. и комики, и зрители!

Недавно я имел случай познакомиться с странным человеком, *каких много!* Вот некоторые черты его характера и жизни.

Ему около тридцати лет. Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя; посмотришь завтра — ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инока. Лицо у него точно доброе, как сердце, но столь же непостоянно. Он тонок, сух, бледен, как полотно. Он перенес три войны и на биваках был здоров, в покое — умирал. В походе он никогда не унывал и всегда готов был жертвовать жизнью с чудесною беспечною, которой сам удивлялся; в мире для него все тягостно, и малейшая обязанность, какого бы рода ни было, есть свинцовое бремя. Когда долг призывает к чему-нибудь, он исполняет великодушно, точно так, как в болезни принимает ремень, не поморщившись. Но что в этом хорошего? К чему служит это? Он мало вещей или обязанностей считает за долг, ибо его маленькая голова любит философствовать, но так криво, так косо, что это вредит ему беспрепятственно. Он служил в военной службе и в гражданской: в первой очень усердно и очень неудачно; во второй — удачно и очень неусердно. Обе службы ему надоели, ибо, поистине, он не охотник до чинов и крестов. А плакал, когда его обошли чином и не дали креста! Как растолкуют это? Он вспыльчив, как собака, и кроток, как овечка.

В нем два человека. Один добр, прост, весел, услужлив, богобоязлив, откровенен до излишества, щедр, трезв, мил. Другой человек — не думайте, чтобы я увеличивал его дурные качества, право нет — и вы увидите сами, почему, — другой человек — злой, коварный, завистливый, жадный, иногда корыстолюбивый, но редко; мрачный, угрюмый, прихотливый, недовольный, мстительный, лукавый, сластолюбивый до излишества, непостоянный в любви и честолюбивый во всех родах честолюбия. Этот человек, то есть черный — прямой урод. Оба человека живут в одном теле. Как это? Не знаю; знаю только, что у нашего чудака профиль дурного человека, а посмотришь в глаза, так найдешь добро: надобно только смотреть пристально и долго. За это единственно я люблю его! Горе, кто знает его с профили! Послушайте далее: он имеет некоторые таланты и не имеет никакого. Ни в чем не успел, а пишет очень часто. Ум его очень длинен и очень узок. Терпение его, от болезни ли или от другой причины, очень слабо; внимание рассеянно, память вялая и притуплена чтением: посудите сами, как успеть ему в чем-нибудь?

В обществе он иногда очень мил, иногда очень нравился каким-то особенным манером, тогда как приносили в него доброму сердеч-



ную, беспечность и снисходительность к людям. Но как стали приносить самолюбие, уважение к себе, упрямство в душу усталую, то все увидели в нем человека моего с *профили*. Он иногда удивительно красноречив: умеет войти, сказать — иногда туп, косноязычен, застенчив. Он жил в аде — он был на Олимпе. Это приметно в нем. Он благословен, он проклят каким-то гением. Три дни думает о добре, желает делать доброе дело — вдруг неостанет терпения — на четвертый он делается зол, неблагодарен; тогда не смотрите на профиль его! Он умеет говорить очень колко; пишет иногда очень остро насчет ближнего. Но тот человек, т<о> е<сть> доброй, любит людей и горестно плачет над эпиграммами черного человека. Белый человек спасает черного слезами перед творцом, слезами живого раскаяния и добрыми поступками перед людьми. Дурной человек все портит и всему мешает: он надменнее сатаны, а белый не уступает в доброте ангелу-хранителю. Каким странным образом здесь два составляют одно? Зло так тесно связано с добром и отличено столь резкими чертами? Откуда этот человек, или эти человеки, белый и черный, составляющие нашего знакома? Но продолжим его изображение.

Он — который из них, белый или черный? — он или они оба любят славу. Черный все любит, даже готов стать на колени и Христа ради просить, чтобы его похвалили, так он суетен — другой, напротив того, любит славу, как любил ее Ломоносов, и удивляется черному нахалу. У белого совесть чувствительна, у другого медный лоб. Белый обожает друзей и готов для них в огонь — черный не даст и ногтей обстричь для дружества, так он любит себя пламенно. Но в дружестве, когда дело идет о дружестве, черному нет места: белый на страже! В любви... но не кончим изображения, оно и гнусно, и прелестно! Все, что ни скажешь хорошего на счет белого, черный припишет себе. Заклучим: эти два человека, или сей один человек, живет теперь в деревне и пишет свой портрет пером по бумаге. Пожелаем ему доброго аппетита, он идет обедать.

Это я! Догадались ли теперь?

.....

Сен-Ламбер (или Ларошефуко) решительно сказал, что мы вылечиваемся от всех недостатков, если имеем на то добрую волю; но слабость характера — неизлечима. Полно, верить ли этому? *Внимание* есть удивительный рычаг в морали. Оно делает чудеса. Внимание может даровать некоторое последование, некоторый порядок в поступках наших, некоторое равновесие мыслям и делам, и мы уже вылечены от половины слабости. Часто лучшие свойства сердца называются *слабостию* людьми непрозорливыми. С первого взгляду Сократ казался слабым человеком. Его Ксанטיפпа делала из него что хотела и проливала

на его священную голову помои из окна своего. «*После бури бывает дождь*», — повторял мудрец, отряхая с себя воду. Но какую надобно иметь твердость души, чтобы сказать сии слова без гнева, с кротостию и с этою ирониею, исполненною человеколюбия, с этою усмешкою, которой Сократ дал имя свое! От слабого человека требуется вдвое добродетели. Ибо, как говорит седой Державин: «Как бедный часовой тот жалок, который вечно на часах!» Слабому человеку необходимо надобно держать в узде не только порочные страсти, но даже самые благороднейшие. Один поступок твердости дает силу чинить другой подобный. Ничто не дает такой силы уму, сердцу, душе, как беспрестанная честность. Честность есть прямая линия: она ближе к истине, нежели кривые. Как легко развратиться в обществе, но зато какая честь выдержать все его отравы и прелести, не покидая копья! Великая душа находит, отверзает себе повсюду славное и в безвестности поприще: нет такого места, где бы не можно было воевать с собою и одерживать победы над самим собою. Повинуемся судьбе не слепой, а зрячей, ибо она есть не что иное, как воля творца нашего. Он простит слабость нашу: в нем сила наша, а не в самом человеке, как говорят стоики.

.....

В армии встречаешь много карикатур, но подобной Кроссару не всякому удастся встретить.

Мы дрались под Гайерсбергом, в горах у Теплица. Раевский стоял в дефилее — пули свистали. Является к нам офицер в свитском мундире, весь в крестах, и в петлице Мария-Терезия. Конь его в поту, у него самого пена у рта, и пот с него градом сыплется, глаза горят, как угли, и толстая нагайка гуляет беспрестанно с правого плеча на левое. «*Bonjour, mon général!*» — «*Ah, bonjour, Crossard!*»\* И слово за слово, вижу — мой Кроссар вынимает толстую тетрадь: отгадайте, что? План будущей кампании, проект, бред, одним словом. Он хочет читать ее, толковать — где? Под пулями, в горячем деле. Раевский оттолкнул его и отворотился. Но Кроссар любил Раевского, как любовник. Где генерал дерется, там и Кроссар с нагайкой и советами. Под Лейпцигом он нас не покидал. Дело было ужасное, и Кроссар утопал в удовольствии. Он вертелся, как белка на колесе, около генерала. Лошадь его упрямылась. Подъезжает ко мне: «*Samagade, rendez-moi un service éclatant!*»\*\* — «Что вам угодно?» — «*Rossez mon cheval, je vous prie. La! Bon! Encore un coup, mais frappes fort!*»\*\*\* Я и товарищи секли его лошадь без жалости

\* «Здравствуйте, мой генерал!» — «А, привет, Кроссар!» (франц.)

\*\* «Товарищ, окажите мне услугу!» (франц.)

\*\*\* «Ударьте мою лошадь, прошу вас. Так! Хорошо! Еще разок, ну посильней!» (франц.)

под пулями и картечью; всадник на ней прыгал беспрестанно, в пыли, в поту, в треугольной шляпе оборванной и красный как рак. Он, австриец, в 1812 году перебежал к нам. Он бросил перчатку Наполеону. Он дышит только в войне, любовник пламенный пуль и выстрелов.

.....

### *Мои*

Читаю Сенеку. Он очень остроумно называет Эпикура, проповедующего науку сладострастия, мужчиною в женском платье. Не можно ли сказать то же о Сенеке, угоднике Нерона, но наоборот? Впрочем, читая его письма, можно с ним примириться; можно решительно сказать, что он имел великую, прекрасную душу и ум необыкновенно пронизательный. Он обнимал все сведения современников, и книга его, как история ума человеческого во времена Нерона, весьма интересна. Он удивительный мастер заострить мысль самую обыкновенную и в этом похож более на новейшего писателя, нежели на древнего. Я и в переводах вижу, что Цицерон никогда не прибегал к сим побочным средствам: как же разница меж ним и Сенекою должна быть чувствительна для тех, которые имеют счастье читать в подлиннике обоих авторов!

.....

У Гнедича есть прекрасное и самое редкое качество: он с ребяческим простодушием любит искать красоты в том, что читает; это самый лучший способ с пользою читать, обогащать себя, наслаждаться. Он мало читает, но хорошо. И горе тому, кто раскрывает книгу с тем, чтобы хватать погрешности, прятать их и при случае закричать: «Поймал! Смотрите! Какова глупость!» Простодушие и снисхождение есть признак головы, образованной для искусств. И впрямь, мало таких произведений пера, живописи, искусств вообще, в которых бы ничего занять было невозможно: иногда погрешности самые наставительны. С одной стороны, и ученик опрокинет одним махом руки все здания Шекспира и Державина; с другой стороны, основания их вечны. Станем наслаждаться прекрасным, более хвалить и менее осуждать! Слова Спасителя о нищих духом, наследующих царством небесным, можно применить и к области словесности.

Вспоминаю: Дмитриев рассказывал мне следующий анекдот о Державине, который очень любопытен для наблюдателя. Когда вышел «Анахарсис» Бартеlemi, то Державин просил неотступно Дмитриева и Петрова (агатон Карамзина) достать ему эту книгу. Промыслили немецкий перевод. Державин продержал день, два, три, неделю и более. «Прочитали ли вы?» — «Нет еще». При-

ходят через месяц, требуют книгу. «Возьмите, вот она!» И впрямь, она лежала на столе, но вся в пыли, в пудре. «Как понравился вам «Анахарсис»? Я чаю, вы в восхищении», — спрашивали Дмитриев и Петров. «Я, виноват, не прочитал ее. Начал и не мог кончить... от скуки». У друзей опустили руки. Они поглядывали друг на друга и не знали, верить ли ушам своим. Но вот что всего удивительнее. Державина зовут на обед — не едет; на ужин, на бал — не поспел и отговорился болезнью. Дмитриев, приглашенный в те же самые дома, узнает о болезни Г〈аврилы〉 Р〈омановича〉 и спешит навестить его, и застает растрепанного, в шлафроке, с книгою в руках. «Вы нездоровы?» — «Нет, — отвечал стихотворец, рассмеявшись, — я заленился, и эта книжка меня удержала дома; не мог расстаться с нею!» Отгадайте, какая это была книга? Ну, Пиндар! Анакреонт! или проповедь Платонова, или что-нибудь о политике? Совсем не то. Сокольникович устав, при царе Алексее Михайловиче изданный.

После того позволено сказать: что может быть страннее и упрямее головы великого человека! Этот анекдот меня поразил и пленил, рассказанный Дмитриевым, который говорит, как пишет, и пишет так же сладостно, остро и красноречиво, как говорит.

В мире надобно стяхнуть с себя прах воинский у алтаря муз и пожертвовать грациям.

Все почти без исключения, все гишпанские стихотворцы были воины, и что всего удивительнее, посреди варварской войны Карла V, посреди опустошений, пожаров Европы и костров инквизиции они воспевали... эклоги. Нежные мысли, страстные мечтания и любовь как-то сливаются очень натурально с шумною, мятежною, деятельною жизнью воина. Гораций бросил щит свой при Филиппах. Тибулл был воин. Парни служил адъютантом.

Сервантес потерял руку при Лепанте.

.....

Еще одна странность Державина. Когда появились его оды, то появились и критики. Чем более хвалителей, тем более и врагов; это дело обыкновенное! Между прочими г. Неп〈люев〉 отзывался о Державине с презрением, не только отрицал ему в таланте, но утверждал решительно, что Державин (которого он лично не знал) должен быть величайший невежда, человек тупой и тому подобное. Пересказывают Державину: он вспыхнул. На другой день поэт отправляется к г. Неп〈люеву〉. «Не удивляйтесь, что меня видите. Вы меня бранили как поэта; прошу вас, познакомьтесь со мною, может быть, найдете во мне хорошую сторону, найдете, что я не так глуп, не такой невежда, как полагаете; может быть, смею ласкать себя надеждою, и полюбите меня». — Представьте себе удивление хозяина! Он и жена приглашают Гавр〈илу〉 Ром〈ано-

веча) обедать, потчивают, угощают, не знают, что сказать ему, где посадить его. Державин продолжает ездить в дом и остается навсегда знакомым, даже приятелем.

Я принят в общество любителей словесности *Московское*.  
1817 — весной.

Того же года — в *Казанское*.

В «Арзамас» — 1816, под именем Ахилла, сына Пелеева.

## ИЗ ПИСЕМ

### 1. Н. И. Гнедичу

2 марта 1807 г. Нарва

〈...〉 Не забывай, брат, меня; хоть строку напиши в Ригу. Я здоров как корова. Я чай, твой Ахиллес пьяный столько вина и водки не пивал, как я походом. Пиши ко мне хоть в стихах; музы меня совсем оставили за Красным Кабаком. Дай хоть в Риге услышать отголосок твоего песнопения.

Ужели слышать все докучный барабан?  
Пусть дружество еще, проникнув тихим гласом,  
Хотя на час один соединит с Парнасом  
Того, кто невзначай Ареев вздел кафтан  
И с клячей величавой  
Пустился кое-как за славой.

Вот тебе impromptu\*. Лучше не умею и не хочу.〈...〉

### 2. Н. А. Оленину

11 мая 1807 года. Шавли

〈...〉 Поклонитесь барыне и всему вашему семейству, Озерову, Капнисту, Крылову, Шаховскому. Напомните, что есть же один поэт,

которого судьбы премены  
Заставили забыть источник Ипокрены,  
Не лиру в руки брать, но саблю и ружье,  
Не перушки чинить, но чистить лишь копье;  
Заставили принять солдатский вид суровой,  
Идти нахмурившись прескучною дорогой,  
Дорогой, где язык похож на крик зверей,  
Дорогой грязною, что к горести моей  
Не приведет меня во храм бессмертны славы,  
А может быть, в корчму, стоящу близ ворот. 〈...〉

### 3. Н. И. Гнедичу

12 июля [1807]

〈...〉 Что твой Омир? Неужели ты его бросил? Это стыдно. Пришли мне хоть одну рифму из твоего перевода. Утешь меня,

\* Экспромт (лат.),

пришли Капнистовы сочинения или что-нибудь новое: меня, как ребенка, утешись. Я по возвращении моем стану тебе рассказывать мои похождения, как Одиссей. Закурим трубки, да ну — лепетать тихонько у огня. Дела протекших лет, воскресните в моей памяти! И сладостные речи потекут из уст моих... Не правда ли, послушай, мой друг, мечтать всякому позволено? Поедем ко мне в деревню и заживем там. Если бог исполнит живейшее желание моего сердца, то я с тобою проведу несколько месяцев в гостеприимной тени отеческого крова. Если же и нет, то буди его святая воля. Помнишь ли того, между прочим, гвардейского офицера, которого мы видели в ресторации, молодца? Он убит. Вот участь наша. Мы также потеряли в нашем батальоне двух самых лучших офицеров. Ничто так не заставляет размышлять, как частые посещения госпожи смерти. Ваши братья стихотворцы пусть венчают ее розами; право, она для тех, которые переживают, не забавна. Напиши мне кстати, говоря о смерти, что делается на бульварах, в саду и проч. Я получил от Катерины Федоровны письмо. Дядюшка очень, видно, был болен, желает меня видеть. Дай бог, чтоб был жив. Редкий человек! Ты не знаешь ему цены. Напиши мне, каков он? <...>

#### 4. Н. И. Гнедичу

24 июня 1808

<...> Поговорим немного о Тассе. Мне о нем и болтать приятно. Я потерял 1-й том и для того прошу тебя сделать дружбу, купить мне простую «Эдицию Иерусалима» с италиянским текстом и прислать не замедля. Я хочу в нем только упражняться. Мерзляков не перевел ли уже без меня? И не лучше ли моего? Это меня мучит. Пришли посвящение мое Олен<ину> с поправками твоими. Это докажет, что ты и в отсутствии меня не забываешь. Пришли, бога ради, своего Гомера, хоть начерно; я здесь сам перепису. Это будет истинное одолжение. Надеюсь, что ты не отговоришься жертвовать музой своей дружбе. Да еще «Поликсену», если можешь, и «Трумфа». Праздник будет для меня получение сего. <...>

#### 5. Н. И. Гнедичу

[3 мая 1809]

<...> Я был вне себя от радости, как получил письмо твое, любезный Николай. Я знал, я предчувствовал, что «Танкред»

будет хорошо принят, но меня еще более радует, отгадай что? Твоя радость. По крайней мере, ты несколько минут был в восхищении; я это вижу по твоему письму. Пиши мне пространнее обо всем: как играли, что говорят седые *цензоры* и весь ареопаг, и вся сволочь, и шмели, и трутни, и змеи, и гарпии, и все, что говорит и судит своим и чужим умом, и все, как говорит Мольер,

Figures de savant sur les bancs du théâtre\*.

Смешные судьи! Скажи еще, не видал ли, не заметил ли там в тени, где нет ни луча солнечного, ни даже восковой доски, несчастных освистанных авторов, которые с скрежетом тебе прошептали: божественно! Не видал ли адских богинь, которые живут не в водах Флегетона, но в театральном коридоре, вопреки Вольтеру и его «Генриаде» <...>

Видал, видал, видал! Я рад, что хорошо сыграна, и думаю, что ты недаром потерял свое время. Уведомь меня, что ты за нее получишь. Я надеюсь, что фортуна не отворотит от тебя своего лица, вылитого из золота, и не покажет тебе своей чугунной задницы. Я желаю тебе все, что дружба пожелать может. <...>

6. Н. И. Гнедичу

4 августа 1809 г.

Я не писал к тебе, друг мой, и мог ли писать? Сделался так болен, что хоть брось. Здесь все благополучно. Где ты проживаешь, друг мой? Радищев пишет, что на дачу переезжаешь. Приезжай лучше сюда; решишь, и дело в шляпе.

Тебя и нимфы ждут, объятья простирая,  
И фавны дикие, кроталами играя.  
Придешь, и все к тебе на встречу прибегут  
Из древ гамадриады,  
Из рек обмытые наяды,  
И даже сельский поп, сатир и пьяный плут.

А если не будешь, то все переменит вид, все заплачет, зарыдает:

Цветы завянут все, завоют рощи дики,  
Слезами потекут кристальны ручейки,  
И, резко испустив в болоте ближнем крики,  
Прочь крылья наострят носасты кулики,  
Печальны чибисы, умильны перепелки.  
Не станут пастухи играть в свои свирелки,  
Любовь и дружество, погибнет все с тоски!

Вот тебе два мадригала, а приедешь — и целая поэма.<...>

---

\* Лицо ученого — на театральной скамье (*франц.*).



19 августа 1809 г.

⟨...⟩ Из твоего письма вижу, что обитаешь на даче, в жилище сирен. Мужайся, Улисс! Здесь же ни одной сирены, а спутников итакского мужа, который десять лет плыл из Малой Азии на каменный и бедный остров, очень много. Как минута может переменить предметы! Я отворил окно и вижу: нимфа Ио ходит, голубушка, и мычит бог весть о чем; две Леды кричат немилосердно. Да, посмотри... там в тени — право, стыдно!.. бараны, может быть, из стада царя Адмета...

Накинем занавесь целомудрия на сии сладостные сцены, как говорит Николай Михайлович Карамзин в «Наталье». Пожалуйста, пришли мне стихов из Петербурга, а я тебе пришлю перчаток замшевых хоть дюжину.

Ты, может быть, забыл, что мне нужно рассеяние, и для того я все говорю о деле (дамский силлогизм). Вот тебе несколько *эпиграмм*; напечатай в «Цветнике», если он не завял совершенно. А они недурны. На будущей почте я пришлю тебе несколько *похвальных слов*, а именно вот каких: поэт Сидор, что написал «Потоп», а рыбы на кустах, ну, уж гений! А Кузьма, что сидит в креслах на Васильевском острову возле биржи, мастер писать! Хоть с виду и не хитер, а ума палата! Я уверен, что эпиграммы по тебе, а особливо «На женщин», «Вергилиев перевод» и «Журналиста». ⟨...⟩

Ты получил пенсион! Сердце у меня выскочить хотело от радости. Ты знаешь, что я вполнину чувствовать не умею. Письмо сие было запечатано, отослано, но опоздало на почту. Приносят письмо от Радищева, и я читаю, что ты получил пенсион. Да здравствует князь Гагарин! Я бы желал его знать покороче: он стоит того! Вытолкни его из круга нынешних господчиков: он, право, феномен!.. Ну, слава богу, ты имеешь кусок верного хлеба; великое дело! Жаль, что меня с тобою нет: я бы по-своему праздновал это *мое* благополучие. Я любил всегда Гомера, а теперь обожаю: он, кроме удовольствия неизъяснимого, делает добро человечеству. Да тень его потрясется на Олимпе от радости!

Играйте, о невкие музы,  
Играйте во свирели, флейдузы!—

скажу с Тредиаковским и обниму тебя от всего сердца, души и помышления. ⟨...⟩

[6 сентября 1809]

Я получил письмо твое от 23-го и радуюсь твоей радости, печалюсь твоей печали. Ты нажил завистников? Но должен ли я повторить прежние слова? «Коррадо» их не родит, а переводы «Илиады» и «Танкреда» имеют сильные требования на зависть и злобу. А пенсия? Брось печаль свою... Я желал бы, чтоб мне завидовали. К несчастью, есть люди, которые только жалеют об моих шалостях, может быть, из зависти. Я сам умею плечами пожимать и более кстати, нежели они. А язык мой, если начну разглагольствовать в жару страсти, вспомни, остер или нет? Но оставь гарпий... Пойдем к грациям, к Семеновой. Вот ей стихи. Если она скромна, как Корреджиева дева, то и тут не отказалась бы от этой похвалы. Все, что ты ни напишешь на этот случай, будет слишком обыкновенно. Я взял перо с удовольствием и в первый раз, может быть, с пользой и кстати, то есть для дружества. Можешь это напечатать, но где? Беницкого, которого втайне музы и три, четыре человека много жалеть будут, я думаю, не стало. Без него и «Цветник» так завял, как у меня в саду после осенних дождей китайский мак. Надеюсь, что Семенова поблагодарит хоть словом своей руки; я тем более на это имею права, что с ней незнаком. Ты теперь совершенно хочешь погрузиться в «Илиаду», как Ахиллес в реку забвения. И должен! Этого слова ни мой, ни твой желудок не варит. Однако ж, что тебя будет оживлять, окрылять поэтический дух, отгадай? Зависть, точно, она! Лучший способ ей мстить — молчать и делать.

Что творит Анна Петровна на даче? Спроси ее, где Ниловы: я к ним хочу писать послание. Где Капнист? Как к нему писать? Про Хераскова трагедию ты говоришь, что академия ее венчала. Она делает свое дело, то есть

*Triste amante des morts, elle hait les vivans\*.*

Какой ты чудак! Ни слова будто не мог сказать Измайлову либо сам сходить к Лесновскому за журналом? Не стыдно ли? Если б знал, что здесь время за вещь, что крылья его — свинцовые, что убить нечем? Уж я принужден читать пряники Долгорукова, за неимением лучшего. Пришли «Драматический вестник», но в полноте. Нет ли чего нового? Я весь италиянец, то есть перевожу Тасса в прозу. Хочу учиться и делаю исполинские успехи. Стихи свои переправил так, что самому любо. Право, лучший судья, после двух или трех лет, сам сочинитель, если он не заражен величайшим пороком и величайшей добродетелью — самолюбием.

\* Печальная любовница мертвых, она ненавидит живых (франц.).

Не издает ли кто ныне журналов? Что нового? Не похудел ли друг Радищев? Каково Яковлев играет? Какова погода? Продадут ли вареную кислоту с померанцовыми отрубями, осыпанную лавровым листом? Жив ли твой аппетит? Долго ли Мартынов исповедует и что спрашивает на духу? Какое обширное поле для эпиграмм! Не худо бы тебе прислать мне турецкого табаку: порадуй же меня и душу мою! Маленький Катенин что делает? Он с большим дарованием; где он? <...>

<...> Я читал все это время Княжнина сочинения. Сколько хорошего, сколько ума и соли! И какое холодное, мерзлое дарование! У меня есть сосед, который пишет, читает церковную под титлами и гражданскую печать, — не примут ли его в академию? Знаешь ли, какие этим членам надобны кресла? Стральники. О варвары, о Крашенинниковы, о Третьяковские! Эта академия не всегда была запакоцена; в ней были, сияли люди истинно с дарованиями.

Mais sans un Mécenas à quoi sert un Auguste?\*

Где Крылов? Что делает Шаховской и Жихарев? Полозов ко мне не пишет. Сочини из этого письма экстракт, да пришли его мне полюбоваться. Ни начала, ни конца! Жаль, не губи эпиграмм в «Цветнике»: они, право, не дурны. Да пришли мне «Цветник» ради бога. Что значит: *ex fulgore*?\*\* а на дворе стужа.

Италийский эпиграф очень приличен к Семеновой; это один из лучших стихов Тассовых (скажу мимоходом, что «Иерусалим» — сокровище: чем более читаешь, тем более новых красот, которые исчезают во всех переводах); он значит: в прекрасном теле прекраснейшая душа. Этот стих взят из «Энеиды», вот латинский:

Gratior et pulchro veniens in corpore virtus\*\*\*

Смиряться пред моею ученостью!

Право, мои стихи не дурны. Как понравятся, не знаю? <...>

9. Н. И. Гнедичу

19 сентября 1809 г.

<...> Я твоей загадки не понимаю, да и не силюсь понять. Ты хочешь заняться Гомером, и советую. Расстанься, удались от

\* Но без Мецената, чему же служит Август? (франц.).

\*\* из молнии (лат.).

\*\*\* В красивом теле охотнее поселяется добродетель (лат.).

писателей. Поверь мне, это нужно. Я знаю этих людей: они вблизи гораздо более завидуют. Хорошо с ними водиться тому, кто ищет одной известности, а не славы. Ты в первой не имеешь нужды, а последнюю ничем приобрести нельзя, как трудами. Позволишь ли дать совет? Перечитывая твой перевод, я более и более убеждаюсь в том, что излишний славянизм не нужен, а тебе будет и пагубен. Стихи твои, и это забывать тебе никогда не должно, будут читать женщины, а с ними худо говорить непонятным языком. Притом, кажется, что славянские слова и обороты вовсе не нужны в иных местах: ты сам это чувствовал. Но и здесь соблюсти середину — подвиг воистину трудный! Кто хочет писать, чтоб быть читанным, тот пиши внятно, как Капнист, вернейший образец в слог, я не говорю — переводчику «Илиады». Поверь мне, если б Костров жил в свете, то не осмелился бы написать *сице* для *колесницы*, а свет или еще значительнее слово — *urbanité\** — не последняя для тебя выгода; и я думаю, что вечер, проведенный у Самариной или с умными людьми, наставит более в искусстве писать, нежели чтение наших варваров. Я слог их сравниваю с рекой, в которую нельзя погрузиться, не омочив себя. Мне кажется, что гораздо полезнее чтение Библии, нежели всех наших академических сочинений, ибо в первой есть поэзия, а Кондиллак сказал: «On peut raisonner sans s'éclairer, mais on ne peut pas remuer mon âme d'une manière nouvelle ou agreable, qu'aussitôt je ne sente le beau»\*\*. Вот преимущество стихотворного языка. Я не знаю, поймешь ли меня, но мне кажется, что лучше прочесть страницу стихотворной прозы из «Марфы Посадницы», нежели Шишкова холодные творения.

Подумай, может быть, я сказал правду. Как мне Беницкого жаль! Я читал ныне «Умного и дурака» в «Талии». Он как предвидел конец свой. Все, что ни написано, сильно, даже ужасно, слишком сильно напитано желчью. Жив ли-то он?

Уведомь меня, как Семенова приняла речь мою за Архия? Я теперь перевожу от скуки Тибулла в стихи, Тасса в прозу и перемарываю старые грехи. Много прибавил, и что важнее — все переписал. Я бы послал тебе что-нибудь, но берегу до случая, когда могу все отправить вместе; хочу велеть переписать копии три. Если время будет, то пришлю и с этим письмом. В «Цветнике» и губить нечего. (...) Какая «Аглая» у Самариной? Не Шаликова ли журнала обесавшавшаяся муза? Англичанка не сделала ли развязку романа немного поспешно? Жаль, что я не успел для нее застрелиться холостым выстрелом. Напрасно говоришь, что я

\* учтивость (франц.).

\*\* Можно рассуждать о чем-то, не зная истины, но нельзя затронуть душу, удобным или приятным способом, особенно если не чувствуешь прекрасное (франц.).

пишу на какого-то издателя Лукницкого. Я этих ослов плетьюми сечь не хочу. <...>

10. Н. И. Гнедичу

[1 ноября 1809]

Г-жа Севинье, любезная, прекрасная Севинье говорит, что если б она прожила только двести лет, не более, то сделалась бы совершенною женщиною. Если я проживу еще десять лет, то сойду с ума. Право, жить скучно; ничто не утешает. Время летит то скоро, то тихо; зла более, нежели добра; глупости более, нежели ума; да что и в уме?.. В доме у меня так тихо; собака дремлет у ног моих, глядя на огонь в печке; сестра в других комнатах перечитывает, я думаю, старые письма... Я сто раз брал книгу, и книга падала из рук. Мне не грустно, не скучно, а чувствую что-то необыкновенное, какую-то душевную пустоту... Что делать? Разве поговорить с тобою?

Я подумал о том, что писал к тебе в последнем письме, и невольно засмеялся. Как иногда человек бывает глуп!

1-е дурачество: я сравнил себя с Дмитриевым, назначил себе место ступенью ниже его!.. Бога ради, не напечатать этого! Да и не читай никому!.. 2-е дурачество: говорил тебе о какой-то миссии... Не во сне ли я?.. Надеюсь, что ты это все прочитаешь хладнокровно, пожмешь плечами, положишь в ящик, замкнешь, и делу квит. Но кто, мой друг, всегда бывал в полном разуме! И что это разум? Что он такое? Не сын ли, не брат ли, лучше сказать, тела нашего? Право, что плели метафизики — похоже на паутину, где мы, бедные мухи, увязаем то ногой, то крылом, тогда как можем благополучно и мимо, то есть и не рассуждать об этом. Послушай Власьевны в «Сбитеньщике»:

«*Фадей*. Власьевна, отчего коли спишь, хотя глаза зажмурены, а видишь?

*Власьевна*. Это не видишь, а думаешь.

*Фадей*. А что такое думать?

*Власьевна*. Я и сама не знаю».

*Я и сам не знаю* — бесподобное слово! И впрямь, что мы знаем? Ничего. Вот как мысли мои улетают одна от другой. Говорил об одном, окончил другим. Немудрено, мой друг. В этой безмолвной тишине голова не голова. Однако ж обстоятельства не позволяют выехать. Я бы мог, правда, ехать, например, в Вологду, но что там делать? Здесь я, по крайней мере, наедине с сестрой Александрой (Варенька гостит у сестры), по крайней мере с книгами, в тихой приятной горнице, и я иногда весел, весел, как царь. Недавно читал Державина «Описание Потем-

кинского праздника». Тишина, безмолвие ночи, сильное устремление мыслей, пораженное воображение, все это произвело чудесное действие. Я вдруг увидел перед собою людей, толпу людей, свечки, апельсины, бриллианты, царицу, Потемкина, рыб, и бог знает чего не увидел: так был поражен мною прочитанным. Вне себя побежал к сестре... «Что с тобой?».. *Оно, Они!*.. «Перекрестись, голубчик!»... Тут-то я насилу опомнился. Но это описание сильно врезалось в мою память. Какие стихи! Прочитай, прочитай, бога ради, со вниманием: ничем, никогда я так поражен не был.

⟨...⟩ Крылов родился чудачком. Но этот человек загадка, и великая!.. Играть и не проигрываться, скупость уметь соединить с дарованиями и редкими, ибо если б он более трудился, более занимался... Но я боюсь рассуждать, чтоб опять не завратиться. Гоняются ли за тобой утренние шмели? Мне пришла чудная мысль. Если б, когда я у тебя жил, поутру пришел юноша к *Милому Генюю*, и тебя бы не было на ту пору дома, то я так бы отбрил голубчика... «Не вы ли тот великий дух, который сочинил эпитафию на смерть статского советника?» Я отвечаю: «Я»... — «Позвольте мне, пораженному явными чертами гения, простираться, если возможно, до вашей занимательности»... Я отвечаю все за тебя, как Скотинин на перекличке: «Я!» — «Вот, милостивый государь, моя трагедия... Кто более вашего, кто справедливее вас оценит слабый, мерцающий луч неопытного гения?» — «Я!» Тут он мне начинает читать; читает, а я зеваю. Наконец, есть всему конец, и трагедиям также: ты входишь... и я указываю на переводчика Гомера и «Танкреда».

Вот канва, по которой вышить можно что хочешь. Я не знаю, как у тебя достает терпения слушать этот весь вздор? Но не слушать — наживешь врагов таких, которые тебя свечой станут жечь... Кстати спрошу тебя: что Шаховской написал хорошего? Вот еще чудак не из последних. Как он меня выхвалял в глаза! Так что стыдно было за него. Как он меня, я чай, бранит за глаза! Так что стыдно за него. Честь Кодру-Жихареву! Не стыдно делаться Панаром-водевильщиком? В его лета, дворянину, с состоянием! Он точно с дарованиями: это меня бесит. Измайлов плетет, а не пишет. Без смака вовсе. Однако ж его проза вообще хороша и чиста. Что Беницкий? Продлите ему, боги, веку! Но он уже успел написать много хорошего...

Пусть мигом догорит  
Его блестящая лампада;  
В последний час его бессмертье озарит:  
Бессмертье — пылких душ надежда и награда!

Я еще могу писать стихи, пишу кое-как. Но к чести своей могу сказать, что пишу не иначе, как когда яд пса метромании подейст-

вует, а не во всякое время. Я болен этой болезнью, как Филоктет ранюю, то есть временем. Что у вас нового в Питере? Что делает Полозов? Он не пишет ни слова. Что Катенин нанизывает на конец строк? Я в его лета низал не рифмы, а что-то покрасивее, а ныне... пятьдесят мне било... а ныне, а ныне...

А ныне мне Эрот сказал:  
«Бедняга, много ты писал  
Без устали пером гусиным.  
Смотри, завяло как оно!  
Не долго притупить одно!  
Вот нá, пиши теперь *куриным*».

Пишу, да не пишет, а все гнется.

Красавиц я певал довольно  
И так, и сяк, на всякий лад,  
Да ныне что-то невпопад.  
Хочу запеть — ах, петь уж больно.  
«Что ты, голубчик, так охрип?»  
К гортани мой язык прилип.

Вот мой ответ. Можно ли так состареться в 22 года! Непозволительно!

Как тебе понравилось «Видение»? Можешь сжечь, если не годится. Этакие стихи слишком легко писать и чести большой не приносят. Иным больно досталось. Бобров, верно, тебя рассмешит. Он тут у места. Славенофила вычеркни, да и все, как говорю, можешь предать огню и мечу.

К кому здесь прибегнуть музе? Я с тех пор, как с тобою расстался, никому даже и полустушился, не только своего, но и чужого не прочитал. С какими людьми живу?..

Deux nobles campagnards, grands lecteurs de romans,  
Qui m'ont dit tout Cyrus dans leurs longs compliments...\*

Вот мои соседи! Прошу веселиться!

Нет, невозможно читать русской истории хладнокровно, то есть с рассуждением. Я сто раз принимался: все напрасно. Она делается интересною только со времен Петра Великого. Подивись, подивимся мелким людям, которые роются в этой пыли. Читай римскую, читай греческую историю, и сердце чувствует, и разум находит пищу. Читай историю средних веков, читай басни, ложь, невежество наших праотцев, читай набег полонцев, татар, литвы и проч., и если книга не выпадет из рук твоих, то я скажу: или ты великий, или мелкий человек. Нет середины! *Великий*, ибо

---

\* Два благородных провинциала, два читателя романов,  
Которые все твердили мне о Сириусе в своих длинных комплиментах...  
(франц.).

видишь, чувствуешь то, чего я не вижу; *мелкий*, ибо занимаешься пустяками. Жан-Жак говорит: «Car ne vous laissez pas éblouir par ceux qui disent, que l'histoire la plus intéressante pour chacun est celle ce son pays. Cela n'estx pas vrai. Il y a des pays dont l'histoire ne peut pas même être lue, à moins qu'on ne soit imbécile ou négociateur»\*. Какая истина! Да Писареву до этого дела нет. Он пишет себе, что такой-то царь, такой-то князь играл на *скомо-нех*, был лицом бел, сек рынду батогами и проч.! Есть ли тут малейшее дарование? Не труд ли это, достойный Третьяковского... и академии наградою?.. Притом от одного слова *русское*, некстати употребленного, у меня сердце не на месте... Скажу тебе еще, что я читал от великого досуга и метафизики. Многое не понял, а что понял, тем недоволен. Например, сочинитель «Системы природы» похож на живописца, который все краски смешал в одно и после, кажется, говорит: «Отличи, коль можешь, белое от черного, красное от синего?» Наука тщетная и пустая! Это Дедалов лабиринт, в котором быть надобно, но не иначе как с нитью, то есть с рассудком. Жаль, что эта нить тонка и гнила. Сей же самый сочинитель в конце книги, разрушив все, смешав все, призывает природу и делает ее всему *началом*. Итак, любезный друг, невозможно никому отвергнуть и не познать какое-либо начало; назови его, как хочешь, все одно; но оно существует, то есть существует бог. А от сего все заключить можно. Я знаю твои мысли, ты знаешь мои, и потому мимоходом это тебе сказал.

Не знаю, читаешь ли ты «Анахарсиса»? Божественная книга. Не выпускай ее из рук, ибо она не только быть может путеводителем к храму древности или изящного, но исполнена здравой философии.

У меня мало книг, потому-то я одну и ту же перечитываю много раз, потому-то, как скупой или любовник, говорю об них с удовольствием, зная, что тебе этим наскучить не можно.

Писарев еще написал что-то, именно «Правила для актеров». Я из рецензии вижу, что это вздор, даже в эпиграфе ошибка против языка, непростительная члену академии. Меня убивает самолюбие этих людей. Если б они хотя языком занимались, если б хотя умели ценить дарования чужие... Но что я говорю? На это надобен ум, а у них этого-то и недостает.

Еще два слова: любить отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество? Можно ли любить нравы, обычаи, от которых мы отдалены веками и, что еще более, целым веком просвещения? Зачем же эти усердные маратели

---

\* Не позволяйте себя одурачивать тем, кто говорит, что для каждого самой интересной является история его страны. Это неправда. Есть страны, история которых не может быть даже читаемой, если только читатель не глупец или не торгаш (*франц.*).



выхваляют все старое? Я умею разрешить эту задачу, знаю, что и ты умеешь, — итак, ни слова. Но поверь мне, что эти патриоты, жаркие декламаторы, не любят или не умеют любить русской земли. Имею право сказать это, и всякий пусть скажет, кто добровольно хотел принести жизнь на жертву отечеству... Да дело не о том: Глинка называет «Вестник» свой *Русским*, как будто пишет в Китае для миссионеров или пекинского архимандрита. Другие, а их тысячи, жужжат, нашептывают: русское, русское, русское... а я потерял вовсе терпение!

Я посмеялся твоему толкованию любви. Боюсь, чтоб ты не учредил суд любви, который существовал в Провансе, в конце одиннадцатого столетия. Там эти полезные задачи разрешали всячески и все по-латыни. Красавицы слушали с удовольствием ученых трубадуров, которые так хитро умели угадывать тайные сгибы их сердец. Но нас никто слушать не будет: так останемся всякий в своем расколе. Притом же всякий любит как умеет, ибо страсть любви есть Протей. Она принимает разные виды, соображаясь с сердцем любовника. Любовь есть... но

Je me saure à la nage, et j'aborde où je puis\*.

Прощай, до свидания. *Конст. Бат* <юшков>

11. А. Н. Оленину

23 ноября 1809 г.

Милостивый государь Алексей Николаевич! Гнедич уведомляет меня, что он прочитал вам мое «Видение», что оно вам понравилось, что вы изволили с него взять копию, но в нем столько описок, столько стихов неоконченных, даже без рифм, что я решился, исправя все, послать новый список вашему превосходительству, где вы изволите найти трех Саф и проч. Мне перед вами оправдываться не нужно; вы знаете совершенно, что позволено шутить не над честью, но над глупостью писателей: Гораций, Ювенал, Боало, Попе, Сумароков, все и все именовали Котенов своего века. Умный человек осмеянный прощает, дурак сердится. Вольтер сказал в известном стихе:

Que pardonne a raison et la colère a tort\*\*

Но много ли умных? Поверьте, ваше превосходительство, что все рассердятся,

\* Я спасаюсь вплавь, и я либо выбираюсь, либо тону (*франц.*).

\*\* Прощение делает правым, а гнев неправым (*франц.*).

И я у всех стал виноват,—

как говорит наш Пиндар Державин. Впрочем, бог с ними!

Les sots sont isi bas pour nos menus plaisirs\*.

Желаю знать, что более понравится вашему превосходительству. Глинка, например, списан с природы. Падение в реку сочинительницы «Густава» и г-жи Буниной, и еще какой-то Извековой меня самого до слез насмешило. Желал бы очень напечатать в лицах это все маранье: для рисовщика карикатур пространное поле. <...>

<...> Боюсь, чтоб дамы на меня не прогневались, и как написал Марин,—

Бранит меня и дочь, и мать полунагая

за потопление певицы «Густава». Будьте моим щитом, ваше превосходительство, против северных *Фиад* и Фреронов.

12. Н. И. Гнедичу

[*Ноябрь 1809*]

Ох ты, голова моя ипохондрихиухихическая, не писал бы ты лучше писем в своих припадках. Мне и без них тошно: пощади меня.

Голова ты, голова! Сказать Оленину, что я сочинил «Видение». Какие имел ты на это права? Ниже отцу родному не должноствовало об этом говорить. Он же извинителен, ибо не знал и впрямь, хочу ли я быть известен. Но ты, но ты? Стыдно, очень стыдно. Поделом тебя совесть мучит. Я ветрен, но этого никак бы не сказал никому. Но я тебе прощаю от души; прости и мне некие глупости — вперед или назад.

Прилагаю у сего оконченное «Видение». Произведение довольно оригинальное, ибо ни на что не похоже. Теперь, ибо имя мое известно, хоть в печать отдавай. Я прибавил: 1-е, из Москвы — шаликовщину, 2-е, русских повивальных Саф, которые пути не знают к морю. В каком расположении духа ни будь, а их падение тебя насмешит. Ода Лебренова хороша. Прочитай ее снова вопреки твоей голове, которая никуда не годится, ниже в испаганскую башню, составленную из козьих голов (смотри «Всемирный путешественник»). Карамзина топить не

\* Дураки существуют в этом мире для наших маленьких удовольствий (*франц.*).

смею, ибо его почитаю. Впрочем, я бы мог написать все гораздо злее, в роде Шаховского. Но убоюсь, ибо тогда не было бы смешно. Кажется, все исправил. Тройные же рифмы нужны. Французы пишут все четырехстопные стихи такими рифмами, rimes redoublées\*.

Я не хотел путешествовать в мечтах, но хотел быть при миссии на месте. Хотел, лучше сказать, врать. Я знаю, что ты ничем этому пособить не можешь, да и очень трудно. Следственно, про одни дрожжи не говорят трожди.

Пришли тотчас «Видение», да за мои полные письма пришли хотя одно нетоще в Вологду: я туда еду. Не стыдно ли тебе не прислать «Цветника» за труды мои, за стихи Семеновой? Пришли его... Каков Глинка? Каков Крылов? Это живые портреты, по крайней мере, мне так кажется... Егоров ходит с усами... Как вы, друзья, уестествовали «Заиру»?.. Висковатого за виски... Каков бы был Штаневич в «Видении»? Гадок, не правда ли? Захарова... да не обидь всех... Шаховского, голубчика, с причетом, с адъютантами, янычарами, с сералью и с евнухами... да боюсь его, правду тебе сказать... Скажи мне, не читал ли Шишков, сидящий в дедовском возке? Что, бранят меня? Кто и как, отпиши чистосердечно. Заметь, кто всех глупее, тот более и прогневается. К Оленину я послал экземпляр. Поцелуй ручку у Анны Петровны. Я ее люблю и почитаю, и если б не лень, давно бы прислал стихи мои. Как ее дела?

Перестанут ли школьники топить Гермогена? Перестанет ли Писарев играть на скомонех? Ты мне твердишь о Тассе, или Тазе, как будто я сотворен по образу и подобию божьему затем, чтоб переводить Тасса. Какая слава, какая польза от этого? Никакой. Только время потерянное, золотое время для сна и лени. Впрочем, *первая* песнь готова. Рифм я не знаю на *моря* и скоро, подобно Боброву, стану писать белыми стихами, умру и стихи со мной.

Не нужны надписи для камня моего,  
Скажите просто здесь: он был, и нет его!

Вот моя эпитафия.

13. Н. И. Гнедичу

[Декабрь 1809]

<...> Спасибо за «Видение»; я душевно рад, что оно тебе понравилось. Пришли его назад, ибо по чести у меня начерно

\* удвоенными рифмами (франц.).

ниже строчки нет. Я сжег нарочно, чтоб после прочитать на свежий ум и переправить. Пришли не замедля. Не стыдно ли, что «Илиады» экземпляр не прислал мне. Твое же послание недостойно тебя; посылаю его тебе с замечаниями. Растянуто и дурно написано. Меньше славянизма и плавнее, ибо это сочинение, а не перевод. Мысль же, что Екатерина смотрит на внука, бесподобна и может быть прекрасно выражена. Это ново и благородно. Ты хочешь, чтоб я бранил Шаховского? Не много ли это? Или ты хочешь иметь другом Фрерона или Палиссота? Впрочем, я буду писать «Дунциаду», где всех помещу на месте... Мир праху твоему, Беницкий! Мы с ним увидимся в царстве неизвестности, где ни дурных стихотворцев, ни дураков, ни злодеев... <...>

#### 14. Н. И. Гнедичу

3 янв(аря) 1810

Видение пророка Ирмозиасооа.

И я зрел град. И зрел людие и скоты, и скоты, и людие. И шесть скотов великих везли скота единого. И зрел храмы и на храмах деревья. И зрел лица южных стран и северных... И зрел...

Да что ты зрел? — *Москву*, ибо оттуда пишу, восторжен, удивлен всем и всяческая. Глазам своим не верил, видя, что одного человека тянут шесть лошадей, и в санях!

Видел, видел, видел у Глинки весь Парнас, весь сумасшедших дом: Мерз(ляков), Жук(овский), Иван(ов) — всех... и признаюсь тебе, что много видел. Однако ж сказать ли тебе правду? Именно: мне стыдно перед Глинкой, который обласкал меня, как брата, как родного, а я... Боже мой, если б он знал... Но, к счастью, он ничего не знает.

Твое письмо меня так рассмешило! Твоя элегия, и эдак исковеркана! Но не удивляйся: ты знаешь Малиневича; он мне сказывал, что Межаков перевел «Заиру», которую ты и Полозов будто выучили наизусть и за свою выдали. — Что Межаков задумывает? Жениться на Львовой! Правда ли это? А между тем поет Державина. Я получил от Capus — Капниста письмо, и предлинное, где он говорит и повторяет одну фразу: «Я к вам писал и не имел удовольствия получить ответа. Ваш Тасс бесподобен. Я к вам писал... Ваш Тасс...» и проч. Забавно!

Пришли «Видение» и прочитай его Баранову, ибо ему оно известно, но прочитай сам. Впрочем, читай и распусти, если оно и впрямь хорошо. Я не боюсь тебя об этом просить, ибо оно тебе нравится. <...>

[Февраль 1810]

Льстец моей ленивой музы!  
 Ах, какие снова узы  
 На меня ты наложил?  
 Ты мою сонливу «Лету»  
 В Иордан преобратил  
 И, смеясь, мне, поэту,  
 Так кадилом накадил,  
 Что я в сладком упоенье,  
 Позабыв стихотворенье,  
 Задремал и видел сон:  
 Будто светлый Аполлон,  
 И меня, шалун мой милой,  
 На берег реки унылой  
 Со стихами потащил  
 И в забвенье потопил!

Я не имею времени даже отвечать вам, любезный князь, будучи оторван приездами. Вот почему лишен удовольствия вас видеть и слышать, истинно удовольствия, ибо я вас начинаю любить, как брата. Завтре об эту пору постараюсь к вам быть непременно,— стихи мои еще не переписаны, вот почему я избавляю вас от сладкого усыпления, которого вам завтре никак не миновать. К. Б.

Пришлите мне «Людмилу».

## 16. Н. И. Гнедичу

[Февраль 1810]

Я пишу к тебе, любезный друг, в скучном расположении. С тех пор, как я в Москве, не был еще ни на одном бале. Сегодня ужасный маскарад у г. Грибоедова, вся Москва будет, а у меня билет покойно пролежит на столике, ибо я не поеду. Ты на Муравьева вооружаешься. Загляни еще в его оду и увидишь прекрасные стихи, например: «Солонка дедовска одна». Впрочем, если уступаю оду, то не уступлю дочери. Она... поверишь ли, голова у меня не на месте. Я не влюблен, а если б еще... Ну, да полно! Знаешь ты, я из семьи Скотининых: что в голову залезет, так тут и сидит. Радищев пишет к тебе. Он мил, как ангел. Посылаю тебе, мой друг, маленькую пьеску, которую взял у Парни, то есть завоевал. Идея оригинальная. Кажется, переводом не испортил, впрочем, ты судья! В ней какое-то особенное нечто меланхолическое, что мне нравится что-то мистическое, а proposito\*. Я гу-

\* между прочим (итал.).

лял по бульвару и вижу карету; в карете барыня и барин; на барыне салоп, на барине шуба, и на место галстуха желтая шаль. «Стой!» И карета «стой». Лезет из колымаги барин. Заметь, я был с маленьким Муравьевым. Кто же лезет? *Карамзин!* Тут я был ясно убежден, что он не пастушок, а взрослый малый, худой, бледный как тень. Он меня очень зовет к себе; я буду еще на этой неделе и опишу тебе все, что увижу и услышу. <...>

17. Н. И. Гнедичу

[17 марта 1810]

<...> Спасибо за «Илиаду». Я ее читал Жуковскому, который предпочитает перевод твой Кострову. И я сам его же мнения. Некоторые замечания, сделанные мною, сообщу на первой почте.

Поверь мне, мой друг, что Жуковский — истинно с дарованием, мил и любезен, и добр. У него сердце на ладони. Ты говоришь об уме? И это есть, поверь мне. Я с ним вижусь часто и всегда с новым удовольствием.

Кстати, скажу тебе, что я бываю у Карамзина и принят у него, кажется, на хорошей ноге; всех замечаний, сделанных мною, не сообщу, а скажу тебе, что я видел автора «Марфы» упоенного, избалованного беспрестанным курением, и более ни слова. <...>

18. Н. И. Гнедичу

1 апреля [1810]

<...> Кстати скажу тебе, что Ермолаев приехал сюда в отчаянии, в гневе, в сожалении, обуреваемый страстями, как лицо николевской трагедии; приехал и прорек мне невзгоду вашего Пинда, Парнаса и Геликона; насказал три короба зла, и я, и я — ну верить, ну огорчаться, и даже до того дошло, что несколько ночей не спал, размышляя, что-де я наделал. Словом, ты меня знаешь: вообрази же мое положение! Теперь вижу, что поговорили, да и забыли, а отместили тем, что напечатали у Шнора «Петриаду», родную сестру Сладковского, лирическую поэму (!!!) в 300 листов, лирическую поэму, о которой никто еще с сотворения мира понятия не имел, ниже Гораций, который был невежда, ниже Боало, который был пьяница, ниже сам Гомер, который врал шестистопными стихами от искреннего сердца, как простяк. Нет, эта лирика меня бесит! И эти-то люди так чувствительны... Что же касается до твоего суждения о «Лете»,

о которой ты относился с восхищением несколько раз, а теперь называешь только приятным вздором, то я скажу тебе мое мнение: она останется; переживет «Петриаду» Сладковского и *лирики* Шихматова, не так, как какая-нибудь вещь совершенная, но как творение оригинальное и забавное, как творение, в котором человек, несмотря ни на какие личности, отдал справедливость таланту и вздору. Здесь оно из рук в руки ходит, а все из Питера, ибо я никому не дал. Мерзляков — и это тебя приведет в удивление — обошелся как человек истинно с дарованием, который имеет довольно благородного самонадеяния, чтоб забыть личность в человеке. Я с ним имею тесные связи по разным домам и по собранию любителей словесности, составленному из нескольких человек, где мы время проводим весело, с пользой и с чашкою в руках. Он меня видит — и ни слова, видит — и приглашает к себе на обед. Тон его нимало не переменялся (заметь это). Я молчал, молчал и молчу до сих пор, но если придет случай, сам ему откроюсь в моей вине. Поверь мне, что ни один Варяго-Росс этого не сделает.

У вас в Питере Каченовский, бритва парнасская, родной брат Фрерона, но нравственности прекрасной, человек истинно добрый; по крайней мере, так говорят его приятели. Познакомься с ним. Жуковского я более и более любить начинаю.

Бороздина видел и вижу часто. Истории его не знаю; он читал что-то, но вскользь. Впрочем, твое письмо, к нему писанное, доказывает, что ты его опытами не очень доволен. Правду тебе сказать, я за все русские древности не дам гроша. То ли дело Греция? То ли дело Италия?

Кстати: задержан будучи обстоятельствами, истинно не позволяющими отлучиться от Москвы, я о Твери не забыл. Переписываю Тасса и его пошлю к Гагарину. Что будет, не минует. А сам не еду. Если счастье захочет, то и само придет, вопреки покойному Беницкому, которого память мне более и более дорога.

Ты увидишь в «Вестнике» описание Финляндии и элегию; желаю, чтобы оные тебе понравились. Замечания тебе пришло на «Илиаду». Теперь, право, не время.

⟨...⟩ Я вчера ужинал и провел наименее приятный вечер у Карамзина. Жена его пригласила меня на месяц к себе на дачу, и я надеюсь воспользоваться. Недавно у него хвалили твоего «Танкреда», и тебя он хвалил, а я, сидя в углу, с досады плакал. ⟨...⟩

#### 19. Н. И. Гнедичу

3 мая 1810 г.

Я получил письмо твое три дни тому назад и ужаснулся, его читая. Ты дурачишься, принимая на сердце людские глупости.

Стоит ли это? Спомни псалом: «Не надейтесь... на сыны человеческие». Верить ли, что я это предвидел? Утешься, мой друг, ради бога: все пройдет. Я более твоего терпел удары. Они были язвительнее из рук, навеки драгоценных, но время усыпило горести. Если цветы не рождаются у ног моих, то нет и терний. Тебе ли, друг мой, говорить, что жизнь скучает. Будь выше золотых болванов и знай, что

La plainte est pour le fat, le briut est pour le sot.  
L'honnête homme trompé s'éloigne et ne dit mot\*.

Я знаю, что тебя ласкали, кадили, как Вольтеру у Фридриха, выжали сок и бросили корку; знаю, что во всех откровениях primo mini\*\* более, нежели дружба действовала, и всякий соблюдал личную пользу. Это участь дарования. Трутни пожирают мед у пчел, но пчелы не бросают трудов своих; я видел в свете

Des protégés si bas, des protecteurs si betes\*\*\*,—

говорит Грессет, и эти протезе нужны для таковых покровителей. Но тебе ли говорить против себя? Не жалуйся на фортуны. Неужели ты себя не довольно считаешь, чтоб со мной не разделять посредственность, кусок хлеба? Неужели думаешь, что я говорю тебе сие в поэтическом восторге? Нет, любезный Николай, я тебя люблю и любить буду. <...>

20. Н. И. Гнедичу

Мая, а которого — не знаю [1810]

<...> Жуковский благодарит тебя за стихи. И впрямь «На смерть Даниловой» прекрасны, они будут напечатаны в 1-м №. Я кой-какие безделки осмелился переменить, но самые безделки. Прочитал ли ты мою элегию? Понравилась ли она тебе? Обращение к Пенатам кажется хорошо. Знай, однако же, что я три месяца как ничего не пишу. Что же делаю? В карты играешь? С тех пор как в Москве, их в руки не брал! По балам разъезжаешь? Даже и в собрании не бываю! Влюблен, что ли? Дай бог быть влюбленным. Я не живу, а дышу, *веществу*: ужаснейшее положение для человека в 23 года, у которого есть рассудок и сердце!

Я раз только был в театре и тут повстречался с Жихаревым,

\* Жалобы для хлыщей, шум для глухца.

Честный и обманутый человек уходит молча (*франц.*).

\*\* первому мне (*лат.*).

\*\*\* Так низки те, кому покровительствуют, и глупы те, кто покровительствует (*франц.*).



который насказал мне тысячу комплиментов вслух, а я ему в ответ Дмитриева стихом:

Вы сами рифмы плестъ умеете прекрасно.

Здесь ничего нового нет. Глинка со всеми поссорился. Мерзляков читал 4-ю песнь Тасса, в которой истинно есть прекрасные стихи. Жуковский — сын лени, милый, любезный малый. Радищев стихи перекладывает в прозу. Карамзина я люблю и бываю ежедневно; он очень умен. Письма твои меня утешают; я чувствую, что тебя люблю и без твоего бы дружества пропал. <...>

21. В. А. Жуковскому

[Первая половина 1810]

Поэт и судия! — а что еще лучше, любезнейший друг Василий Андреевич! — я опять начну докучать. Поправлен ли мой *таз медяный*? Если нет, то это письмо напомнит вам, что мой милый критик обещал заглянуть в книгу, ему вверенную. Заглянуть! Этого мало: заглянуть и поправить. Ваш труд не будет потерян, поверьте: 1-е, потому, что вы сделаете доброе дело; 2-е, ваше внимание к моим мараньям поощрит меня к продолжению перевода. Вы знаете на опыте, что поэтов поощрять должно, особенно ленивых. А где же они не ленивы? Я говорю о тех, которые с дарованием, даже и себя не исключая. Итак, назначьте день свидания у меня, ибо я желал бы, чтобы Пенаты мои увидели любезного Василья Андреевича. Я же имею кое-что прочитать, чего вывозить нельзя, ибо сани мои тесны.

22. В. А. Жуковскому

26 июля 1810 г.

Насилу, любезный друг, собрался я с силами, насилу могу писать к тебе. Я и теперь так болен, так слаб, что ни мыслить, ни писать не могу. Однако же дай собраться с силами!.. Я вас оставил *en impromptu\**, уехал, как Эней, как Тезей, как Улисс от блядок (потому что присутствие мое было необходимо здесь в деревне, потому что мне стало грустно, очень грустно в Москве, потому что я боялся заслушаться вас, чудачки мои). По прибытии моем сюда болезнь моя, *tic douloureux*, так усилилась, что я девя-

\* неожиданно (лат.).

тый день лежу в постели. Боль, кажется, уменьшилась, и я очень бы был благодарен тебе, любезный Василий Андреевич, если бы не написал несколько слов; дружество твое мне будет драгоценно всегда, и я могу смело надеяться, что ты, великий чудак, мог заметить в короткое время мою к тебе привязанность. Дай руку, и более ни слова!

Музы, музочки не отстают и от больного. Посылаю тебе *Опыт в прозе*, который, если хочешь, напечатай, но экземпляр мне непременно возврати назад, ибо у меня все тут: и черное, и белое. Поправь, что найдешь поправить. Посылаю «Мечту» для «Собрания». Да еще *voilà des petits vers\**, то есть подражание (Вяземский улыбнется), подражание Парни «*Le torrent\*\**», которое, если тебе очень понравится, то возьми в «Собрание» или сожги на огне. В нем надобно кой-что поправить. Исправь, любезный мой Аристарх! А это выражение: «Я к тебе прикасался», — оставь. Оно взято из Тибулла, и, кажется, удачно. О прозе не говори Каченовскому, что я — ее сочинитель, ибо я этого не хочу, ибо я марал это от чистой души, ибо я не желаю, чтоб знали посторонние моих *мыслей и ересей*.

Я живу очень скучно, любезный товарищ, и часто думаю о тебе. Болезнь меня убивает, к этому же имею горести; и то, и другое меня очень расстраивает. Шолье мог писать прекрасные стихи, воспевать Лизу и мечтать под каштановыми деревьями Фонтенейского сада: он жил в счастливое время. Подагра у него была в ногах, а не в голове; а у меня в голове сильный ревматизм, который *набрасывает тень* на все предметы. Пожалей обо мне! И не знаю, когда будет конец моим мученьям! Теперь я в те короткие минуты, в которые господа болезнь уходит из мозга, читаю Монтаня и услаждаюсь. Я что-нибудь из него тебе пришлю. О стихах и думать нельзя с моею болезнью.

Тебе, здоровый счастливец, тебе можно переселиться в страну поэзии, которая создана *счастливым началом* для услаждения наших горестей: ты здоров как бык. Пиши своего «Володимира» и пришли кое-что сюда. Я долго здесь пробуду: страхни лень для дружбы. Письма твои мне будут утешением в этой безмолвной, дикой пустыне, в жилище волков и попов. Поручаю тебя Фебу.

*Константин Батюшков.*

Адрес мой: в Череповец, Новгородской губернии.

Я к «Мечте» прибавил Горация; кажется, он у места, *et il fera bon contraste avec le scalde\*\*\**; я более ее трогать не намерен. Если что найдешь, поправь сам. Прощай еще раз. Если я буду здоровее, то напишу поумнее.

---

\* вот небольшие стихи (франц.).

\*\* «Поток» (франц.).

\*\*\* и он будет хорошим контрастом скальдам (франц.).

Как волка ни корми, а он все в лес глядит!

Виноват перед тобой, любезный мой князь, уехал от тебя, как набожный Эней от Элизы, скрылся, как красное солнце за тучами, и за это перед тобой в начале этого письма становлюсь на колени. *Pl a ri, il est de sarmé\** (смотри. «Метроманию» Пирона)— и у тебя гнев потух. Я приехал кое-как до жилища моего больной — нет, мертвый! Насилу теперь отдохнул и, облокотясь на старинный стол, который одержим морскою болезнью, ибо весь расшатался, пишу к тебе, любезный князь, эти несвязные строки. *Mg. Le tic douloureux\*\** со мной везде, ни на минуту не изволит отставать. Но я ныне постоянно лечусь, пью, упиваюсь декохтом, сижу в ванне, настоящей серой; эта ванна есть образчик тех вод, в которых мы будем купаться после смерти; она воняет хуже Стикса, хуже Боброва стихов,— но приносит пользу.— Уведомь меня, как течет время в вашем Остафьеве, что делает деятельный Жуковский. Стало ли у тебя чернил и бумаги на этого трудолюбивого жука?— Я к нему писал, адресую письмо в *Типографию*. Если это не эпиграмма то, видно, мне по смерти не писать! Еще прошу тебя, уведомь меня о себе. Кажется, не нужно повторять мне, что знакомство наше, хотя и короткое, основано на взаимной дружбе, которой я никогда не изменю. *Je ne sais si je vous confient, mais vous me ites confient fort!\*\*\**

Отпиши мне, любезный князь, что делается на московском Парнасе и на бульваре. Что ты делаешь и что пишешь,— а я

А я из скупости, чернил моих в замену,  
На привязи углем исписываю стену.

Мараю да мараю, а что выйдет, бог знает. Еще недавно на фабрику «Вестника Европы» отправил несколько тряпиц, превращенных в бумагу, которые я прикосновением волшебного пера превратил опять в тряпицы.— Но шутки в сторону, я ныне занят. Отгадай чем?— Перекладываю «Песни Песней» в стихи. Когда кончу, то пришлю тебе, моему Аристарху — на растление мою Деву. Не забыл ли ты, князь, обещания переводить французских авторов? Если нет, то отпиши мне, начал ли, и я стану этим же заниматься. Со временем работа сия может нам обратиться в пользу. Я бы перевел несколько отрывков из Шатобриана и Ариоста, которого еще нет вовсе на русском, ибо перевод, который сделан с француз-

\* Он посмеялся, он обескуражен (*франц.*).

\*\* мучительная госпожа болезнь (*франц.*).

\*\*\* Я не знаю, доверяю ли я вам, но вы мне очень доверяете (*франц.*).

ского, так похож на оригинал, как Батонди на честного человека. Уведомь меня, и пока жар не простыл, давай писать.

Отпиши, отпиши мне, как поживаешь, молодой Seigneur Suzerain\*.

Не говоришь ли подчас, ah que j' m'ennuie!\*\* — И сообщи мне свои тайные мысли о Жуковском, который, между нами сказано будь, великий чудака. Где он, в Белеве или у вас? — не влюблен ли, а я — или муза моя изволит теперь странствовать по высотам Сиона на берегах Иордана, на прохладных холмах Энгадда, — то есть, как сказал тебе, я так занят моей «Песней Песней», что во сне и наяву вижу жидов и вчера еще в мыслях уестествил иудейскую Деву. Мечтаю, мечтаю — и время тихонько катится!

Недавно перечитал я прошедший год «Вестника» и нашел там две пиесы, которые мне очень понравились: Волкова басня «Малиновка», кажется, в 22 №, и твоя пиеса «К Лауре»: она прекрасна, но я советовал бы начать со второго куплета.

Пришли мне, любезный князь, если что есть новое, а я тебе, с моей стороны, как повивальной бабке, верно и в срок буду ставить моих выкидышей...

#### 24. Н. И. Гнедичу

30 сентября 1810 г. В Череповец адресуй

⟨...⟩ «Праздность и бездействие есть мать всего, и между тем и прочим болезней». Вот что ты мне пишешь, трудолюбивая пчела! Но здесь тьма ошибок против грамматики. Надобно было сказать: праздность и бездействие суть и проч. Ошибка вторая: бездействие — рода среднего, а род средний, по правилам всех возможных грамматик, ближе к мужескому, нежели к женскому, то и надобно было написать: бездействие есть отец и проч., но как тут предыдущее слово праздность, второе бездействие, то я и не знаю, каким образом согласовать отца и мать вместе (праздность — мать, бездействие — отец): надобно всю фразу переделать. А поелику я докажу ниже, что и самый смысл грешит против истины, то и не нахожу за нужное приступить к сей операции. Смысл грешит против истины, первое — потому, что я пребываю не празден.

В сутках двадцать четыре часа.

Из оных 10 или 12 пребываю в постели и занят сном и снами. Ibid... 1 час курю табак.

1 — одеваюсь.

\* господин князь (франц.).

\*\* как мне скучно! (франц.).

3 часа упражняюсь в искусстве убивать время, называемом *il dolce far niente*.

1 — обедаю.

1 — варит желудок.

$\frac{1}{4}$  часа смотрю на закат солнечный. Это время, скажешь ты, потерянное. Неправда! Озеров всегда провожал солнце за горизонт, но он лучше моего пишет стихи, а он деятельнее и меня и тебя.

$\frac{3}{4}$  часа в сутках должно вычесть на некоторые естественные нужды, которые г-жа природа, как будто в наказание за излишнюю деятельность героям, врагам человечества, бездельникам, судьям и дурным писателям, для блага человечества присудила проводить в прогулке взад и назад по лестнице, в гардеробе и проч., и проч., и проч. О, *humanité!*\*

1 час употребляю на воспоминание друзей, из которого  $\frac{1}{2}$  помышляю об тебе.

1 час занимаюсь собаками, а они суть живая практическая дружба, а их у меня, по милости небес, три: две белых, одна черная. P. S. У одной болят уши, и очень бедняжка трясет головой.

$\frac{1}{2}$  часа читаю Тасса.

$\frac{1}{2}$  — раскаиваюсь, что его переводил.

3 часа зеваю в ожидании ночи.

Заметь, о мой друг, что все люди ожидают ночи, как блага, все вообще, а я — человек!

Итого 24 часа.

Из сего следует, что я не празден; что ты рассеянность считаешь деятельностью, ибо ты во граде святого Петра не имеешь времени помыслить о том, что ты ежедневно делаешь; что для меня и для тебя, и для всех равно приходит и проходит время:

*Eheu fugaces, Postume, Postume...\*\**,

что болезни мои не от лени, нет, а лень от болезней, ибо ревматизм лишает силы не только размышлять, но даже и мыслить и проч.

*Замечание.* Лас Казас, друг человечества, наделал много глупостей и зла, потому что он был слишком деятелен. Смотри Робертсонову историю.

*Ergo:* ты написал вздор!

Шутки в сторону, ты прав, любезный друг: мне надобно ехать в Петербург, но обстоятельства вовсе препятствуют. Ты сам знаешь, легко ли ехать с малыми деньгами; что значит по нынешней дороговизне и тысяча, и две рублей, особливо мне, на-

\* О, природа человеческая! (*франц.*)

\*\* Лютуются, скользят годы, о Постум, Постум... (*лат.*)

мереваясь прожить долго? А если ехать так, для удовольствия, на короткое время, то не лучше ли в Москву, где, благодаря Катерине Федоровне, я имею все, даже экипаж. Впрочем, скажу тебе откровенно, что мне здесь очень скучно, что я желаю вступить в службу, что мне нужно переменить образ жизни, и что же? Я, подобно одному восточному мудрецу, ожидаю какой-то богини, от какой-то звезды, богини, летающей на розовом листке, то есть в ожидании будущих благ я вижу сны. Если я буду в Питере, то могу ли остановиться у тебя надолго, не причина чрез то тебе расстройки? Отпиши мне откровенно, потому что дружество не любит чинов, и лучше вперед сказать, нежели впоследствии иметь неудовольствие молчать. Ты меня спрашиваешь, что я делаю, и, между прочим, боишься, чтобы я не написал «Гинеvры». Ложный страх! Я почти ничего не пишу, а если и пишу, то безделки, кроме «Песни Песней», которую кончил и тебе предлагаю. Я рад, что ты теперь на месте, что я могу наконец с тобой советоваться, особливо в тех пьесах, которые я почитаю поважнее. Я избрал для «Песни Песней» драматическую форму; прав или нет — не знаю, рассуди сам. Одним словом, я сделал эклогу, затем что не мог совладать с этим слогом, затем что слог лирический мне неприличен; затем что я прочитал (вчера во сне) Пифагорову надпись на храме: «Познай себя» — и применил ее к способности писать стихи.

Вот вступление. <...>

## 25. Н. И. Гнедичу

[Октябрь 1810]

<...> Редко, очень редко могу писать. Но вчерашний день я был довольно счастлив: вчера я мог, я имел дух побеседовать с музами, и поверишь ли, я имел два, три часа счастливейшие в моей жизни. Я перевел из Парни один большой отрывок: он тебе понравится; но сегодня я его не посылаю: не все вдруг; притом же

mediocribus esse poëtis

Non homines, non di, non concessere columnae\*, —

сказал Гораций Флаккович, а я не хочу быть похож на его карикатуру. Кстати о стихах, а особливо о моих: пришли мне «Одиссею» и Плутарха, если у тебя есть деньги, а если нет, то отпиши мне, что они стоят. Мне их неотменно прочитать нужно. Не забудь моей просьбы.

\* средним быть поэтом,  
Ни людям, ни богам, ни голубям не уступать (лат.).

Ты так пишешь локанически о петербургских новостях касательно литературы, которою, как тебе известно, я имею честь заниматься с довольным успехом и пользою для потомства,— для потомства, которое, конечно, поставит мне монумент на ряду с деятельными гениями, что... (как выпутаться из этого периода?), наконец... что я ничего не знаю. Отпиши попространнее обо всем, и что ты сам делаешь?

Я давно не имею писем из Москвы, а потому не знаю, где Иван Матвеевич Муравьев и как идут его дела. Отпиши и об этом.

В прошедшем письме я наврал много дичи Львову и теперь раскаиваюсь. Попроси его, чтоб он не показывал и не сделал того, что с прежним письмом: всему есть мера. Уведомь меня, понравится ли тебе «Мечта». Она вовсе переделана; в ней Гораций, кажется, не дурен. Да что я тебя спрашиваю? Ты мне ни слова не сказал о «Песни Песней». Злодей, с кем мне здесь советоваться... <...>

## 26. Н. И. Гнедичу

[Декабрь 1810]

<...> Поверишь ли? Я здесь живу 4 месяца, и в эти четыре месяца почти никуда не выезжал. Отчего? Я вздумал, что мне надобно писать в прозе, если я хочу быть полезен по службе, и давай писать — и написал груды, и еще бы писал, несчастный! И я мог думать, что у нас дарование без интриг, без ползанья, без какой-то расчетливости может быть полезно! И я мог еще делать на воздухе замки и ловить дым! Ныне, бросив все, я читаю Монтаня, который иных учит жить, а других ждать смерти. А ты мне советуешь переводить Тасса — в этом состоянии? Я не знаю, но и этот Тасс меня огорчает. Послушаем Лагарпа в похвальном его слове Колардо: «Son âme (l'âme de Colardeau) semblait se ranimer un moment pour la gloire et la reconnaissance, mais ce dernier rayon allait bientôt s'éteindre dans la tombe... Il avait traduit quelques chants du Tassé. Y avait-il une fatalité attachée à ce nom?»\* Я знаю цену твоим похвалам и знаю то, что дружба не может тебя ослепить до того, чтоб хвалить дурное. Но знаю и то, что мой Таз, или Тасс, не так хорош, как думаешь. Но если он и хорош, то какая мне от него польза? Лучше ли пойдут мои дела (о которых мне не только говорить, но и слышать гадко), более или менее я буду счастлив? Или мы живем в веке Людо-

---

\* Его душа (душа Колардо), казалось, воскресла на миг для славы и признания, но последнее вскоре потухло в могиле... Он перевел несколько песен Тасса. Может, с этим именем связана судьба? (франц.)

вика, в котором для славы можно было претерпеть несчастье, можно было страдать и забывать свое страдание?

К несчастью, я *не враль* и *не гений* и для того прошу тебя оставить моего Тасса в покое, которого я, верно бы, сжег, если б знал, что у меня одного он находится. Впрочем, я рад, что тебе понравились мои стихи в «Вестнике». Они давно были написаны: это очень видно.

Сказать ли тебе анекдот? Ник. Наз. Муравьев, человек очень честный и про которого я, верно, не скажу ничего худого, ибо он этого не стоит, наконец, Николай Назарьевич, негодуя на меня за то, что я не хотел ничего писать в канцелярии (мне было 17 лет), сказал покойному Михайлу Никитичу, а чтоб подтвердить на деле слова свои и доказать, что я ленивец, принес ему мое послание к тебе, у которого были в заглавии стихи из Парни, всем известные:

Le ciel, qui voulait mon bonheur,  
Avait mis au fond de mon coeur  
La paresse et l'insouciance\*

*и проч.*

Что сделал Михаил Никитич? Засмеялся и оставил стихи у себя. *Quid rides? Fabula de te narratur!*\*\* Вот и твоя история. И впрямь, что значит моя лень? Лень человека, который целые ночи просиживает за книгами, пишет, читает или рассуждает! Нет, говорил Мирабо, а Мирабо знал, что говорил,— если б я строил мельницы, пивоварни, продавал, обманывал и исповедовал, то, верно б, прослыл честным и притом деятельным человеком. Не думай, чтоб я Мирабо слова взял за правило: я его читал назад тому два года и *привожу* из памяти. Впрочем, у меня покои довольно теплы, для общества есть три собаки, аппетит изрядный и на место *термометра* серебряный рубль, который остался от шведского похода: с этим не умрешь с голоду, а если сойдешь с ума, то это безделка! Ах, обстоятельства, обстоятельства, вы делаете великих людей!

⟨...⟩ Мое письмо очень скучно, затем-то я прилагаю у сего письмо князя Вяземского, которое тебя, верно, насмешит. Но пришли его обратно, ибо оно мне нужно. О Жуковском ничего не знаю. Я с ним жил три недели у Карамзина и на другой или третий день уехал в деревню. Он в Белеве, верно, болен или пишет. Пришли что-нибудь в «Вестник», а к нему писать буду. Да еще тебе упрек. Мир праху Беницкого! Был умен, да умер! А тебе не стыдно ли не написать ни строчки в его похвалу, не стихами, а

\* Небо, которому хотелось моего счастья,  
Вложило в глубину моего сердца  
Лень и беззаботность (*франц.*).

\*\* Кто смеется? Сказание умалчивает! (*лат.*)



прозою? Зачем не известить людей, что жил некто Беницкий и написал «На другой день»? Зачем не поместить это биографическое известие не в журнал фабриканта Измайлова, а в «Вестник»? Пробудись, Брут! Что такое намарал еще Шихматов? Я читал Каченовского рецензию в журнале, а его поэмы не видал, да и видеть не хочу. Попроси Измайлова, чтоб он мне прислал «Цветник»: я его не получал с апреля или мая, а он хорош для деревни. <...>

## 27. Н. И. Гнедичу

Рождество [Декабрь 1810]

<...> Признаюсь, что я пожал плечами, прочитав твое приглашение и причины, на которые ты опираешься: что в Москве я буду писать хуже. Я гривны не дам за то, чтоб быть славным писателем, ниже Расином, я хочу быть счастливым. Это желание внушила мне природа в пеленах. Притом же *мирты тень и льдины* написаны мною на Петергофской дороге назад тому лет семь. Я знаю, что это дурно, это то, что италианцы называют *freddura\**. Кстати, пришли мне замечания на «Мечту», хоть на лоскутке, иначе я на тебя буду сердит!

Я смеялся увещаниям не читать Мирабо, д'Аламберта и Дидерота. Это и впрямь от Гнедича — забавно! Давно ли ты стал капуцином? Гомер, конечно, Гомер, но его читать нельзя без скуки во всю свою жизнь, ибо поэзия не есть ремесло. Притом же

Le véritable esprit sait se plier à tout,  
On ne vit qu'à demi quand on n'a qu'un seul goût\*\*

У тебя ум велик, а рассудок мал. Мне переводить Расина! Положим и так. Но переводить «Эсфирь» дело вовсе невозможное, первое — потому что ее никогда не представляют; второе — потому что она на сцене должна быть холодна как лед и есть дело совершенно бесплодное; третье — потому что, принявшись за нее, я буду должен целый год заниматься одним делом, ибо я с малолетства воспитан в страхе Расина. У меня есть славная эдиция «Эсфири» с замечаниями Boisgermain, но обстоятельствами, болезнию и, наконец, всем и всеми я так обескуражен, что за это дело никак не примусь.

Я надеюсь, что ты сделаешься членом *ликеея*, это тебе очень не трудно, а потомство скажет: *был некий, и были некий!* О, это весьма утешно! Но так как ни одна дама не поедет слушать

\* холод (*итал.*).

\*\* Настоящая душа умеет преклониться перед всем,

Живут лишь вполовину те, у кого только свой вкус (*франц.*).

Захарова, Писарева, Шихматова и с компанией, то я советую, затем чтоб не уронить своей славы обществу, некоторым членам переодеваться в женские платья, например, Крылов — в виде Сафы, Карабанов — под покрывалом Коринны, Хвостов — в виде Венеры Анадиомены или Филометы, весь нагой, на ученых скамьях могли бы произвести большой эффект, и я скажу: вот Греция!

28. Н. И. Гнедичу

13 марта [1811]

Вчера получил я *медленное* письмо твое. Ниловы были здесь и, как приятные призраки, исчезли. Самарину я провожал до заставы: она вчера ночью уехала в Орел. Конечно, любезные люди, особливо Самарина, — она же тебя любит и почитает; впрочем, и она со мной согласна в том, что ты слишком *ославились*; если мне нужен Петербург, то тебе, друг мой, нужна Москва.

Голицына я не видал, может быть, и не увижу. Судить о тебе заочно не смею, но по видимому кажется, что ты виноват. Чем? — Тем, что выписался. Тебе сделала честь. — Как честь? — А вот как: в ликее есть Штаневич, но есть и Шишков, есть Шихматов, но есть и Державин, есть Хвостов, но и Дмитриев там же! Чего же более? — Нет! Я не хочу быть на одной доске с таким-то вралем! Тем более, что я буду трудиться по предписанию устава!.. Прекрасный ответ! Но разве нельзя ничего не делать и быть членом всех академий? Что же касается до поступка нашего лирика, то я это считаю за пифийское иступление; ему все прощительно, затем что он написал «Ирода» и «Фелицу» (две пиесы, которые дают право дурачиться), затем что ему 60 лет, затем что он истинный гений и... не смею сказать — враль!

Ты меня спрашиваешь: *что тебе делать?* Право, не знаю и боюсь советовать, затем чтоб не дать дурного. Лучше молчать! Тебя назвали *гордецом*, но не бездельником. Кажется, обида не великая! И вся эта обида падает не на тебя, ниже на хозяина, а на самого *творца*. Оставь эти глупости, мой друг, истинное следствие обхождения с людьми, которое и таланту, и собственно себе бывает пагубно. Я тебе говорю от сердца: чувствую сам, что частые выезды и рассеяние было и есть нож для поэта. Отпиши мне, чем это кончится. Я об тебе не жалею: у тебя есть Гомер, но меня кто утешит? Я отдал «Перувианца» Жуковскому, который тебя истинно любит. Добрый, любезный и притом редкого ума человек! Он хотел тебе прислать поправки. Мне же начало показалось растянуто, нечисто и сухо, но последние

30 стихов докажут всякому, что ты мог бы написать трагедию. Вот мое суждение.

Я вчера обедал у Нелединского (истинный Анакреон, самый острый и умный человек, добродушный в разговорах и любезный в своем быту вопреки и звезде, и сенаторскому званию, которое он заставляет забывать) и там слышал, что у вас в Питере написана новая сатира, весьма колкая, на Карамзина, Пушкина и твоего друга, то есть меня. Пушкин горит от нетерпения ее слушать и нас вчера очень, очень смешил своим добродушием. Пришли мне ее непременно: я хочу над собой сделать моральный опыт, то есть увериться, могу ли я быть хладнокровен в насмешке. Называют двух авторов: Горчакова и Шаховского. Ожидаю ее нетерпеливо.

Теперь приступаю к твоей критике. На моей стороне Самарина. Защищайся!

Парни признан лучшим писателем в роде *легком* (этот род сочинений весьма труден). Его поэма «Les Scandinaves»\* прекрасна; стихи, мною переведенные, были внесены профессором Ноэлем, членом Парижского института, в примеры *прекрасного и живописной поэзии*. Теперь. Мой перевод дурен? Подлинник хорош? Так ли?

Посмотрим, чем он дурен.

Les feux mourans décroissent et pâlisent  
Et de la nuit les voiles s'épaississent...  
Viens, doux sommeil, descends sur les heres.  
Des songes vains agitent leur repos\*\*

Но вскоре пламень потухает,  
И гаснет пепел черных пней,  
И томный сон отягощает  
Лежащих воев средь полей.

Кажется, перевод мой не хуже подлинника. «Гаснет пепел черных пней» — взято с природы, живописно и очень нравится Жуковскому и всем, у кого есть вкус.

L'autre des mers affronte le courant  
Et son esquif est brisé par l'orage\*\*\*

Иной на лодке утлой реет  
Среди кипящих в море волн.

---

\* «Скандинавы» (франц.).

\*\* Умирующие огни убывают и бледнеют,  
И ночная вуаль густеет...  
Приходи, спокойный сон, спускайся на героев.  
Мечты напрасные волнуют их покой (франц.).

\*\*\* Иной пересекает поток морской,  
И чели его бурей разбит (франц.).

Перевод близкий, выражение *реет* у места, и я не виноват, что г. Бобров употреблял его. Но меня сравнить с Бобровым, *et d'un ton de persiflage!*\* Гнедич, Гнедич! О Coridon, Coridon, ты с ума сошел!

Иный места узрел знакомы,  
Места отчизны, милый край,  
Уж слышит псов домашних лай,  
Уж зрит отцов поля и дома...

Этого нет в оригинале, но напоминает о Вергилиевом *dilcus patria*. Далее: выражения

Махнул мечом — его рука,  
Подъята вверх, *окостенела*,  
Бежать хотел — его нога  
*Дрожит, недвижима, замлела* —

истинно выражают мысль стихотворца.

Но ветер шумит и в роще свищет,  
И волны мутного ручья  
Подожвы скал угрюмых роют,  
Клубятся, пеняются и воют  
Средь дебрей снежных и холмов...

Это все в тоне северной поэзии, которую, конечно, отличать должно от греческой; это все у места, и кажется, нет ничего надутого, ложного; притом же и язык чист и благороден.

Le sombre Eric murmure avec dépit  
Ce chant sinistre, et l'écho le prolonge:  
Je suis assis sur le bord du torrent.  
Au tour de moi tout dort, et seul je veille;  
Je veille, en proie au soupçon dévorant;  
Les vents du nord sifflent à mon oreille,  
Et mon épée effleure le torrent...\*\*

Мой меч скользит по влаге вод!

Вот мое оправдание. Что же касается до твоих насмешек, то они забавны: этак можно и «Перуанца» выворотить наизнанку. *Измождая, тигры, варвары, пей кровь, грызи зубами* и прочее, конечно, очень смешно. Признайся (я в этом уверен), что ты был

---

\* и издевательским тоном! (франц.)

\*\* Мрачный Эрик с досадой шепчет  
Эту ужасную песню, и эхо ее продолжает:  
Я сижу у края потока.  
И все вокруг спит, и только я не сплю;  
Я бодрствую, терзаясь пожирающим меня подозрением;  
Северный ветер свищет мне в уши,  
Мой меч скользит в потоке... (франц.).

увлечен суждением какого-нибудь пристрастного человека или невежды — и бог с тобой! Я бранил «Перуанца» и теперь каюсь. <...>

Жуковского издание продается, я думаю, в Петербурге и стоит 15 рублей. Муравьева сочинения доказывают, что он был великого ума, редких познаний и самой лучшей души человек. Их нельзя читать без удовольствия. Они заставляют размышлять. Я их тебе достану, у меня теперь только один экземпляр и тот подарен Катериной Федоровной.

Хочешь ли новостей? Карамзин опять в Твери, говорят, по приказанию государя. Я недавно слышал чтение его истории и уверяю тебя, что такой чистой, плавной, сильной прозы никогда и нигде не слышал. Он не годится в ликей!

## 29. Н. И. Гнедичу

[Апрель 1811]

<...> Как отвечать тебе на твою диссертацию? Молчанием? Ах, нет! Учеными фразами? И того не надо. Ситациями из древних и новейших? Храни нас бог! Чем же, злодей? А вот чем: пожать у тебя руку, ибо я вижу, что дружба заставляет тебя *бредить*. Одинойжды положив на суде, что я родился для отличных дел, для стихотворений эпических, важных, для исправления государственных должностей, для бессмертия, наконец, ты, любезный друг, решил и подписал, что я врал, ибо перевозжу Парни.

Конечно, *влага вод* — глупость; но поэтому ты заключаешь, что и вся пиеса — вранье. Этот суд тебе делает великую честь! Теперь заметь другое, третье, четвертое, наконец, десятое фальшивое, темное, глупое, надутое выражение и будешь прав; но нет! Ты будешь виноват, потому что их не найдешь, потому что эти стихи написаны очень хорошо, сильно, наконец, потому что *они меня достойны*.

Пора кончить, любезный Николай, этот словесный спор, который ни тебя, ни меня не убедил. Поговорим лучше о певце «Фелицы»: ты с ним поступил весьма благоразумно. Я, будучи на твоём месте, сделал, конечно бы, то же.

Прости мне, если я тебя судил сначала слишком строго. Но и теперь я думаю, что ты напрасно выписался, а не *ускользнул*. Последнее было бы еще лучше и первого. Но это дело меня беспокоило. Слава богу, что ты его кончил. Сегодня вбегает ко мне Иванов, которого ты, конечно, помнишь, вбегает и кричит: «Виват, Гнедич!» Я удивился, спрашиваю его о причине восклицания, и он мне рассказывает твою историю с Державиным. Он в восхищении от твоего поступка, говорит, что ты достоин алтарей и

проч.; но я не Иванов и думаю иначе, ибо я люблю более твой собственный интерес, нежели ты сам — в иных случаях, разумеется. Я читал объявление о *Беседе* в газетах, читал ее регламент и теперь еще болен от этого чтения. Боже, что за люди! Какое время! О Велхи! О Варяги-Славяне! О скоты! Ни писать, ни мыслить не умеют! А ты еще хвалишься петербургским рвением к словесности! Мода, любезный друг, минутный вкус! И тем хуже, что принимаются так горячо. Тем скорее исчезнет жар, поверь мне: мы еще все такие невежды, такие варвары! Я вот чего страшусь: женщины, у которых вкус нежнее и вернее, соскучатся прежде, а после них тотчас и мужчины. Тогда это ремесло будет смешно, предосудительно.

В. Л. Пушкин сочинил сатиру, сюжет весьма благороден: бордель; но стихи истинно прекрасны, много силы, живости, выражения. Впрочем, и у нас добра мало. Все тот же вкус, та же привязанность к галлам, та же самая охота к увеселениям публичным и везде та же скука.

Пушкин в своей сатире удивительно смешно отдал Шихматова, Шаховского и Шишкова. Ты удивишься, мой друг, каким образом эти целомудренные герои нашли место в подобном доме. Но вот каким образом: Пушкин, описывая лихих коней, вопрошает или взывает к Шихматову и просит позволения назвать пару *двоицею*, а певец «Петриады» отвечает:

Но к черту ум и вкус! Пишите в добрый час!

### 30. Н. И. Гнедичу

[Апрель 1811]

⟨...⟩ Державин написал письмо к Тургеневу, в котором он разбранил Жуковского и осрамил себя. Он сердится за то, что его сочинения перепечатавают, и, между прочим, говорит, что Жуковский его ограбил, ибо его книги не расходятся, а Жуковский насчет денег такая же живая прореха, как ты и как я. Вот люди! Поди, узнай их! А как станут говорить о благородстве, о чувствах, о любви к ближнему, так хоть бы кому!

Кстати, об издании Жуковского. Скажу тебе, что его здесь бранят без милосердия. Но согласись со мною: если выбирать истинно хорошее, то нельзя собрать и одного тома. Если хотеть дать понятие о состоянии нашей словесности, то как делать иначе? Печатать и Шаликова, и Долгорукова, и других. Впрочем, эти книги суть истинный подарок любителям светским и нам — писателям, как для справок, так и для чтения. Лучшая сатира на Шишкова, какую кто-либо мог сделать, находится в этом собра-

нии, то есть его стихи, его собственные стихи, которые ниже всего посредственного.

Посылаю тебе стихи князя Вяземского на Шаликова, который хотел ехать в Париж. Они очень остры и забавны. В этом роде у нас ничего нет смешнее\*. <...>

Опиши мне заседание лицеза. Говорят, у вас чудеса за чудесами. Голицын написал книгу о русской словесности и разобрал Карамзина и Шишкова. Вот истинный бес, и никого, видно, не боится. Другой Голицын сочинил русскую книгу для постников. <...>

### 31. Н. И. Гнедичу

6 мая [1811]

<...> У вас еще было заседание в «Беседе»? Бога ради отпиши мне об этом. Правда ли, что Хвостов написал и проговорил: «С богами говорить не должно бестолково». А с людьми как? Муравьев-Апостол читал «Жизнь Горация»? Я бьюсь об заклад, что это было хорошо. Державин... но об этом ни слова! Bravo, Шихматов, молодец! Я читал в «Цветнике» рецензию (которая истинно смешна, особливо конец, где выписан план, ход и слог поэмы «Петра» в нескольких строках) и с *вождедением* прочитал игривые строки его сиятельства к своему братцу, стихи, которые, конечно, затмят славу безбожника Вольтера в этом роде, стихи, в которых

...роскошество, чудовище престранно,  
На яствах возлежа, питается пространно.

Бесподобно! Роскошь, лежащая на пастетах, котлетах и пироговых пирогах: мысль жирная, оригинальная и — *так сказать* — немного смелая! Кто писал рецензию на Шишкова? А она истинно хороша. Признайся, любезный Николай, вздохнув от глубины сердца твоего, что Шишков ни по-французски, ни (увы!) по-русски не знает. Виват, умные головы! <...>

### 32. Н. И. Гнедичу

Мая 11-го. Вознесенье. [1811] Москва

<...> Что сказать тебе о переводчике Расина (который, конечно, Лобанов)? Есть прекрасные стихи, но не все. По крайней

---

\* Кроме, однако ж, «Леты» вашей, милостивый государь Константин Николаевич! <Приписка П. А. Вяземского>.

мере, не все совершенно то, что ты мне выписал. Например: «Пергам зрел зарево» — не гладко. *Зрел* — короткий спондей; это замечание ничтожное, согласен, но не менее того — истина.

Мне ль бесполезною земли быв тяготой...

Согласись, что *быв* делает оборот не поэтическим, *вольным*, и это большая ошибка (в Расине!!!), что *быв* противно слуху. Теперь два раза *зри*:

..Приама *зри* у ног  
Тобой спасенныя Елены *зри* восторг,—

а потом: «*Узри* свои суда». Это ошибка, ибо изменение времени не у места. Вот что я заметил. Будем же справедливы:

Но все в глубоком сне и ветр, и стон, и волны.

...и весла бесполезны

Напрасно пенили недвижны моря бездны...

И трупы ветрами несомы средь валов...

Представь весь Геллеспонт, под веслами кипящий,

*и проч.—*

прекрасно, и делает большую честь переводчику. Теперь я бы ему шепнул на ухо: не верьте похвалам или не доверяйте; завистников забудьте, пишите с богом! Но с Расином шутить нельзя. Вот главные условия переводчика Расина: *ясность, плавность, точность, поэзия* и... и... и... как можно менее словенских слов. Для первого начала это, конечно, хорошо, но ради бога, не захватите *до смерти!*

Благодарю тебя за рецензию Хвостова. Вот молодец! Единственный в своем роде! Неподражаемый, не соблазняющийся, выпененный, единоецентричный, парящий, звездящий, назидающий, упоевающий, дмящийся, реющий, гербующий, истый сочинитель, генералиссимус парнасский, вепрь геликонский, крин Пиерид, благовонная чаша, исполненная сословов и рифм, фиал, точащий согласие и, наконец, фиалка скромная, таящаяся во злаке, но не менее того благоухающая, назидающая, пленяющая, весьма усыпляющая и отревающая истинный рассудок в пользу читателей! <...>

<...> Напиши сестре, что мне надобно отправиться в Петербург для моей пользы. Я истинно все собираюсь и не могу собраться. Москва, рассеянность, здешний род жизни, эти праздные люди вовсе меня испортили. Я потерял последнее дарование, становлюсь глуп и вот уже более четырех месяцев как не только писать, но даже и читать не могу. Одним словом, я стал ленив не так, как Шолио ленился некогда в счастливом Фонтене, но так, как кучер Сенька ленился на сене, заголя вверх рубашку. Я сделался великим скотом, любезный мой друг, но что бы то ни было, даже и в образе осла, даже и в образе Хвостова, буду тебя любить до тех пор, пока язык не прильпнет к гортани. <...>



29 мая [1811]

⟨...⟩ Не согласен в рассуждении Шишкова. Ты говоришь, что он умен, Бог с ним! Иные смеялись, читая его слово, говоренное в *Беседе*, а я плакал. Вот образец нашего жалкого просвещения! Ни мыслей, ни ума, ни соли, ни языка, ни гармонии в периодах: *une stérile abondance de mots\**, и все тут, а о ходе и плане не скажу ни слова. Это академическая речь? Где мы?.. Далее: человеку, желающему преподавать с ученою важностию законы вкуса, этому человеку перевести с италиянского «Крепость», сочинение какого-нибудь макаронщика, достойное «Острова любви», и наконец, подписать свое имя!.. Нет, это нимало не смешно, а жалко. После этого твой умница напечатал с великими похвалами Станевича казанью, в которой нет ни смысла, ниже языка... И этот человек, и эти люди бранят Карамзина за мелкие ошибки и строки, написанные в его молодости, но в которых дышит дарование! И эти люди хотят сделать революцию в словесности не образцовыми произведениями, нет, а системою новою, глупою! И я чтоб их хвалил!.. Но подожди; и у нас будет беседа: Кутузов, Мерзляков, Каченовский, Антонский со всем причетом московских профессоров, которые, как известно, по скромности

(Il est facile, il est beau pourtant  
D'être modeste lorsque l'on est grand)\*\*

скрывают имена свои от прозорливой публики, ничего не пишут и писать не в состоянии, но все бранят и, не имея понятия о истории Карамзина, бранят ее без пощады. Ложные пророки! Все эти господа составят общество á l'instar\*\*\* петербургского. План уже готов. Ты говоришь, что в Москве нет людей! А Карамзин, а Нелединский?.. У последнего я недавно обедал и просидел до 9 часов вечера. Он читал свои стихи — время летело! Счастливый Шоло и Анакреон нашего времени, Нелединский ленив не потому, что лень стихотворна, а потому, что леность — его душа. Нега древних, эта милая небрежность, дышит\*\*\*\* в его стихах. Он много перевел из Пирона, но как перевел! Превзошел его! Что нужды до рода, я удивляюсь дарованию.

Теперь посылаю тебе Пушкина сатиру, которую прочитай Алексею Николаевичу. Об этом меня просил Пушкин. Стихи

\* полное отсутствие слов (*франц.*).

\*\* Легко и хорошо, однако,

Быть скромным, когда велик (*франц.*).

\*\*\* наподобие (*франц.*).

\*\*\*\* Галлицизм, не показывай Шишкову! (*Прим. К. Н. Батюшкова.*)

прекрасны. Вообще ход пьесы и характеры выдержаны от начала до конца.

«Панкратьевна, садись! Целуй меня, Варюшка!  
Дай пуншу! Пей, дьячок!»... И началась пирушка!

Вот стихи! Какая быстрота! Какое движение! И это написала вялая муза Василия Львовича! Здесь остряки говорят, что он исполнен своего предмета, *il est plein de son sujet*, то есть... Как бы то ни было, в этой сатире много поэзии. Хочешь ли того, что Мармонтель называет в своей поэтике *délicatesse*?

Свет в черепке погас, и близок был сундук...

Это прелестно; но это все не понравится гг. беседчикам, которые говорят:

Но к черту ум и вкус! Пишите в добрый час! <...>

#### 34. П. А. Вяземскому

7 июня [1811]

Я совершенно собрался ехать в деревню, но прежде отъезда хотел проститься с тобой, любезный князь, с Кат(ериной) Андр(еевной) и Никола(ем) Мих(айловичем) — так верно бы не уехал. Я буду к вам в понедельник или во вторник и притащу девицу-Жуковскую, которую я видел сегодня. Здесь нового ничего нет, я же просидел так долго в комнате, à cause de mon tic douloureux ou malheur eux\* и ничего не знаю. Кстати: В. Л. Пушкин прислал послание к Жук(овскому), которое, как и все его стихи, гладко и хорошо написано — а в мыслях, показалось мне, связи нет никакой. — Это его обыкновенный манер, да вот что необыкновенно: он тут так бреет Шишкова, — без пощады!.. много забавных стихов.

Чем тебя подарить на отъезд? — в бумагах покойного М. Н. Муравьева я отыскал эту рукопись, которую у сего препровожаю — ни слова в ее пользу. <...>

#### 35. Н. И. Гнедичу

[Июль 1811]

<...> Ты прав: сатира Пушкина есть произведение изящное, оригинальное, а он сам еще оригинальнее своей сатиры. Вязем-

\* из-за моей мучительной, несчастливой болезни (франц.).

ский, общий наш приятель, говорит про него, что он так глуп, что собственных своих стихов не понимает. Он глуп и остер, зол и добродушен, весел и тяжел, одним словом — Пушкин есть живая антитеза. Скажи мне, как примут его стихи ликеане? Что мне сказать о московском пантеоне? У нас с тобою одна участь, мой милый друг: меня предлагали в члены, и некие мужи отказали. Признаюсь тебе: я желал бы быть членом какого-нибудь общества, затем что это пробудило бы мою леность, ужасную леность, которою я и сам начинаю гнушаться. Но ни московские, ни питерские собратия не могут иметь сильного влияния на мой дух: и те, и другие вялы, и те, и другие *слепотствуют во мгле*.

⟨...⟩ Я тебе ничего не писал о «Гимне Венере». Твои стихи мне понравились, они имеют сладость, которая прилична Венере Филомете; но мера мне не нравится: это перебитый шестистопный стих. Гекзаметр, каким писал Мерзляков, Тредиаковский в «Тилемахиде», имеет более сладости и правильности. *Зефиры тиховейны* — прекрасно.

Что ты делаешь с своим Гомером? Пришли мне что-нибудь. Я здесь на досуге и рад буду читать и перечитывать. Я ничего не дам в лицей. Бог с ним! Кажется мне, я сделаю осторожно, ибо меня у вас в Питере не любят. В Москве был Марин, стихотворец-офицер, который читал нам: 1-е) сатиру, 2-е) сатиру, 3-е) «Меропу», 4-е) послания. Я с ним ужинал часто у Вяземского. Он не пьет шампанского, а пишет стихи. Радищев все толстеет. Карусель был очень богат и довольно неинтересен. ⟨...⟩

36. Н. И. Гнедичу

[Август 1811]

⟨...⟩ Что ни говори, любезный друг, а я имею маленькую философию, маленькую опытность, маленький ум, маленькое сердчишко и весьма маленький кошелек. Я покоряюсь обстоятельствам, плыву против воды, но до сих пор, с помощью моего доброго гения, ни весла, ни руля не покинул. Я часто унываю духом, но не совсем, а это оправдывает мое маленькое... *mon infiniment petit\** (вспомни Декарта), которое стоит уважения честных людей. Я заврался, но ты меня понимаешь, что тебе делает большую честь. Я заврался, но знаешь ли отчего? Оттого, что пустился в философию. Это со мной обыкновенно бывает по осени.

Я читаю теперь Сен-Ламберта и бываю доволен, как ребенок.

---

\* мое бесконечное малое (франц.).

Сен-Ламберт — добрый человек, с ним весело беседовать, по крайней мере, лучше, нежели с Шатобрианом, который — признаюсь тебе — прошлого года зачернил мое воображение духами, Мильтоновыми бесами, адом и бог весть чем. Он к моей лихорадке прибавил своей ипохондрии и, может быть, испортил и голову, и слог мой: я уже готов был писать поэму в прозе, трагедию в прозе, мадригалы в прозе, эпиграммы в прозе, в прозе поэтической. Не читай Шатобриана!

Но что делают ваши Славяне? Бываешь ли ты во пиру во *Беседе*? Ныне осень на дворе, и пчелы собираются в улей, и в вашем улье дым коромыслом. Один читает; другой говорит: изрядно; третий хвастает; четвертый хвалит себя и Шишкова, ибо Шишков воплотился. Что делает Орфей Орфеич? Что делает Шаховской? Что делают все, и в этом числе Бунина, с которой я помирился? Она написала «О счастье». Предмет обильный и важный, слишком важный для дамы. В ее поэме нет философии (а предмет философический), нет связи в плане, много чего нет, но зато есть прекрасные стихи. Прочитай конец третьей песни, описание сельского жителя. Это все прелестно. Стихи текут сами собою, картина в целом выдержана, и краски живы и нежны. Позвольте мне, милостивая государыня, иметь счастье поцеловать вашу ручку! Клянусь Фебом и Шишковым, что вы имеете дарование!

Я ничего не пишу, все бросил. Стихи к черту! Это не беда; но вот что беда, мой друг: вместе с способностью писать я потерял способность наслаждаться, становлюсь скучен и ленив, даже немного мизантроп. Часто, сложа руки, гляжу перед собою и не вижу ничего, а смотрю, а на что смотрю? На муху, которая летает туда и сюда. Я — мечтатель? О, совсем нет! Я скачу и, подобно тебе, часто, очень часто говорю: люди все большие скоты и аз есмь человек... окончи сам фразу. Где счастье? Где наслаждение? Где покой? Где чистое сердечное сладострастие, в котором сердце мое любило погружаться? Все, все улетело, исчезло вместе с песнями Шолою, с сладостными мечтаниями Тибулла и милого Грессета, с воздушными гуриями Анакреона. Все исчезло! И вот передо мной лежит на столе третий том «*Espritide L'histoire*» par Ferrand\*, который доказывает, что люди режут друг друга за тем, чтоб основывать государства, а государства сами собою разрушаются от времени, и люди опять должны себя резать и будут резать, и из народного правления всегда родится монархическое, и монархий нет вечных, и респуб-

---

\* «Дух истории» Феррана (франц.).

лики несчастнее монархий, и везде зло, а наука политики есть наука утешительная, поучительная, назидательная, и истории должно учиться и размышлять... и еще бог знает что такое! Я закрываю книгу. Пусть читают сии кровавые экстракты те, у которых нет ни сердца, ни души.

Теперь берусь за Локка. Он говорит мне: для счастья своего ищи, ищи истины. Но где она? Был ли он сам меня счастливее? Гоббес боялся чертей, а сам писал против бестелесных тварей. Так, мой Николай, науки не могут питать сердца. Они развлекают его на время, как игрушки голодных детей, а сердце все просит любви: она — его пища, его блаженство; и мое блаженство — ты знаешь это — улетело на крыльях мечты. Есть ли у меня желания? Есть ли надежда? Я часто себя спрашиваю и отвечаю: нет! <...>

### 37. П. А. Вяземскому

26 августа 1811 г.

Ваше сиятельство милостивый государь князь Петр Андреевич!

Я имел счастье получить письмо Ваше, которое весьма обрадовало *мое бесконечное малое*. Вы, милостивый государь, мудрец в семнадцать лет, открыли много истин для блага человечества, имели дух пройти чрез все поприще познаний человеческих и сделали по части философии несравненно более завоеваний, нежели Александр, родившийся в Пелле; этого мало: вы украсили чело ваше миртами божественных муз и граций, а «Вестник Европы» эпиграммами; вы имеете много вкуса, серую четверню и собрание новейших водевилей. Вы, князь, отрасль тех сладостных князей, которые дали свое имя Вязме, славному городу, и пряникам, которые его сиятельство князь И. М. Долгорукий воспел вместе с Глафиною и с прочими *гостями его сердца*; вы, князь, стихотворец, титулярный советник, материалист, друг великих людей, враг предрассудков, одним словом — наш Панар, Гамилтон, Пирон и все, что вам угодно, изволили ошибиться насчет моей души, называя ее шаликовскою. Войдите в себя, ваше сиятельство! спросите себя хладнокровно, может ли *такой-то* иметь душу редактора «Аглаи», творца «Свободных чувствований», в которых ничего свободного, ниже вольного, не бывало, и потом сделайте ваше заключение; я уверен, оно будет в мою пользу, и я скажу, вздохнув: и великие души ошибаются! <...>

[Сентябрь 1811]

⟨...⟩ Я получил твою 9-ю песнь. Мое суждение пришло. Теперь скажу тебе, что я нашел в ней много ошибок против языка, против ударения слов: ошибки важные, которые ты должен исправить. Я нашел еще много словенских слов, которые вовсе не у места. Они хороши в описательной поэзии, когда говорит поэт, но в устах героев никуда не годятся: они охлаждают рассказ и делают диким то, что должно быть ясно. Я нашел много излишней простоты; стихи твои слишком мало украшены, слишком похожи на перевод, на прозу: это ошибка важная. В стихах твоих много мягкости, гармонии, но иные грубы, и есть стечение слов и звуков вовсе неприятных. Исправь это или, лучше сказать, дай времени исправить ошибки сии, которые принадлежат к слогу, без которого нет прочной славы. Я жалею, что не могу с тобою поговорить обо всем этом лично: я, может быть, принес бы тебе пользу. Но Кострова не страшись. Я его не читал в «Вестнике», да и читать не хочу после твоего перевода. Он писал, покойник, хорошо, но он, вопреки своей славе, состарелся. Бог знает, что тому виною! Не словенский ли язык и его *сице* и сели в *колеснице*? Он имел дарование, но я уверен, что ты гораздо более вникнул в дух Гомера, одним словом, что у тебя более сего чувства изящного, которое должно иметь, переводя божественного слепца. Берегись одного: словенского языка.

Каченовский меня не удивляет. Мерзляков любит хвалить себя, себя и еще себя. Эти люди Карамзина не ставят ни в грош. Для них ничто цены не имеет и иметь не может. И что значит их похвала? Я знаю, что тебя ценить умеют люди с сердцем и с истинным дарованием: я это слышал, и с меня довольно. Я рад, что ты переменил свое мнение о Славонофиле. Что он написал хорошего? Хотя б одну страницу! Кого он хвалил? Кем восхищается? Мертвыми, потому что они умерли, да живыми-мертвыми! Нет, мой друг, тот, кто восхищается Шихматовым, Суворовым-профессором, Захаровым и прочими, не имеет да иметь не может дарования.

Что с тобою сделал Катенин? Это меня беспокоит. Я от него ожидал ума. ⟨...⟩

[Октябрь 1811]

⟨...⟩ Я все еще в деревне и не наверное буду в Питере: все зависит от судьбы, с которой я борюсь, как атлет, храбро, пока

станет сил. Беда со всех сторон, а отрады ни от кого. Хотя бы в Беседе писали поумнее, хотя бы для моего спокойствия Каченовский врал менее, Хвостов забавнее, и Шишков более стихами на образец «Крепости» или того примера, который *цитирует* Державин: «Купаться, купаться теперь нам пора». Вот чего я требую от судьбы: кажется, немного!

⟨...⟩ Одним словом, меня и люди, и обстоятельства застудили. Я становлюсь тверд, яко «Крепость» Шишкова, отца Шишкова (я ему прилагаю слово отец, точно так, как Вергилий Энею: *pater Aeneas*); я становлюсь глуп и туп, яко Шихматов; я становлюсь дерзок, яко Каченовский, остер и легок, как Карабанов, миловиден, яко мученик Штаневич, распятый Каченовским. Я становлюсь не тем, что был, но гораздо хуже, вялее, рухлее, нежели Саула песнопение.

Кстати об Сауле, читал ли ты сию кантату? Как Саул засыпает! О, это бесподобно! Вот карикатура! Да и как не заснуть от этой меры:

Колебав, приподняв...  
Вот хаос!.. Бездна... Глубоко!  
Высоко!.. Лира! ⟨...⟩

#### 40. Н. И. Гнедичу

7 ноября [1811]

⟨...⟩ Я тибуллю, это правда, но так, по воспоминаниям, не иначе. Вот и вся моя исповедь. Я не влюблен.

Я клялся боле не любить  
И клятвы, верно, не нарушу:  
Велишь мне правду говорить?  
И я уже немного трушу.

Я влюблен сам в себя. Я сделался или хочу сделаться совершенным *янькою*, то есть эгоистом. Пожелай мне счастливого успеха. Спасибо за описание моих успехов. К ним нельзя быть нечувствительным; они суть мечта, но всегда приятная для сердца. Называй славу, как хочешь, а слава есть волшебница весьма волшебная.

«Мечта» понравилась, но, конечно, не всем. Этот род стихов не можно назвать общим. Притом же в ней много ошибок, а плану вовсе нет. Жуковский ее называет арлекином, весьма милым: я с ним согласен. Она напечатана с поправками, но я ее и еще раз переправил. Увидишь сам какво.

Посылаю и тебе твои стихи. Я заметил кое-что и намекнул поправки. Есть прекрасные места. Конец очень хорош, и вся пиеса хороша, только должно почистить.

Это почистить напоминает мне анекдот, который я слышал от Карамзина. Покойник Херасков, сей водяной Гомер, любил давать советы молодым стихотворцам и, прощаясь с ними, всегда говорил, приподняв колпак: «Чистите, ради бога, чистите, чистите! В этом вся и сила. Чистите! О, чистите, как можно более чистите, сударь! Чистите, чистите, чистите!» Начало правь:

Ты будешь чело мое мрачить бременя.

Бременя — мне не нравится; и этот стих холоден, ибо дело не о челе, а о сердце, о душе, о сердечных чувствах. Есть ошибки против меры, оттого что ты короткие слова ставишь вместе с долгими: от этого родится негладкость. Исправь и это. И ради бога пришли мне эту пиесу. Она мне по сердцу и очень хорошо написана. Прибавь еще *la mélancolie de Lahagre\**, вот она и будет кстати в описании сладостной мечты. Подражай смело. Здесь она *personnifiée\*\**. Все стихи прекрасны и достойны перевода. Боже мой, чем Капнист занимается? Добро бы свое выдумывал! А то старые бредни выпускает в свет, бредни дураков шведов, упсальских профессоров, бредни Бальи-астронома, бредни этимологистов, которым насмеялся Вольтер досыта, бредни людей сумасшедших, бредни бесполезные, которые не питают ни ума, ни сердца, бредни головы аж гуде! Не лучше ли было заниматься критикой русской истории или словесности, изблечением Шишкова, начертанием жизни Ломоносова, жизни, которую можно написать столь хорошо перу красноречивому? О, жалкий ум человеческий! Прости!

Вылечи обструкции водой и моционом.

#### 41. П. А. Вяземскому

*Числа не знаю [Ноябрь 1811]*

Я имел нужду в твоём письме, любезный мой друг! Будучи болен и в совершенном одиночестве, я наслаждаюсь одними воспоминаниями, а твоё письмо привело мне на память и тебя, и Жуковского, и наши вечера, и наши споры, и наши ужины, и все, что нас веселило, занимало, смешило, начиная от Шишкова до слуги Пушкина, того Пушкина, который теперь, с кудрявой головой, в английском фрачке, с парой мадригалов в штанах и с большим экспромтом, заготовленным накануне за завтраком, экспромтом, выписанным из какого-нибудь «*Almanach des Muses*»\*\*\*, является в обществе часу около девятого, пьёт

\* меланхолию Лагарпа (франц.).

\*\* персонифицирована (франц.).

\*\*\* «Альманах муз» (франц.).



чай, картавит по-французски, бранит славенофилов, хвалит Лагарпов псалтырь и свою бледную красавицу и, наконец, когда ночь спустится на петропольские башни и ударит полночь, наш Пушкин — который никогда не ужинает — pian piano\* возвращается домой в объятия своей Пенелопы-Малиновки и... и... с помощью муз и Феба он делает то, что делал девять месяцев пред тем днем или ночью, в который он назвал себя в первый раз отцом своего исчадия и, подобно Гектору, прижал к груди своей нового Астианакса. Вот тебе гадательная история о Пушкине, а моя еще глупее. Так, любезный мой шалун, не увижу тебя в халате, нет, судьбы иначе гласят: будь болен, сиди сиднем, а что еще хуже, поезжай в Питер, гляди на Славян и Варягов, на Беседу, на Академию и черт знает на что! Поверь мне, что если б можно было, то я бы летел в Москву, летел бы в Сурат, чтобы с тобой увидеться и насладиться твоим лицемерием и пожать твою руку и сказать тебе... все, что придет на сердце. Но ты сам сказал весьма благоразумно: «Перст судьбы куролесит»... а человек молчит. Dixi\*\*.

А прибавлю следующее: Вяземский за неимением времени рассуждать сделался энтузиастом, хвалит и восхищается и, будучи на розах (благодаря бога), всё находит прелестным, бесподобным или меня морочит. Милонов у него сделался Державиным за то, что перевел Горациеву оду! Шутки в сторону: перевод хорош, но есть и слабости. Милонов с большим дарованием, но никогда того не напишет, что написал наш Орфейч, сей божественный стихотворец и чудесный враль. Милонова перевод у меня перед глазами, но мне надобно быть посписхотительнее, потому что — позвольте высморкаться и прокашляться! — я и сам написал кое-что, что прошу прочитать и сказать ваше суждение без всякого пристрастия. Это конец послания «К Пенатам». Поэт, то есть я, адресуется к Вяземскому и Жуковскому; но этого не показывай никому, потому что еще не переправлено; переписать все лень и лень необоримая. Конец живее начала. А?

Впрочем, любезный друг, я начинаю сердиться на стихи, особливо на тех людей, которые жизнь свою проводят над какими-то игрушками, и все это для потомства! Самый В. Пушкин, Пушкин, который усовершенствовал себя под шестьдесят лет, этот Пушкин удивительно смешон, и я готов сказать ему, слушая его послание: «Что это доказывает?» Конечно, стихи — дело прелестное, но они похожи на вино, и от них можно опьянеть. Трудно найти середину: от Нелединского до Хвостова один шаг. Я читал Иванова стихи, и в них много хорошего.

---

\* тихонько (итал.).

\*\* Я высказался (лат.).

очень счастливо. Но этот стих совершенно купеческий:

Ты без белил бела, ты без румян румяна.

Вот два стиха, которые вовсе друг на друга не похожи.

Что с Жуковским сделалось? Он вовсе перерождается. Теперь надобно ему подраться с кем-нибудь на пистолетах, увести чью-нибудь жену, перевести Пиронову оду к Приапу, заболеть приапизмом и, наконец, застрелиться; последнее он может отсрочить до тех пор, пока я и ты не отправимся за Стикс, ибо что нам делать без него, а он, злодей, и без нас живет припеваючи. <...>

Сделай одолжение, любезный князь, пришли мне музыку на мой романс; ты меня очень одолжишь: я ее велю сыграть моему музыканту на фаготе. Если Велеурский уехал, то попроси его, чтобы он тебе прислал эту штуку.

42. Н. И. Гнедичу

27 ноября — 5 декабря 1811 г.

<...> Если я говорил, что независимость, свобода и все, что тебе угодно, подобное свободе и независимости, суть блага, суть добро, то из этого не следует выводить, что Батюшков сходит с ума и читает своего Горация, Балдуса, Скривериуса и Матаназия с Метафрастиком, печатного и рукописного в Lipsia или в Лейдене, или где тебе угодно. А из этого следует именно то, что Батюшков, живучи один в скучной деревне, где, благодаря судьбе, он, кроме своего Якова да пары кобелей, никого не видит, не слышит и не увидит, и не услышит; Батюшков не хочет и не должен, зная себя столько, сколько человек себя может знать, не должен, говорю я, променять своего места на место канцлера, архиерея или камергера; ибо теперь Батюшков, так как ты его видишь, скучает и имеет право скучать, ибо в 25 лет погребать себя никому неприятно. Но тогда, переменя свое место на другое, несвойственное, неприличное, господин Батюшков был бы вдвое несчастнее и, что всего хуже, вдвое глупее, несноснее для себя, для других и для самого Гнедича. Еще раз, и да будет это в последний, разуверь себя на мой счет и не делай заключений, вредных дружбе, оскорбительных моему сердцу, ибо я всегда думал и думаю, что мечтатели, если и могут иметь пламенную голову, сильное воображение, ум, все, что тебе угодно, зато не имеют души и в сердце их холодно, как теперь на дворе; а я чувствую, мой друг, что у меня есть сердце всякий раз, когда

помышляю о тебе и о людях, мне любезных. <...> Я писал о независимости в стихах, о свободе в стихах; на судьбу мою никому, кроме тебя, не жаловался, и то в прозе; а служить из тысячи рублей жалованья титулярным советником, служить и готовиться к экзамену, подобно Митрофану, твердя «Аз же есмь червь, а не человек... поношение человеков», повторять зады и набивать себе голову римским кодексом, поэтическими подробностями из Зябловского, аксиомами из Эвклида, служить писцом, скрибом в столице, где можно пить, где я пил из чаши наслаждений и горестей радость и печаль, но всегда оставался на моем месте,— нет, нет, это все выше меня и выше тебя! <...>

Еще одно замечание на твое письмо: «Я имею неотъемлемую свободу судить, что мне прилично и неприлично, и действовать таким образом». Эту фразу подари Каченовскому: он тебя поблагодарит. Он, имея не-от-ем-ле-му-ю свободу судить, изволит забавляться насчет Мольера, Вольтера и всех умных французов весьма забавным и глупым образом. Там, где он не умничает, он сносен; там, где он начнет умничать, он делается педантом, совершенною фиетою. <...>

Не видал ли ты Пушкина? Он написал «Послание к Дашкову», Измайлов — басни, сказки, видения и проч., а ты мне этого не присылаешь. Еще повтори тебе: пиши поболее, пиши о себе, о других; но мне не надобно таких истин, какова эта: «Я живу в Петербурге, ты живешь в деревне по свободным обязанностям». Что я живу в деревне, это я знаю; что ты в Петербурге, и это чувствую; но что значат свободные обязанности? «О логика, несть без тебя спасения!» — говорит Синекдохос. Заметь, что ты это сказал весьма серьезно.

Открылась ли Беседа? Что делают ваши петухи? Зачем хочешь печатать в Беседе? По крайней мере, я не советую: надобно иметь характер и золота в навоз не бросать, истинно в навоз, ибо, кроме «Горация» Муравьева и Крылова басен, там ничего путного не видел. Львова стихи похожи на Шаликова и напоминают мне «Le ruisseau amant de la prairie»\*, сонет Фонтенелев, над которым со смеху надседался Вольтер. Ни слогу, ни мыслей, ни стихов! Все площадное, вялое! У Шишкова мысли жидкие, а слог черствый. А Штаневич? Бездна премудрости! Совершенный Шатобриан, но без ума, без воображения! Нет, я им слуга покорный! «Вестник Европы» худ или хорош, а все лучше их мараний. Не печатай в *Беседе*, не стыди себя! Бога ради поправь стихи в «Унынии» по моим замечаниям, и все будет прелестно.

Ни утро веселостью, ни день красотоми  
Не радуют чувство его: он умер душой и проч.

\* «Сиреневые ангелы» (франц.).

Прекрасно! Заметь, что после цезуры, в этом размере стихов надобно, чтоб ударения были весьма верны, без того все будет дурно.

Но очи отверстые зрят *одр* токмо хладный...  
Как с бледных ланит его слез токи струясь...  
Равно удаляющаяся\* в *тьнь* *дебрей* безмольных...

Здесь ударения глухи, и потому стихи неплавны, *скачут*, неприятны. После цезуры должно ставить длинные слова, и стихи будут плавнее, например:

При девах ласкающих, в беседе с друзьями,

или по крайней мере чтоб слоги были плавны и один другого не съедали, и потому стих вышеписанный:

Как с бледных ланит его слез токи струясь —

не так худ, хотя слова и короткие после цезуры, а все лучше поставить одно длинное.

Впрочем, все хорошо. И стихи из Лагарпа прекрасны. Еще раз переправь, не поленись, а мои замечания справедливы. <...>

Все писатели, начиная от Аристотеля до Каченовского, беспрестанно твердили: «Наблюдайте точность в словах, точность, точность, точность! Не пишите на место *дом* — *гром*, на место *печь* — *меч* и так далее». А ты, любезный Николай, пишешь не краснея, что мне скоро тридцать лет. Ошибся, ошибся, ошибся шестью годами, ибо 24 ни на каком языке не составляют 30. Где же точность? Я, с моей стороны, не упущу из рук эти шесть лет и, подобно Александру Македонскому, наделаю много чудес в обширном поле... нашей словесности. Я в течение этих шести лет прочитаю всего Ариоста, переведу из него несколько страниц и, в заключение, ровно в тридцать лет, скажу вместе с моим поэтом:

Se a perder s'a la libertà, non stimo  
Il piu ricco capel, ch'in Roma sia\*\*,

ибо и в тридцать лет я буду тот же, что теперь, то есть лентяй, шалун, чудак, беспечный баловень, маратель стихов, но не читатель их; буду тот же Батюшков, который любит друзей своих, влюбляется от скуки, играет в карты от нечего делать, дурачится как повеса, задумывается как датский щенок, спорит со всяким, но ни с кем не дерется, ненавидит Славян и мученика Жоффруа,

\* Я не люблю этих глухих усекновений. Если б *удаляясь*, то было бы лучше...  
Вот безделки, но важные для уха. (Прим. К. Н. Батюшкова.)

\*\* Потерять свободу я не согласен.

Самый богатый тот, кто в Риме (*итал.*).

тибуллит на досуге и учится древней географии, затем чтоб не позабыть, что Рим на Тевере, который течет от севера к югу; и в тридцать лет он будет все тот же, с тою только разницею, что он называет тебя другом десять лет, а тогда к этим десяти прибавит еще пять, но больше любить тебя, больше чувствовать к тебе и дружества, и привязанности, кажется, дело несбыточное. <...>

<...> Завтра ты именинник, и надобно тебя поздравить: вот зачем я еще должен прибавить целый лист. Итак, поздравляю тебя, мой милый друг, будь счастлив, весел, учен, люби меня, стихи и вино, *вино* — *отраду* нашу, по словам твоего предшественника Кострова. Но что ты всегда будешь любить стихи, вино и меня, твоего друга...

Сей старец, что всегда летает,  
Всегда приходит, отъезжает,  
Везде живет — и здесь, и там,  
С собою водит дни и веки,  
Съедает горы, сушит реки  
И нову жизнь дает мирам,  
Сей старец, смертных злое бремя,  
Желанный всеми, страшный всем,  
Крылатый, легкий, словом — *время*,  
Да будет в дружестве твоём  
Всегда порукой неизменной  
И, пробегая глупый свет,  
На дружбы жертвенник священный  
Любовь и счастье занесет!

Вот мое желание: оно одинаково и в прозе, и в стихах. Я тебе позволяю в мои именины написать ко мне столько же стихов и выпить за мое здоровье бутылку... воды, так как я это торжественно сделаю завтра при двух благородных свидетелях, при двух друзьях моих, при двух... курчавых собаках.

Я вчера получил собрание стихов Жуковского. Как мои стихи — «Воспоминание» — исковеркано! Иные стихи пропущены, и рифмы торчат одне! Впрочем, я этим изданием доволен, доволен твоим «Перувианцем», доволен Воейковым «Посланием о благородстве», доволен Пушкиным, доволен Кантемиром и Петровым, а дряни все-таки целое море! Отгадайте, на что я начинаю сердиться? На что? На русский язык и на наших писателей, которые с ним немилосердно поступают. И язык-то сам по себе плоховат, грубенец, пахнет татарщиной. Что за Ы? Что за Щ? Что за Ш, ШИИ, ШИИ, ПРИ, ТРЫ? О варвары! А писатели? Но бог с ними! Извини, что я сержусь на русский народ и на его наречие. Я сию минуту читал Ариоста, дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка и говорил с тенями Данта, Тасса и сладостного Петрарка, из уст которого что слово, то блаженство. Прощай!

«Альцеста» и «Поликсена» Мерзлякова прекрасны. Это ему делает честь. Есть места прелестные и невольно исторгают слезы.

19 декабря [1811]

Маленький Овидий, живущий в маленьких Томах, имел счастье получить твою большую хартию. Чудеса, любезный друг, чудеса! Я со смежу помирал, читая описание стычки журналистов. И Шаликов, который, оправляя розу, говорит: «Вы злой!» И Каченовский, который, оправляя зонтик, отвечает: «Вы дурак!» Все это забавно, прекрасно! Что же касается до меня, любезный москвич, то я, с моей стороны, принимаю спасительные меры и, боясь поражения нечаянного, хочу нарядиться в женское платье или спать себе броню, изваять шлем, щит и прочее из Шаликова «Аглаи» или, по крайней мере, подбить мой старый мундир лоскутками этой ветошницы, затем что, мой милый друг, этот грузинец опасен — *set autre Alexandre, set autre Achille!*\* Он, чего доброго... но шутки в сторону: он — страшный скотина, и прошу тебя именем дружбы не писать на него эпиграмм. Если б он был человек, а не Шаликов, то стоил бы того, чтоб ему я или ты, или кто случится, проколол ему желудок, обрубил его уши и съел живого зубами... но он Шаликов! Ради бога не отвечай ему! Пусть Каченовский с ним воюет явно на Парнасе и под рукой в полиции,

mais nous autres  
N'allons pas imiter les pédants de Molière!\*\*

Но каков же этот Шаликов? Что это значит? Родясь mopсом, захотел в Мидасы, и Мидас прогремел кошельком и где же — на рынке! Ah, toujours de l'esprit, toujours de l'esprit, monsieur Trissotin, monsieur de Trissotin!\*\*\* Но этот Триссотин — человек преопасный: я это знал давно. Он готов на тебя жаловаться митрополиту, готов прокричать уши всем встречным и поперечным, что его преследуют, что его бранят, а потому бранят и бога, что он стихотворец, князь и чурлы-мурлы, то есть грузинец: ergo\*\*\*\* — всех надобно жечь и резать, кто осмелится бранить, поносить, бесчестить его стихотворное сиятельство. Одним словом, мой милый друг, наше дело сделано: nous avons les rieurs pour nous\*\*\*\*\*; пусть его лягается, как сивый осел: мы будем молчать. Я заметил, что истинное дарование всегда терпеливее, ибо имеет в себе истинную надеянность: Мерзляков меня любить не может,

\* это второй Александр, это второй Ахилл! (франц.).

\*\* но мы другие.

Не будем подражать педантам Мольера! (франц.).

\*\*\* Ах, по-прежнему об уме, по-прежнему об уме, господин Триссотен, господин Триссотен! (франц.).

\*\*\*\* следовательно (лат.).

\*\*\*\*\* мы смеемся про себя (франц.).

но я его всегда назову честным человеком; он был обижен мною и молчал. А эти шальные Шаликовы хуже шмелей! И посмотри, чем разродится его «Аглая». Гром и молнию бросит он на нас, гром и молнию! Теперь ему помогает мыслить и *Бланк неустыжливый*, и остроумный Макаров, и все за Преснею живущие поэты, кроме Воейкова, разумеется. Теперь он чинит свои перья и понюхивает табак. Теперь он ставит себе промывательные в задницу, чтобы *rag ricochet\** очистить свой засоренный мозг. Теперь он не пьет, не ест, бедняжка, и, подобно пифии, которая пред прорицанием жевала лавровые листья, он жует Фреронов журнал и по капле пьет чернила, разведенные слезами Авроры. Вот что он делает и пусть делает, что ему угодно. А все-таки в Москву не буду и поручаю тебе велеть выколотить пыльную спину нашего врага... розами! Не буду, мой милый друг, и быть не могу. Клянусь тебе всем, чем тебе угодно, что этого мне сделать невозможно: обстоятельства меня совершенно связывают. У меня хлопот выше ворот! Немудрено, что я пишу глупые стихи: право, голова кружится. Даю себе слово не писать ничего до тех пор, пока и люди, и фортуна будут ко мне благосклоннее. Впрочем, ты напрасно на меня нападаешь за басни «Сиротка» и «Филомела» из Лафонтена; и янисколько не метил на себя: я еще не Шаликов. Эти обе басни написаны хорошо; я их перечитал и не вижу ничего смешного.

Одна  
Со сна  
Вполглаза взглянет,  
Зевнет, еще зевнет,  
Потянется и встанет.

Это изрядно, мой Аристарх, и я сошлюсь в том на Жуковского. Впрочем, если хочешь, я никогда писать басен не стану, чтоб не быть твоею баснею. Послание переписать лень. Твои замечания справедливы. Но почему не назвать тебя внуком Аристиппа, внуком Анакреона или черта, если хочешь? Это, то есть, не значит, что ты внук, то есть взаправду, и что твой батюшка назывался Аристиппычем или Анакреонычем, но это значит то, что ты, то есть, имеешь качества, как будто нечто свойственное, то есть любезность, охоту напиться не вовремя и пр., пр., пр. Ну, понял ли, понял ли, Анакреонович?

Когда будет в вашей стороне Жуковский *добрый мой*, то скажи ему, что я его люблю, как душу. Поклонись Давыдову и скажи ему от меня, что я всякий день глупею; это его утешит, потому что он раз из зависти говорил мне: «Батюшка, ты еще не совсем глуп!» <...>

---

\* рикшетом (франц.).

Eheu, fugases\* время, мой милый Николай, а твой Овидий все еще в своих Томах, завален книгами и снегом! Когда же он будет в Питер, и того не знает, а знает то, что ты его забыл и не пишешь к нему ни строки, ленишься, бездействуешь! (Браво, брависсимо, Батюшков! И ты выдумал слово: бездействуешь! Без-дей-ству-ешь... каково? То есть, действуешь без, то есть как будто не действуешь. Понимаете ли? Лишен действия, ослаблен, изнеможен, оленивен, чужд забот, находится в инерции, недвижим ниже головою, ниже перстами и потому бездействен, не пишет к своему другу и спит.) Теперь вы понимаете, что не писать ко мне или писать редко есть то же... что бездействовать. Я, напротив того, перевел вчерась листа три из Ариоста, *посягнул* на него в первый раз в моей жизни и — признаюсь тебе — с вожделеннейшими чувствами ..... его музу (какова Аркадия???) . Шутки в сторону: я теперь в луне с моим поэтом, в луне и пишу прекрасные стихи. Прочитай 34-ю песнь «Орланда» и меня там увидишь. Если лень и бездействие (здесь они олицетворены) не вырвут пера из рук моих, если я буду в бодром и веселом духе, если... то ты увидишь целую песнь из Ариоста, которого еще никто не переводил стихами, который умеет соединять эпический тон с шутливым, забавное с важным, легкое с глубокомысленным, тени с светом, который умеет вас растрогать даже до слез, сам с вами плачет и сетует в одну минуту над вами и над собою смеется. Возьмите душу Вергилия, воображение Тасса, ум Гомера, остроумие Вольтера, добродушие Лафонтена, гибкость Овидия: вот Ариост! И Батюшков, сидя в своем углу с головной болью, с красными от чтения глазами, с длинной трубкой, Батюшков, окруженный скучными предметами, не имеющий ничего в свете, кроме твоей дружбы, Батюшков вздумал переводить Ариоста!

Увы, мы носим все дурачества оковы,  
И все терять готовы  
Рассудок, бренный дар небесного отца!  
Тот губит ум в любви, среди неги и забавы,  
Тот рыская в полях за дымом ратной славы,  
Тот ползая в пыли пред сильным богачом,  
Тот по морю летя за тирским багрецом,  
Тот золота искав в алхимии чудесной,  
Тот плавая умом во области небесной,  
Тот с кистию в руках, тот с млатом иль с резцом.  
Астрономы в звездах, софисты за словами,

\* Увы, бежит (лат.).



А жалкие певцы за жалкими стихами:  
Дурачься смертных род, в луне рассудок твой!

(Ариост, песнь XXXIV)

Вот тебе образчик и моего дурачества: стихи из Ариоста. Впрочем, засмейся в глаза тому, кто скажет тебе, что в моем переводе далеко отступлено от подлинника. Ариоста один только Шишков в состоянии переводить слово в слово, строка в строку, око за око, зуб за зуб, как говорит Евангелие. Я пропускал инде целыми октавами и мои резоны шепну тебе на ухо, когда увижусь с тобою. А теперь скажу мимоходом, что у нашего Ариоста св. Иоанн приводит Астольфа к патриархам, которые обедают с ним райскими плодами, кормят лошадь рыцаря овсом! Астольф с апостолом садится в колесницу, в ту самую, которая была послана за пророком Ильей. Св. Иоанн апостол говорит Астольфу, что он любит писателей, потому что и сам был того же ремесла. Это все мило и весьма забавно у стихотворца, потому что он об этом говорит не тем тоном, каким говаривал Вольтер в своей «Девке», но с удивительным, одним словом, с Лафонтеновым добродушием, весьма серьезно, иногда с жаром, иногда улыбаясь одним глазом; но у нас это вовсе не годится, а если не веришь, то загляни в цензурный комитет. Переводить ли?

Я читал много прекрасного в «Вестнике». Милонова стихи из Томсона и перевод Горация «*Beatus ille*»\* делают ему много чести. В нем будет путь: он рачит о слоге, выбирает слова, не гоняется за славенизмами и, как видно, боится читателя. Добрый знак! Рассуждение Каченовского о проповедниках написано холодно, но рачительно, слогом чистым, с критическим умом, и есть одна из его саро d'орега\*\*. Рассматривание Шлецера и Глинки, в котором сей последний выведен на чистую воду, можно прочитывать с удовольствием. <...>

Вяземский зовет меня в Москву вот каким образом:

Шихматов пишет непонятно  
И рылом возмутил Неву,  
Хвостов — писака неопрятной...  
Все так, а приезжай в Москву!  
Шишков в рассудок, в муз бодает  
И, в королевича Бову  
Влюблясь, Вольтера проклиняет...  
Все так, а приезжай в Москву!  
Барашек по полю рассея,  
Ест с ними Шаликов траву;  
Невзоров толст, в навозе прея...  
Все так, а приезжай в Москву!

Это забавно!

Прислать ли еще замечаний на Гомера?

\* «Счастливый» (лат.).

\*\* шедевр (итал.).

27 февраля 1812 г.

Виноват, мой милый князь, перед тобою! Пропустил удобный случай писать с Пушкиным, который отправился отсюда в роковой день накануне чтения Шаховского «Расхищенных шуб»; я не мог даже и видетсья с добрым нашим Пушкиным, не мог с ним проститься, плакать с ним (а он, говорят, заливался слезами, прощаясь с Севериным, Дашковым и Блудовым), не мог, потому что болезнь меня замучила. И теперь пишу тебе насилу. Пушкин у вас! Прими его на руки; он здесь замучен подагрой и Славенами; утешь его: скажи ему, что Шаховской читал сам свои «Шубы» (а он читает как дьячок), что его «Шубы» очень холодны; что в его «Шубах» не одному Пушкину досталось, но всем честным людям: Карамзину, Блудову. Признаюсь тебе, любезный друг, что наши питерские чудачки едва ли не смешнее московских. Ты себе вообразить не можешь того, что делается в *Беседе*. Какое невежество, какое бесстыдство! Всякое лицепрятие в сторону! Как? Коверкать, пародировать стихи Карамзина, единственного писателя, которым может похвалиться и гордиться наше отечество, читать их глупые насмешки в полном собрании людей почтенных, архиереев, дам и нагло читать самому!.. О, это верх бесстыдства! Я не думаю, чтоб кто-нибудь захотел это извинять. Я же с моей стороны не прощу и при первом удобном случае выведу на живую воду Славян, которые бредят, Славян, которые из зависти к дарованию позволяют себе все, Славян, которые, оградясь щитом любви к отечеству (за которое я на деле всегда был готов пролить кровь свою, а они чернила), оградясь невежеством, бесстыдством, упрямством, гонят Озерова, Карамзина, гонят здравый смысл и — что всего непростительнее — заставляют нас зевать в своей *Беседе* от 8 до 11 часов вечера. <...>

Вот сию минуту приехал ко мне Блудов, про которого Шаховской написал в своих «Шубах», что он ничего, кроме «*Mercur de France*»\*, не читает. Дмитрий Николаевич так ему отвечал:

Парнасский Славянин, отцовский цензор строгой,  
Напрасно твой Гашпар за леность мне пенял!

Я, правда, мало сочинял,

Но ах, к несчастью, читал я слишком много:

Я... и твои стихи читал! <...>

\* «Французский Меркурий» (франц.).

12 апреля 1812 г.

⟨...⟩ Приезжай сюда, мой милый друг! Мы тебя угостим и бифтексом, и *Беседой*, которая ни в чем не уступит московской богадельне стихотворцев, учрежденной во славу бога Морфея и богини Галиматы, которым наши любезные товарищи приносят богатые и обильные жертвы. Я радуюсь их успехам без всякой зависти, в полной надежде, что они вылечат мою бессонницу, которой я подвержен с тех пор, как начал писать стихи без твоего присмотра. Вот тебе образчик: послание «К Пенатам», которое подвергаю твоей строгой критике. Прочти его и переправь то, что заметишь; если и вся пиеса не годится, скажи: я ее сожгу без всякого замедления; а если понравится, похвали: имею нужду в твоей похвале, ибо ее ценить умею. Не ленись, мой милый друг, пересмотреть и переправить ошибки и свои замечания пришли поскорее: я хочу ее печатать. ⟨...⟩

## 47. П. А. Вяземскому

5 мая 1812 г.

Прости мне, мой милый друг, лень и придурь. Я хотел писать к тебе с Филимоновым и с Н. И. Тургеневым и ни с одним не успел.

Хвор все, насилу дышу,  
Изнурен и бледен,  
Виршей уже не пишу:  
Мыслями я беден.  
Насилу написал четыре стишка  
Против ударений своего языка.

Точно я был болен — лихорадкой, разумеется. Да и можно ли быть здоровым? Вчера читал московскую Беседу и вчера был в питерской. Мы выслушали сгоряча: первое — «Рассуждение о Феофане Прокоповиче» Шишкова, который нашего проповедника превозносил выше Цицерона: *Croyez cela et buvez de l'eau\**. Потом он же читал выписку из поэмы Шихматова «Песни на гробах». Ты себе представить не можешь, что за стихи! Все набор рифм и слов. Черствое подражание Юнгу, которому бы по совести и подражать не должно. Заседание кончилось комплиментом князю Шихматову, и все zelo восхищались. И у вас не лучше! Что пишут ваши москвичи? Есть ли у

\* Верьте в это и пейте воду (франц.).

них здравый рассудок? Как? Ни одной путной пиесы в целой книжище! Есть надежда, мой друг, что мы перецеголяем и древних, и новейших, есть надежда! Упрямство и невежество наших писателей, леность и невежество нашей публики подают надежду, которая нам, конечно, не изменит. <...>

48. П. А. Вяземскому

10 мая [1812]

<...> Между тем, скажу тебе, что твои замечания на «Пенатов» не совсем справедливы. Мнемозина была матерью муз, но и музы назывались Мнемозинами, чего, может быть, Макаров не знает, потому что он вовсе не знаком с Мнемозинами или Мнемозинадами, а живучи на содержании грузинской весталки «Аглаи», знаком только с глупостью, весьма знатною госпожою, и с невежеством, родным братцем «Аглаи»... Но дело не о том! Я назвал послание свое посланием «К Пенатам», потому что их призываю в начале, под их покровительством зову к себе в гости и друзей, и девок, и нищих и, наконец, умирая, желаю, чтоб они лежали и на моей гробнице. Я назвал сие послание «К Пенатам» так точно, как Грессет свое назвал «Chartreuse»\*. Вот одно сходство, которое я могу иметь с Грессетом, и к несчастью одно! Впрочем, замечания твои справедливы, и за них спасибо! Радуюсь от всей души о том, что тебе понравилось мое маранье. <...> Здесь ничего нового нет, кроме «Весны» графа Хвостова, весны, достойной нашего неба. Под именем Крылова вышли стихи к Шишкову; Крылов от них отрекается. Шаховской написал водевиль, Шихматов — поэму о гробах, и знатоки до сих пор не знают, где смеяться и где плакать: на гробах или за водевилем. Попроси Пушкина, чтоб он решил эту задачу. <...> Когда увидишь Северина, то поблагодари его за приглашение и со всею возможною осторожностью, внушенною дружеством, скажи ему — полно, говорить ли? — скажи ему, что он... выключен из нашего общества; прибавь в утешение, что Блудов и аз грешный подали просьбу в отставку. Общество едва ли не разрушится. Так все преходит, все исчезает! На развалинах словесности останется один столп — Хвостов, а Измайлов из утробы своей родит новых словесников, которые снова будут писать и печатать. Это мне напоминает о системе разрушения и возобновления природы. Мысли печальные и утешительные! Теперь я буду просить Северина и Вяземского, чтоб они уведомили милого Василья Львовича о новой сатире Милонова, сатире едкой и, к несчастью, весьма

\* «Монастырь» (франц.).

остроумной и по содержанию, и по стихам. Предмет оной — Пушкин один, а эпиграф:

*Soyez plutôt maçon, si c'est votre métier\**

Во всех случаях масон, как масон, и масон, как каменщик, — очень зло и едко! Что делать с молодежью, с этими пылкими, необразованными умами? Отвечать — худо, а молчать — право, еще хуже! Кстати, о сатирах и глупости: скажи мне пожалуй, на кого метил Шаликов в своем новом послании? Иные говорят, что на меня и на тебя. Правда ли это — про меня, что я лишен чувствительности, что в моих сатирах не видно доброй души, а про тебя — что твои нравом весьма не чисты, и наконец, что мы друг на друга похожи. Но Пушкин выхвален до небес. Дай нам ключ от этих загадок. <...>

#### 49. В. А. Жуковскому

[Июнь 1812]

Благодарю тебя, мой милый и любезный друг, за твое письмо, в котором я имел истинную нужду, первое — потому что я тебя люблю, а второе — потому что я имею нужду в твоей похвале или брани. Твои отеческие наставления — как писать стихи — я принимаю с истинною благодарностью; признаюсь однако же, что ими воспользоваться не могу. Я пишу мало и пишу довольно медленно; но останавливаться на всяком слове, на всяком стихе, переписывать, марать и скоблить... нет, мой милый друг, это не стоит того: стихи не стоят того времени, которое погубишь за ними, а я знаю, как его употреблять с пользою: у меня есть, благодаря бога, вино, друзья, табак... Я весь переродился: болен, скучен и так хил, так хил, что не переживу и моих стихов. Тогда поминай как звали! Шутки в сторону: я сам на себя не похож, и между тем как ты с друзьями, или музой, или с нимфою, или с чертями, которых я люблю, как душу, с тех пор, как ты им посвятил свою лиру, между тем как ты наслаждаешься свободою, сельским воздухом,

*Tu jouis du printemps, du soleil, d'un beau jour\*\*, —*

я сижу один с распухшею щекою, с больным желудком и гневаюсь на погоду и на стихи, только не на свои, разумеется (ей-богу, их никогда не читаю), а на чужие, мой друг, на стихи

\* Будьте лучше каменщиком, если это ваше ремесло (франц.).

\*\* Наслаждайся весной, солнцем, хорошим днем (франц.).

наших москвичей, которые час от часу более и более пресмыкаются, на стихи наших невских гусей, которые что день, то ода, что неделя, то трагедия, что месяц, то поэма, и все так глупо и плоско... Я забыл, что лекарь мне не велел сердиться! Утешь нас, мой милый друг, пришли нам своего Драйдена, который, конечно, доставит нам несколько приятных дней. Пришли нам свое «Послание к Плещееву», которое, говорят, прелестно. Пришли нам свою балладу, которой мы станем восхищаться, как «Спящими девами», как «Людмилой»; пришли нам бога ради все, что имеешь нового, если не на похвалу, так на съедение, и будь уверен, что никто, кроме нас, без твоего разрешения ни строки не увидит. Пришли мне твое послание, которое я ожидаю с нетерпением, как свидетельство в храм славы и бессмертия и — что всего лестнее для моего сердца — как свидетельство твоей дружбы к бедному, хилому Батюшкову, который тебя любить умеет. <...>

50. П. А. Вяземскому

1 июля 1812 г.

<...> Я еще раз завидую московским жителям, которые столь покойны в наше печальное время, и я думаю, как басенная мышь, говорят, поджавши лапки:

Чем, грешная, могу помочь!

У нас не то! Кто глаза не спускает с карты, кто кропает оду на будущие победы. Кто в лес, кто по дрова! Но бог с ними! Присылай сюда поскорее любезного Северина, без которого нам сгрустилось: пора ему в Питер. Что делает балладник? Говорят, что он написал стихов тысячи полторы, и один другого лучше! Вот кстати, говоря о нашем певце, Асмодею сказать можно: чем черт не шутит! <...>

51. П. А. Вяземскому

[Июль 1812]

<...> Если бы не проклятая лихорадка, то я бы полетел в армию. Теперь стыдно сидеть сиднем над книгою; мне же не приучаться к войне. Да, кажется, и долг велит защищать отечество и государя нам, молодым людям. Подожди! Может быть, и я, и Северин препояшемся мечами, если мне позволит здоровье, а Северину обстоятельства. Проворному недолго снаряжаться. Что затевает Пушкин? Он ни к кому не пишет, всех

позабыл. Бог с ним! Я читал балладу Жуковского: она очень мне понравилась и во сто раз лучше его «Дев», хотя в «Девах» более поэзии, но в этой более grâse\*, и ход гораздо лучше. Жаль впрочем, что он занимается такими безделками: с его воображением, с его дарованием и более всего с его искусством можно взяться за предмет важный, достойный его. Пришли мне его послание ко мне, сделай одолжение — пришли. <...>

52. П. А. Вяземскому

[21 июля 1812]

<...> Ты поручик! Чем черт не шутит! А я тебе завидую, мой друг, и издали желаю лавров. Мне больно оставаться теперь в бездействии, но, видно, так угодно судьбе. Одна из главных причин моего шаликовства, как ты пишешь, — недостаток в военных запасах, то есть в деньгах, которых здесь вдруг не найдешь, а мне надобно было тысячи три или более. Иначе я бы не задумался. Северин остается при коллегии. Что-то будет делать Жуковский? А мы здесь, мой друг, умираем со скуки. Цвет молодежи в армии, женщины по дачам, здесь одни дрожжи. Не приедешь ли ты мимоездом в Питер? Ты, новый воин, приезжай: мы тебя вооружим рыцарем, и ты, новый рыцарь, посмеешься над твоим другом, который и печален, и болен от скуки, который прежде времени состарился и про которого ты скажешь, глубоко, глубоко вздохнув:

Ses pas sont lents, et l'altière jeunesse  
Par un sourire insulte à sa faiblesse!\*\*

Прости, будь здоров, *о паче всяких мер великодушный воин* («Илиада» Кострова), и не забывай твоего Батюшкова.

53. Д. В. Дашкову

9 августа [1812]

<...> Теперь поговорить ли о петербургских знакомых, например, о Батые, о Тамерлане, о Чингисхане-поэте, который уничтожил Расина, Буало, Лафонтена и проч.? Сказать ли вам, что он написал оду на мир с турками; ода, истинно ода, *такого*

\* прелести (франц.).

\* Его шаги медленны, и надменная юность  
Насмешкой оскорбляет старческую слабость! (франц.)

*дня и года!* Поговорить ли с вами о нашем обществе, которого члены все подобны Горациеву мудрецу или праведнику, все спокойны и пишут при разрушении миров.

Гремит повсюду страшный гром,  
Горами к небу вздуто море,  
Стихии яростные в споре,  
И тухнет *дальний солнцев дом*,  
И звезды падают рядами.  
Они покойны за столами,  
Они покойны. Есть перо,  
Бумага есть и — все добро!  
Не видят и не слышат  
И все пером гусиным пишут!

Пишут и написали, и напечатали два нумера с вашего отъезда, и бедному доброму или бодрому Лапушнику досталось по ушам. <...>

<...> Я очень скучаю и надеюсь только на войну: она рассеет мою скуку, ибо шпага победит тогу, и я надену мундир, и я посакачу маршировать, если... если будет это возможно. Но мы увидимся сперва в Москве, где я надеюсь быть в скором времени; там-то я готов возобновить с доктором Каченовским ваш ученый спор, если не испугаюсь его железного самолюбия и коварно-презрительной улыбки переводчика «Илиады», «Одиссеи», «Энеиды» и г-жи Дезульер, если не испугаюсь словообилию Иванова и калмыцких глаз Воейкова, и Жан-Жако-Мерсьеровских порывов Глинки, который недавно получил Владимирский крест, с чем его от всей души поздравляю. <...>

54. П. А. Вяземскому

3 октября [1812]

<...> Ты меня зовешь в Вологду, и я, конечно, приехал бы, не замедля минутой, если б была возможность, хотя Вологда и ссылка для меня одно и то же. Я в этом городе бывал на короткое время и всегда с новыми огорчениями возвращался. Но теперь увидеться с тобою и с родными для меня будет приятно, если судьбы на это согласятся; в противном случае я решился, и твердо решился, отправиться в армию, куда и долг призывает, и рассудок, и сердце, сердце, лишенное покоя ужасными происшествиями нашего времени. Военная жизнь и биваки меня вылечат от грусти. Москвы нет! Потери невозвратные! Гибель друзей, святыня, мирное убежище наук — все осквернено шайкою варваров! Вот плоды просвещения или, лучше сказать, разврата остроумнейшего народа, который гордился именами Генриха и Фенелона. Сколько зла! Когда будет ему конец? На



чем основать надежды? Чем наслаждаться? А жизнь без надежды, без наслаждений — не жизнь, а мучение. Вот что меня влечет в армию, где я буду жить физически и забуду на время собственные горести и горести моих друзей.

Здесь я нашел всю Москву. Карамзина, которая тебя любит, любит и уважает княгиню, жалеет, что ты не здесь. Муж ее поехал на время в Арзамас. Алексей Михайлович Пушкин плачет неутешно: он все потерял, кроме жены и детей. Василий Пушкин забыл в Москве книги и сына: книги сожжены, а сына вынес на руках его слуга. От печали Пушкин лишился памяти и насилиу вчера мог прочитать Архаровым басню о соловье. Вот до чего он и мы дожили! У Архаровых собирается вся Москва или, лучше сказать, все бедняки: кто без дома, кто без деревни, кто без куска хлеба, и я хожу к ним учиться физиономиям и терпению. Везде слышу вздохи, вижу слезы — и везде глупость. Все жалуются и бранят французов по-французски, а патриотизм заключается в словах: *point de paix!*\* Истинно много, слишком много зла под луною; я в этом всегда был уверен, а ныне сделал новое замечание. Человек так сотворен, что ничего вполне чувствовать не в силах, даже самого зла: потерю Москвы немногие постигают. Она, как солнце, ослепляет. Мы все в чаду. Как бы то ни было, мой милый, любезный друг, так было угодно Провидению!

⟨...⟩ Кстати о друзьях: Жуковский, иные говорят — в армии, другие — в Туле. Дай бог, чтобы он был в Туле и поберег себя для счастливейших времен. Я еще надеюсь читать его стихи; надеюсь, что не все потеряно в нашем отечестве, и дай бог умереть с этой надеждою. Если же ты меня переживешь, то возьми у Блудова мои сочинения, делай с ними что хочешь; вот все, что могу оставить тебе. Может быть, мы никогда не увидимся! Может быть, штык или пуля лишит тебя товарища веселых дней юности... Но я пишу письмо, а не элегию, надеюсь на бога и вручаю себя Провидению. ⟨...⟩

55. Н. И. Гнедичу

[Октябрь 1812]

⟨...⟩ Ужасные происшествия нашего времени, происшествия, случившиеся как нарочно перед моими глазами, зло, разлившееся по лицу земли во всех видах, на всех людей, так меня

---

\* до победного конца! (франц.)

поразило, что я насилу могу собраться с мыслями и часто спрашиваю себя: где я? что я? Не думай, любезный друг, чтобы я по-старому предался моему воображению, нет, я вижу, рассуждаю и страдаю.

От Твери до Москвы и от Москвы до Нижнего я видел, видел целые семейства всех состояний, всех возрастов в самом жалком положении; я видел то, чего ни в Пруссии, ни в Швеции видеть не мог: переселение целых губерний! Видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны, и с трепетом взирал на землю, на небо и на себя. Нет, я слишком живо чувствую раны, нанесенные любезному нашему отечеству, чтоб минуту быть покойным. Ужасные поступки вандалов, или французов, в Москве и в ее окрестностях, поступки, беспремерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством. Ах, мой милый, любезный друг, зачем мы не живем в счастливейшие времена! Зачем мы не отжили прежде общей гибели! Но оставим эту неистощимую материю и поговорим о деле.

Если Блудов еще не уехал, то съезди к нему от меня и, пожелав ему всякого счастья от моего имени, — ибо я его люблю и уважаю как человека доброго, честного и умного, три редкие качества в наше время, — попроси его, чтоб он тебе вручил книгу с моими стихами или копию с них, которую ты оставишь у себя до счастливейших времен. Если небесами суждено тебе пережить меня, то ты будешь иметь право на мое маранье: оно, по крайней мере, будет драгоценно для тебя, ибо напомнит тебе о человеке, который любил тебя десять лет как друга, как брата. Нам не худо делать завещания, особенно мне. <...>

Если б было время и охота, я описал бы тебе наш город, чудный и прелестный по своему положению, чудный по вместению Москвы. Здесь все необыкновенно. Это обломок огромный столицы. При имени Москвы, при одном названии нашей доброй, гостеприимной, белокаменной Москвы, сердце мое трепещет, и тысяча воспоминаний, одно другого горестнее, волнуются в моей голове. Мщения, мщения! Варвары! Вандалы! И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюби! И мы до того были ослеплены, что подражали им, как обезьяны! Хорошо и они нам заплатили! Можно умереть с досады при одном рассказе о их неистовых поступках. Но я еще не хочу умирать, итак, ни слова. Но скажу тебе мимоходом, что Алексей Николаевич совершенно прав; он говорил назад тому три года, что нет народа, нет людей, подобных этим уродам, что все их книги достойны костра, а я прибавлю: их головы — гильотины. <...>

7 декабря [1812]

Я уверен по собственному сердцу, мой добрый и любезный друг, что ты желаешь меня видеть; и не худо было бы увидеться, хотя еще раз, на этом свете. И ты, и я улетим бог весть куда. Меня принимает к себе в адъютанты А. Н. Бахметев и обещал отправить в армию: судьба жестокая! Зачем мы не вместе будем делить и печали, и нужду! Как бы то ни было, я желаю с тобой увидеться в армии. <...>

Ты ко мне слова не писал о твоём житье-бытье. Как ты время провел в Вологде, которую я очень не люблю? Впрочем, и в Нижнем не очень весело: если бог приведет нам увидеться, то я расскажу очень много забавного о наших старых знакомых, которые тебя все помнят. Тебе известны стихи В. Л. Пушкина:

О, волжских жители брегов,  
Примите нас под свой покров.

Но ты, конечно, не знаешь, как А. М. Пушкин их пародировал. Тебе многое неизвестно! И у нас было чудес! чудес!

Где Жуковский? ему дали Владимира? правда ли это? Северин уехал и хорошо сделал; я его очень люблю. Блудова нет — право, и в Питере не очень весело; до сих пор ходят как пьяные. <...>

[Январь 1813]

По приезде моем в Нижний я был у Карамзиных, которые о тебе очень спрашивали у меня. Я у них еще вчера обедал. Надеюсь, что они к тебе писали. Твое письмо меня обрадовало; но твои письма меня всегда радуют; пиши, мой друг, ко мне почаще; пиши из Москвы, я надеюсь, что вы оставили Вологду или скоро ее оставите, и это письмо пускаю на всякой страх. Я жалею от всей души о том, что не мог разделить с тобой горестных, неизъяснимых чувств на пепле несчастной и священной Москвы: все двоим было бы полегче. Благодарю за стихи Жуковского. Они прекрасны. Второе послание к Арб(енево)й лучше первого: в нем виден Жук(овский) как в зеркале; послание к Бат(юшков)у прелестно. Жуковский писал его влюбленной. Редкая душа! редкое дарование! душа и дарование, которому цену кроме тебя, меня и Блудова вряд ли кто знает. Мы должны гордиться Жуковским: он наш, мы его понимаем. И Василий

Львович плакал, читая его стихи. Мы перечитывали и твои несколько раз с живым удовольствием. Теперь ни слова не скажу тебе о здешних балах, шарадах, маскарадах и проч., ибо я на них бываю телом, но не духом. Моя судьба еще не решена. Я расстроен всем: и телом, и душой, и карманом. Желая ехать в армию поскорее. Отпиши мне, на что ты решился. Прощай, мой милый друг, сегодня душа моя тебя *не допросилась*. Будь здоров и помни скупающего Батюшкова. <...>

58. Н. Ф. Грамматину

[Январь 1813]

<...> Вы мою музу называете *бессмертною*; за это вам очень благодарен; я все похвалы от друзей моих и от людей, которых уважаю, принимал за чистую монету, но здесь вижу насмешку или шутку, или ошибку, или что вам угодно. У нас бессмертных на Парнасе только два человека: Державин и граф Хвостов. И тот, и другой — чудесные люди: первый — потому, что, не зная грамоты, пишет, как Гораций, а другой — потому, что пишет сорок лет и не знает грамоты, пишет беспрестанно и своим бесславием славен будет в позднейшем потомстве. Между сих великих мужей все стоящие смертны, а я — все самолюбие в сторону — хуже того и хуже другого. Но дело не в том. Вы желаете моих стихов, которые я, конечно, не замедля к вам бы доставил, если б были со мною. Все остались в Петербурге и, может быть, потеряны. Мы их найдем там, где Астольф нашел все, утраченное судьбою здесь на земле. Князь Вяземский прислал мне стихи Жуковского: два послания к его знакомке г-же А(рбенево́й) и послание ко мне, ответ «Пенатам»: дивная поэзия, в которой множество прелестных стихов и в которой прекрасная душа — душа поэта дышет, видна как в зеркале! Я доставил бы оную вам, если бы кто-нибудь согласился здесь переписать, а сам я слишком ленив. <...>

59. П. А. Вяземскому

10 июня 1813 г.

Я с ума еще не сошел, милый друг, но беспорядок моей головы приметен не одному тебе, и ты с одной стороны прав, очень прав! Я поглупел и очень поглупел. Отчего? Бог знает. Не могу себе отдать отчету ни в одной мысли, живу беспутно, убиваю время и для будущего ни одной сладостной надежды не имею.

Отчего это? Бог знает. В карты я не играю. В большом свете бываю по крайней необходимости и в ожидании моего генерала зеваю, сплю, читаю «Историю Семилетней войны», прекрасный перевод Гомера на итальянском языке, еще лучший перевод Лукреция славным Маркетти, Маттисоновы стихи и Виландова «Оберона»; денег имею на месяц и более, имею двух-трех приятелей, с которыми часто говорю о тебе, хожу по вечерам к одной любезной женщине, которая меня прозвала сумасшедшим, чудачком, и зеваю, сидя возле нее, зеваю, так, мой друг, зеваю в ожидании моего генерала, который, надеюсь, пошлет меня зевать на биваки, если война еще продолжится, и глупею, как старая меделянская собака глупеет на привязи. Вот мое состояние нравственное и физическое: оно, право, не завидно! <...> Что же касается до нашего чудачка, то я давно с тобой на его счет согласен. На что ум без доброго сердца, или, лучше сказать, что за ум без сердца? Прекрасный сад, исполненный цветов, но не согретый, не освещенный лучами животворного солнца. Таковому уму, благодаря бога, я никогда не завидовал, а я, как ребенок, завидую всему, чего не имею. Общество можно сравнить с большим городом, людей с домами. Надобно жить в своем доме, посещать некоторые, заглядывать в другие, а мимо иных домов проходить равнодушно. Не смейся моему сравнению. Оно имеет свою цену, но я дурно изъяснился, может быть. Мы будем любоваться прекрасной архитектурой некоторых зданий, но сохрани нас бог от того, чтобы перенести туда домашних своих Пенатов. Ты качаешь головою... Нет пути в нем, он, право, поглупел! Быть так! Я замолчу.

Жуковского «Певца» государыня приказала напечатать на свой счет. Готовят виньеты. Дашкову поручил Дмитриев сделать замечания. Я рад сердечно успехам нашего балладника: это его оживит. Но жалею, что он много печатает в «Вестнике». Переводом Драйдена я не очень доволен; «Певец», «Романс» — лучше всего. Пора ему взяться за что-нибудь поважнее и не тратить ума своего на безделки; они с некоторого времени для меня потеряли цену, может быть — оттого, что я стал менее чувствителен к прелести поэзии и более ленив духом. Притом же наш приятель имеет *имя* в словесности: он заслужил уважение просвещенных людей, истинно просвещенных, но славу надобно подерживать трудами. Жаль, что он ничего путного не напишет прозую. Это его дело. Подстрекай его самолюбие как можно более, не давай ему заснуть в Белеве на балладах: вот подвиг, достойный дружбы, достойный тебя! Я это говорю весьма серьезно. Пришли мне свою балладу на зубок. Благодарю за басню: она очень хороша, кроме последних двух стихов. Пришли все, что напишешь: я с нетерпением буду ожидать послания к княгине, которой прошу сказать мое душевное почитание. Напомни обо

мне Катерине Андреевне и Карамзину, и всем знакомым. Видишь ли ты Пушкину? Что она делает на развалинах Москвы? Поклонись ей от меня. К моему генералу я писал недавно; получил ли он мое письмо — не знаю. Посылаю тебе, из благодарности за поправки, две басни Крылова, которые, может быть, тебе еще не известны. Жуковский не все счастливо поправил; иное испортил, а иное лучше сделал и подал мне новые мысли. Прости, будь здоров и не забывай твоего Батюшкова.

60. В. А. Жуковскому

30 июня 1813 г.

⟨...⟩ Дай обнять тебя, старый мой друг! Дай разделить с тобою твою радость, радость, ибо приятно получить то, что заслужил; а ты, наш балладник, чудес наделал, если не шпагою, то лирой. Ты на поле Бородинском pro patria\* подставил одну из лучших голов на севере и доброе, прекрасное сердце. Слава богу! Пули мимо пролетали: сам Феб тебя спас. Будь же благодарен: пиши и пиши более, но что-нибудь поважнее, и менее печатай в «Вестнике»: он не стоит твоих стихов, и тебе пора заняться предметом, достойным твоего таланта. Вот совет человека, который и тебя, и дружбу твою уважает и тобой, как русский и как приятель, гордится.

Еще два слова: сегодня Оленин, которому И. И. Дмитриев поручал нарисовать для «Певца» виньеты, показывал мне сделанные им рисунки. Они прекрасны, и ты ими будешь доволен. Жаль, что издание не прежде месяца готово будет. На одном из виньетов изображен вдали стан при лунном сиянии и в облаках тени Петра, Суворова и Святослава, гениев России. Твои куплеты подали идею сего рисунка. Прости, еще раз прости и не забывай твоего Батюшкова.

61. Е. Г. Пушкиной

30 июня 1813 г.

⟨...⟩ Вы говорите о дружбе, как ангел. Знаете ли, что я дурной человек? Мое перо на привязи; я боюсь говорить откровенно, когда дело идет обо мне, и я таков со всеми; а вы беспрестанно требуете откровенности. Как? Вы хотите, чтоб я рассказал вам подробно все, что я делаю, что думаю, и то, чего не делаю и чего не думаю? Это дело невозможное. Но как от чистого сердца

---

\* за родину (лат.).

сожалею, что вас нет в Петербурге! Я сильно чувствую утрату Москвы и Нижнего. В вашем прелестном для меня обществе я находил сладостные, неизъяснимые минуты и горжусь мыслию, что женщина, как вы, с добрым сердцем, с просвещенным умом и, может быть, с твердым, постоянным характером любила угадывать все движения моего сердца и часто была мною довольна. Здесь, напротив того, нет ни одного человека, который бы хотел заняться мною. (Вы слишком меня и себя уважаете, чтоб отнести это прямо на счет моего самолюбия.) Точно нет никого, кто б мог меня разуместь. К этому прибавьте еще другие неудовольствия, и главное, вечную борьбу с судьбою; она меня никогда не баловала, а я, я — большой баловень. Я сам люблю себя ласкать: иначе бы мое самолюбие заснуло, и тогда прощай все прекрасное, все великое, все достойное человека! По чести, я не очень счастлив. Все в жизни мне удавалось, как в военной службе. Что я здесь делаю? Зачем я потерял столько времени? Потерял целую кампанию в бездействии, в беспрестанном ожидании! Но должно повиноваться року и подчас кричать с Панглоссом: все к лучшему! <...>

62. Н. И. Гнедичу

30 октября 1813 г.

<...> Мы теперь в Веймаре дней с десять; живем покойно, но скучно. Общества нет. Немцы любят русских, только не мой хозяин, который меня отравляет ежедневно дурным супом и вареными яблоками. Этому помочь невозможно; ни у меня, ни у товарищей нет ни копейки денег в ожидании жалованья. В отчизне Гете, Виланда и других ученых я скитаюсь, как скиф. Бываю в театре изредка. Зала недурна, но бедно освещена. В ней играют комедии, драмы, оперы и трагедии, последние — очень недурно, к моему удивлению. «Дон Карлос» мне очень понравился, и я примирился с Шиллером. Характер Дон Карлоса и королевы прекрасны. О комедии и опере ни слова. Драмы играют редко, по причине дороговизны кофея и съестных припасов; ибо ты помнишь, что всякая драма начинается завтраком в первом действии и кончается ужином. Здесь лучше всего мне нравится дворец герцога и английский сад, в котором я часто гуляю, несмотря на дурную погоду. Здесь Гете мечтал о Вертере, о нежной Шарлотте; здесь Виланд обдумывал план «Оберона» и летал мыслию в области воображения; под сими вязами и кипарисами великие творцы Германии любили отдыхать от трудов своих; под сими вязами наши офицеры бегают теперь за девками. Всему есть время. Гете я видел мельком в театре.

Ты знаешь мою новую страсть к немецкой литературе. Я схожу с ума на Фоссовой «Луизе»; надобно читать ее в оригинале и здесь, в Германии. Книги вообще дороги, особливо для нас, бедняков, хотя здесь фабрика книг. <...>

Пришли мне несколько страниц из Гомера, если ты перевел что-нибудь новое, но только гекзаметрами. Немцы меня к ним совершенно приучили. Скажи Крылову, что ему стыдно лениться; и в армии его басни все читают наизусть. Я часто их слышал на биваках с новым удовольствием. Вам надобно приучать нас к языку русскому, вам должно прославлять наши подвиги, и между тем как наши воины срывают пальмы победы, вам надобно готовить им чистейшее удовольствие ума и сердца. Конечно, и у нас есть отличные дарования: великий Хвостов, маленький и большой Львовы, Гераков, Шаликов, Грузинцов, Висковатов и пр., но я ими все что-то не очень доволен. Впрочем, на все вкусы не угодишь: одному — одно, другому — другое.

Дай Поллуксу коней, дай Кастору бойцов! <...>

### 63. Н. И. Гнедичу

27 марта 1814 г.

<...> Я видел Париж сквозь сон или во сне. Ибо не сон ли мы видели по совести? Не во сне ли и теперь слышим, что Наполеон отказался от короны, что он бежит и пр., и пр., и пр.? Мудрено, мудрено жить на свете, милый друг! Но в заключение скажу тебе, что мы прошли с корпусом через Аустерлицкий мост, мимо Jardin des plantes, в заставу des Deux Moulins по дороге Bois de Boulogne, где стоит лагерем полинявший император с остатками неустрашимых, и остановились в замке Joussy, принадлежащем почетному парижскому жителю. Этот замок на берегу Сены окружен садами и принадлежал некогда любовнице Людовика XIV. Еще до сих пор видны остатки и следы древнего великолепия. С террасы, примыкающей к дому, видна Сена. Приятные луга и рощи и загородные дворцы маршалов Наполеона, которые мало-помалу один за другим возвращаются в Париж, кто *инкогнито*, а кто и с целым корпусом. Новости, происшествия важнейшие теснятся одно за другим. Я часто, как Фома Неверный, щупаю голову и спрашиваю: боже мой, я ли это? Удивляюсь часто безделке и вскоре не удивлюсь важнейшему происшествию. Еще вчера мы встретили и проводили в Париж корпус Мармона и с артиллерией, и с кавалерией, и с орлами! Все ожидают мира. Дай бог! Мы все желаем того. Выстрелы



надоели, а более всего плач и жалобы несчастных жителей, которые вовсе разорены по большим дорогам.

Остался пепл один в наследство сироте. <...>

64. Д. В. Дашкову

26 апреля 1814 г.

<...> Скажу просто: я в Париже. Первые дни нашего здесь пребывания были дни энтузиазма. Теперь мы покойнее. Бродить по бульвару, обедать у Beauvilliers, посещать театр, удивляться искусству, необыкновенному искусству Тальмы, смеяться во все горло проказам Брюнета, стоять в изумлении перед Аполлоном Бельведерским, перед картинами Рафаэля, в великолепной галерее музеума, зевать на площади Лудовика XV или на Новом мосту, на поприще народных дурачеств, гулять в великолепном Тюльери, в Ботаническом саду или в окрестностях Парижа, среди необозримой толпы парижских граждан, жриц Венериных, старых роялистов, республиканцев, бонапартистов и проч., и пр., и пр., — теперь мы все это делаем и делать можем, ибо мы отдохнули и телом, и душою. Заметьте, что мы имеем важное преимущество над прежними путешественниками: мы — путешественники вооруженные. Я часто с удовольствием смотрю, как наши казаки беспечно проезжают через Аустерлицкий мост, любясь его удивительным построением; с удовольствием неизъяснимым вижу русских grenадер перед Трояновой колонной или у решетки Тюльери, перед Arc de triomphe\*, где изображены и Ульм, и Аустерлиц, и Фридрихланд, и Йена. Еще с большим удовольствием смотрю на наших воинов, гуляющих с инвалидами на широкой площади, принадлежащей их дому.

Французы дорого заплатили за свою славу, любезный друг! Они должны быть благодарны нашему царю за спасение не только Парижа, но целой Франции, — и благодарны: это меня примиряет несколько с ними. Впрочем, этот народ не заслуживает уважения, особливо народ парижский.

Я вижу отсюда, что Дмитрий Васильевич, читая мое письмо, кивает головою. «Бог с ними, что мне до народа французского! Зачем Батюшков не говорит мне о литературе, о лице, о славных ученых мужах, об остроумных головах, о поэтах, одним словом — о людях, которым я, живучи на берегах Ладожского озера и Невы, обязан сладостными минутами, которых имя одно пробуждает в голове тысячу воспоминаний приятных, тысячу понятий...» Извольте! Я скажу вам, во-первых, что в шуме военном я забыл,

---

\* Триумфальной аркой (франц.).

что существовала академия из сорока членов, точно так как забыл, что есть *Беседа*, Академия русская и Палицын, *гроза чтецов*. Но раз, перейдя за Королевский мост, забрел я случайно к Дидоту, любоваясь у него изданием Лафонтена и Расина и, разговаривая с его поверенным, узнал ненароком, что завтра, в 3 часа пополудни, второй класс института будет иметь торжественное заседание.

Вооружась билетом для прохода чрез врата учености в сие важное святилище муз, я, ваш маленький Тибулл или, проще, капитан русской императорской службы, что в нынешнее время важнее, нежели бывший кавалер или всадник римский (ибо, по словам Соломона, «живой воробей лучше мертвого льва»), я, ваш приятель, наступил на горло какому-то члену общества и вошел в залу, пробираясь сквозь толпу любопытных. «Вот, садитесь здесь или станьте за моим табуретом,— сказала мне прекрасная женщина,— здесь вы все увидите, все услышите». Я стал за табуретом и с удовольствием взглянул на залу и на блестящее собрание отборной публики... парижской! Зала прекрасная: она построена крестообразно. В четырех нишах, составляющих углы ротонды, поставлены четыре статуи — произведение искусства французских художников, статуи великих людей: Сюлли, Монтескье, Боссюета и Фенелона. От ротонды возвышается амфитеатр, посвященный для зрителей, ротонда для членов и важных посетителей. Члены собирались мало-помалу, и француз, мой сосед, называл их: «Вот Сьюар, вот Буфлер, вот Сикар, а это, с красной лентой, старик Сегюр! Вот Этьен, сочинитель хорошей комедии, возле него Пикар, любимый автор парижский!» С ними были и другие члены прочих классов института, которые имеют право заседать в торжественных собраниях. Ни Парни, ни Фонтаня я не видел. Шатобриана, кажется, не было. Наполеон не согласен был на принятие его в члены — за несколько строк в речи автора «Аталы» против правления или против его особы. Зато и Шатобриан не пощадил его в последнем сочинении, которое вам, без сомнения, известно. Наконец, при плеске публики, при беспрестанных восклицаниях: «Vive Alexandre, le magnanime Alexandre! Vive le roi de Prusse! Vive le général Sacken!»\* — вошли наши герои.

Лакретель, секретарь Академии, читал им приветствие. Я с удовольствием слушал его. Лакретель, как писатель, имеет достоинства, вы, кажется, любите его «Историю революции» и «Историю последнего века». За сим — снова рукоплескания, снова восклицания: «Да здравствует император!» и пр.

---

\* «Да здравствует Александр, великодушный Александр! Да здравствует король Прусский! Да здравствует генерал Сакен!» (франц.)

Они замолкли, и г. Вильмень, молодой человек 22-х лет, начал читать снова приветствие государю и просил публику выслушать рассуждение «О пользе и невыгодах критики», увенчанное институтом. Молчание глубокое. Все слушали с большим вниманием длинную речь молодого профессора, весьма хорошо написанную, как мне показалось, часто аплодировали блестящим фразам и более всего тому, что имело какое-нибудь отношение к нынешним обстоятельствам. «Браво, г. Вильмень! Продолжайте!» — говорили женщины. «Он мыслит *il pense*» — говорили мужчины, поправляя галстук с обыкновенною важностию... и все были довольны. «Как он молод! И два раза увенчан академией! В первый раз за похвальное слово Монтаню... «В котором много глубоких мыслей», — прибавил мужчина, мой сосед. «Немудрено, — продолжал другой, — он говорил о Монтане!»

По окончании речи президент обнял два раза молодого профессора и провозгласил его победителем при шумных рукоплесканиях публики. Государь и король Прусский сказали ему несколько учтивых слов: молодой автор был на розах.

Нынешний год была предложена к увенчанию «Смерть Баярда», но по слабости поэзии не получила обыкновенной награды. Теперь отгадайте, какой предмет назначен для будущего года? «Польза прививания коровьей оспы!» Это хоть бы нашей Академии выдумать! По этому, любезный друг, можете судить о состоянии французской словесности. Ее не любил Наполеон. Математик во всяком случае брал преимущество над членом второго класса института, что немало послужило упадку Академии французской. Правление должно лелеять и баловать муз: иначе они будут бесплодны. Следуя обыкновенному течению вещей, я думаю, что век славы для французской словесности прошел и вряд ли может когда-нибудь воротиться. Впрочем, мирное отеческое правление будет во сто раз благосклоннее для муз судорожного тиранского правления Корсиканца, который в великолепных памятниках парижских доказал, что он не имеет вкуса и что

...музы от него чело свое сокрыли.

Теперь вы спросите у меня, что мне более всего понравилось в Париже? Трудно решить. Начну с Аполлона Бельведерского. Он выше описания Винкельманова: это не мрамор, бог! Все копии этой бесценной статуи слабы, и кто не видал сего чуда искусства, тот не может иметь о нем понятия. Чтоб восхищаться им, не надо иметь глубоких сведений в искусствах: надобно чувствовать. Странное дело! Я видел простых солдат, которые с изумлением смотрели на Аполлона. Такова сила гения! Я часто захожу в музей единственно затем, чтобы взглянуть на

Аполлона, и как от беседы мудрого мужа и милой, умной женщины, по словам нашего поэта, лучшим возвращаюсь. Ни слова о других редкостях, ни слова о великолепной картинной галерее, единственной в своем роде, ни слова о редкостях парижских, о театрах, о Дюшенуа, о Тальме и проч., и пр. Я боюсь вам наскучить моими замечаниями. Но позвольте, мимоходом, разумеется, похвалить женщин. Нет, они выше похвал, даже самые прелестницы.

Пред ними истощает  
Любовь златой колчан.  
Все в них обворожает:  
Походка, легкий стан,  
Полунагие руки  
И полный неги взор,  
И уст волшебны звуки,  
И страстный разговор, —  
Все в них очарованье!  
А ножка... милый друг,  
Она — Харит создание,  
Кипридиных подруг.  
Для ножки сей, о вечны боги,  
Усейте розами дороги  
Иль пухом лебедей!  
Сам Фидий перед ней  
В восторге утопает,  
Поэт — на небесах,  
И труженик, в слезах,  
Молиству забывает!

Итак, мне более всего понравились ноги, прелестные ноги прелестных женщин в мире. *De gustibus non disputandum\**. У английского генерала недавно спросили французские маршалы, что ему более всего понравилось в Париже? «Русские гренадеры», — отвечал он. Пусть Северин скажет вам теперь, что ему понравилось в столице мира. Северин здесь; мы с ним видимся каждый день, бродим по улицам и часто, очень часто вспоминаем о Дашкове. Я ему уступаю перо до первого случая.

Теперь простите. Если Иван Иванович в Петербурге, то покорнейше прошу вас засвидетельствовать ему мое почтение. Поклонитесь знакомым: обнимите Блудова и скажите ему, что Батюшков любит его и уважает по-старому. Тургеневу ни слова обо мне:

Ему ли помнить нас  
На шумной сцене света?  
Он помнит лишь обеда час  
И час великий комитета!

*Батюшков*

---

\* О вкусах не спорят (лат.).

3 мая 1814 г.

⟨...⟩ Сколько происшествий! Сколько чудес — начиная с круглых пирогов у Анны Львовны до самого вступления нашего в Париж! К чему и зачем все людские расчеты? Признаюсь вам, у меня голова кружится, когда я начинаю рассчитывать всю превратность этого года, который, конечно, возвратил на путь истинный многих и многих людей, а Василья Львовича утвердил *паче меры* в премудрых его правилах. Что он делает? Где и как проводит время? Он вовсе забыл нас, бедных странников, или с завистью считает наши шаги у Бовилье, в лицее, в Пале-рояль — прелестные места, которые мы отдали бы все за старый Кремль в придачу со всею нашею славою, которая нам становится немного в тягость. Что делают его сестрицы? Признаюсь вам, часто, очень часто, возвратясь в мою комнату, я забываю и шум Парижа, и Дюшенуа, и проказы Брюнета, и красавиц Тиволи, все забываю и мысленно переносюсь в Нижний, то на площадь, где между телег и колясок толпились московские франты и красавицы, со слезами вспоминая о бульваре, то на патриотический обед Архаровых, где от псовой травли до подвигов Кутузова все дышало любовью к отечеству, то на ужины Крюкова, где Василий Львович, забыв утрату книг, стихов и белья, забыв о *Наполеоне, гордящемся на стенах древнего Кремля*, отпускал каламбуры, достойные лучших времен французской монархии, и спорил до слез с Муравьевым о преимуществе французской словесности, то на балы и маскарады, где наши красавицы, осыпав себя бриллиантами и жемчугами, прыгали до первого обморока в кадрилих французских, во французских платьях, болтая по-французски бог знает как, и проклинали врагов наших. Вот времена, признаюсь вам, о которых я вспоминаю с большим удовольствием. Прибавьте к этому Алексея Михайловича, который с утра самого искал кого-нибудь, чтоб поспорить, и доказывал с удивительным красноречием, что белое — черное, черное — белое; который вздохнуть не давал Василью Львовичу и теснил его неотразимой логикой, — и вы будете иметь понятие об удовольствии, которое я нахожу, переносясь мысленно в стены Нижнего. Таких чудесных обстоятельств два раза в жизни не бывает. Довольно и одного, чтоб навеки остаться в памяти. ⟨...⟩

17 мая 1814 г.

⟨...⟩ Теперь, разбирая бумаги, я нахожу записки мои; когда-нибудь мы их переберем вместе: они тебе приписаны. Вот доказательство, что я тебя помнил и посреди шуму военного. Сожалею от всей души, что ничего не успел написать о Париже. Здесь что день, то эпоха. Но возможно ли было сообразить политические происшествия, которые теснились одно за другим? Можно ли было замечать мимоходом то, что принадлежит истории, переходит от Брюне к Наполеону, ибо и тот, и другой меня интересовали одинаково, к стыду моему? Прибавь к этому беспокойнейшую жизнь офицера в хаосе парижском, и ты, конечно, извинишь мою леность. Но еще раз, и в последний, я с удовольствием воображаю себе минуту нашего соединения: мы выпишем Жуковского, Северина, возобновим старинный круг знакомых и на пепле Москвы, в объятиях дружбы, найдем еще сладостную минуту, будем рассказывать наши подвиги, наши горести, и, притаясь где-нибудь в углу, *мы будем чашу ликовую* передавать из рук в руки... Вот мои желания, мои надежды! ⟨...⟩

⟨...⟩ Я в Париж въехал с восхищением и оставляю его с радостью. Еще раз обнимаю тебя от всей души. Напомни обо мне княгине; напомни обо мне почтенному семейству Карамзиных; поздравь Николая Михайловича с нашими победами и с новыми материалами для истории. Я желаю, чтоб бог продлил ему жизни для описания нынешних происшествий; двойная выгода: у нас будет прекрасная полная история, и Николай Михайлович будет жить более века. Сколько материалов!.. ⟨...⟩

## 67. П. А. Вяземскому

27 июля 1814 г.

Я получил твое письмо, любезный князь, и благодарю тебя за прозаическую оду на мой приезд. Мне более нравятся поэтические твои чувства; ибо я уверен в твоей дружбе. Ты бог знает как толкуешь мое письмо, à vous permis\*. Впрочем, не мудрено! Я часто не знаю, что делаю, что пишу, и ныне это доказал на деле. Нелединский заставил меня писать для великопленного праздника в Павловском; дали мне программу, и по ней я принужден был нанизывать стихи и прозу; пришел капельмейстер и выбросил лучшие стихи. Уверен, что не будет эффекту, и так далее. Пришел какой-то Корсаков, который примешал свое, пришел Державин, который примешал свое, как

---

\* с вашего позволения (франц.).

ты говоришь, кое-что — и изо всего вышла смесь, достойная нашего Парнаса и вовсе недостойная ни торжественного дня, ни зрителя! Что делать! усердие было; пусть страдает мое авторское самолюбие, и простодушный Лафонтен вперед не будет верить Люлли! Вот история моя с приезде. Прибавь к этому болезнь, которая напоминает мне паршивого человека в послании к Пизонам, или поэта, от которого все бегают более заразы. В прозе надобно говорить просто, без парафразов; вот почему и объявляю Вам, что с моря привез сюда чесотку, которая меня мучила три недели. Теперь легче; но зато я так слаб, что насилу таскаю ноги. Вчерашний вечер я просидел у Нелединского, который мне читал твои письма; он навещал меня часто в болезни и часто рассказывал о тебе. С них я перечитывал твой прекрасный «Хор», истинно прекрасный. Жуковского «Певец» и твой «Хор» мне более всего понравились. Пиши, любезный друг, пиши стихи и более всего прозу к твоим стихам Приятелю. Кстати о прозе — я по приезде моем написал разбор сочинения покойного Муравьева, который намерен напечатать; желаю, чтоб он тебе понравился; я писал от души. Присылай к нам Василья Львовича; без него нам скучно. Прости еще раз. <...>

68. А. Н. Батюшковой

[Август 1814]

<...> По приезде моем сюда меня больного навещил Ю. А. Нелединский и уговорил меня написать по данной им программе маленькую драму для праздника в Павловском. Трудно было отговориться: старик так был ласков и убедителен. Я намарал, как умел; пиесу играли; описание оной найдешь ты в «Северной почте» и в «Инвалиде», которых издатели выхвалили меня до небес, полагая, что пиесу сочинил по крайней мере какой-нибудь сенатор. К несчастью, я спешил: то убавлял, то прибавлял по словам капельмейстера и, вопреки моему усердию, кажется, написал не очень удачно, но актеры ее удачно играли. <...>

69. П. А. Вяземскому

27 августа [1814]

Я получил твое письмо, любезный князь, и с горестию читал его несколько раз. Что могу сказать тебе в утешение? Мы не для радостей в этом мире; я это испытал по себе. Потеря твоя и княгини невозвратна! Что же делать? Покориться судьбе!

Я жалею от всего сердца, что не могу видеть тебя в минуты печали и сказать тебе, мой милый друг, сколько я тебя люблю. Сердце мое имеет нужду в твоём дружестве: поверишь ли, я час от часу более и более сиротею. Все, что я видел, что испытал в течение шестнадцати месяцев, оставило в моей душе совершенную пустоту. Я не узнаю себя. Притом и другие обстоятельства неблагоприятные, огорчения, заботы — лишили меня всего; мне кажется, что и слабое дарование, если когда-либо я имел — погребло в шуме политическом и в беспрестанной деятельности. Веришь ли? Это меня печалит. Одно осталось — и пусть останется на веки вечные! — способность любить друзей моих; я истаскал мою душу: сердце прочнее. Дай же мне руку, мой милый друг! и возьми себе все, что я могу еще чувствовать — благородного, прекрасного. Оно твоё. Бога ради, люби меня, и если тебе не совершенно чужды мои горести, то будь моим утешителем, скажи мне что-нибудь такое, что бы снова могло меня привязать к жизни. Когда мы увидимся с тобою и где? Я хочу выйти в отставку и, конечно, ничьим адъютантом не буду в мирное время. Меня отучили от честолюбия. К несчастью, обстоятельства принуждают меня вступить в гражданскую службу. Единственный способ жить — это горестию, но пособить этому нет возможности, следовательно, я останусь здесь в Петербурге, в городе, которого я никогда не любил. Здесь проживу и несколько лет, или проволочусь — это вернее, и здесь надеюсь увидеть тебя — если ты захочешь оставить развалины Москвы — любезной Москвы, — чего тебе никак не советую. Чего тебе искать здесь? Живи покойно в твоём убежище. У тебя редкая подруга, есть состояние, будут дети, и мир для тебя не пуст.

Бога ради, пришли мне свои стихи; я их буду ожидать с нетерпением. Вот два экземпляра «Письма к М<sup>(уравьеву-Апостолу)</sup> о Муравь<sup>(еве)</sup>» из «Сына Отечества». Один вручи Николаю Михайловичу, в знак моего душевного почитания к издателю сочинений Муравьева, другой тебе. Желаю, чтоб ты мыслил со мною сходно. Слабости в слогe извини по дружбе. Прости, будь счастлив и пр. *Батюшков*.

70. П. А. Вяземскому

4 сентября 1814

Милый друг! здоров ли ты? вот месяц, как от тебя ни строки! и что это значит? — рассея мой страх; напиши несколько строк. Я всякую почту намерен бомбардировать тебя прозою. Вот еще экземпляр. Из него ты увидишь ошибки, которыми украсил мое красноречие услужливый Грек; исправь на экземпляре Нико-



лая Михайловича сии опечатки и скажи мне твое мнение насчет всего письма. И с страхом, и с трепетом ожидаю твоего суждения. Один экземпляр отправь Жуковскому, насчет которого наборщик, а не я, клянусь честью! — пошутил забавным образом — смотри страницу 17. Он вместо не *истоцал* напечатал: не *истоцил*. Прости! обнимаю тебя от всего сердца, милый, любезный и добрый мой приятель.

71. А. И. Тургеневу

[Октябрь 1814]

Вот, любезнейший Александр Иванович, мои замечания на стихи Жуковского. Не мое дело критиковать план, да и какая в том польза? Он не из тех людей, которые *переправляют*. Ему и стих поправить трудно. Я мог ошибаться, но если он со мной в иных случаях будет согласен, то заклинаю его и музами, и здравым рассудком не лениться исправлять: единственный способ приблизиться к совершенству.

Дерзнет ли свой листок он в тот влести венец...

Ужасный стих! (Замечание: я стану только выписывать дурные стихи; моя критика не нужна, он сам почувствует ошибки: у него чутье поэтическое.) После прекрасного, исполненного жизни стиха:

И, радости полна, сама играет лира

следует:

Кто славы твоя опишет красоту?

Стих холодный, прозаический. Пусть поэт описывает славу государя, увлеченный своим энтузиазмом, но никак не упоминает о слове *описывать*. Пусть его переходы будут живы и пр. Жуковский мастер этого дела. Пусть он начнет прямо с следующего стиха:

С благоговением, и проч.

А в отдалении внимая, как державы

Дробила над главой земных народов брань.

*Брань*, которая *дробит* державы над главой земных народов! Я этого не понимаю и прошу истолковать.

Нет, выше бурь венца ты ею возносился.

Не лучше ли: бурь земных? Так я думаю, впрочем, могу ошибаться.

Цари, невнимательны и пр.  
Под наклонившихся престолов царских тень,  
Как в неприступную для бурь и бедствий сень,  
Народы ликовать сбиралися толпами...

Эти стихи так спутаны, что в них и смысл теряется; притом заметьте: *тень* наклонившихся престолов царских, в которую, как в неприступную *сень*, от бедствий и бурь стекаются народы. Что это значит? Поправляй, поправляй, ленивец!

И первый лилий трон у галлов над главами  
Разгрянулся в куски и вспыхнул, как вулкан.

*Трон разгрянулся над главой галлов, и как? в куски. И что же? Вспыхнул, как вулкан! Не хорошо! Потом: великан, который*

Взорами на мир ужасно засверкал,—

кариатура и ничего не значит. Бонапарте надобно лучше и сильнее характеризовать.

Я не замечу:

На народы двинул рабства плен.

Если это выражение не верно, то по крайней мере имеет силу и живость.

Там все, и сам Христов алтарь, кричало: брань!  
Там все из-под бича к стопам тирана дань  
На пользу буйственным мечтам принести спешило.

Мы закричим: Жуковский, поправь и эти три стиха! Первый дурен, а другие не хороши.

И мздой свою постель страданье выкупало  
надобно поправить.

И юность их (детей) как на могиле цвет...

На могиле — ничего не значит. Не лучше ли:

И юность их была минутный жизни цвет.

И хитростью подрыв, изменой потрясен,  
Добитый громами, за троном падал трон,  
И скоро, сдавленный губителя стопою,  
Угасший пепел их покрылся мертвой мглою.

Я не стану делать замечаний, он сам догадается: мое дело обратить внимание на слабые места.

*Раги, спешащие раздробить еще приют свободы.* Приют свободы раздробить! Какие ошибки! Но как легко их поправить этому варвару Жуковскому! Впрочем, не худо бы сжать и все описание бедствий до стиха:

За сей могилую и пр.

Чем короче, тем сильнее.

Как ни слова не сказать о философах, которые приготовили зло! Зато сколько прекрасных, божественных стихов! Но я не стану хвалить. Критика нужнее.

В толпе прекрасных стихов я должен заметить сей темный:

Пусть облечет во власть святой обряд венчанья.

Вторая половина вся прелестна, и рука не подыметя делать замечания. Здесь Жуковский превзошел себя: его стихи — верьте мне! — бессмертные.

Cet oracle est plus sûr\*.

Если вы хотите сделать великолепное издание, то вот мой совет: просите Алексея Николаевича нарисовать какую-нибудь мысль, а в конце всего приличнее — его медаль на клятву всех состояний. *Батюшков.*

72. В. А. Жуковскому

3 ноября [1814]

Я часто собирался писать к тебе, мой милый друг, и до сих пор не знаю, что могло помешать. К несчастью моему, я уже давно в Петербурге. К несчастью!.. Разве ты не знаешь, что мне не посидится на месте, что я сделался совершенным калмыком с некоторого времени и что приятелю твоему нужен *оседлок*, как говорит Шишков, пристанище, где он мог бы собраться с духом и силами душевными и телесными, мог бы дышать свободнее в кругу таких людей, как ты, например? И много ли мне надобно? Цветы и убежище, как говорит терзатель Делиля, наш злой и добрый дух, который прогуливается на земле в виде Воейкова. К несчастью, ни цветов, ни убежища! Одни заботы житейские и горести душевные, которые лишают меня всех сил

---

\* Это пророчество самое верное (*франц.*).

душевных и способов быть полезным себе и другим. Как мы переменялись с юного счастливого времени, когда у Девичьего монастыря ты жил с музами в сладкой беседе! Не знаю, был ли тогда счастлив, но я думаю, что это время моей жизни было счастливейшее: ни забот, ни попечений, ни предвидения! Всегда с удовольствием живейшим вспоминаю и тебя, и Вяземского, и вечера наши, и споры, и шалости, и проказы. Два века мы прожили с того благополучного времени. Я сам крутился в вихре военном и, как слабое насекомое, как бабочка, утратил мои крылья. До Парижа я шел с армией, в Лейпциге потерял доброго Петина. Ты будешь всегда помнить этого молодого человека: редкая душа — и так рано погибнуть! В Париж я вошел *с мечом в руке*. Славная минута! Она стоит целой жизни. Два месяца я кружился в вихре парижском; не поверишь ли? Посреди чудесного города, среди рассеяния я был так грустен иногда, так недоволен собою — от усталости, конечно. Из Парижа в Лондон, из Лондона в Готенбург, в Стокгольм. Там нашел Блудова; с ним в Або и в Петербург. Вот моя одиссея, поистине одиссея! Мы подобны теперь гомеровым воинам, рассеянными по лицу земному. Каждого из нас гонит какой-нибудь мститель-бог: кого Марс, кого Аполлон, кого Венера, кого Фурии, а меня — Скука. Самое маленькое дарование мое, которым подарила меня судьба, конечно — в гневе своем, сделалось моим мучителем. Я вижу его бесполезность для общества и для себя. Что в нем, мой милый друг, и чем заменю утраченное время? Дай мне совет, научи меня, наставь меня: у тебя доброе сердце, ум просвещенный; будь же моим вожатым! Скажи мне, к чему прибегнуть, чем занять пустоту душевную; скажи мне, как могу быть полезен обществу, себе, друзьям! Я оставляю службу по многим важным для меня причинам и не останусь в Петербурге. К гражданской службе я не способен. Плутарх не стыдился считать кирпичи в маленькой Херонее; я не Плутарх, к несчастью, и не имею довольно философии, чтобы заняться безделками. Что же делать? Писать стихи? Но для того нужна сила душевная, спокойствие, тысяча надежд, тысяча очарований и в себе, и кругом себя, и твое дарование бесценное.

Если захочешь, можешь отвечать на мой бред. Теперь поговорим о деле священном для тебя и для меня по многим причинам: списка сочинений Муравьева я не получал, и с кем ты послал — не знаю. Милый друг, тебе дано поручение по твоему произволу, и ты до сих пор ничего не сделал! Карамзин, занятый постоянно важнейшим делом, какое когда-либо занимало гражданина, нашел свободное время для исправления рукописей Муравьева. Я не стану тебе делать упреков, но долгом поставляю от лица общества просить тебя снова начать прерванный труд. Доставь мне список исправленный стихов по крайней мере и с верной

оказией. Я беру на себя труд издателя. Доставь его в скором времени. Здесь я перебираю прозу. Вот мое единственное и сладо-стное занятие для сердца и ума. Сколько воспоминаний! Перечитывая эти бесценные рукописи, я дышу новым воздухом, беседую с новым человеком, и с каким? Нет, никогда не поверю, чтоб ты лень предпочел удовольствию заниматься и трудиться над остатками столь редкого дарования, над прекрасным наследством нашим! Сделай маленькое предисловие, то, что сделал Николай Михайлович в своем издании. «Жизнь» будет не нужна. Несколько строк твоей прозы и твое имя — вот о чем прошу тебя, жестокий! Бога ради, пришли скорее все; иначе я и Блудов, мы утратим половину нашего уважения к тебе: любить тебя менее будем, если это возможно. Ты не похож на нашего приятеля <Вяземского>, который, на место замечаний на мое письмо о Муравьеве, прислал мне кучу площадных шуток, достойных Пушкина. Я долгом, и священным долгом, поставлю себе возвратить обществу сочинения покойного Муравьева. Между бумагами я нашел «Письма Емилиевы», составленные из отрывков; их-то я хочу напечатать. Я уверен, что они будут полезны для молодости и приятное чтение для ума просвещенного, для доброго сердца. Воейков, из приязни ко мне (я и не смею думать, чтоб моя проза имела какое-нибудь достоинство), Воейков назначил несколько моих пьес, и между ими письмо о Муравьеве. Ты имеешь его. Заметь то, что тебе не понравится: ошибки против слога. Прибавь, если хочешь. Это письмо будет иметь *интерес*: я говорил о нашем Фенелоне с чувством; я знал его, сколько можно знать человека в мои лета. Я обязан ему всем и тем, может быть, что я умею любить Жуковского. Еще раз повторяю: из двух книг Муравьева, Карамзиным изданных, из стихов и прозы, которых ты наберешь, из «Писем Емилия», которые я намерен напечатать, мы составим нечто целое. Катерина Федоровна не пожалеет денег на издание: она любит и гордится славою своего незабвенного друга. Вот будет книга редкая у нас в России! Это издание меня занимает. Ты не рассеешь, конечно, моей надежды. Лениость твоя не может быть извинением, когда дело идет о пользе общественной и о выгодах мертвого.

Тургенев сказывал мне, что ты пишешь балладу. Зачем не поэму? Зачем не переводишь ты Попа «Послание к Абельяру»? Чудак! Ты имеешь все, чтоб сделать себе прочную славу, основанную на важном деле. У тебя воображение Мильтона, нежность Петрарки... и ты пишешь баллады! Оставь безделки нам. Займись чем-нибудь достойным твоего дарования. Вот мое мнение: оно чистосердечно. Пускай другие кадят тебе; я лучше умею: я чувствую, наслаждаюсь, восхищаюсь твоим гением и, признаюсь, сожалею о том, что ты не избрал медленного, но постоянного и верного пути к славе. К славе! Она не пустое слово;

она вернее многих благ брэнного человечества. Когда-нибудь поговорю о моих мараньях. Говорить о Муравьеве и потом о Жуковском и заключить собою — это противно вкусу и рассудку. Теперь прости, милый друг! Помни меня, люби меня и пожалей о добром Батюшкове, который все утратил в жизни, кроме способности любить друзей своих. Он никогда не забудет тебя; он гордится тобою. К. Б.

Не у тебя ли Муравьева «Письма к молодому человеку об истории»?

### 73. П. А. Вяземскому

10 января [1815]

Письмо твое только вчера отдал мне К. Меншинин, который нашел меня глупым или умным, невеждою или ученым: вот это я тебе сказать не могу. Но о стихах твоих я говорить могу с тобою: они мне очень понравились и отданы в «Сын Отечества», который принял их с восторгом в холодные свои объятия. Дашков здесь. Он сказывал мне, что Жуковско⟨го⟩ стихи не совершенно понравились нашим Лебедам, и здешние Гуси ими не будут восхищаться. Что нужды! Зато Нелединс⟨кий⟩ плакал, читая их перед императрицей, которой они очень нравятся. Вот лучшая награда. Ошибки в стихах нашего Балладника примечены быть могут и ребенком; он часто завирается. Но зато! зато сколько чувства? какие стихи! и кто говорил с таким глубоким чувством об императоре? Так, любезный друг! Государь наш, который, конечно, выше Александра Македонского, должен то же сделать, что Александр Древн⟨ий⟩! Он запретил под смертною казнию изображать лице свое дурным художникам, а предоставил сие право одиночашно Фидию. Пусть и государь позволит одному Жуковскому говорить о его подвигах. Все прочие наши одорифмователи недостойны его. Они, и стихи их, и проза, и ненависть их, и хвала их, и одобрение, и ласки, и эпиграммы, и мадригалы, и вся сия стишастая сволочь,— надоела. Чего хорошего? Воейков, приятель Пушкина и Мерзлякова, садит их в дом сумасшедших? Признаюсь тебе, я желаю иметь честь сидеть в желтом доме с честным Глинкой, с Мерзляковым, которого люблю дарование, с Пушкиным, которого обожаю от ног до головы, нежели разделять славу и пальмы с Воейковым, который ничего не имеет *веселого* во всем своем поведении. Гибель тому, кого он хвалит. У него в одной руке кадило с фимиамом, в другой бич сатиры. И к чему ведет это? Один хороший стих Жуковск⟨ого⟩ больше приносит пользы словесности, нежели все возможные сатиры. По крайней мере, будь весел в них!

Я ничего печатать не хочу и долго не буду, а пишу для себя. Теперь кончил сказку «Домосед и Странствователь», которая тебе, может быть, понравится, потому что напомнит обо мне. Я описал себя, свои собственные заблуждения и сердца, и ума моего. Пришлю, как скоро будет время. <...>

Я пишу тебе с Луниным, которому я наговорил о тебе много чудес. Он мне родственник и приятель; прошу ваше сиятельство обласкать его; притом же он, как увидите, человек добрый, весьма умный и веселый, и великий охотник пуститься в метафизические споры, — спорь с ним до слез!

В отсутст<вие> мое здесь разошлись мои стихи «Певец». Глупая шутка, которую я писал для себя. Вот все славяне навались на меня! Хотят ж<алова>ться. Но я ничьих имен не записывал, и вольно им брать на себя чужие грехи.

Как бы то ни было, а это скучно и начинает меня огорчать. <...>

#### 74. П. А. Вяземскому

[Февраль 1815]

Князь Юрий Трубецкой, мой хороший приятель и приятель нашего милого Северина, едет в Москву, и с ним я спешу написать к тебе несколько строк и отвечать тебе на твои несправедливые упреки. За что мне на тебя гневаться? За то ли, что тебе не понравилось мое письмо о Муравьеве? Если б и все мои стихи тебе не нравились, то и тогда бы я не гневался. Я сердился на тебя за «Ноель» и за то, что ты напал на Мур<авьева>-Ап<остола>. Ты знал мою привязанность к его семейству и оскорбил меня. Вот за что я был на тебя в гневе, но и этот гнев исчез; а дружба моя к тебе не утратилась и могла ли утратиться? Что есть у меня в мире дороже друзей! и таких друзей, как ты и Жуковский. Вас желал бы видеть счастливыми: тебя благоразумнее, а Жуковского рассудительнее. Я горжусь вашими успехами; они мои; это моя собственность; я был бы счастлив вашим счастьем. Что до меня касается, милый друг, то я справедливо жалуясь на мою судьбу, которая лишает меня даже и дарования.

Возьмите, боги, жизнь! что в ней без упования?  
Без дружбы! без любви! без идолов моих?  
И муза, сетуя, без них  
Светильник гасит дарованья.

Верь мне, что я болен не одним воображением, и в доказательство чего пришлю тебе мою сказку «Странствователь и Домосед», где я сам над собою смеялся. Стих, и прекрасной:

ум любит странствовать, а сердце жить на месте, — стих Дмитриева, подал мне мысль эту. И где? в Лондоне; когда, сидя с Севериным на берегах Темзы, мы рассуждали об этой молодости, которая исчезает так быстро и невозвратно! Желаю душевно, чтоб моя сказка тебе понравилась. Это мой первый опыт, и советы нужны. Но я поправлять ее теперь не в силах. Стихи и рифмы наскучили; и им я приписываю мои недостатки и странности ума и сердца моего, от которых хочу исправиться и не могу. Еще повторю: какая мне польза одному существовать? — Кроме дружбы вашей? — «И дарование имеет свои мучения», — сказал покойный Муравьев, весьма справедливо. А я, право, настрадался и без дарования. Недавно еще, пересматривая мой список «Рифм и слов», я воскликнул, как мой Странствователь в Египте: «Какие глупости! Какое заблуждение!»

Но полно. Ты опять будешь смеяться над моею эпистолюю: если б мог читать в уме моем, то был бы справедливее. (...)

#### 75. П. А. Вяземскому

[Февраль 1815]

Сию минуту получаю другое письмо, которое доставил мне Давыдов; благодарю твою дружбу! Я оживаю мало-помалу и начинаю верить, что есть люди, которые меня любят. Это пища сердцу, такие письма и от таких людей. Знаешь ли, что с замашками моего ума у меня сердце почти такое, какое Гете, человек сумасшедший, дал сумасшедшему Вертеру. Я иногда пугаюсь сам себя. Не испугайся моих стихов. Вот они. Но с уговором.

1-е. Этот экземпляр, который для меня дорог по многим причинам, с первою почтою возврати назад, бога ради возврати! 2-е. Прочитай обществу, если оно на то будет согласно, и пришли мне замечания. Я постараюсь ими воспользоваться. «Мал разум одного, но разум всех велик!» Запиши замечания на особой бумажке. Чтоб плана моего не критиковали. Напрасный труд: я его переменить не в силах. Здесь меня осыпали похвалами, а иные строго критиковали. Но я желал искренно, чтоб эта сказка полюбилась московским литераторам, заслужила их одобрение, лестное моему сердцу, ибо я их всех люблю искренно. 3-е. Пришли мне все, что ты написал нового. Дай бог, чтоб это было *важное*. Зачем ты не испытываешь род сказки? Зачем Дмитриеву оставлять одному его, такое веселое и пространное, созданное как нарочно для твоего остроумия, ума и сердца? Дай бог, чтоб мой опыт тебя воспалил. Принимайся! Я тебя благословляю, а себя и публику поздравлю с прекрасным и оригинальным произведением. Оригинальным, разумеется, ибо ты должен что-нибудь написать своей



выдумкой, изобрести и басню, и рассказ, и подробности. Ты можешь. Сперва обдумай все, это тебя займет приятным образом, а там и за перо. Пиши в роде «Модной жены». Общество даст тебе множество подробностей прелестных. Напиши не одну сказку, три, четыре, более, если можешь. Но не пиши мелочей, обдумывай один род. У нас множество баснописцев. Пусть будут и сказочники. Этот род не низкий. Требует ума и большой разборчивости. Им занимали(сь) и Лафонтен, и Вольтер, и Ариост, сей великий единственный ум, который, по моему мнению, не уступает Омеру. Похвали мою сказку. Это меня ободрит. Успехов просит ум... а сердце счастья просит!

Кстати о сказке. Возврати мне ее и не печатай, пока я не сделаю поправок. Под всяким замечанием запиши имя того, кто его сделает. Это мне будет очень приятно. Я ожидаю Жуковск(ого) с нетерпением. Он в Дерпте.

Ты плакал в Астафьеве. Я не жалею о тебе, ежели твои не горестны были. Время отняло у них горечь. Что делать? плакай или вздыхай! мы ходим по развалинам и между гробов. Ты знал Агату Полторацкую. Вчера ее не стало, et rose elle à vent...\* Отец и бедная мать в слезах... А Наполеон живет и стоит. *Изверг, подлец* дышит воздухом. Удивляюсь иногда неисповедимому провидению. Дай бог, чтоб ему свернули шею скорее или разгромили это подлое гнездо, которое называется Парижем. Ни одно благородное сердце не может любить теперь этого города и этого народа, шаткого, корыстолюбивого и подлого. Я видел его вблизи и потерял к нему последнее уважение. Бог наделил его всем: и умом, и острою, и храбростию — и после отступился от него. (...)

## 76. П. А. Вяземскому

[Февраль 1815]

(...) Что же касается до гнева моего на стихи, то этот гнев справедлив совершенно. Я буду повторять, к чему ведут дарования. Дают ли они уважение в обществе нашем? На что заблуждаться? Мы должны искать сего уважения, ибо делай что хочешь, а людей уважать надобно. Кто презирает их, тот себя презирает. С пылкостью лет, у меня по крайней мере, исчезло и пристрастие ко всему блестящему, и я желал бы полезным быть и обществу, и самому себе, и *самому себе*, и я еще это повторю: стихи ни к чему не ведут. Далее: испытыв много, узнав цену и вещам, и людям, виноват ли я, мой друг, если многие вещи утратили для меня цену свою? Но ты говоришь: не писать — не

\* как розы под ветром (франц.).

жить поэту. Справедливо! Но что писать? Безделки. Нет! Писать что-нибудь важное, не для минутного успеха, а для себя. Ничего не печатать для приобретения известности. Иметь свыше цель: Славу. Обмануться. Так и быть! Но и обмануться славно. Писать для себя, *roug soulager son coeur\**. «Успехов просит ум, а сердце счастья просит». Сии-то маленькие успехи не ведут ко счастью. Они преграды к нему, напротив того. Мы это знаем, милый друг, знаем по опыту. Меня все мучит; даже самая известность. Что касается до шутки, которая вырвалась из-под пера моего, то я ее не извиняю, она такова, что я мог бы потерять уважение к себе, если б не имел искреннего убеждения в том, что я более виноват перед светом, нежели перед собою. Страха в сердце не имею: я боюсь самого себя. Вооружиться против тех, которые оскорбляют вкус, не есть большая вина. Но горе тому, кто занимается единственно теми, которые оскорбляют вкус и наше суетное самолюбие. Если б мне предложил какой-нибудь Гений все остроумие и всю славу Вольтера — отказ. Выслушай свое сердце в молчании страстей и ты со мною согласишься, в противном случае я тебя не уважаю. Так, надобно переменить род жизни. Благодаря богу я уже во многом успел: стараться укротить маленькие страсти, успокоить ум и устремить его на предметы, достойные человека. Я подкреплю мои замечания словами добродетельного Роллена. Прочитай страницу 90, 91, 92 *Oeuvres completes de Rollen a Paris chez Hénée\*\**, письмо его к Ж.-Б. Руссо. Я не осмелился бы взять на себя сделать такой упрек твоей совести, если бы большая часть поучений Роллена не относилась прямо ко мне. Лучший ответ врагам нашим и врагам вкуса: молчание и это спокойствие душевное, которое бывает наградою хорошего поведения и спокойной совести. Вот мое признание. Прибавь к этому, что маленькие страсти, маленькие успехи в обществе и в кругу маленьких людей, которых мы не любим, не уважаем, маленькие стихи и мелочи не достойны мужа, делают и ум мелким, беспокойным. «Успехов просит ум, а сердце счастья просит». Но пусть ум просит великих успехов, счастья... если не найдет его здесь, где все минутно, то не теряет права найти его — там, где все вечно и постоянно. Ты же, счастливец, сокрой себя на месяц или на два: перемени образ жизни свой. Читай полезное, будь полезен другим, сотвори себя снова: и тогда, если не оправдаешь моих слов, то я позволяю сказать мне — что я начал бредить. Иначе, в шуму страстей твоих, и этого мелкого суетного самолюбия, и этих хладных удовольствий, тебя недостойных, я тебе не поверю. Мы возмужали, опытности прибавилось, чего не достает нам? Уважения к себе.

---

\* для облегчения своего сердца (франц.).

\*\* Полное собрание сочинений Роллена, изданное в Париже Эне (франц.).

Сядем на ряду с людьми. Сядем выше недостойных. Если мы избрали словесность, то оставим в ней не одни цветы: плоды; а в обществе имя честного человека, во всей простоте сего слова, такое имя лучше всех титулов. Ne craignez pas le ridicule\*. Для человека с твоим умом оно не существует. У тебя всё. Кроме постоянства и характера, без которых нет ничего совершенного: постоянство и внимание — вот рычаг ума человеческого, а характер... Смейся, у меня есть свой характер, я это испытал на днях. Я умею подбирать в бурю паруса моего воображения. Слава богу, и этого довольно — на нынешние времена: вперед будет лучше. Тот уже много сделал на поприще нравственном, кто хотел что-нибудь сделать. Dixi\*\*.

На днях будет готова книга покойного Муравьева: я напечатал «Обитателя предместия» и собрал «Эмилиевы письма». Доставлю тебе и Карамзину. От Жуковского я получил письмо. Я называю его — угадай как? Рыцарем на поле нравственности и словесности. Он выше всего, что написал до сего времени, и душой, и умом. Это подает мне надежду, что он напишет со временем что-нибудь совершенное. В последней пиэсе «Ахилл» стихи прелестны, но с первой строки до последней он оскорбил правила здравого вкуса и из Ахилла сделал Фингала. Это наш Рубенс. Он пишет ангелов в немецких париках. Скажи ему это от меня.

Обними за меня Дениса, нашего милого рыцаря, который сочетал лавры со шпагою, с миртами, с чашею, с острыми словами учтивого маркиза, с бородою партизана и часто с глубоким умом. Который затмевается иногда... Когда он вздумает говорить о метафизике. Спроси его о наших спорах в Германии и в Париже (<...>)

77. П. А. Вяземскому

[Март 1815]

Я нахожу, что начало твоего послания растянуто. Это можно легко поправить: надобно более сжать до стиха:

О, милая подруга,

и не растягивать мыслей в длинных поэтических периодах, которые охлаждают читателя и утомляют любопытство. Сделай начало короче как можно.

Вечных болтунов,  
С вестями неразлучных...

\* Не бойтесь смешного (франц.).

\*\* Я сказал (лат.).

Не лучше ли:

С злословьем неразлучных,

ибо болтун невольно делается злословен, а вести не всегда под рукой.

Безграмотных писцов,  
Числящихся в поэтах.

*Числящихся* — очень не хорошо, холодно, и ударение не на месте; это надобно необходимо поправить. И далее, вступление à la Gresset\* растянуто: впрочем, стихи хороши, но они длинные и задерживают начало, то есть:

О, милая подруга, и пр.  
Приди под кров родной,  
Под кров уединенный,  
Счастливый и простой,  
Где счастье неизменно.

Если б ты меня звал под свой кров и нанизал в разговоре столько эпитетов, то я, верно бы, не пошел. Бога ради, это поправь! Вообрази себе, что *кров родной* — этого довольно, а еще *уединенный и простой; счастливый* — этого мало, но еще *где счастье неизменно!* Замени это живописными стихами.

Хотя мы жили мало, и пр.

до стиха:

Где мы найти ласкались  
И счастье, и покой,

прекрасно, истинно прекрасно! И далее все мило!

С небес необходим

можно заменить, но это — безделка. Далее, удвоенные рифмы очень счастливы и придают стихам какую-то прелесть и новость. В них виден abandon\*\*, сердечное излияние, чего до сих пор в твоих стихах я не замечал.

Твой утренний наряд, и пр.

прекрасно.

А там тропу от спальни  
К беседке над купальной  
Прокладываешь ты.

\* в духе Грессе (франц.).

\*\* я покидаю (итал.).

Прелестно! Жаль, что рифмы неверны.

И розу мне приносишь —  
Подобие себя —

мадригал, но очень кстати. Далее все дышит чувствительностью. Я говорю, что ты здесь в первый раз поэт и не гоняешься за умом. Вот стихи! Противоположность счастья домашнего с шумом и суетой света очень удачна, и все стихи прелестны, и это доказывает, что начало надобно переменить или сжать более, как я говорил: иначе здесь будет повторение.

То, что ты говоришь о Жуковском, не очень счастливо, то есть первые четыре стиха.

И страшный уж порой

не хорошо; об нем можно лучше говорить; и что значит

Наперсник ведьм и граций?

Ведьм! Не лучше ли фей? Перемени это. Конец весь прекрасен:

О дружба, жизни радости!  
О дружба, весь я твой!

Прекрасно, и очень кстати! Вообще я доволен твоим посланием и уверительно могу сказать, что оно лучше всех твоих стихов. В нем есть истинные красоты. Постарайся исправить то, что я заметил; дай более жизни началу, выбрось повторения. Тогда критика, любовь и дружба тебя назовут своим поэтом.

78. Н. И. Гнедичу

[Июнь 1815]

⟨...⟩ На днях непременно отправляюсь в Каменец. Ничего тебе утешительного о себе сказать не могу. Кругом меня печальные лица. У меня для будущего ни одной розовой мысли. Самое пребывание в Каменце не очень лестно. На счастье я права не имею, конечно, но горестно истратить прелестные дни жизни на большой дороге, без пользы для себя и для других; по-моему, уже лучше воевать. Всего же горестнее (и не думай, чтобы это была пустая фраза) быть оторванным от словесности, от занятий ума, от милых привычек жизни и от друзей своих. Такая жизнь — бремя. Есть лекарство скуке: пушечные выстрелы. Не к ним ли опять ведет упрямая судьба?

Радуюсь, что Жуковский у вас и надолго. Его дарования и

его характер — не ходячая монета в обществе. Он скоро наскучит, а я ему еще скорее, и пыльные бульвары, и ваши словесники, и ладан хвалебный. Познакомься с ним потеснее: верь, что его ум и душа — сокровище в нашем веке. Я повторяю не то, что слышал, а то, что испытал. Проси его, чтобы он ко мне написал несколько строк на досуге. Я имею нужду в твоей дружбе, в его дружбе. Вот мои единственные сокровища, одно, что мне оставила фортуна!

Огорчения Катерины Федоровны весьма естественны. Разлука с сыном для матери есть несчастье, и для какой матери, и с каким сыном! Молодой Муравьев будет украшением России, если пойдет по стопам своего отца. Ум дельный, большие способности и сердце своего родителя с пламенною душою матери: редкое сочетание! Дай бог ему здоровья и успеха! <...>

79. Н. И. Гнедичу

10 июля [1815]

Язык до Киева доведет, а из Киева не так далеко до Волыни, а с Волыни на Подол и наконец в Каменец, откуда я пишу к тебе, мой милый друг,

С усталой от забот и праздности душою,

которую ни труды, ни перемена места, ни перемена забот не могут вылечить от скуки, весьма извинительной, ибо я проехал через Москву около трех тысяч верст, если не более, зачем? Чтоб отдалиться от друзей. Наконец я здесь, к удивлению моего генерала, который принял меня весьма ласково, меня и другого адъютанта, Давыдова, которого полиция московская выгнала из Москвы, как меня — петербургская. Но Каменец и без нас существовал. Я это предвидел, предчувствовал. Теперь я не имею скорой или близкой надежды увидеться с тобою и выцарапать тебе последний твой глаз, который дальновиднее моих обоих, за то, что ты меня вовсе забыл: ни слова не писал в деревню, где я находился между страха и надежды, но в совершенной неизвестности, куда ехать, зачем и как, где был очень болен, откуда я поехал с лихорадкою, которая меня и здесь не покидает, и здесь, в отчизне зефилов и цветов, жидов и старых польских усов. Итак, до случая удаляю надежду, до времени покоряюсь святому Провидению, которое бросает меня из края в край, меня, маленького Улисса или Телемака, который умоляет тебя, божественного Демодока, писать к нему почаще, ибо, право, жизнь не жизнь без друзей. Уж я ни слова не говорю о том, что ты ко мне не писал о моих делах. Право, не хорошо меня мучить, меня, изму-

ченного. И что у тебя за лень? Пишешь к каждому пономарю в Малороссии, а не пишешь к другу, который тебя любит, конечно, более, нежели кто-нибудь на свете: и ты это знаешь. Пиши ко мне хотя для того, что я в отчизне голушек, вареников, волов, мазанок, усов и чупов. Вот мое право, если другие все утрачены для твоего сердца, которое, от постоянно спокойной жизни и от расчетов твоего ума, превратится в камень, чего не дай бог и для меня, и для словесности, которая *на тебя считает*, ибо тогда музы отвратят лицо свое от твоего лица, и ты будешь заседать в *Беседе* и скука с тобой одесную, а Славяне — ошую. Но это не будет. Пиши, люби меня и люби посильнее; право, я нужду имею в твоей дружбе; или друзья нам только милы бывают вблизи и в счастья? Прости!

Если вы меня все забыли, то есть Гнедич и Николай Иванович, то я умру новым родом смерти: тридцать верст от нас карантин; выпрошу позволение отправиться туда, зачумею, и поминай как звали! Но я думаю, что обыкновенная чума не действует на тех, к которым привита чума стихотворная. Вот новая беда! <...>

80. Н. И. Гнедичу

11 августа 1815 г.

Наконец, после трех месяцев молчания, от тебя письмо! Станный человек! Если бы я тебя не столько любил, то могло ли бы твое злое молчание меня тронуть? Я не знаю ни прозаической, ни поэтической дружбы; я знаю просто любить, вот все, что я знаю. Напрасны твои загадки и извинения. Собственное твое сердце, если ты его не вовсе истаскал на обедах у обер-секретарей и у откупщиков, твое сердце тебя должно мучить. Пусть оно говорит. Я ни слова. Я слишком сердит на тебя; любить тебя перестать не в силах.

<...> Благодарю Греча. Пусть он печатает мою сказку, но внизу поставит NN. Перечитай ее сперва с Жуковским, и поправьте, бога ради, что хотите. У меня иное в голове — путешествие в Крым, если будет возможность, силы и деньги. <...> Глинке — мой усердный поклон. Я его «Письма» прочитал с несказанным удовольствием. Много ума, много воображения, слог живой, оригинальный. Пожелаем ему более вкуса и менее охоты декламировать против богатства и французов: фамильный грех! Не замедли прислать мне и его «Путешествие»; оно стоит безделки. Прости, весь твой *Константин В.*

Дашкова я просил прислать Библию итальянскую. Он забыл или не получил моего письма. Я по горло в итальянском языке. <...>

Августа, числа не знаю [1815]

Благодарю тебя, милый друг, за несколько строк твоих из Петербурга и за твои советы из Москвы и Петербурга. Дружба твоя — для меня сокровище, особливо с некоторых пор. Я не сливаю поэта с другом. Ты будешь совершенный поэт, если твои дарования возвысятся до степени души твоей, доброй и прекрасной, и которая блистает в твоих стихах: вот почему я их перечитываю всегда с новым и живым удовольствием, даже и теперь, когда поэзия утратила для меня всю прелесть. Радуюсь душевно, что вздумал издавать свои сочинения: ты обогатишь Парнас и друзей. Ты много испытал, как я слышу и вижу из твоих писем, но все еще любишь славу, и люби ее! И мне советуешь броситься в море поэзии!.. Я уверен, что ты говоришь от сердца, и вот почему я скажу тебе, милый друг, что обстоятельства и несколько лет огорчений потушили во мне страсть и жажду стихов. Может быть, придут счастливейшие времена; тогда я буду писать, а в ожидании их читать твои прелестные стихи, читать и перечитывать, и твердить их наизусть. Теперь я по горло в прозе. Воображение побледнело, но не сердце к счастью, и я этому радуюсь. Оно еще способнее, нежели прежде, любить друзей и чувствовать все великое, изящное. Страдания его не убьют, милый друг, а надежда быть тебя достойным даст ему силу. Вот все, что я скажу о себе. (...) Кстати, о прозе напечатанной. Костогоров показывал мне программу издания прозы Вейкова. Профессор дерптский, за неимением лучшего, вписал мои безделки, безделки по совести, и которые не стоят быть помещены в издании его, под громким титулом «Образцовых сочинений»!!! Я их перечитал и в этом уверился. Но если он заупрямится их оставить, то напиши ко мне, что ты хочешь напечатать в прозе: я пришлю исправленные списки, и особенно «Финляндии». Все сделаю, что могу, в угоду великоленному дерптскому профессору, который ни в каком месте не забывает своих друзей. Поблагодари его за приятное воспоминание о Батюшкове и спроси, как я хохотал в Москве, читая:

Сердце наше — кладезь мрачный,

и наконец:

Крокодил на дне лежит.

Скажи ему, что я... на Парнасе с ним рассчитаюсь, но люблю его по-прежнему, и не за что сердиться! Есть за что сердиться на Дашкова, который не довольно уважал меня и потому не показал мне эту шутку. Теперь о деле. Кончи Муравьева издание и



покажи мне часть стихов. Я желал бы, чтобы напечатали только достойное Михаила Никитича и издателя. И есть что! Но это золото не для нашей публики: она еще слишком молода и не может чувствовать всю прелесть красноречия и прекрасной души. Упрямое молчание об этих книгах наших журналистов не делает чести ни вкусу их, ни уму; я прибавлю: ниже сердцу, ибо все были обязаны менее или более покойному Муравьеву, который не имеет нужды в их похвале. После Муравьева говорить о себе позволено с другом. Я желал бы, чтоб Жуковский заглянул в список моих стихов у Блудова и с ним заметил то, что стоит печатания, и то, что предать огню-истребителю. У меня Брутово сердце для стихотворных детей моих: или слава, или смерть! Ты смеешься, милый друг! Но прости этому припадку честолюбия и согласишься заметить кое-что, и притом скажи мне, как думаешь о моей повести «Странствователь и Домосед», которую у меня Мерзляков подцепил в Москве, напечатал, не дождавшись моих поправок, и предал забвению с рифмами Анакреона-Олина и Пиндара-Шатрова? Скажи хоть словечко: писать ли мне сказки или не писать? Теперь я ничего не пишу, но вперед? <...>

82. П. А. Вяземскому

11 ноября [1815]. Каменец-Подольский

Благодарю тебя, милый друг, за чай и за насмешливо-смешное послание. Если б я думал, что ты не в состоянии написать что-нибудь важнее *блестящих безделок*, то не давал бы тебе совету. Ограничить себя эпиграммами и Шутовским тебе, с твоей душой и умом, все равно, что Ахиллесу палицей бить воробьев — и только! Но ты меня давно понял, а споришь для спору. Писать что-нибудь поважнее посланий и мадригалов не есть писать «Плач Юнгов»: от тебя зависит выбрать предмет тебя достойный. Поговорим об этом на досуге, а теперь о Шутовском. Я ничего не знал до твоего письма. Ни Дашков, ни Гнедич, ни Жуковский, никто ко мне не пишет из Петербурга; и думаю, это заговор молчания. Но бог с ними. Из журнала я увидел, что Шах (овской) написал комедию и в ней напал на Жук (овского). Это меня не удивило. Жуковский не дюжинный, и его без лап не пропустят к славе. Озерова загрызли. Карамзина осыпали насмешками; он оградился терпением и историей. Пушкин будет воевать до последней капли чернил: он обстрелян и выдержит. Я маленький Исоп посреди маститых кедров: прильну к земле, и буря мимо. И тебе, милый друг, не советую нападать на них эпиграммами. Они все прекрасны и на сей раз, сказать можно, что делают честь твоему сердцу, но, верь мне (я знаю поприще успехов Шу-

товского), верь мне, что лучшая на него эпиграмма и сатира есть — время. Он от него не отделается. Время сгложет его желчь, а имена Озерова и Жуковского и Карамзина останутся. Пусть его венчают, чем хотят и как хотят. Надобно знать людей, которые его хвалят, чтобы не уважать ни их, ни Шутовского. Невежество, глупость, зависть — его хвалители. Верь мне, Шутовской не дурак. Он бы позволил себя высечь или чтобы его похвалил Озеров, Карамзин и Жуковский: я знаю его вдоль и поперек. Они не хвалят? Как же с ними жить? бранить. Они его не бранят; они презирают. Вот ему мучение. За столько и столько вялых стихов, комедий, трагедий, поэм и проч. С моей стороны ответом будет молчание и надежда что-нибудь написать хорошее. Если удастся, то я это все посвящу Шутовскому и товарищам. Они пробудили во мне спящее самолюбие. Не на эпиграммы, нет: на что-нибудь путное. Если богу угодно будет дать мне досуг и здоровье, которых я лишен, то я буду трудиться для славы: по крайней мере, стану ее иметь в виду. Крапивные венки оставим им. Радуюсь, что удален случайно от поприща успехов и страстей, и страшусь за Жуков(ского). Это все его тронет: он не каменный. Даже излишнее усердие друзей может быть вредно. Опасаюсь этого. Заклинай его именем его гения переносить равнодушно насмешки и хлопанье и быть совершенно выше своих современников... Он печатает свои стихи. Радуюсь этому и не радуюсь. Лучше бы подождать, исправить, кое-что выкинуть: у него много лишнего. Радуюсь: прекрасные стихи лучший ответ Митрофану Шутовскому. <...>

83. В. А. Жуковскому

[Декабрь 1815]

<...> Во всем согласен с тобою насчет поэзии. Мы смотрим на нее с надлежащей точки, о которой толпа и понятия не имеет. Большая часть людей принимают за поэзию рифмы, а не чувство, слова, а не образы. Бог с нею! Но, милый друг, если ты имеешь дарование небесное, то дорого заплатишь за него, и дороже еще, если не сделаешь того, что Карамзин; он избрал себе одно занятие, одно поприще, куда уходит от страстей и огорчений: тайная земля для профанов, истинное убежище для души чувствительной. Последи его примеру. Ты имеешь талант редкий; избери же землю, достойную его, и приготовь для будущего новую пищу сердцу и уму, новую славу и новое сладострастие любимцам прекрасного. Что до меня касается, милый друг, то я готов бы отказаться вовсе от муз, если бы в них не находил еще некоторого решения от душевной тоски. Четыре года

шатаюсь по свету, живу один с собою, ибо с кем мне меняться чувствами? Ничего не желаю, кроме довольствия и спокойствия, но последнего не найду, конечно. Испытал множество огорчений и износил душу до времени. Что же тут остается для поэзии, милый друг? Весьма мало! Слабый луч того огня, который ты называешь в письме своим огнем весталок; но мы его не потушим! <...> Пересмотри и мое маранье в жертву дружеству. Оно у Блудова переписано. Пересмотри с ним наедине и заметь, что надобно выбросить. Когда-нибудь (в лучшие дни) я это напечатаю. Переправлять не буду, кроме глупостей, если найдутся. Я слишком много переправляю. Это мой порок или добродетель? Говорят, что дарование изобретает, ум поправляет: если это правда, то у меня более ума, нежели дарования, следовательно, и писать не надобно. Кстати об уме. Что у вас за шум? До твоего письма я ничего не знал обстоятельно. Пушкин и Асмодей писали ко мне, что Аристофан написал «Липецкие воды» и тебя преобразил в Фиалкина. Пушкин говорит мне, что он вооружается эпиграммами. Прежде сего читал в «Сыне Отечества» «Письмо к Аристофану» и тотчас по слогу отгадал сочинителя. Вот все, что я знал. Теперь узнаю, что Аристофан вывел на сцену тебя и друзей, что у вас есть общество и я пожалован в Ахиллесеы. Горжусь названием, но Ахилл пребудет бездействен на черных и черных кораблях:

В печали бо погиб и дух его, и крепость.

Нет! Ахилл пришлет вам свои маранья в прозе, для издания, из Москвы. Вот им реестр: 1) Нечто о морали и религии. 2) Италиянские стихотворцы: Ариост, Тасс и Петрарка. 3) Путешествие в Сире. 4) Воспоминания словесности и отрывок о Ломоносове. 5) Две аллегории. 6) Искательный — характер.

О лучших свойствах сердца. Это все было намарано мною здесь от скуки, без книг и пособий, но, может быть, оттого и мысли покажутся вам свежее. Пришло все с удовольствием, но только марайте, что не понравится. Костогоров показывал мне реестр книгам образцовым; в них поместил ты, опустошитель, мою «Финляндию» и «Похвальное слово сну»: не печатай их, куда я не вышлю исправленные: у меня есть список, но я хочу печатать это в Москве. Имени под прозою не подписывай: довольно с меня грехов стихословных.

<...> Поклон Арзамасам от старого гуся. Союзник нам — время: оно сгложет Аристофана с его драматургией. Не видал его «Вод», не знаю его «Абуфара», но если они похожи на некоторые другие штучки родителя, то не о чем много хлопотать. До сих пор, кроме водевиля «Казака», я ничего хорошего не знаю, а написано много. Ожидаю еще поэму «Гаральд Храбрый» и нового облегчения комедиями, операми, опереттами, драмами, водевилями; все вместе прочитаю одним духом. Что делает

*Беседа?* Я люблю ее как душу, *аки бы* сам себя. Прости, милый друг, обнимаю тебя от всей души, от всего сердца и до свиданья в Москве. *К. Б.*

Вяземский-Асмодей уверил меня, что сказка моя никуда не годится. Кто прав, кто виноват? Хочу написать другую и пришлю вам, если обстоятельства будут повеселее. Я здесь чуть не умер с тоски и от лихорадки весьма продолжительной; хочу отправиться на Липецкие воды за бессмертием. Не думайте, чтоб это была шутка. Мой характер очень переменялся: я сделался задумчив, безмолвен, тих до глупости и даже беспечен, чего со мною никогда не бывало: надобно лечиться.

Познакомься покороче с Муравьевым, с редким человеком: он живой портрет отца своего во многих отношениях, по сердцу и уму. Жаль, если его страсть к науке погаснет в службе: мы еще потеряем человека! Но это между нами.

#### 84. П. А. Вяземскому

[Февраль 1816]

⟨...⟩ Вчера поутру, читая «*La Gaule Poétique*»\*, я вздумал идти в атаку на Гаральда Смелого, то есть перевел стихов с двадцать, но так разгорячился, что нога заболела. Пар поэтический исчез, и я в моем герое нашел маленькую перемену. Когда я читал подвиги скандинава,

То думал видеть в нем героя  
В великоленном шишаке,  
С булатной саблею в руке  
И в латах древнего покроя,  
Я думал: в пламенных очах  
Сиять должно души покойство,  
В высокой поступи — геройство  
И убежденье на устах.

Но, закрыв книгу, я увидел совершенно противное. Прекрасный идеал исчез,

и предо мной  
Явился вдруг... чухна простой:  
До плеч висящий волос  
И грубый голос,  
И весь герой — чухна чухной.

Этого мало преобразования. Герой начал действовать: ходить и есть, и пить. Кушал необыкновенно поэтическим образом:

Он начал драть ногтями  
Кусок баранины сырой.

---

\* «Поэтическую Галлию» (франц.).

Глотал ее, как зверь лесной,  
И утирался волосами.

Я не говорил ни слова. У всякого свой обычай. Гомеровы герои и наши калмыки то же делали на биваках. Но вот что меня вывело из терпения: перед чухонцем стоял череп убитого врага, окованный серебром, и бадья с вином. Представь себе, что он сделал!

Он череп ухватил кровавыми перстами,  
Налил в него вина  
И все хлестнул до дна...  
Не шевельнув устами.

Я проснулся и дал себе честное слово никогда не воспевать таких уродов, и тебе не советую. <...>

85. В. А. Жуковскому

[Март 1816]

Благодарю тебя, милый друг, за твою книгу, которую я получил через Гнедича. С жадностью ожидаю второй части и баллад, на которые все вооружаются во имя Расина, вкуса и отечества. В нашей Суздали все хотят писать по-суздальски: на яичке, как в старину писали. Старость тебя бранит, молодость силится тебе подражать: добрый знак! Пиши, иди вперед! Тецы убо, солнце наше, и натецы на поэму: вот мое сердечное желание. Не знаю, что у вас делается, в вашей Суздали, а в нашей не лучше. У подошвы Парнаса грязь и навоз, то есть личность, корысть, упрямство и варварство. Я забыл прибавить: и зависть. Но ты это лучше ведаешь. Час от часу я более и более убеждаюсь, что Арзамасцы лучше Суздальцев, и без них несть спасения. Возьмите в Арзамасцы доброго Лихачева, которого послание к тебе прилагаю при сем: оно тебе понравится. Стихи приятны и написаны от сердца. Отвечай ему прозою, если хочешь, отвечай только. Адрес: в Каширу, Тверской губернии. Он теперь там. Здесь двадцать рублей за твою книгу. Он желал иметь билет, и я решился адресовать прямо к тебе. Пошли ее к нему, милый друг.

Ты меня забыл. Что делает Рафаэль-Карамзин в Суздали? Как приняли его картину абдерито-суздальские маляры? Ни слова не пишешь. Даже не отвечал на мое письмо из Каменца. Все тебе прощу, если напишешь поэму или что-нибудь достойное твоего таланта, и если будешь любить меня, как я тебя люблю. <...>

<...> О новостях не пишу. Мерзляков читает, и право хорошо.

Я слушал его с большим удовольствием. Пушкин перевел «Игрока»: много счастливых стихов. Прочие все пишут *и похвалы себе не слышат*. Я знаю, что ты не будешь спать от радости: ты член здешнего общества. Есть надежда, милый друг, что мы попадем в Академию. Если у Уварова есть экземпляр лишний «Элевзинских таинств», то доставь мне его. У меня давно кое-что бродит в голове: собираю материалы. Здоровье мое час от часу ниже, ниже, и я к смерти ближе, ближе, а писать охота смертная! А еще более хочется прижать тебя к сердцу и сказать тебе, милый друг, как ты мне дорог. <...>

86. Н. И. Гнедичу

[Август 1816]

Письмо твое получил и благодарю за предложение твое печатать на свой счет и, кроме того, дать еще автору 1500. Ты разоришься, и я никак не могу на это согласиться. «Лету» ни за миллион не напечатаю; в этом стою непоколебимо, пока у меня будет совесть, рассудок и сердце. Глинка умирает с голоду; Мерзляков мне приятель или то, что мы зовем приятелем; Шаликов в нужде; Языков питается пылью, а ты хочешь, чтобы я их дурачил перед светом. Нет, лучше умереть! Лишняя тысяча меня не обогатит. Если бы я согласился на некоторые предложения, то мог бы иметь тысяч пятнадцать дохода. Но я ни за чем не гоняюсь и если бы расквитался с долгами, наделанными в службе, и не имел бы домашних огорчений, то был бы счастлив и весел. <...>

Я угадал птицу по полету. Свидетели тебе Вяземский и Пушкин. При них, прочитав критику на «Ольгу», сказал: это Гнедич либо Никольский, но скорее первый. И Вяземский, и Пушкин благодарят неизвестного от всей души. Жаль только, что ты напал на род баллад. Тебе, литератору, это непростительно. Все роды хороши. Грибоедову не отвечай ни слова; и Катенин по таланту не стоил твоей прекрасной критики, которую сам Дмитриев хвалил очень горячо. Надобно бы доказать, что Жуковский поэт; надобно, говорю, перед лицом света: тогда все Грибоедовы исчезнут. Ходи, как Кромвель, в кирасе под платьем, не то умереть тебе под ножом писателей. Муравьев пишет ко мне каждую неделю и ныне спрашивает: кто автор критики на «Ольгу». Он полагает, что это я, но я отрекусь, разумеется. Пришли отрывок из «Илиады» к Кокошкину: он его провозглашает. Выпроси у Крылова басню. Вам стыдно не помогать здешнему обществу: вас любят и уважают. <...>

Как Олин воеет над мнимым мертвецом! А Державин еще упрашивал, чтобы не выли: это бессовестно!

Когда будет легче, то займусь перепискою моих безделок. С горестью вижу, что это безделки, но печатать надо. Их изуродовали в журналах и везде мое имя выставили. Даже Каченовский делает это против воли моей!

Как ты думаешь? Сбирать ли прозу? Как литература, она, кажется, довольно интересна и даст деньги. Впрочем, я ее не уважаю.

(...) Поклонись от меня бессмертному Крылову, бессмертному — конечно, так! Его басни переживут века. Я ими теперь восхищаюсь.

87. Н. И. Гнедичу

[Сентябрь 1816]

(...) Напрасно ты думаешь, что я отказываюсь от твоего предложения, имея в виду более. Конечно, в течение двух или трех лет могу сбыть все издание и выручить капитал на капитал, но иметь хлопоты, беспрестанно торговаться с книгопродавцами, жить для корректуры в столице мне невозможно. Итак, на твое предложение отвечаю со всем чистосердечием, что оно мне приятно по многим причинам, и если ты на мои кондиции согласишься, то и дело по рукам. Вот они. За две книги, толщину или числом страниц с сочинения М. Н. Муравьева, я прошу две тысячи рублей. Тысячу рублей прислать мне немедленно. У меня том прозы готов, переписан и переплетен. Приступить к печати, не ожидая стихов. Том стихов непосредственно за сим печатать. Если ты согласишься на мое условие, то я все велю переписывать и доставлю в начале октября. Им займусь сильно и многое исправлю. «Лету» не печатать; зато будут новые пиесы, как-то: «Ромео и Юлия» и другие безделки. Другую тысячу заплатить мне шесть месяцев по напечатании второго тома. Это тебя не расстроит и мне будет выгодно. Я берусь доставить заглавный виньет для обоих томов. Печатать отнюдь не по подписке: я на это никак не соглашусь. Могу поручиться, что здесь в Москве в первый год книгопродавцы возьмут 300 или 400 экземпляров. По крайней мере уверяет Каченовский. В Петербурге столько же выйдет в два года. Я мог бы печатать здесь. Мне дают деньги на бумагу, но не хочется одолжаться и жить в Москве. Дела требуют моего присутствия в деревне, одна болезнь удерживает. Дмитриев уговаривал продать здешним книгопродавцам, но я боюсь их как огня. Они изуродуют издание и на место завода напечатают два, как обыкновенно.

Том прозы будет интересен. Первая пиеса: речь, говоренная мною в московском собрании о словесности. Вторая: «Вечер у

Антиоха Кантемира», то есть разговор его с Монтескье, где я последнего немного поцарапал. «О Данте, Петрарке, Тассе, Ариосте». «Финляндия». «Похвала сну». «О морали». «О сочинениях Муравьева». «Письмо об академии», переправленное (надобно спросить у Оленина, можно ли его печатать? Канва его, а шелки мои). «Замок Сирей». «О госпоже дю-Шатле». «О поэте». «О Ломоносова характере личном», и проч., и проч.

Стихи разделяю на книги: 1-я — элегии, 2-я — смесь, романсы, послания, эпиграммы и проч. Я подписываю имя, следовательно, постараюсь сделать лучше все, что могу! Титул: «Опыты в стихах и прозе» К. Б. Если издатель захочет сделать предисловие или замечания, то может, подписав имя свое. Одним словом, надеюсь, что моя книга будет книга если не прекрасная, то не совершенно бездельная. Дай мне решительный ответ. Пришли всю тысячу. Мне деньги очень нужны. Я болен и проживаюсь на лекарстве. Если ты понесешь убыток, то я отвечаю. Но этого предполагать не можно. На печать полагаю две тысячи: этого достаточно; мне две тысячи, итого четыре. Две части продавать по десяти рублей, итого за тысячу экземпляров десять тысяч р<ублей>. На комиссию положим две тысячи; следовательно, четыре очистятся. Вот что мне говорил Каченовский, печататель чужих сочинений. Он мне и сам предлагал свои услуги, но я отказался, и главное — потому, что ты по дружбе это лучше сделаешь, и потому, что в Москве уродуют книги. Мне ты учинишь одолжение. Без тебя не решусь печатать. Ты знаешь мою лень и нерешимость. Но прошу только печатать без шума и грома. Обе книги вдруг выпустить. Жуковскому хвалители повредили. Греч объявит в «Сыне Отечества», Каченовский — здесь. Я ручаюсь за него: вымолвит доброе словечко. Бог поможет: и я автор! Книги раскупят, а там — пусть критикуют.

Дай же решительный ответ, то есть скажи: мне не надобно, или скажи: пришли том прозы, а я вышлю деньги к концу сентября. Вот на что прошу отвечать немедленно. Посоветуйся с знающими людьми. Мне сделаешь истинное одолжение, истинное, говорю: избавишь от хлопот и подаришь мне две тысячи. Ожидаю: да или нет. Но ни слова в моем условии не переменю: я обдумал все на досуге. Согласен ли? Прости, будь здоров, пиши экзаметры и не верь никому. Тебя сбивают с пути. Переведи несколько отрывков из «Одиссеи». Там можешь блеснуть экзаметром. Удивляюсь, что ты за нее не возьмешься давно. Что нужды, что не сразу. Пиши и люби меня.

Иванов умер. Он настрадался. Жаль его больно!

Еще прошу: никому не провозглашай, что я намерен печатать, и, начав печатать, молчи, пока все не выйдет. Уткин, верно, не откажется от виньетов. Я их тебе представлю, когда все будет готово. Берусь за это сам, на свой счет и отчет.



25 сентября 1816 г.

⟨...⟩ Высылаю том прозы. Все обещанное мною исполнено, кроме статьи «О Данте». Право, некогда, болен, и у меня нет вспомогательных книг. «О маркизе дю-Шатле» не будет, да и что в ней? Про одни дрожжи не говорят трожжи. А французские дрожжи нам давно наскучили. Мне же не хочется иметь переводов; заметь: это не малое достоинство. Статью «О лучших свойствах сердца», статью не блестящую, но которая мне более всего нравится, ибо она лучше всего написана, возьми в «Сыне Отечества». У меня его нет, и промыслить этого нумера не мог. «Кантемиров пир» пришли с первою почтою. Насилу отыскал перевод Гуаско, с которым надобно было справиться. «Кантемир» будет интересен. Если цензура что-нибудь вычеркнет в нем или в других пьесах (кроме «Кантемира», не знаю, к чему привязаться), то замени ближайшим смыслом. Таким образом, взяв все вместе, будет слишком 300 страниц печатных, полагая страницу в величину «Вестника», может быть, и гораздо более. Если какую статью захочешь выкинуть, выкидывай. Но для разнообразия приятно бы сохранить даже и «Финляндию», которая надута, но горяча. Марай, поправляй, делай, что хочешь, но бога ради, ситации вернее напечатай. Надеюсь, что книга моя, имея такого издателя, каков переводчик Гомера, понравится аух *esprits bien faits\**, а по разнообразию статей — и массе читателей. Скажи несколько строк в предисловии от издателя. Не говори о трактуре. Мы не Глинки, и не хвали меня, особливо если подпишешь имя. Все знают нашу связь, и эта похвала покажется сомнительною. Надобно сказать в предисловии, что писано в разные времена, что у нас мало книг, прямо к словесности относящихся, мало прозы, и потом на коленях просить читателя раскупить издание, в ожидании второго. Пришли мне условие, какое хочешь: я его подпишу. Могу умереть, и ты останешься в дураках. Согласен пять лет не издавать снова. Экземпляров печатай 1500 или две, не более. Но книгопродавцам о таком великом числе не объявляй: это может повредить. Печатай без подписки.

Том стихов отделаю и стану переписывать. Их менее прозы. Отделение элегий будет лучшее. Пришлю весь короб через месяц, через два или когда потребуешь, но назначь мне срок. Другую тысячу, за стихи, как сказано, — по напечатании их. Высылай прозаическую тысячу. Я ее несусь в аптеку и к доктору.

Виньеток не надобно. Бог с ними! Нужна кашка. Посылаю тебе на образец. Если опробуешь, то отдай сделать ее и заглавные

---

\* тонким натурам (франц.).

литеры надписей к листам Ухтомскому. Он мне приятель и за безделку свалает. Выгравировать это эскизом, а не тщательно. Я отвечаю за одни доски, полагая, что они не более ста рублей будут стоить. Они бы и не нужны были для книги, но тебе с досками легче поверить экземпляры, и нет ли лишних в типографии? Второе издание, если бог велит, сделаю красивее, а первое должно быть просто. За труды мои слишком буду награжден. Уверен, что оно будет не варварское, достойное пожирателя Гомеровых комментаторов и любителя Ельзевиров и Бодони! Ожидаю ответа и всей красноречивой тысячи. Скажу тебе, что Кокошкин скоро будет воспевать твои гекзаметры и басни соседа твоего. Прозы твоей читать не будем (я настоял по некоторым местным причинам), а напечатаем в собрании «Трудов», если хочешь. Скажи мне твою волю. <...>

Здесь мелькнул Иван Матвеевич Апостол, урожденный Муравьев. Ты слышал о деле его. Кажется, он прав. Что у вас говорят законники? Желая душевно ему успеху. Он тебе усердно велел кланяться и поскакал в деревню. Поклонись его детям и попеняй, что меня забыли. Они, право, неблагодарны к приязни. Вручи Никите один экземпляр моей «Речи». Но чтобы он не показывал никому до напечатания. Эта «Речь» нашумела здесь. Ты не удивишься, прочитав ее.

Я истину ослам с улыбкой говорил.

Печатать ли «Прогулку в Академии»? А жаль ее выключить. Расположение материй сделай сам, как заблагорассудишь. «Кантемира» завернуть в серединку.

89. В. А. Жуковскому

27 сентября [1816]

Письмо твое, милый друг, Батюшков прочитал с радостью неизъяснимою, с восхищением. Ты любишь меня: это — главное, лучшее. Читая неумеренные похвалы себе, я положил с Вяземским, что ты спился с кругу долой и писал письмо с похмелья. История Мещевского вывела нас из заблуждения. Ты писал трезвый, нет сомнения, но и друзья твои трезвы. Они *положили, приговорили*, что ты ошибся и, конечно, без намерения обратил похвалы, тебе и Вяземскому принадлежащие, на бедного Батюшкова, который шестой месяц чуть на ногах держится. Все это прекрасно. В часы самолюбия поверишь, в часы уныния ободришься. Но зачем критика неправосудная? Когда я писал:

*без дружбы и любви*, то боюсь тебе, не обманывал ни тебя, ни себя, к несчастью! Это вырвалось из сердца. С горестью признаюсь тебе, милый друг, что за минутами веселья у меня бывали минуты отчаяния. С рождения я имел на душе черное пятно, которое росло, росло с годами и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок спасли. Надолго ли — не знаю! Я разгулялся и в доказательство печатаю том прозы, низкой прозы; потом — стихи. Все это бремя хочется сбросить с рук и подвигаться вперед, если здоровье и силы позволят. Потащусь за тобой и Вяземским, который истинно мужает, но всего, что может сделать, не сделает. Жизнь его проза. Он весь рассеяние. Такой род жизни погубил у нас Нелединского. Часто удивляюсь силе его головы, которая накануне бала или на другой день находит ему счастливые рифмы и счастливейшие стихи. Пробуди его честолюбие. Доброе дело сделаешь, и оно предлежит тебе: он тебя любит и боится. Я уверен, что ты для него совесть во всей силе слова, совесть для стихов, совесть для жизни, ангел-хранитель. А ты спрашиваешь: за что тебя любят? И кто же? Друзья твои, которые тебя знают наизусть. Не имею права назвать себя другом твоим аз многогрешный, но приятелем назову смело, и приятелем из первых.

Вяземский послал тебе мои элегии. Бога ради, не читай их никому и списков не давай, особливо Тургеневу. Есть на то важные причины, и ты, конечно, уважишь просьбу друга. Я их не напечатаю.

Когда увидимся? Где и как, не знаю. Мое здоровье вянет приметным образом, исчезаю. Последние годы меня сразили. Ты здоров, милый друг: работай для славы, для дружбы. Пиши стихи; подари нас поэмою. Верь, что тебе знают цену в России. Будь выше судьбы своей и не забывай высокого назначения своего, не забывай и выгод жизни. Тургенев может быть тебе полезен. Я предлагал ему уговаривать тебя издавать журнал в Петербурге. Если мое желание сбудется, то возьми меня в сотрудники; все сделаю, что могу, что буду в силах сделать. Кончу мое письмо. Обнимаю тебя очень, очень крепко. *Константин*.

90. Н. И. Гнедичу

28—29 октября [1816]

<...> Начни, бога ради, печатать прозою. Дай мне время справиться со стихами. Их будет менее, чем прозы, но зато их и печатать реже. Верь мне, что я теперь не на розах. Бьюсь, как рыба об лед, с чужими хлопотами и свои забываю. Стихам не

могу сказать: «Vade, sed incultus»\*. Надобно кое-что поправить. Кстати о поправках. В прозе исправь эпитет: *славный* Мерзляков; напиши *знаменитый*, если хочешь, или *добрый*. Статью «Ломоносова характер» печатай по «Вестнику», кроме места о Шувалове, которое печатай по рукописи. Все исправляй, как хочешь, не переписываясь со мною. Это слишком затруднительно и бесполезно.

Сегодня получил «Танкреда». Благодарю от всей души! Примись за него и когда-нибудь возвращу тебе с замечаниями. Перевод в иных местах превосходен. Я это и прежде тебе говорил. Портрет прелестен. Кокошкину вручил экземпляр. С ним условлюсь и отпишу тебе о продаже. Каченовский благодарит и провозгласит. Я нарочно, в дождь и грязь, ездил в его келью парнасскую. Общество приняло экземпляр с достоюлжною признательностью и возвестило ее в полном собрании сего дня (28-го октября) чрез уста Антонского, отца и покровителя. Гексаметры читал Яковлев, и прекрасно! Они понравились взрослым людям; впрочем, у нас дети-малютки! Басни Крылова рассмешили. Все прекрасно! Ты себе вообразить не можешь, что у нас за собрание, составленное из прозы, стихков детских, чаю, оржаду, детей и дядек! Бедная словесность, бедный университет! Я повторяю сказанное: в *Беседе* питерской — варварство, у нас — ребячество. Не сказывай этого никому.

Еще раз повторяю: прозу не печатай вместе с стихами, а сперва. Можно выпустить вместе. Займись перепискою стихов. Вышлю тебе сперва книгу элегий, потом смесь, послания и проч., а там сказку с поправками, если успею. Не могу изъяснить тебе моей признательности. Конечно, издание будет исправно в руках твоих. Мне не тягостно быть тебе благодарным, а приятно. Сожалею только, что болезнь, хлопоты и время не позволили сделать лучше, исправнее, интереснее моей книги. Каченовский говорил мне, что издание сойдет; он предлагал даже подобные деньги, но я все страшусь за тебя и повторяю: не пеняй! Я буду в отчаянии, если не удастся.

Каченовский читал «Рассуждение о славянских диалектах». Я не критик, я невежда, но кажется, он режет истину. Он утверждает, что Библия писана на сербском диалекте; то же, думаю, говорит и Карамзин. А славенский язык вовсе исчез; он чистый и не существовал, может быть, ибо под именем Славен мы разумели все поколения славенские, говорившие разными наречиями, весьма отличными одно от другого. Он разбудит славенофилов. Если правду говорит Каченовский, то каков Шишков с партией! Они влюблены были в Дульцинею, которая никогда не существовала. Варвары, они исказили язык наш славенцизною! Нет, никогда я не имел такой ненависти к этому мандаринному,

\* «Иди, пусть неприбранная» (лат.).

рабскому, татарско-славенскому языку, как теперь! Чем более вникаю в язык наш, чем более пишу и размышляю, тем более удостоверяюсь, что язык наш не терпит славенизмов, что верх искусства — похищать древние слова и давать им место в нашем языке, которого грамматика, синтаксис, одним словом, все — противно сербскому наречию. Когда переведут Священное писание на язык человеческий? Дай боже! Желая этого!

Вот другая новость: Петров, сын Петрова, искажителя «Энеиды», но великого лирика, Петров-сын перевел «Илиаду» экзаметрами всю и отправился с нею в Питер. Мало-помалу разбери ее. Твои враги обрадуются случаю, но Феб тебя приосенит, тебя, любителя Гомера. С некоторых пор на Парнасе все кабала и кабалы,

Des protégés si bas, des protecteurs si bêtes!\*

Ты мне ничего не говоришь о виньете.

«Кантемира» вышло с первою почтою; если прозы недостатка, то у меня есть статья «Характер искательный», но сатирическая, а я с некоторого времени отвращение имею от сатиры, и переписывать ее охоты нет. Прилагаю при сем условие. Мне не надобно копии.

91. Н. И. Гнедичу

7 ноября [1816]

При сем посылаю тебе «Кантемира». Прими его в объятия твои, еще сырого, из-под пера моего, хотя несколько раз я его переписывал, переправлял, но все недоволен слогом. План и мысли довольно хороши. Все оригинально, и у нас не было ничего в этом роде. Монтескье разговор — мозаика из его сочинений. Какой бред! Вот каково философствовать о Севере, не зная его.

Теперь, надеюсь, довольно. Если мало будет, то уведошь; что-нибудь в конце можно припечатать о Данте.

Я в рассеянии и хлопотах. Но работы не выпускаю из рук. Недавно комната очистилась, и у меня свободный угол. Здоровье мое очень плохо, но я собираюсь в деревню. Дела того требуют.

Занимаюсь стихами, и прошу, и заклиная тебя повременить, для собственной твоей пользы. Предваряю: стихов менее, чем прозы, но их можно разбить и печатать реже. Формат Никольского «Пантеона» и печать мне очень нравятся. Нельзя ли на этот манер?

У Долгорукова собираются играть твоего «Танкреда». Кокошкин геройствует. Если будет при мне, то все опишу. Какова тетушка?

\* Так низки те, кому покровительствуют, и глупы те, кто покровительствует (франц.).

27 ноября [1816]

Вручитель сего письма отрапортует тебе обо всем исправно, что касается до беседы нашей и твоего «Танкреда». Замечания на него я пришло из деревни. Радуюсь душевно, что «Кантемир» тебе понравился, милый друг. Стихи переписаны, рукою четко. Много новых пьес. И между тем, как ты поешь рождение сына Мелесова, всевидящего слепца, я пою его бой с Гезиодом, т. е. я перевел прекрасную элегию Мильвуа «Гезиод и Омир», которая дышит древностью. Всё пришло, когда потребуешь. Прошу усердно тебя исправить, что не понравится, не переписываясь со мною. Издание, формат, шрифт — все от тебя зависит. Боюсь только одного: чтобы не было ошибок. Тебе корректура наскутит. Найми кого-нибудь; я заплачу. Стихов будет — я не ожидал этого — более прозы. Прибавь замечания, если нужно. <...>

## 93. П. А. Вяземскому

[1816?]

Одни слабые души, подобные твоей, жалуются на погоду; истинный мудрец восклицает:

Счастлив, кто в сердце носит рай,  
 Не изменяемый страстями!  
 Тому всегда блистает май  
 И не скудеет жизнь цветами!  
 Ты помнишь, как в плаще издранном Эпиктет  
 Не знал, что баромётр пророчит непогоду,  
 Что изменяется кругом моральный свет  
 И Рим готов пожрать вселенная свободу.  
 В трудах он, закалив и плоть свою, и дух,  
 От зноя не потел, на дождике был сух!  
 Я буду твердостью превыше Эпиктета.  
 В шинель терпенья облечусь  
 И к вам нечаянно явлюсь  
 С лучами первыми рассвета.  
 Да! Да! Увидишь ты меня перед крыльцом  
 С стойческим лицом.  
 Не станет дело за умом!  
 Я ум возьму в Сенеке,  
 Дар красноречия мне ссудит Соковнин,  
 Любезность светскую Ильин,  
 А философию я заказал... в аптеке!

Итак, если это все успеет и дела позволят, то я буду.

<Адрес>: *От практического Мудреца Мудрецу астафьическому с Мудрецом пушкиническим послание.*

[Начало января 1817]

Замерзлыми от стужи перстами пишу тебе несколько слов. Я приехал в деревню, и прошу тебя писать туда. В Череповец, Новгород <ской> губерн <ии>. Прошу писать пространнее о книге: как? что? зачем? и проч., как водится. Бога ради, не ленись. И. М. <Муравьев-Апостол> у вас о сю пору. Здорова ли тетушка? Она меня забыла. Проси И <вана> М <атвеевича>, чтоб он не забывал меня. Обнимаю тебя очень крепко. Более писать не могу.

От стужи весь дрожу,  
Хоть у камина я сажу.  
Под шубою лежу  
И на огонь гляжу,  
Но все как лист дрожу,  
Подобен весь ежу,  
Теплом я дорожу,  
А в холоде брожу  
И чуть стихами ржу.

В такой стуже лучше писать не умею. N'allez pas faire vos vers en Allemagne\*, говорил Вольтер кому-то. Но это до меня не касается.

Бога ради, пиши о книге и чего ты желаешь?

## 95. П. А. Вяземскому

14 января 1817 г.

Я пишу к тебе несколько строк, милый друг. Недавно приехал в мою деревню и не успел еще оглядеться. Все разъезжал семо и овамо. Теперь начинаю отдыхать, раскладываю мои книги и готовлю продолжительное рассеяние от скуки, то есть какое-нибудь занятие. Если здоровье позволит, то примусь за стихи. Переправляя старые, я почти всеми недоволен. «Гезиод» кончен довольно счастливо; если время будет, то перепишу и доставлю тебе для замечаний. Кстати о замечаниях: уведоь меня, где Жуковский; мне к нему крайняя нужда писать о деле для него интересном. Если бы он был в Петербурге! Как бы это кстати

---

\* Не ездите сочинять стихи в Германию (франц.).

было для моего издания: он, конечно, не отказался бы взглянуть на печатные листы и рукопись. Я теперь живу с ним и с тобою. Разбираю старые письма его и твои и еще некоторых людей, любезных моему сердцу. Веришь ли, что это занятие есть лучший мой отдых, и легко поверишь: я один-одинехонек. <...>

96. Н. И. Гнедичу

[Январь 1817]

Не могу тебе изъяснить радости моей: Жуковского счастье, как мое собственное! Я его люблю и уважаю. Он у нас великан посреди пигмеев, прекрасная колонна среди развалин. Но твоё замечание справедливо: баллады его прелестны, но балладами не должен себя ограничивать талант, редкий в Европе. Хвалы и друзья неумеренные заводят в лес, во тьму. Каждого Арзамасца порознь люблю, но все они вкупе, как и все общества, бредят, карячатся и вредят. За твою критику надобно благодарить, а не гневаться. Уверен, что в душе сам Жуковский тебе благодарен. Что до меня касается, милый друг, то я не люблю преклонять головы моей под ярмо общественных мнений. Все прекрасное мое — мое собственное. Я могу ошибаться, ошибаюсь, но не лгу ни себе, ни людям. Ни за кем не брожу: иду своим путем. Знаю, что это меня не далеко поведет, но как переменить внутреннего человека? Иван Матвеевич часто заблуждался от пресыщения умственного. Потемкин ел репу: вот что делает Иван Матвеевич. Как бы то ни было, он у нас человек необыкновенный, и тебе завидую: ты с ним проводишь золотые часы. Пожалей обо мне. Я в снегах; около меня снег и лед. Здоровье плохо, очень плохо, но я тружусь и исполню обещание, пришлю стихи. Портрета никак! На место его виньетку; на место его «Умиравшего Тасса», если кончить успею (сюжет прекрасный!), «Омира и Гезиода», которого кончил, и сказку «Бальядеру», которая в голове моей. Начни с прозы. Стихи после печатай; выпусти все вдруг, без шума, без похвал, без артиллерии, бога ради! Если будешь в накладе, то я выручу. На портрет ни за что не соглашусь. Это будет безрассудно. За что меня огорчать и дурачить? Но другие... Пусть другие делают что угодно: они мне не образец. Крылов, Карамзин, Жуковский заслужили славу: на их изображение приятно взглянуть. Что в моей роже? Ничего авторского, кроме носа крючком и бледности мертвеца: укатали бурку крутые горки! На первых неделях поста вышлю стихи. Они готовы, только свистни. <...>



7 февраля [1817]

Я получил книги твои, кроме журналов, а они всего нужнее. Получил и «Рождение Омира». Очень благодарен. Прекрасно! Твой талант пробудил мой маленький спящий или оледенелый гений. Я читал, наслаждался и завидовал. Не могу входить в подробности, но сделаю со временем замечания и пришлю их на этом экземпляре, а мне доставь другой в переплете; иначе не расстанусь. Хорошие русские стихи в деревне сокровище: вы этого не понимаете, жители булевара. Скажу только, и мое замечание, кажется, справедливо, что перемена метра в таком роде не годится и жалобы Фетиды слишком длинны, так длинны, что затмевают и растягивают сюжет. Поэма через ямбы выиграет. Верь мне: я в этом деле изрядный судия. И чем быстрее будет ход в начале, тем более интересу. Вся басня прекрасно создана: изобретение, и вымысел, и ход. Напрасно не упомянул при конце о русском флоте, который некогда бился и поразил турков у берегов Трояды. Это дало бы повод к сильным стихам и весьма кстати. Впрочем... славно! Я хвалю от сердца. Ни слова о costume и нравах: этого дела ты мастер. Но еще раз: не жалея и хороших стихов — марай и выключай. Это правило Буало. Тогда поэма твоя будет нечто полное, круглое, целое. Обдумай мои слова. Я читал один, без предрассудков и предубеждений; итак, если ошибся, то ошибся как истинный поэт, а не критик *зоркий*. Есть погрешности в слоге: я отмечу их, и ты мигом исправить можешь. Знаешь ли, зачем так хлопочу об этом? Затем, что у нас на Руси мало подобного.

(...) Стихи почти готовы. Но если тебе не крайняя нужда, то повремени еще. Право, все в хлопотах, и не до стихов. Кажется, я писал к тебе, что желаю еще напечатать книжонку. Что дадут книгопродавцы за книгу следующего содержания:

все прозою	{	Жизнь и поэма Данте «Ад» (отрывками)
		Отрывок из «Иерусалима» — «Олинд и Софрония»
		Отрывок из Роланда — его «Бешенство»
		Отрывок из Роланда «Альциона»
		Отрывок из Макиавеллея
		Описание моровой язвы из Боккачио
		Гризельда. Лучшая сказка из Боккачио
Взгляд на словесность италиянскую в лучшее ее время и нечто тому подобное.		

Я этот труд, довольно скучный и для воображения бесплодный, принял бы на себя ради денег. И если бы знал наверное, что дадут за книжку в 300 страниц 1500 рублей или около того,

то взялся бы представить ее к 1818 году. Поговори с книгопродавцами и сводниками Парнаса. <...>

Как мы с тобою съехались на Парнасе. Филимонов скажет тебе, что я читал ему «Бой Гезиода и Омира» (я писал тебе об нем) и что я употребил выражение «слепец всевидящий», говоря об Омире. Как мы сошлись? Это, право, странно, и потомство (?) что скажет? Подумает, что я обокрал тебя! Это ужасно! Я целую ночь не мог спать, и голова разболелась от беспокойства.

98. П. А. Вяземскому

[Февраль 1817]

Может поэзия, дружество и все прекрасное воскликнуть триумф! Давно я так не радовался. Наконец, Жуковский имеет независимость и все, что мы столь горячо желали, сбылось. Хвала царю, народу и времени, в которое Карамзин и Жуковский так награждены! Не говори этого в английском клубе: тебя не поймут или выставят на черную доску. Итак, видишь ты, что посреди снегов и варварства тлеют прекрасные искры небесного огня и что мы, служители муз, здесь не чужды. Желаю счастья нашему Жуковскому, желаю, чтобы он вполне оправдал высокое мнение мое о его высоком таланте, желаю, чтобы он не ограничил себя балладами, а написал что-нибудь достойное себя, царя и народа. Ты опять пожмешь плечами, но я не переменяю моего мнения. Поэму, поэму! Какую? Она давно в голове его, а некоторые рассеянные члены ее в балладах. Пришли мне «Певца на Красном крыльце», пришли новостей литературных: ты забыл, что я больной, в снегах, среди медведей, но духом посреди избранных. <...> За что ты на меня изволишь гневаться, спрашиваю тебя? Если бы ты мог читать в моем сердце? Оно все тебе предано и тем виновато, может быть, что тебя слишком любит. В ином мире и любовь — вина: так он хорош, этот мир! Прости, будь счастлив и пиши ко мне чаще, прошу тебя, моя милая рожица! Я так весел сегодня, что рад обнять тебя, как будто мне пятнадцать лет, и будто дружество, любовь и поэзия не химеры. <...>

99. Н. И. Гнедичу

27 февраля 1817 г.

Посылаю тебе сочинения Батюшкова, к которому ты вовсе не пишешь и очень дурно делаешь. Он болен и пишет через силу свои сочинения. <...>

Дай ответ на мою просьбу о переводах италиянских. Или ты думаешь, очень весело переводить длинные периоды Боккачио даром? Славы от этой прозы не будет. А от стихов? Правду сказать, трепетал, зашивая их. Ну, если не понравятся? Оживи меня.

Я начал «Смерть Тасса» — элегия. Стихов до 150 написано. Постараюсь кончить до своей смерти. И сюжет, и все — мое. Собственная простота. Когда начнешь печатать, я и это могу выслать. Но шутки в сторону, я скоро впаду в чахотку. Грудь у меня исчезает; нога болит. Умираю... умер! <...>

100. П. А. Вяземскому

4 марта [1817]

<...> Благодарю Жуковского за предложение трудиться с ним: это и лестно, и приятно. Но скажи ему, что я печатаю сам и стихи, и прозу в Петербурге и потому теперь ничего не могу уделить от моего *сокровища*, а что вперед будет — все его, в стихах, разумеется. По приезду в деревню я заплатил шесть тысяч. Чахотка в кармане. В виду — ни гроша почти на весь год, если не удадутся мне некоторые обороты. *А жить надобно*, как говорит Шатобриан. (Ей-ей, он это написал! Какова ситуация?) Вот почему я должен взяться за работу, скучную, но полезную. Собираю италиянские переводы *в прозе*, отборные места, и хочу выдать две книжки. Может быть, продам их за две тысячи. Итак, ты ясно и сам видишь, могу ли рассеять мою работу в периодическом издании? У меня книга готова. Взял контрибуцию с Данте, с Ариоста, с Тасса, с Маккиавеля и бедного Боккачио прижал к стене. Всем досталось! Доберусь и до новейших. Чем более вникаю в италиянскую словесность, тем более открываю сокровищ истинно классических, испытанных веками. Не знаю только, хорошо ли это будет в русской прозе: вот отчего нередко у меня руки опускаются. Пишу около пятнадцати лет для русской публики (*C'est tout dire\**), а от совести отучиться не могу! Но я согласен с тобою насчет Жуковского. К чему переводы немецкие? Добро — философов. Но их-то у нас читать и не будут. Что касается до литературы их, собственно литературы, то я начинаю презирать ее. (Не сказывай этого!) У них все каряченье и судороги. Право, хорошего немного. Недавно я бросил с досады Иоганна Миллера. Говоря о веке Екатерины, он говорит только о Минихе, потому что он был немец; глубокомыслия пучина, а где рассудок? Слог Жуковского украсит и галиматью, но

\* этим все сказано (франц.).

польза какая, то есть *истинная польза*? Удивляюсь ему. Не лучше ли посвятить лучшие годы жизни чему-нибудь полезному, то есть таланту, чудесному таланту, или, как ты говоришь, писать журнал полезный, приятный, философский. Правда, для этого надобно ему переродиться. У него голова вовсе не деятельная. Он все в воображении. А для журнала такого, как ты предполагаешь, нужен спокойный дух Аддисона, его взор, его опытность, и скажу более, нужна вся Англия, то есть земля философии практической, а в нашей благословенной России можно только упиваться вином и воображением: по крайней мере, до сих пор так. Но полно мне умничать. Поговорим о старосте, от которого я получил письмецо в маленькой прозе и в маленьких стихах. Он все тот же! А мы стареемся. Это меня бесит. Я очень смеялся Шаликову и Ильину. С какою коварною радостью воображал тебя за одним столом с ними — за грехи, конечно. Жихареву мой поклон. Что делает он у вас? Его бы в члены: он не ударит лицом в грязь. Поговорим о стихах. Сожалею крайне, что не мог прислать «Переход через Рейн» и «Омира с Гезиодом»: переписывать не могу. Боль в груди отрывает меня от письменного стола, и это пишу стоя. Как и стоя писать?.. Нога болит. Лежа не могу, а писать хочется. Изобретите новый способ вы, люди умные! Недавно начал элегию «Умиравший Тасс». Кажется мне, лучшее мое произведение. Стихов полтораста готово. Теперь перо выпало из рук, и я ни с места. Эти переводы меня утомляют; прибавь к этому кой-какое горе, от которого нигде не уйдешь. Все вредит стихам и груди моей. Бог с нею, только бы хорошо писалось! Но Тасс... а вот что Тасс: он умирает в Риме. Кругом его друзья и монахи. Из окна виден весь Рим, и Тибр, и Капитолий, куда папа и кардиналы несут венец стихотворцу. Но он умирает и в последний желает еще раз взглянуть на Рим,

...на древнее Квиритов пепелище.

Солнце в сиянии потухает за Римом и жизнь поэта... Вот сюжет. Пожелай, чтобы хорошо кончил. Перечитал все, что писано о несчастном Тассе, напился «Иерусалимом». Что будет — не знаю и когда кончу. Болезнь мучит иногда, а беспрестанное уединение, и дурная погода, и усиленные труды и последнее здоровье уносят. <...>

<...> Уведомь меня о Карамзиных. Из Петербурга очень давно писем не имею и не знаю, здоровы ли они. Не знаю почему, все утро думал о Карамзине. Желал бы прочитать его «Историю» здесь в тишине: впечатление ее было бы живее на мой бедный умишко. Кстати о книгах. Пришли мне Сисмонди. Я обратно перешлю. Он мне очень нужен. Ты со мною поступаешь поварварски. Как не прислать «Певца» Жуковского? И его бы

возвратил немедленно. <...> Скажи, что делается на Парнасе, то есть в луже? Это, конечно, тебя мало занимает. У вас и без того много новостей, но признаюсь тебе, до них небольшой охотник. Настоящее, право, не весело. Живи в книгах, пока можно! Но здесь, просидев около трех месяцев, начинаю грустить. Дорого бы дал за один часок, с тобой проведенный. Я живу в таком уединении, о каком ты понятия не имеешь. У меня есть птичка, три горшка цветов каких-то и горшок под постелью. Вот все мое добро. И право, можно жить, если бы здоровье не изменяло. У меня книг много, задал себе работу, и весна с цветами на дворе. И умирая, буду твердить: *moriatur anima mea morten philosophi-cogum\**, а ты посмеиваешься надо мной!

Я очень болен,  
Но собой доволен;  
Я неволен,  
Но мне, музы,  
Ваши узы,  
Так легки,  
Как сии стишки.

По ним ты можешь судить, какие быстрые успехи делаю в поэзии. Обнимаю тебя от всего сердца, тебя, мою любовницу. Спрашиваю себя: за что тебя любить? Прости. Будь весел и люби, и не забывай твоего пустынного, который морщится, говоря тебе *прости*: ибо с тобою веселее калякать, нежели переводить длинные периоды Боккачио и мрачный «Ад». <...>

Еще прибавляю:

#### ЗАПРОС АРЗАМАСУ

Три Пушкина в Москве, и все они — поэты.  
Я полагаю, все одни имеют леты.  
Талантом, может быть, они и не равны;  
Один другого больше пишет,  
Один живет с женой, другой и без жены,  
А третий об жене и весточки не слышит:  
(Последний — промеж нас я молвлю — страшный плут,  
И прямо в ад ему дорога!)  
Но дело не о том: скажите, ради бога,  
Которого из них Бобрищевым зовут? †

Успокой мою душу. Я в страшном недоумении. Задай это Арзамасу на разрешение. Прочитай это Сонцеву и боле никому. В худой час Василий Львович рассердится: у него бывают такие минуты, как и у меня, грешного.

---

\* моя душа умрет философской смертью (лат.).

[Март 1817]

Не виноват, не виноват нисколько перед милым и почтенным старостою, хотя и кажусь несколько виновным! Странствовал, приехал домой и опять немедленно пустился странствовать; вот почему и не писал к тебе, милый староста:

...кибитка — не Парнас!

Она тебе скажет, если спросишь ее: мог ли я писать, окостенелый от холода. Теперь дома и пишу. Письмо начинается благодарностию за дружество твое; оно у меня все в сердце.

И как, скажите, не любить  
Того, кто нас любить умеет,  
Для дружества лишь хочет жить  
И языком богов до старости владеет!

До старости? Не сердись: это для стиха вставка! Мне музы и опытность шепчут на ухо:

Тот вечно молод, кто поет  
Любовь, вино, Эроты  
И розы сладострастья жнет  
В веселых цветниках Буфлера и Марота.  
Пускай грозит ему подагра, кашель злой  
И свора алчных заимодавцев:  
Он все трудится день-деньской  
Для области книгопродавцев.  
«Умрет, забыт!» Поверьте, нет!  
Потомство все узнает:  
Чем жил и как, и где поэт,  
Как умер, прах его где мирно истлевет.  
И слава, верьте мне, спасет  
Из алчных челюстей забвенья  
И в храм бессмертия внесет  
Его и жизнь, и сочиненья.

Ваши сочинения принадлежат славе: в этом никто не сомневается.

Ты злого Гашпара убил одним стихом  
И пел на лире гимн, Эротом вдохновенный.

Но жизнь? Поверьте, и жизнь ваша, милый Василий Львович, жизнь, проведенная в стихах и в праздности, в путешествиях и в домосидении, в мире душевном и в войне с славянофилами, не уйдет от потомства, и если у нас будут лексиконы великих людей, стихотворцев и прозаистов, то я завещаю внукам искать ее под литерою П:

*Пушкин В. Л., коллежский ассессор, родился и проч.*

Чутьем поэзию любя,  
Стихами лепетал ты, знаю, в колыбели;

Ты был младенцем, и тебя  
Лелеял весь Парнас, и музы гимны пели,  
Качая колыбель усердною рукой:  
«Расти, малютка золотой!  
Расти, сокровище бесценно!  
Ты наш, в тебе запечатленно  
Таланта вечное клеймо!  
Ничтожных должностей свинцовое ярмо  
Твоей не тронет шеи;  
Эроты розы и лилеи,  
Счастливы Пафоса затеи,  
Гулянья, завтраки и праздность без трудов,  
Жизнь без раскаянья, без мудрости плодов,  
Твои да будут вечно!  
Расти, расти, сердечной!  
Не будешь в золоте ходить,  
Но будешь без труда на рифмах говорить,  
Друзей любить  
И кофе жирный пить!»

Чего лучше? Предвещание муз сбылось, как видите. Со мною будет иначе: ваши внуки не отыщут моего имени в лексиконе славы. Много писал и теперь, рассматривая старые бумаги, вижу, что написал мало путного. Что в рифмах, если в них мало счастливых, и что в счастливых стихах без счастья! Посудите сами! Живу один в снегах, и долго ль проживу — не знаю.

1  
Меня преследует судьба,  
Как будто я талант имею!  
Она, известно вам, слепа;  
Но я в глаза ей молвить смею:  
«Оставь меня, я не поэт,  
Я не ученый, не профессор;  
Меня в календаре в числе счастливых нет,  
Я... отставной ассессор!»

Но бросим в сторону эту проклятую поэзию для нас, самозванцев, и поговорим о деле.

Душевно радуюсь счастью Жуковского; он стоит его. Фортуна упала не на пень и кочку, как говорил Державин. Что делает <А. М. Пушкин>? Знаю ваш ответ:

На свет и на стихи  
Он злобой адской дышит;  
Но в свете копит он грехи  
И вечно рифмы пишет...

Простите — иногда счастливые!

Числа по совести не знаю,  
Здесь время сковано стоит,  
И скука только говорит:

«Пора напиться чаю,  
Пора вам кушать, спать пора,  
Пора в санях кататься...»  
«Пора вам с рифмами расстаться!» —  
Рассудок мне твердит сегодня и вчера.

Это всего умнее. Итак, прощайте!

102. П. А. Вяземскому

9 марта [1817]

⟨...⟩ Спасибо за стихи. Никак не сладишь с ней: да выкинь оба стиха! А басня ей-ей замысловата и хорошо заострена. Советую, милый друг, приняться наконец и за другое издание, те есть за стихи. Ты спишь, друг, или хочешь убить меня вдруг. О, мы знаем, что ты страшный и плодовитый писатель: еще до сих пор некоторые тетрадки (тетрадищи) у меня в глазах мерещатся. Но решишь, печатай! Пусть наши книжки (мои печатают, увы!) будут близнецами если не по таланту, то по времени, по крайней мере по времени, ваше сиятельство! Bravo! Я сегодня улыбнулся! Это право чудесно! Все дни у меня была мушка гишпанская на затылке, и теперь только стало легче голове. ⟨...⟩

Милый мой пузырь, пришел мне Жуковского портрет. Что стоит тебе велеть срисовать его какому-нибудь маляру! Не я прошу его, твой портрет кличет на стене. Вот ему надпись:

Кто это так, насупя брови,  
Сидит растрепанный и мрачный, как Фекул?  
О чудо! Это он!.. Но кто же? Наш Катулл,  
Наш Вяземский, певец веселья и любви!

Ей-ей, изрядно для стихотворца хромого и с мушкой на затылке. ⟨...⟩

103. Н. И. Гнедичу

[Март 1817]

Я не без резону полагаю, что том прозы будет жидок. Он должен быть увесист, тем более что том стихов по милости Феба художав. Ergo, посылаю тебе милую «Гризельду» и милую «Моровую заразу» из Боккачио. И то, и другое можешь поместить между прозой или в конце, если печатание кончилось. Что нужды? Сказка интересна: она и отрывок о заразе — саро d'orega\* италийнской литературы. Перечитай их с кем-нибудь,

\* шедевр (итал.).



знающим язык итальянский, и что хочешь поправь. Но я, вопреки Олину, переводил не очень рабски и не очень вольно. Мне хотелось угадать манеру Боккачио. Тебе судить, а не мне! Если же напечатать не согласиться, то пришли назад, не держа ни минуты: я выдрал из книги. Но лучше напечатай мою «Гризельдушку» и «Заразу», если выдержит ученый критический карантин. «Гризельда» придаст интересу: будет что-нибудь и для дам. Это не шутка! Все одна словесность иным суха покажется.

Будешь ли доволен стихами? Размещай их, как хочешь, но печатай без толкований и замечаний, бога ради, и без похвал! Не уморите меня. Эпиграмму:

Как странен здесь судеб устав

и проч. выбрось. Другую оставь на Шихматова, но назови ее «Совет эпическому стихотворцу». Басню «Сон Могольца», «Книги и журналист» и еще кое-что выкинь. На место этого я пришлю через недели три «Умиравшего Тасса», элегия, стихов в 200; ее поместить можно будет в конце: итак, она печатание не задержит. Если «Гезиод» тебе понравился, то поставь в заглавии: «Посвящено А. Н. О., любителю древности», но имени ни его, ни чьих нигде не выставляй. Я не охотник до этого. Вот почему я и спрашивал у тебя, сердится ли Оленин на меня или нет? Я хотел сделать это приписание, посылая книгу, но полагая, что он на меня дуется, остановился. Я к нему писал: он ни слова не отвечал, а я писал не белиберду, а о моей отставке; мог ли я полагать, что он или забыл меня, или гневается? <...>

*Замечание.* Исправь сам и проси Греча исправлять ошибки против смысла и языка. Иногда перестановка одного слова, как говорит бессмертный Олин Квинтильянович, весьма значительна. И у кого нет этих ошибок? Даже у самого Олина пробиваются кой-где. (Пироги горячи, оладьи, горох с маслом!) Умора, право, умора, ваш Олин! Хочет мыслить, силится, силится — запор, нейдет! *Читатель, суди сам!* (Зри «Сын Отечества».)

Я дал слово Сергею Глинке прислать ему «Переход через Рейн». Перепиши и пошли ему от моего имени. Бога ради, сделай это. Он будет вправе гневаться, а ты читал Горация и знаешь, каков гнев стихотворца. Притом Глинку надобно поддерживать. Если есть глупые стихи, выпиши их: я постараюсь поправить... Но лучше бы так. Проза надоела, а стихи ей-ей огадили. Кончу «Тасса», уморю его и писать ничего не стану, кроме писем к друзьям: это мой настоящий род. Насилу догадался. Перемени в статье «Ломоносов» *поверения* дружества. Это очень плохо! Вообще не худо иногда справляться с «Вестником», а чаще всего с рассудком. Избавьте меня, о Греч, о Гнедич, от глупостей! Право, и без моих у нас много на Парнасе! Недавно прочитал Монтаня у японцев, то есть Головнина записки. Вот человек,

вот проза! А мое, вижу сам, пустоцвет! Все завянет и скоро по-  
линяет. Что делать! Если бы война не убила моего здоровья,  
то чувствую, что написал бы что-нибудь получше. Но как пи-  
сать? Здесь мушка на затылке, передо мной хина, впереди лом-  
бард, сзади три войны с биваками! Какое время! Бедные таланты!  
Вырастешь умом, так воображение завянет. Счастливы те, ко-  
торые познали причину вещей и могут воскликнуть от глубины  
сердца: пироги горячи, оладьи, горох с маслом!

Ивану Матвеевичу не пишу. Он, полагаю, все в Питере, и ему,  
конечно, не до нас, забытых роком. Но как я рад, не могу тебе  
изъяснить. Эта весть меня оживила. Я почувствовал, как люблю  
его в полной мере, и радовался этому чувству.

Вот проспектус переводов:

*I-й том*

Похвала Италии из m-me de Stael.

О жизни Данте и его поэме.

Олинд и Софрония.

Гризельда.

Бешенство Орланда

Путешествие в луну } Это составит нечто целое.

Альчина.

Зараза.

Письмо Бернарда Тасса о воспитании детей.

Пример дружества. Из Боккачио, сказка.

Что-нибудь из Петрарки.

*II-й том*

Сокращенные  
выписки из  
критиков —  
Женгене,  
Sismondi,  
Bouterweck  
и проч.

Об италиянском языке вообще.

Взгляд на словесность италиянскую.

Данте.

Петрарка.

Боккачио.

Ариост.

Тасс.

Другие стихотворцы первого периода.

Заключение.

Если бы Греч согласился дать две тысячи за это? У него ти-  
пография: вот почему я с этим предложением выступаю.

В конце года могу представить оба тома. Но без денег, для  
одного удовольствия, переводить время, бумагу и здоровье —  
слуга покорный! Дай решительный ответ. Не то Жуковскому

отдам все. Он у меня просит. Взгляни на этот реестр и увидишь, легко ли переводить это. Кажется, было бы интересно и публике нашей. Но еще раз, без денег не примусь за работу. Дайте тысячу вперед за первый том, а другую подожду до января будущего 1818 года. Скажите: да или нет. Если да, то выпишу какого-нибудь переписчика и заплачу ему рублей триста. Самому не можно: стара стала и глупа стала. В противном случае, могу провести время как благородный человек, например, могу ничего не делать, как маркиз Г. Приходит весна: болезни и цветы. Мне не скучно будет. Два дни пролежу в постели, а день стану поливать левкой и садить капусту, а вы останетесь без итальянских переводов, вы, сводники парнасские, вы, великий Греч и великий Гнедич! <...>

Где Жуковский? Если он у вас, то попроси его взглянуть на стихи и что можно поправить. Правь сам и всем давай исправлять. Всем? Не много ли это? Ох, страшно! Меня печатают! Верь мне, что если б еще к этому я увидел в заглавии свой портрет, то умер бы с досады! Вот до чего додурачился! Нет! И Хвостов не начинал таким образом, ниже Ржевский!

Я, как блудный сын, просился опять в Библиотеку. Если это нельзя, то проси Тургенева приписать меня куда-нибудь. Боюсь, чтобы меня не выбрали в смотрители магазинов соляных. Не забудь, что это соль не аттическая.

Еще повторяю: выкинь эпиграмму и все басни. Что в них? Высылай своего «Омира». Я пришлю замечания, но вперед делаю одно: твоя пиеса похожа на древнюю камею. Ее не продашь на толкучем рынке, а знатоки знают цену. Верь мне, она прелестна, но все-таки стою на том, что сказал: начало длинновато и не связано с концом. Самый метр портит единство. Я прав, по совести прав! Здесь сужу по чувствам, без предубеждений. Но пиеса прекрасна. Это лучшее наше произведение в новом роде. Верь мне и не верь несправедливым суждениям. <...>

Благовари Греча за «Обозрение словесности». Право, прекрасно. У нас так не писали до него: свободно, благородно и много истины. Жаль только, что он на Каченовского нападает в журнале своем. Впрочем, бранитесь, друзья мои, мы будем слушать. <...>

104. Н. И. Гнедичу

[22—23 марта 1817]

<...> Теперь спешу объявить вам, что ни перевода из Тасса, ни из Ариоста не хочу. Особенно Тасс — дрянь. Ты меня взбесишь! И сохрани бог! Элегию «Умиравший Тасс» пришлю. Она

имеет предисловие на страничке и стихов около 200 почти александрийских. На место дряни, не лучше ли «Речь» мою поместить в томе стихов, если необходимо нужно, чтобы он был толст? Притом же стихи печатают роскошнее... И так будет довольно — а переводами не стыди моей головы. Если буду здоров, то еще что-нибудь доставлю в «Смесь». Итак, с богом — начинай! Поблагодари Ивана Андреевича <Крылова> за его *примарание*, но скажи ему, что мы сами с усами. Скажи ему, милый друг, что из всех его басен мне всего более нравится та, которую он кончил такими стихами:

Спой, светик, не стыдись... и проч.

Он помнит, что следует. Но за что меня жаловать в вороны? Грех ему, право, грех!

Что же касается до твоего страха, то в случае неудачи не пеняй на меня. Скажу только, что прозы том, то есть италиянские переводы, отдам тебе, если книги пойдут худо. Вот тебе, что могу сделать. А ты, милый друг, если можешь (чем меня крайне одолжишь), отдай в ломбард тысячу в июне. Авось бог вынесет. Мы не Полторацкие! В Париж хлеба не везем! И здесь над крохами бьемся. Я так волосы на себе деру, что болен, что мне мешают: нет покоя! Такой ли бы том отпустил стихов? Но еще повторяю: дряни не печатай. Лучше мало — да хорошо. И то половина дряни. Но что делать! — Ей-ей, не до стихов. Это письмо насилу кончу. <...>

105. Н. И. Гнедичу

[*Май 1817*]

Я послал тебе «Умирающего Тасса», а сестрица послала тебе чулки; не знаю, что более тебе понравится и что прочнее, а до потомства ни стихи, ни чулки не дойдут: я в этом уверен. Благодарю за приятный часок, который провел, читая и перечитывая твое «Письмо о статуе Кановы». Оно так живо представило мне статую, что я был в восхищении очень сладостном, словно, как будто она была передо мною. Завидую тебе: ты видишь, наслаждаешься и отдаешь себе отчет в наслаждениях своих. Итак, наслаждайся и пиши! Не теряй времени! А я, по словам Горация, облакаюсь в мою добродетель, сижусь, свищу и грущу. Батюшкины дела (будь сказано между нами) так плохи, так безобразны, что я и сестра, мой верный товарищ в горести, с ума сходим. И есть от чего. А ты требуешь стихов. Быть в стихах не умею, а другие писаться не будут. Вот месяц, что я и прозы не пишу, а сижусь, поджав руки, и смотрю на сумрачное небо. Бла-

годари Уварова за предложение. Умею чувствовать снисхождение и попечительность его о талантах в земле клюквы и брусники. Но я не могу решиться взять место, и что мне в двух тысячах? Корпеть над экстрактами! Потерять последние искры таланта, и время, и малое здоровье! Человеку, который три войны подставлял лоб под пули, сидеть над нумерами из-за двух тысяч и пить по капле все неприятности канцелярской службы?.. <...> Впрочем — воля божия! — ничего не хочу, и мне все надоело. Жить дома и садить капусту я умею, но у меня нет ни дома, ни капусты: я живу у сестер в гостях, и домашние дела меня замучили, не только меня, и их. Вот каково, брат, давать советы за тысячу верст! Бога ради, не сердь меня советами и не будь похож на *vulgari amici*\*, которые, как у Крылова, говорят:

Возьми, чем их топить...

Но поговорим лучше о книге. Печатай ее, как угодно, но стихов по рукам не давай до напечатания: боюсь, чтобы не вышел пустоцвет. Еще прошу, и очень серьезно, переводов и дряни не печатай: не срами приятеля. Если что-нибудь вырву из головы или, лучше сказать, из рук упрямыцы-фортуны, то доставлю в смесь. Где мои замки на воздухе? Я хотел было приняться за поэму. Она давно в голове. Я, как курица, ищу места снести яйцо, и найду ли, полно? Видно, умереть мне беременным «Руриком» моим. Для него надобно здоровье, надобны книги, надобны карты географические, надобны сведения, надобно, надобно, надобно, надобно... и более твоего таланта, скажешь ты. Все так, но он сидит у меня в голове и в сердце, а не лезет: это мучение! Безделки мне самому надоели, а малое здоровье заставляет писать безделки. Кстати о них. Что скажешь о «Тассе»? Утешь меня: похвали его и, если хочешь, прочитай Уварову, ему одному. Желал бы знать его впечатление на ум столь образованный. А мне эта безделка расстроила было нервы: так ее писал усердно. <...>

Если Греч не уехал к немцам, то попроси его привезти мне оттуда Виландов комментарий на Горация, Катутла и Проперция, хороший перевод немецкий и перевод элегий Овидия. Не можешь ли прямо выписать через книгопродавцев? У меня деньги готовы, а ты дай что-нибудь в задаток. Да еще у русских нельзя ли достать «Славянские сказки» Новикова, «Древние русские стихотворения» издания Ключарева, если не ошибаюсь. К этому пришли «Бову Королевича», «Петр — золотые ключи», «Ивашку — белую рубашку» и всю эту дрянь. Авось когда-нибудь и за это возьмусь. Не шутя, пришли это, только все вдруг.

---

\* ложных друзей (лат.).

[Май 1817]

Помилуй, что за идея делать подписку! Бога ради, останови, если начал, бога ради! Ты помнишь первое условие. Я именно требовал, чтобы подписки не было. Ты меня этим огорчишь. Если денег нет, то я проживу здесь осень и нужное тебе доставлю, сколько угодно будет, но еще раз прошу, не надо подписки, тем более что я сам собираюсь в Петербург за делами, и это меня как ножом срежет. Надеюсь, что ты уничтожишь даже публикацию, если она объявлена. Надеюсь, мало того — прошу, заклинаю тебя.

Предисловие, кажется, хорошо. Но не слишком ли ты пользуешься правом издателя, чтоб хвалить своего автора? Довольно бы в похвалу и последних строк. Я ничего не могу поправить в стихах, и резон прекрасный: у меня все сожжено, и ни строки нет! Поправь *недокупны* как хочешь, но поправь; напиши новые стихи, если поправить нельзя. Посылаю еще безделку. *Andante!* Помести в элегиях, да выкинь что-нибудь для нее. Дряни, ой, как много! Вяземский у вас теперь. Он обещал взглянуть на издание. Посоветуйся с ним. Я знаю его: он без предрассудков, и рука у него не дрогнет выбросить дрянь. Я уже просил его об этом. < ... >

Ты дурно делаешь, что не высылаешь мне сказок, ни Овидия «*Tristes*». Вяземский прислал, но не то, а я еще мог бы в тихие часы что-нибудь сделать. Я убрал в саду беседку по моему вкусу, в первый раз в жизни. Это меня так веселит, что я не отхожу от письменного столика, и веришь ли? целые часы, целые сутки просиживаю, руки сложа накрест. Сам Крылов позавидовал бы моему положению, особливо, когда я считаю мух, которые садятся ко мне на письменный стол. Веришь ли, что очень трудно отличить одну от другой. < ... >

## 107. А. Н. Оленину

4 июня [1817]

<...> Не нахожу слов благодарить вас за внимание, которое изволите обращать на мое крошечное здоровьице. Для поправления его намеревался было съездить на Кавказ или в Тавриду; все было готово: коляска, чемодан и «Путешествие» сладкого Шаликова в кармане, но опять хлопоты меня за полу; я остался, а время улетело. Это все и здорового может взбесить; посудите же, каково больному? Но не довольно ли говорить о

болезнях здоровым людям? Порадуемся лучше с ними, и вместе со всеми умными, просвещенными и здоровыми рассудком людьми: наконец, у нас президент в Академии Художеств, президент,

Который без педантизма,  
Без пузы барской и без чванства,  
Забот неся житейских груз  
И должностей разнообразных бремя,  
Еще находит время  
В снегах отечества лелеять знобких муз,  
Лишь для добра живет и дышит,  
И к сим прибавьте чудесам:  
Как Менгс — рисует сам,  
Как Винкельман красноречивый — пишет.

Прошу не принимать это за *poison qu'on prépare à la cour d'Etrurie\**, то есть за лесть. Я так загрубел на берегах Шексны и железной Уломы, где некогда володел варвар Синеус, что не в состоянии ничего сказать лестного, не в силах ничего написать, кроме простой, самой голой истины. <...>

108. В. А. Жуковскому

[Июнь 1817]

Я не писал к тебе давно, милый и любезный друг, и даже не отвечал тебе на последнее письмо твое. Теперь нужда заставляет писать. Гнедич издает мои проказы. Если есть у тебя лишнее время, взгляни на стихи и поправь, и выкинь (это главное) все лишнее, на что, конечно, издатель мой согласится. Ты не поверишь, как эта затея меня мучит: издаю заочно, а сам в хлопотах. До стихов ли? Будь же снисходителен, милый друг, исполни мою просьбу. Если есть у тебя свободный часочек, то скажи мне, что понравилось тебе и что не понравилось. Здесь в лесу не у кого спрашивать; я начинаю страшиться за талант мой, не сбился ли он с доброго пути? Понравился ли мой «Тасс»? Я желал бы этого. Я писал его сгоряча, исполненный всем, что прочитал об этом великом человеке. А «Рейн»? А другие безделки? Воскреси или убей меня. Неизвестность — хуже всего. Скажи мне, чистосердечно скажи, доволен ли ты мною.

Теперь, сказавши, что было на уме, скажу, что на сердце. Поздравляю тебя, мой милый балладник! Душевно радуюсь твоему счастью (я говорю: счастью, за неимением другого слова) и поздравляю вместе и царя — он сделал истинно прекрасное дело, и поздравляю себя и всех добрых людей, ибо мы,

\* отраву, которую готовят при дворе в Этрурии (франц.).

конечно, будем иметь от тебя что-нибудь новое, славное, достойное тебя. Я не писал к тебе во время *оного*: не знал — где ты. Теперь из письма Гнедича вижу, что ты в Питере. Вяземский у вас, и тебе, конечно, с ним весело, а у меня слюнки текут. Ты мне не сказал спасибо за надпись к ясному лицу твоему, а я писал ее с таким удовольствием по заказу фитолюбца нашего Каченовского. Право, ты в долгу передо мною: не прислал мне своего «Певца на Кремле», и я его до сих пор и в глаза не знаю, от Вяземского не мог добиться. Теперь вы, конечно, в вихре. Когда бог приведет обнять Блудова? Скажи ему, и скажешь истину, что я его люблю, как душу. Где Дашков? Что делает оратор слабых жен и черно-желтый Жихарев? Благодарим Тургенева за Попову: он сделал доброе дело за вяленькие стихи.

Что скажешь о моей прозе? С ужасом делаю этот вопрос. За чем я вздумал это печатать? Чувствую, знаю, что много дряни; самые стихи, которые мне стоили столько, меня мучат. Но могло ли быть лучше? Какую жизнь я вел для стихов! Три войны, все на коне и в мире на большой дороге. Спрашиваю себя: в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное? Совесть отвечает: нет. Так зачем же печатать? Беда, конечно, не велика: побранят и забудут. Но эта мысль для меня убийственна, убийственна, ибо я люблю славу и желал бы заслужить ее, вырвать из рук Фортуны, не великую славу, нет, а ту, маленькую, которую доставляют нам и безделки, когда они совершенны. Если бог позволит предпринять другое издание, то я все переправлю; может быть, напишу что-нибудь новое. Мне хотелось бы дать новое направление моей крохотной музе и область элегии расширить. К несчастью моему, тут-то я и встречаюсь с тобой. «Павловское» и «Греево кладбище»!.. Они глаза колят! <...>

<...> Напомни обо мне Карамзиным. Скоро ли его «История»? Если бы теперь попалась в деревне, как бы я прочитал ее! В городе впечатление будет слабее. Но зато в городе ты видишь самого историка. Счастливые горожане! Вы не знаете цены своему счастью. Вы не чувствуете, как приятно проводить ненастный вечер с людьми, которые вас понимают и которых общество, право, милее цветов и деревенского воздуха, особливо в некоторые лета. Утешаю себя мыслию, что я живал и хуже. Благодаря Провидению, у меня беседа в саду, четыре опрятные, веселые комнаты и твой портрет и Вяземского; с балкона вид прелестный: река, лес, одним словом: *прелесть*... для проходящих. А у вас и пыль, и слякоть, и стук карет, и визг собак, и стихи Хвостова, и докучливые люди, и неприятные вести, и званые обеды, и фамильные концерты, и зависть, и каламбуры, и нет даже Василья Львовича.

Прости, мой милый шут и друг. Обнимаю тебя очень, очень



крепко. Сегодня тебя более всех люблю; завтра на кого-нибудь другого *обрушу* мою любовь и дружбу, и стихи.

109. П. А. Вяземскому

23 июня [1817]

⟨...⟩ Благодарю за известия твои о Петербурге и радусь, что ты украл у Фортуны несколько приятных минут и отдохнул с людьми, ибо это, право, люди: Блудов, столь острый и образованный; Тургенев, у которого доброты достанет на двух и какого-то аттицизма, весьма приятного и оригинального, человек на десять; Северин, деятельный и дельный в такие нежные лета; Орлов, у которого — редкий случай! — ум забрался в тело, достойное Фидиаса, и Жуковский, исполненный счастливейших качеств ума и сердца, ходячий талант! Это люди! И Карамзин, право, человек необыкновенный, и каких не встречаем в обоих клубах Москвы и Петербурга, и который явился к нам из лучшего века, из лучшей земли: откуда — не знаю.

Плана не получал. Трудиться буду, если могу быть полезен и время, и здоровье, и обстоятельства позволят. Но... но... но... Ты видел первую часть моих «Опытов». Жаль, что много ошибок: чего доброго припишут их мне! Но их оговорим в последней части. Скажи мне, каков «Тасс» мой? Он у меня на сердце. Я им доволен; доволен ли ты? Мне нравится план и ход более, нежели стихи; ты увидишь, что я говорю правду, когда читаешь его в печати. *C'est une pièce à effet\**. Прочитай ее Тончи, сделай одолжение. Если он похвалит, он, знаток итальянской литературы, то я буду вне себя от радости: он и Дмитриев. А уранги могут говорить что угодно. Скажи по совести, какова моя проза: можно ли читать ее? Если просвещенные люди скажут: это приятная книга и слог красив, то я запрыгаю от радости. Сам знаю, что есть ошибки против языка, слабости, повторения и что-то ученическое и детское: знаю и уверен в этом, но знаю и то, что если меня немного окуражит одобрение знатоков, то я со временем сделаю лучше. Пускай говорят, что хотят, строгие судьи и кумы славнофиловы! Не для них пишу, и они не для меня; но не понравится тебе и еще трем или четырем человекам в России больно, и лучше бросить перо в огонь. Скоро я отправляюсь в Петербург против желания моего: приходит осень, я болен, лекарей здесь нет. Притом же и хлопоты меня выживают. Что пишешь ты? Не пора ли и тебя в клетку? Право, пора! Василий Львович пусть один порхает по воле: от «Аглаи» в «Вестник»

\* Это эффектная пьеса (франц.).

и из «Вестника» в «Труды любителей». Я посылаю к Каченовскому кучу переводов. Увидишь их в «Вестнике». C'est le chant du cygne\*. Хочу, если моя книга будет иметь какой-нибудь успех, приняться за поэму «Русалка» и за словесность русскую. Хочется написать в письмах маленький курс для людей светских и познать их с собственным богатством. В деревне не могу приняться за этот труд, требующий книг, советов и здоровья и одобрительной улыбки дружества. Спасибо! Ты правду говоришь, что меня надобно немного полелеять. Я, как птица, в сетях у хлопот и боюсь оставить в них мои перья и талант мой. Провидение, будь ко мне помилостивее! Друзья, не переставайте любить меня! Прости, будь мудр, аки мравий, аки змея, и добр, аки пес!

### *Русалка*

#### *Песнь 1-я*

Добрыня и сын его, юный Озар, обреченный дочери Оскольдовой, сопутники Оскольда, спешат настичь воинство его, идущее по Днепру в окрестностях Киева, воевать Царьград. Радость молодого Озара, в первый раз препоясанного мечом. Задумчивость Добрыни. Они сбиваются с пути. Буря. Находят пристанище у старца, древнего волхва. Он предсказывает Добрыне славное потомство, если спасет сына своего от очарований Лады, днепровской русалки. Нетерпение Озара. Они настигают воинство, расположенное на берегах Днепра, при шумных порогах. Пиршество воинское. Песни. Озар, утомленный трудами, засыпает: ему является во сне Лада во всей красоте; встревоженный, просыпается, призывает на помощь имя невесты своей, но образ Лады глубоко запечатлевается в его сердце.

#### *Песнь 2-я*

Задумчивый Озар последует войску. Добрыня расстается с сыном и идет по велению Оскольда отражать племена булгаров. Советы его сыну. Юноша клянется повиноваться ему. Между тем Лада, неприятельница волхва, желает заманить в свои сети его правнука. Является в виде лани перед войском юноши; товарищи Оскольда покидают ладьи, садятся на коней и скачут за ланью. Их опережает Озар. Он забывает совет волхва не переступать за цветочные цепи в лесу. Скачет за ланью. Преследует ее напрасно до самых берегов Днепра. Усталый, засыпает. Русалки опутывают его цепями.

---

\* Это лебединая песня (франц.).

Песнь 3-я

Он просыпается в царстве Лады. Кристальные чертоги ее. Описание жизни русалок. Веселость. Их ночные празднества и жертвы Лады. Любовь Лады. Озар счастлив.

Песнь 4-я

Но войско возвращается с победы. Озар слышит голоса товарищей, видит их сквозь тонкую влагу. Его отчаяние. Между тем Добрыня прибегает к волхву. Его чародейство. Они шествуют по Днепру ночью. Лунное сияние. Озар скрывается из рук Лады. Ее отчаяние.

110. Н. И. Гнедичу

[Июнь — июль 1817]

⟨...⟩ Советую элегии поставить в начале. Во-первых, те, которые тебе понравятся более, потом те, которые хуже, а лучшие в конец. Так, как полк строят. Дурных солдат в середину. Куда Тасса? Боюсь! Если не понравится тебе? Тем более что я, писав его, предался своей воле. Или он очень хорош — или очень плох. Ахти!

111. Н. И. Гнедичу

[Июль 1817]

У меня и было: *полуразрушенный он*, а не *уж*; я описался. *Под небом Италии моей*, именно *моей*. У Монти, у Петрарка я это живьем взял, *quel benedetto\* моей!* Вообще итальянцы, говоря об Италии, прибавляют *мая*. Они любят ее, как любовницу. Если это ошибка против языка, то беру на совесть. Выкинь Эрату, если хочешь. Но скажи Вяземскому, что Фортуна не есть счастье, а существо, располагающее злом и добром, нечто похожее на судьбу. Ссылаюсь на прекрасную аллегорию Данте в «Чистилице» его, на оду Горация, на статью Сенеки к Луцилию и, если он хочет — на Ноэлев лексикон *de la Fable\*\**, который, верно, у него перед глазами, ибо он ничего, кроме лексиконов, не читает, даже и стихов своих не перечитывает. *Изрытые пучины и гром не умолкал* — оставь. Это слова самого Тасса в одной его канцоне; он знал, что говорил о себе. *Челюсти времен* —

\* это благословенное (итал.).

\*\* мифологии (франц.).

дурно. Нельзя ли: *из кладезей времен?* Можно предположить времена различные, то есть различные эпохи, следственно, и кладези, и времена во множественном. Впрочем, воля ваша. Мне это все наскучило. Возитесь, как хотите. Да у меня и списка нет: черное тотчас изодрал в клочки, а память мою знаешь.

Когда выйдут книги, удели из моих три экземпляра: 1) в Москву, в университетское общество губителей словесности, 2) в Казанское общество рубителей словесности, которого я имею честь быть членом, и один экземпляр Дмитриеву. Надпиши ему: *от автора издатель*. Не худо бы тебе и самому приписать словечко, отправляя книгу. Я ему обязан: в бытность в Москве он навещал меня больного очень часто и подарил мне свою книгу. Другим приятелям не могу подносить по пирогу: не в моей печи их пекут. Они и сами добудут. Да если хочешь, Жуковскому экземпляр, из моих. Он мне прислал свою книгу. Вяземский купит. А впрочем, и сам прошу никому не давать. А мне пришли несколько штук покраснее переплетенных, ну, хоть одну, да сестрам по одной. Не бось! Я не падок на свое. Деньги, когда получишь по доверенности, пришли ко мне: я ахти как нуждаюсь! Недавно 2650 отослал в ломбард и теперь сижу на нулях. Спасибо за сказки. Но 30 рублей — право, дорого! Овидий всего нужнее. Овидий в Скифии: вот предмет для элегии, счастливее самого Тасса. Но, кстати, о Тассе. Шепнул бы ты Оленину, чтобы он задал этот сюжет для Академии. Умиравший Тасс — истинно богатый предмет для живописи. Не говори только, что это моя мысль: припишут моему самолюбию. Нет, это совсем иное! Я желал бы соорудить памятник моему полуденному человеку, моему Тассу. Боюсь только одного: если Егоров станет писать, то еще до смертных судорог и конвульсий вывихнет ему либо руку, либо ногу; такое из него сделает рафаэлеско, как из *истязания* своего, что, помнишь, висело в Академии (к стыду ее!), а Шебуев намажет ему кирпичом лоб. Другие, полагаю, не лучше отваляют. И я смешон, по совести. Не похож ли я на слепого нищего, который, услышав прекрасного виртуозу на арфе, вдруг вздумал воспевать ему хвалу на волынке или балалайке? Виртуоз — Тасс, арфа — язык Италии его, нищий — я, а балалайка — язык наш, жестокий язык, что ни говори! Я рад, что он попался в руки Олину: он ему задаст ломку. Как он Оссиана переводит! И так и сяк ломает, только дребезги летят. Кто такой Панаев? Совершенно пастушеское имя и очень напоминает мне мед, патоку, молоко, творог, Шаликова и тмин, sprysнутый водой. Но не мне бы гулять на счет других. Вот и мои стишки. Так, это суцья безделка! Послание к Никите Муравьеву, которое, если стоит того, помести в книге, в приличном оному месте, а за то выкинь мою басню либо какую-нибудь другую глупость; это, по крайней мере, посвежее. Я это марал истинно для того, чтобы не отстать от механизма стихов,

что для нашего брата-кропателя не шутка. Но если вздумаешь, напечатай, а Муравьеву не показывай, доколе не выйдет книга: мне хочется ему сделать маленький сюрприз. Вот какими мелочами я занимаюсь, я, тридцатилетний ребенок; но что делать? Мешают приняться за что-нибудь поважнее. Кто писал статьи из Череповца на Воейкова? Верно, Иван Матвеевич? Ему теперь споллагоря шутить и на меня грехи свои сваливать. Пришли мне немедленно отпечатанные листки стихов. Поправляй, марай и делай, что хочешь. Просил тебя, просил Жуковского, писал к нему нарочно; прошу всех добрых людей, но еще прошу тебя: не затевай подписки. Лучше вдруг явиться на белый свет из-под твоего крылышка. Ах, страшно! Лучше бы на батарее полез, выслушал бы всего Расина-Хвостова и всего новорожденного Оссиана, нежели вдруг, при всем Израиле, растянуться в лавках Глазунова, Матушкина, Бабушкина, Душина, Свешникова, и потом — бух!.. в знакомые подвалы,

Где игры первых лет, невинны мадригалы и пр.

А вот моя участь!

Cet oracle est plus sûr que celui de Calchas!\*

Всего мне будет грустнее лежать возле «Писем к графине», возле Шаликова «Путешествия в полуденную Россию» и тому подобных сладостных пряностей. Пусть я захраплю лучше на баснях Хвостова, и в изголовьях у меня будут его послания, жесткие, аки камни. Прости.

Не плачу я, а сердцу очень больно

(стих Катенина). Еще раз прошу писать и отвечать. Я разорился на письма. Когда кончим это печатание! Последняя статья, и аминь. Сегодня не успею кончить послание.

Как понравились тебе поправки «Домоседа»? Что сказал Крылов? Ничего! Следственно, он меня ни любит, ни уважает. Если критикует, то любит, по крайней мере. <...>

112. Н. И. Гнедичу

17 июля [1817]

Получил книгу. Благодарю тебя за труды твои! Что касается до подписки, то на то буди воля твоя. По мне так, право, я не написал бы и сам на мою прозу. Стихов теперь ожидаю с нетерпением. Виньет очень мне понравился, и бумага, и шрифт. Nil

\* Это пророчество более верно, чем оракул Калхаса! (франц.)

admirare\*, кажется, не так. Ситуация из Катутлла не так. Мадам Жофрен превращена в Жофрень. Что скажет Василий Львович!!! Всего не успел пересмотреть, и вот причина: в день получения книги я проехал верст около сорока верхом, в жар, и желчь, которою я страдаю, чуть было меня не задавила. Началась рвота, усилилась; я умирал, и умер бы, если бы натура не сделала последнего усилия. Такая смерть похожа бы была на смерть профессора Крашенинникова. Желая, чтобы твои дела шли хорошо и радуюсь, что могу желать успеха моей книги не для себя, а для издателя. Но у нас в стороне, верно, никто не подпишется. Я могу сказать то же, что Монтань: *On tient pour drôlerie en mon pays de Gascogne de me voir imprimer\*\**. Признаюсь тебе, страшусь и за Москву, и Петербург, и другие города. Вряд ли будут отклики. Если бы ты мне слово шепнул *тогда*, то есть вовремя, то я накроил бы тебе сказок в прозе: вот товар! Скажи мне чистосердечно, как ты ведешь дела свои, и выведи меня из страха и раскаянья, что я согласился на твою просьбу. *Tu l'as voulu, George Dandin!\*\*\** Но все ты жалок, а я на тебя сердиться не менее того стану и тебе не в силах буду помочь. Я нынешний год потеряю половину моего имения (прошу это оставить между нами), то есть тысяч на тридцать, и что будет вперед — не знаю. Совсе нечем существовать будет, до тех пор, пока не устрою моих дел. «А как ты их устроишь?» — говорит сестра. «Не знаю», — отвечаю я. Веришь ли, что я восемь месяцев как все в хлопотах, в горе и в болезни, а ты еще меня колешь!<...>

113. Н. И. Гнедичу

[Июль 1817]

Достал и читал я объявление в «Инвалиде» и ужаснулся. Козлов или смеется, или дурачит меня; а если это спроста, то я полагаю, что он пьет запоем мертвую чашу и с похмелья пишет рецензии. Я ему могу то же сказать, что Вергилий Стасу в «Чистилище» Дантовом: Стас, увидя Вергилия, брякнулся ему в ноги, а стыдливый Вергилий в ответ на такое приветствие: «Ах, братец, не делай этого, ты тень и тень перед собою видишь!»

Измайлова я не получаю: эта половина года кончилась, а другой не беру. Впрочем, необычайные похвалы мне повредят только, дадут врагов, а к достоинству книги ничего не прибавят. Теперь, перечитывая книгу, вижу все ее недостатки. Если какой-нибудь просвещенный человек скажет, прочитав ее: «Вот прият-

\* Ничему не следует удивляться (*искаж. лат.*)

\*\* В моей области Гаскони смеются, видя меня напечатанным (*франц.*).

\*\*\* Ты этого хотел, Жорж Данден! (*франц.*).

ная книжка, слог довольно красив, и в писателе будет путь», — то я останусь довольным. Помнишь ли, что старик кричал Мольеру: «Courage, Molière!»\* Вот похвала! А у нас мало таких стариков. Сделают идолом, а завтра же в грязь затопчут. Помню участь Боброва, Шихматова, Шаликова; и их хвалили! А теперь? К чему это? — скажешь ты. Себя от чаду спасаю и хочу предвидеть огорчения, неразлучные с ремеслом. Огорчения... у меня их и без книги довольно!

Замечаний не получил еще; когда получу — кончу, но вперед пророчу: всего поправить не могу, а воспользуюсь замечаниями Крылова (которому очень обязан) для другого издания. Теперь время ли? Если бы ты мог погодить! А если не можешь? При этом у меня, право, растерян ум: столько хлопот, и предосадных! Отошли «Моровую язвѹ» прямо к Каченовскому, поправя ее, если хочешь. Не замедли. Он пишет ко мне и просит чего-нибудь, а у меня ничего нет, кроме переводов пустых, которые я ему послал. <...>

#### 114. П. А. Вяземскому

[Июль 1817]

<...> Когда мы с тобой увидимся? Бог знает. О Москве я и думать не могу. Никогда так головой, умом, сердцем и карманом не был расстроен. Бедный Тибулл! Какие стихи тебе надобно? Мне кажется, от роду не писал стихов, а если и писал, то раскаялся. Что в них? Какую пользу принесли они? Кроме твоей дружбы и Жуковского? Я кончу. Ибо чувствую, что напишу какую-нибудь глупость. <...>

#### 115. И. И. Дмитрию

10 августа 1817 г.

<...> Не могу вам изъяснить, какое добро сделали мне ваши волшебные строки. Они меня воскресили. Я знал слабость моей прозы. Почти все было писано наскоро, на дороге, без книг, без руководства и почти в беспрестанных болезнях. Большая часть моей книги писана *про себя*. Я хотел учиться писать и в прозе заготовлял воспоминания или материалы для поэзии. Сам не знаю, как решился напечатать это. Теперь же, на досуге, перечитывая все снова, с горестью увидел все недостатки: повторения,

---

\* «Смелее, Мольер!» (франц.).

небрежности и даже какое-то ребячество в некоторых пьесах. Посудите сами, как сердце мое уныло! Вдобавок к несчастью, множество ошибок и грехов типографских поразили мои отеческие взоры. И чужие, и мои собственные грехи, полагаю, вооружат на меня нашу *неблагодарную* публику и всех *расставщиков кавык и строчных препинаний*, которые, не имея великих талантов, не могут иметь и вашей снисходительности. Теперь я несколько спокойнее и, по крайней мере, себя не презираю. Надеюсь, что вторая часть будет исправнее и разнообразнее первой. Я молю судьбу мою, почти неумолимую, чтобы она позволила мне лично вручить ее вам, милостивый государь, как новый знак моей признательности и усердия. Меня никто до сих пор не ободрял, кроме вас, но зато несколько слов ваших — не смею и думать, чтобы они были не искренни, — несколько слов ваших с избытком заменяют похвалу нашей публики и, скажу более, — все дары Фортуны, к поэтам редко благосклонной. <...>

116. П. А. Вяземскому

24 августа [1817]

Пишу из Петербурга. Я здесь уже четвертый день, конечно, к твоему удивлению, милый друг, и к моему собственному, ибо ни гадал, ни думал так скоро отправиться. Осенняя погода выжила меня из деревни: надобно было отправляться или в Питер, или в Москву; дал преимущество Петербургу, который, между нами будь сказано, мне не льнет к сердцу, хотя в нем все — и Жучок наш. Вчера я был у Карамзина с ним и с Тургеневым. Тургенев объявил мне твое путешествие *(вие)* в *Варшаву*. Я ахнул, и потом готов был прибить его. Но вчера примирился с этой мыслию и полагаю, что твое *вступление в службу* имеет вид хорошего начала. Я видел у Карамзи *(ных)* Новосильцова, который, как видно, желает тебя иметь при себе. Если служить (если), то лучше нельзя начать. Если это все приятно тебе, то и мне приятно. Служба — доброе дело для человека, который может быть полезен; дай бог, чтобы добрая воля в тебе не замирала. Жуковс *(ки)* й вступает в новую придворную должность. Радуюсь истинно, что ему удалось это. Он очень мил; сегодня пудрил свою голову à blanc \*, надевал шпагу и пр. et tout le costume d'utelitat\*\*, а вчера мы с ним целый день смеялись до надсады. Он пишет и, конечно, писать будет: я его электризую как можно более и *разъярю* на поэму. Он мне читал много нового, для меня,

\* добела (франц.).

\*\* и весь выходной костюм (франц.).



по крайней мере. Я наслаждаюсь им. Крайне сожалею, что тебя нет с нами. Пиши ко мне. Будь уверен в моей дружбе и не забывай меня в Варшаве <...>

117. Д. В. Дашкову

[Август 1817]

Если великан, который встретился с вами вчера, между двух морей, на узком перешейке, — не убил вас палицей, саблей или стихом Хвостова, то заклиная вас всеми великанами в свете, начиная с Наполеона и до корректора той типографии, где печатается «Сын Отечества», заклиная вас великаном Карабано-вым: напишите к Свиньину о выправке. Нет ли меня в числе и не буду ли в будущих? — Не забывайте нас, любезный Дмитрий Васильевич, и, если вы уже в царстве мертвых, к сожалению живых, — то являйтесь к нам изредка *в подобье тени*; мы будем приветствовать вас вином и цветами; мы будем обедать с мертвецом и упиваться, как с живым. *Queste é saper, questo é felice vita!*\* Жизнь наша, сказал мудрец, переходит как злак на камени. *E un Eсо, un sogno; anzi del sogno un'ombra\*\**. Славно потерять ее на поле чести и оставить потомству славное наследство: имя! Еще во сто раз славнее ознаменовать ее каким-нибудь полезным подвигом; идти по следам Геркула, который очистил берега Европы от великанов и разбойников, — и там столпы свои поставил, где свету целому предел? Вы также поразили многих гигантов; сторукий Бриарий Хлыстов лежит полумертвый в лавке Глазунова. Великий Орион, славянин или варяг, историки до сих пор не согласны, Орион, ученик Атласа-Курганова, издыхает в пыльном книгохранилище, — не спасла его сила и храбрость невероятная! Ни великий колпак наподобие пси! Ни латы хитрокованные из Четьи-Минеи и Пролога с серебряными застежками, отъятыми рукою искусного Усмаря у Киевского требника... Почий, чудовище. Идох мимо и се не бе! — Тщетно израненная рука мертвеца силится ухватить тростие и начертать, по старой привычке, несколько строк из Псалма или из пророчества Аввакума! все напрасно! И кто, кто поразил чудовище? Вы, милостивый государь. И так вы же поразите незнакомого рыцаря, которого мы встретили вчера, при свете фонаря и тройкой Фебы. Я спокоен на ваш счет. Живите для славы, друзей и отечества. Катерина Федоровна ждет ответа с нетерпением. Уведомьте ее, бога ради, милый Дмитрий Васильевич.

\* Это значит знать: это — счастливая жизнь! (итал.).

\*\* И эхо, мечта, вернее, тень мечты (итал.).

13 сентября [1817]

Благодарю тебя за письмо твое ко мне, милый друг, благодарю тебя, милый Асмодей, за Озерова и за удовольствие, которое доставил нам своею книгою. Слог быстрый, сильный, простой; простой — это всего милее! Я почти всем доволен. С некоторыми суждениями не согласен, но у всякого свой вкус. Как бы то ни было, Вяземский, который начал мадригалами, вздумал — сделал, то есть подарил нас книгою, книгою, которая делает честь его уму и сердцу. Я, с моей стороны, целую его прямо в лоб и говорю ему: не останавливайся, вперед, марш, марш к славе стезею труда и мыслей! Выбирай себе путь новый, достойный твоей музыки, живой и остроумной девчки. У тебя недостает только навыка для прозы. Иногда себя повторяешь; иногда периоды не довольно обработаны, и слова путаются. Итак, пиши только: все приобретешь, чего недостает у тебя. Пиши! Я предрекаю России писателя в прозе. Пиши, учись, читай и люби свою славу, а не успехи. И для тебя авторство — стихия, рассеянность и презрение к забавам ума и труда — смерть, смерть моральная! Не утрать в свете воображения и сердца; без них что в уме? А они-то всего скорее линяют... Но я забыл, что говорю с тобою и что ты бранишь меня за умничанье. Какая мне нужда? Я все-таки свое повторять буду: трудись, где бы ты ни был, в Варшаве или в Москве, жертвуй грациям, жертвуй важным музам, которые тебе столь благосклонны. Ты спрашиваешь: что я для себя стряпаю? Ничего. Спроси у Северина: он лучше моего знает. Надеюсь на его дружбу. Если то, чего он желает, не удастся, то полечу в Тавриду лечить грудь мою и рассеять тоску и болезнь на берегах Салгира, на высотах Чатыр-дага и на благовонных долинах помория. В ожидании сего пью лекарства и вижусь с Жуковским. На него весело глядеть моему сердцу и грустно, когда подумаю о разлуке. Он на днях едет к вам. Северин мелькнул и исчез. Остается здесь Арфа. Душу ее можно сравнить с Аретузою, которая, протекая посреди горькой стихии, не утратила своей ясности и сладости природной: посреди шума и суеты всяческой Тургенев день ото дня милее становится. Блудов — ослепительный фейерверк ума. В Арзамасе весело. Говорят: станем трудиться, и никто ничего не делает. Плещеев смешит до надсаду, Карамзины здоровы. Поклонись гусю *Вот я вас*, а еще лучше сделаешь, если напомнишь обо мне княгине, которой я усердно и низко кланяюсь. <...>

[1817 (?)]

Я вижу тень Боброва:  
 Она передо мной,  
 Нагая, без покрова,  
 С заразой и с чумой;  
 Сугубым вздором дышит  
 И на скрижалях пишет  
 Бессмертные стихи,  
 Которые в мехи  
 Бог ветров собирает  
 И в воздух выпускает  
 На гибель для певцов;  
 Им дышит граф Хвостов,  
 Шихматов оным дышит,  
 И друг твой, если пишет  
 Без мыслей кучи слов.

Т. е. я теперь, сидя с сильной головной болью, от которой ниже сном, ниже перечитыванием Шихматова не избавлюсь.— К Измайлову будет послано. <...>

## 120. В. А. Жуковскому

[Январь 1818]

Благодарю тебя за два твои воззвания: они меня оживили надеждою. Головы не мог обрить, ибо должен выезжать ежедневно и хлопотать. Можешь посудить, весело ли провожу время. Забот множество: все время похищено. Ничего не делаю и глуплю посреди рассеяния. Когда кончится это, не знаю. Желаю, чтоб судьба моя решена была: или остаться, или ехать. Здоровье изменило, с ним — музы и счастье; но дружба твоя не изменит моему сердцу, милый Жуковский: она стоит чего-нибудь. Обними Северина и пожелай ему счастья. Обними Вяземского. К первому не пишу: ему теперь не до меня. К Асмодею писать буду, а прошу сегодня сказать ему, что не берусь издавать стихов его: я здесь не останусь. Лучше поручить это Блудову. Он, верно, согласится, ибо любит Асмодея и лучше моего смастерит. Но вырви у него решительное слово: *печатать!* Давно пора! Напечатать книгу есть условие с публикой дорожить авторского славою, а Вяземский в состоянии сдержать таковой договор.

Жихареву пьяному поклон — и пожелай жажды; тебе желаю жажды стихов, которую ты не утолишь в *Гребневском ключе*, а в собственной душе, из которой извлекаешь прекрасное. Извлеки из нее «Русалку» или что-нибудь подобное. Василья Львовича обними и — прости.

Б.

9 мая [1818]

⟨...⟩ Не забывай приятеля своего. Он отдыхает мыслями при тебе и благодарит судьбу за твое дружество. На днях увижу Жуковского, которого, побранив за «Немногих», буду хвалить за стихи на рождение великого князя. Они, говорят, прекрасны и достойны его гения. Блудов уехал; Северин здесь; Полетика отправился в Америку; Тургенев пляшет до упаду или, лучше сказать, отдыхает в Москве; брат его весь в делах; Уваров говорил речь, которую хвалят и бранят; в ней много блистательного; Вигель потащился с Блудовым. Вот история Арзамаса. Забыл о Пушкине молодом: он пишет прелестную поэму и зреет. Что ты пишешь? Что бы ни писал, мы все прочитаем с радостью: ты наша надежда. Не покидай музу. Что без нее в жизни? Пожалей обо мне: я ничего не пишу и долго писать не буду, до времен счастливейших! Обнимаю усердно тебя, милый и бесценный друг. Если вздумаешь писать, то адресуй письмо к Карамзину: он будет знать о месте моего пребывания; еду к нему, вручу ему это письмо и прощусь после обеда. Как ни скучен Петербург, но там, где живут Карамзины, Салтыков, Уваров, Тургенев, Северин, можно найти веселые минуты и отдохнуть умом и сердцем. ⟨...⟩

## 122. Н. И. Гнедичу

[Май 1818]

⟨...⟩ Возьми у Глазунова Габлициеву «Тавриду»; вели ему отыскать Нарушевича, где хочет. Пришли мне «Путешествие» Шаликова, но с тем, что я могу возвратить его Глазунову, если оно мне не понравится.

О, какая гармония  
 В редкий сей ансамбль влита;  
 И овал лица прекрасный  
 Видеть мне дала!  
 Здравствуй, мой пиит!  
 Пред собою видишь точно  
 Музу с грацией порочной.

Бога ради, пришли мне греческую трагедию «Ифигению в Тавриде»: у тебя есть французский перевод.

[Июнь 1818]

⟨...⟩ Жуковскому мой поклон. Утешьте злодея: скажите ему, что баллада из Шиллера прелестна, лучший из его переводов, по моему мнению; что перевод из «Иоганны» мне нравится, как перевод мастерской, живо напоминающий подлинник; но размер стихов странный, дикий, вялый: ссылаюсь на маленького Пушкина, которому Аполлон дал чуткое ухо. Но «Горная песня» и весь IV-й номер мне не нравится. Он попал на дурное, жеманное и скучное. Вот моя исповедь. Но обнимите его за меня очень крепко; это ему приятнее моей критики и, может быть, умнее. ⟨...⟩

## 124. А. Н. Оленину

17 июля 1818 г. Одесса

Я пишу к вашему превосходительству из Одессы, куда я прибыл около 10 июля. От Москвы до Кременчука дорога была ужасная: грязь по ступицу, совершенно малороссийская. Отдохнув в Николаеве, я отправился в Ильинское, поместье Кушелева-Безбородки, то есть в древнюю Ольвию, и осмотрел любопытные остатки или могилу сего города. У меня было письмо к эконому поместья от графа Александра Григорьевича Безбородки и отца его графа Григория Кушелева. Если встретитесь с ними, милостивый государь Алексей Николаевич, то поблагодарите за меня. Письма их доставили мне способ осмотреть Ольвию и окрестности. Я снял план с развалин, или, лучше сказать, с урочища, и вид с Буга. Рисовать я не мастер, но сии виды для меня будут полезны: они пояснят мое описание, если когда-нибудь вздумается мне привести в порядок мои записки, которым желаю успеха, то есть вашего одобрения, столь лестного моему сердцу и самолюбию. Для вас сохранил урну, найденную в развалинах рыбаком. Вот ее история. Один из рыбаков селения рыл яму и заступом ударил по черепице; продолжал рыть и вынул из земли большой сосуд, покрытый. Полагая, что в нем монеты, разбил его. В первом сосуде был прах на дне и другой сосуд, во втором третий. Все три грубой работы и глины. Сей последний доставлю вам на память обо мне. В нем управитель Ильинского подносил вино рабочим людям; лучше же ему быть в кабинете вашем. Но такие сосуды здесь не редкость: их находят повсюду, даже в полях, где, конечно, римляне стояли лагерем. Притом сохраню для вас две медали: одну из них подарил мне г. Бларамберг, у которого

прекрасное, единственное в своем роде собрание медалей, обломков и статуй. Вы его знаете: он — шурин г. Розенкампфа. Здесь в Одессе я пользуюсь его благосклонностью и кабинетом. Жаль, что он не публикует его. В Ольвии открыли трубу, которая более двух тысяч лет лежит в земле. Она служила водопроводом, и странное дело: из нее еще струится вода в Буг. Адмирал Грейг присылал из Николаева чиновника осмотреть ее форму, меру и положение. Одно колено сей трубы я взял с собою и постараюсь привезти; не угодно ли вам будет поставить ее в Библиотеку или в ваш кабинет? Медалей я не покупал по двум причинам: первое — потому, что не смел покупать и оскорбить чрез то хозяев поместья, которые, может быть, дорожат ими; второе — потому, что боялся ошибиться и заплатить дороже по неведению цен и самого достоинства медалей. Разрешите мне, покупать ли для Библиотеки вещи и какую сумму можете употребить на покупку оных? Переписка в таком случае, без уполномочия, затруднит меня: вам известно, что слепой случай доставляет дешевые и драгоценные вещи: его-то упускать и не должно. Впрочем, не думайте, чтобы потребны были великие суммы. У антиквариев покупать не должно, но у жителей. Бога ради, разрешите мне сей вопрос, ибо я намерен ехать в Крым, где жатва обильная. Здешнее купанье мне недостаточно. Лекаря посылают в Евпаторию; сентябрь желаю употребить на развалины и, если угодно будет судьбе, весь октябрь. Я невежда, но усерден; если усердие может отчасти заменить науку, то я привезу вам что-нибудь из Крыму. Будучи в Ольвии, я сожалел, что вы, милостивый государь, не посетили сего края: берега Черного моря—берега, исполненные воспоминаний, и каждый шаг важен для любителя истории и отечества. Здесь жили греки, здесь бились Суворов и Святослав. <...>

125. Н. И. Гнедичу

[Июль 1818]

Благодарю за известие! Скоро буду у вас и обниму тебя. В ожидании сего сделай дружбу, переведи мне в прозе близко, но красиво, хор из Эврипидовой «Ифигении», который начинается: «Tendre Halcyon»\* и проч. Мне он очень нужен. Греческий оригинал верно есть в Библиотеке. Я кое-что написал об Ольвии. В Петербурге на досуге переправлю и сообщу твоему просвещению. <...>

---

\* «Нежная Гальциона» (франц.).

10 сентября 1818 г.

⟨...⟩ Я знаю Италию, не побывав в ней. Там не найду счастья: его нигде нет; уверен даже, что буду грустить о снегах родины и о людях, мне драгоценных. Ни зрелища чудесной природы, ни чудеса искусства, ни величественные воспоминания не заменят для меня вас и тех, кого *привык* любить. Привык! Разумеете меня? Но первое условие — *жить*, а здесь холодно, и я умираю ежедневно. Вот почему желал Италии и желаю. ⟨...⟩

В ожидании лучшего, слушать буду сегодня перевод Мерзлякова, у которого много пламенных стихов и *другого прочего*. Ни слова не скажу о переводе, напечатанном в «Сыне Отечества». Я согласен с мнением Греча, изложенным в точках. Поздравляю Академию: преузорочно! «Часть открытых пухлых грудей!.. Но хотя взору преграждает путь, однако не может остановить страстной мысли»... *Страстная мысль* — хорошо, но далее: «Мысль дерзает сквозь *чистоту* одежды прокладываться в *укутанные части*»... Харчевенный слог! Лапотник! И какое место в Тассе чудесное! Здесь-то Тасс именно велик слогом, ибо Армида его недостойна эпопеи: кокетка, развратная прелестница, но слог; *ее укутавший*, дает ей прелесть неизъяснимую. Что же она в русском переводе? Молчу, молчу, но, право, иногда своим голосом скажешься. Воейков пишет гекзаметры без меры, Жуковский (!?!?!?) — пятистопные стихи без рифм, он, *который* очаровал наш слух, и душу, и сердце... После того мудрено ли, что в Академии так переводят?

Читал и вылазку или набег Каченовского, набег на вкус, на ум, на славу. Не гневайтесь: Каченовский делает свой долг, Карамзин — свой. Он пишет 9-ю часть «Истории». Вот лучший, красноречивейший ответ! Но Каченовскому я отпел, что думал: «Того ли мы ожидали от вас? Критики, благоразумной критики, не пищи для Английского клуба и московских кружков. Укажите на ошибки Карамзина, уличите его, укажите на места сомнительные, взвесьте все сочинение на весах рассудка. Хвалите от души все прекрасное, все величественное, без восклицаний, но как человек глубоко тронутый. А вы что делаете? Нет, вы не любите ни его славы, ни своей собственной, ни славы «отечества»... И мало писателей любят ее! Мы все любим себя, свои стихи и прозу; за то и нас не любят. Но я люблю вас, любя свои стихи: вот мое достоинство. Обнимаю вас, вашего почтенного брата, за которым гнался по Москве в день его выезда и не успел обнять. Обнимаю, обнимаю Жуковского, которого браню и люблю, люблю и браню. Мерзлякову сегодня покажу письмо ваше. Бога ради, отвечайте мне немедленно: «приезжай». Адрес мой: в Череповце Новгород-

ской губернии. Намерен послезавтра туда отправиться, и если получу письмо ваше, то немедленно пушусь в Петербург. Будьте здоровы и счастливы и не читайте худой прозы и худых стихов, кроме моих, разумеется.

Бога ради отыщите мне Келера. Николай Иванович не мог найти его без вас, как ни старался. Келер мне нужен. Я с ума схожу на Ольвии. *Сверчок* что делает? Кончил ли свою поэму? Не худо бы его запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою. Из него ничего не будет путного, если он сам не захочет; потомство не отличит его от двух однофамильцев, если он забудет, что для поэта и человека должно быть потомство: князь А. Н. Голицын московский промотал двадцать тысяч душ в шесть месяцев. Как ни велик талант Сверчка, он его промотает, если... Но да спасут его музы и молитвы наши! <...>

127. Н. П. Румянцеву

19 октября 1818

<...> В Одессе я имел случай видеть у г. Бларамберга, известного вам чиновника, редкой кабинет медалей, ваз, статуй, надписей из Ольвии, драгоценное собрание остатков древнего города, в одних руках и одним человеком составленное. Желательно, чтобы ваше сиятельство изволили потребовать у него подробный каталог всем его сокровищам: ручаюсь, что он заслужит внимание ваше. Я с моей стороны священным долгом почел уведомить вас о сем собрании, которое, легко может стать, перейдет в руки поляков или англичан, ибо г. Бларамберг, по напечатании каталога, намеревается продать свой кабинет. В бытность мою в Одессе его уже торговали.

Оставляя Россию, осмеливаюсь повторить вам, милостивый государь, что я исполню поручения ваши: и в Неаполе, и в окрестностях оного тщательно осмотрю монастыри, частные и публичные библиотеки, и если найду что-нибудь важное касательно истории нашего отечества, уведомя вас; что могу, куплю и доставлю немедленно. Каждому россиянину сладостно трудиться для вас, покровителя наук, друга и добра, и человечества, а мне, обязанному вам лично, еще более сладостно! Где бы я ни был, сохраню в памяти моей милости ваши: ни время, ни отдаление не истребят их из моего сердца.

Не угодно ли вашему сиятельству дать мне поручения в Риме и письмо к Канове? Я долгом поставлю себе навестить его и сказать ему, что видел статую Мира в святилище муз. <...>



[Октябрь 1818]

Благодарю за VI нумер «Для немногих», который прочитал с удовольствием, и за Сегюра. Возвращая его, скажу мимоходом: как мой ум (по словам А. И. Тургенева) ни мелок и ни поверхностен, а все-таки недоволен мелкими стихами нашего Жуковского и мелкою философию Сегюра. Но рассказ в Сегюре и описания в Жуковском прелестны: вот сходство между ними. Поищем разницы. Сегюр выписался, Жуковский никогда не выпишется, если мы не задушим его похвалами. Аз худый и сердитый.

129. Д. Н. Блудову

[Начало ноября 1818]

На сих днях отправляюсь в Неаполь. Отъезжая, долгом поставлю побеседовать с почтенною Кассандрою, которая забыла свой Арзамас, и Беседу, и Академию. Но мы не забыли ее. Мы огорчились, услышав о ее внезапной болезни, и обрадовались скорому выздоровлению. Дай бог ей здоровья и всему семейству ее. Спешу возвестить ей наши новости, а в конце стану говорить о себе. Карамзин живет в доме Кат(ерины) Фед(оровны), и мне сосед. Мы видимся часто, хотя Кар(амзин) и вступил в Российск(ую) Академию и на днях будет читать речь в ее услышание. Жуковский и Филарет также членами *оной Академии*. Но первый за эту честь заплатил дорого: так простудился, что по сю пору лежит и бредит. Болезнь его может превратиться в неизлечимую, если он не вспотеет вовремя. Шутки в сторону, он болен, Плещеев болен, Салтыков болен, Уваров болен. Все мы платим дань отечественной осени, которая, как вы видите, не благосклонна Арзамасу. Возвратимся к Академии. На другой день торжествен(ного) вступления в оную Жуковск(кий) явился к нам бледен, как мертвец, как вышедший из Трофония пещеры, рассказывал нам чудеса и поручил мне возвестить вам о своем низшествии в лимб академический, который, без сомнения, ниже лимба Беседы. «Северная почта» возвестила публике: что Жук(овский) и Фил(арет) поступили на *упалые места*, и редактор *оной* заключил, что слова *упалые места* есть собственное выражение Академии. Упалое место, говоря о праздных местах, пустых или порожних академических\*, очень забавно, и замечание редактора остро и зло. Академия дышет злобою на «Север-

---

\* Как ни скажете, все странно! (Прим. К. Н. Батюшкова.)

ную почту», а насмеялись досыта, сожалея, что вас здесь не было по сию пору, почтеннейший друг наш.— *Loin de vous que faisiez vous alors?*\* Английск⟨ие⟩ ученые и английс⟨кие⟩ Хвостовы не столь забавны, как наши. Здесь «Дунциада» Попа могла бы быть веселее и смешнее.

Но я покидаю любезное отечество и, через Вену и Флоренцию, спешу в Рим (на который я и взглянуть недостойн!). В Неаполе буду ждать ваших писем, ибо уверен, что вы удостоите ответом. Вам стыдно забыть меня и оправдываться ленью. Я знаю, что вы не ленивы любить друзей, а из числа их я усерднейший. Ваше письмо меня истинно обрадует. Возвратимся к Петербургу. Тургеневы здоровы. Старший ни в доброту, ни в любезности не изменился. Пишет отчет биб⟨лиотечного⟩ общества и зарыл в катехизисах, Николай — в политич⟨еской⟩ экономии. Сверчок начинает третью песню поэмы своей. Талант чудесный, редкий! вкус, остроумие, изобретение, веселость. Ариост в девятнадцать лет не мог бы писать лучше. С прискорбием вижу, что он предается рассеянию со вредом себе и нам, любителям прекрасных стихов. Жуковск⟨ий⟩ пишет глаголы и погрузился в грамматику. Я не пишу. Когда мне? От Северина прямо или из Ахена чрез кого-нибудь имеет о нем известия? Я его здесь не нашел и не имею прискорбного удовольствия обнять его после ужасного несчастья. Дашков занят очень своей должностью, но грустит беспрестанно. Вот вся история нашего Арзамаса. Да! кстати! чуть было не забыл о Вяземском. Он написал громаду прекрасных стихов, живых, исполненных благородных мыслей и смысла. Вас⟨илий⟩ Льв⟨ович⟩, которого я видел в Москве, пописывает по-старому. ⟨...⟩

130. Е. Ф. Муравьевой

*Вена. 30/18 декабря 1818 г.*

⟨...⟩ Надеюсь, что вы послали ящик с книгами в Одессу на имя доктора Луи или Сен-При. Если еще не послали, то поспешите. Там находится между прочим *в бумагу завернутый альбом, в котором мои замечания об Ольвии*. Никита знает это. При этой книге план и, помнится, другие записки: если можно, отправьте ко мне это особенно *с верной оказией, если не в Неаполь*, то по крайней мере в Рим, но в Петербурге никому читать не давайте неконченного маранья, и писем моих никому не читайте, кроме Александра Ивановича, но в руки ему никогда не давать! у него две огромные руки. Я пишу все, что на ум приходит, а у вас теперь в Питере всякую строку пересуживают. ⟨...⟩

\* Что вы будете делать вдали от нас? (франц.)

Февраль 1819 г. Рим

⟨...⟩ Хвалить древность, восхищаться св. Петром, ругать и злословить италийцев так легко, что даже и совестно. Скажу только, что одна прогулка в Риме, один взгляд на Форум, в который я по уши влюбился, заплатят с избытком за все беспокойства долгого пути. Я всегда чувствовал мое невежество, всегда имел внутреннее сознание моих малых способностей, дурного воспитания, слабых познаний, но здесь ужаснулся. Один Рим может вылечить навеки от суетности самолюбия. Рим — книга: кто прочитает ее? Рим похож на сии иероглифы, которыми исписаны его обелиски: можно угадать нечто, всего не прочитаешь. Простите мне это маленькое предисловие: без него нельзя было отвечать на задачи ваши.

Виделся с художниками. Доложите графу Николаю Петровичу, что вручил его письмо Канове и поклонился статуе Мира в его мастерской. Она — ее лучшее украшение. Долго я говорил с Кановою о графе Румянцеве, и мы оба от чистого сердца пожелали ему долгоденствия и благоденствия. Воспитанник его подает хорошую надежду; он, по словам Кипренского, очень трудится, рисует беспрестанно и желает заплатить успехами дань должной признательности почтенному покровителю. Другие воспитанники Академии ведут себя отлично хорошо и меня, кажется, полюбили. Я ласкаю их, первое — потому, что они соотечественники, а второе — потому, что люблю художества и вас. Щедрина заказываю картину: вид с паперти Жана Латранского. Если ему удастся что-нибудь сделать хорошее, то это даст ему некоторую известность в Риме, особенно между русскими, а меня несколько червонцев не разорят. С князем Гагариным я говорил о них: рассуждал *и так, и этак*. Скажу вам решительно, что плата, им положенная, так мала, так ничтожна, что едва они могут содержать себя на приличной ноге. Здесь лакей, камердинер получает более. Художник не должен быть в изобилии, но и нищета ему опасна. Им не на что купить гипсу и нечем платить за натуру и модели. Дороговизна ужасная! Англичане наводнили Тоскану, Рим и Неаполь; в последнем еще дороже. Но и здесь втрое дороже нашего, если живешь в трактире, а домом едва ли не в полтора или два раза. Кипренский вам это засвидетельствует. Число четырех пенсионер столь мало, что нельзя и ожидать Академии великих успехов от четырех молодых людей. Болезни, обстоятельства, тысячи причин могут совратить их с пути или похитить от художеств. Что я говорю, есть сущая правда. Желательно иметь более десяти в Риме. Из десяти два, три могут удасться. Россия имеет нужду в хороших артистах, нужду необходимую, особенно в архитекторах, и я от чистого сердца желаю, чтобы казна не пожалела денег. За ними нужен присмотр; им

нужен наставник, путеводитель. Если бы вы отрядили профессора, человека опытного, строгих нравов, хотя и не весьма искусного в художестве, что нужды? Министерство ими занимается в важных случаях; оно им покровительствует, но пристрастия не имеет, ибо это не дело оного. При наставнике поведение будет правильнее. От большего сотоварищества родится соревнование, лучшая дружина трудолюбия и успехов. Вам доставят устав французской Академии. У ней не дом, а дворец. Желательно, чтобы наши имели только дом, кельи для ночлегу и хорошие мастерские, пристрастие, пищу и эту беззаботливость, первое условие артиста с музою или музы с артистом. Впрочем, я говорю то, что чувствую, что видел на месте: издали все кажется иначе. Исполнил мой долг, уведомил вас о том, что здесь каждому известно. <...> Во Флоренции есть слепки со всего музея, и мне обещали доставить реестр ценам и статуям, который сообщу вам. Английский двор и французский, с позволения герцога Тосканского, взяли сии слепки в недавнем времени. Здесь я видел собрание египетских статуй для двора баварского: по совести, они жалки и учиться над ними нечего. Могут быть интересны для антикварий или для истории искусства, но для художника — нимало. Формы варварские! При избытке других статуй можно пожелать иметь и сии. Впрочем, немало пользы. Об Аристидовой статуе дам ответ из Неаполя, также о древнем оружии, в Помпее и Геркулануме найденном, то есть об рисунках оружия. Все другие поручения касательно художеств исполню со временем. Важнейшее кончил.

Забыл сказать несколько слов о Кипренском и Матвеев. Первый еще не писал Аполлона и едва ли писать его станет, разве из упрямства. Но он делает честь России поведением и кистию: в нем-то надежда наша! Матвеев заслуживает наше уважение. Он человек старый и хворый, но в картинах его есть живость и огонь древнего Адама. Сорок лет прожил он в Риме и никакого понятия о России не имеет: часто говорит о ней, как о Китае, но зато набил руку и пишет водопады тивольские часто мастерски. На все есть время: его слава здесь полиняла. Я без предрассудков и люблюсь его картинами: в них много хорошего. Слава богу, что русский человек так пишет! Слава богу, что он заслужил внимание всех просвещенных путешественников и не умер с голоду в негостеприимной Италии. Ему, говорят, назначен пенсioen государем. Душевно этому радуюсь, ибо Матвеев скоро будет не в состоянии снискивать пропитание трудами. Торвальдсен гремит в Риме. Его Меркурий прелестен. Каммучини пишет прекрасные портреты (не всегда) и всегда серые картины, но зато рисует, как Егоров (и получше его), иногда сочиняет умно и с живостию, достойной римлянина. Basta! Ни слова больше об искусствах! Не мне судить о них; умничать — не мое уже дело. Скажу вам только, что здесь полк Рафаэлов. Все немцы оделись Рафаэлами: отпустили

себе волосы и надели черные бархатные шапки, черное полукафтанье и *сандалие*. На Рафаэла не похожи, а с головы на маймистов, что всего хуже; рисовать не умеют, ибо в Германии рисовать порядочно не учат. Подражают здесь Гольбейну и Перужини, а в скульптуре и архитектуре — средним векам. Зачем же было ехать в Рим? Чтоб ходить по Корсо в Рафаэловом платье, с свитком пергамена в руках. Иные из них имеют истинный талант и очень трудолюбивы; сии последние ходят просто, как мы грешные. Но я сию минуту видел картины двух немецких художников: повесть Иосифа, — и примирился с ними. Прекрасно! Кончу мое марание. Вы видите, что я, не глядя на развлечение и болезнь, отпел вам все, что было на сердце. Бог весть за что я прослыл у вас человеком неисправным. В отечестве никто пророком не бывал. <...>

132. А. И. Тургеневу

24 марта 1819 г. Неаполь

<...> Каждый день народ волнами притекает в обширный театр восхищаться музыкой Россини и усладительным пением своих сирен, говорят тем как Везувий, наш сосед, готовится к извержению; жеворот, в Портичи и в окрестных местах колодцы начинают высыхать: знак, по словам наблюдателей, что вулкан станет работать. Прелестная земля! Здесь бывают землетрясения, наводнения, извержение Везувия, с горящей лавой и с пеплом; здесь бывают, при том, пожары, повальные болезни, горячка. Целые горы скрываются, и горы выходят из моря; другие вдруг превращаются в огнедышащие. Здесь от болот или испарений земли вулканический воздух заражается и рождает заразу: люди умирают, как мухи. Но зато здесь солнце вечное, пламенное, луна тихая и кроткая, и самый воздух, в котором таится смерть, благовонен и сладок! Все имеет свою выгодную сторону; Плиний погибает под пеплом, племянник описывает смерть дядюшки. На пепле вырастают славный виноград и сочные овощи...

<...> Мои товарищи знают весь город. Я никого не знаю и брожу по улицам, как в лесу. К досаде моей, все покидают теперь Неаполь и спешат в Рим: граф де-Бре, Серра-Каприола и все англичане, мои знакомые. В бытность великого князя познакомился с Лагарпом, который бодр телом и духом. Он всходил на Везувий без помощи проводника и, к стыду нашему, опередил молодежь. Обращение его столько же просто, сколько ум тонок; он много знает, ибо все помнит. Здесь я познакомился с Капече-Латро, архиепископом Тарентским, ученым мужем и почтенным, который некогда играл важную роль в королевстве, который и без чинов, и без места внушает уважение и любовь: у него собрание

книг, медалей и картин. Скажите Уварову, чтобы он мне доставил экземпляр своих опытов о тайнствах элевзинских для сего почтенного старца: они будут в хороших руках. А мне, милостивый государь, пришлите чего-нибудь русского: новостей книжных, стихов и прозы. Стыдно Жуковскому, если он меня забудет. Здесь я часто говорил о нем с графом де-Бре, который Неаполь покидает со слезами на глазах: такие прелести имеет сей город! О Неаполе говорит Тасс в письме к какому-то кардиналу, что Неаполь ничего, кроме любезного и веселого, не производит. Не всегда весело! Не могу привыкнуть к шуму на улице, к уединению в комнате. Днем весело бродить по набережной, осененной померанцами в цвету, но ввечеру не худо посидеть с друзьями у доброго огня и говорить все, что на сердце. В некоторые лета это может быть нужно для образованного, мыслящего существа. Как бы то ни было, надобно ко всему привыкать. Напомните обо мне Карамзинным. Скажите им, что в Баии мы вспоминали их с графом де-Бре посреди роз и развалин. На прелестнейшем берегу, окруженный тысячами воспоминаний, я буду писать к ним при первом удобном случае. Просите Пушкина, именем Ариоста, выслать мне свою поэму, исполненную красот и надежды, если он возлюбил славу паче рассеяния. Карамзин говорил речь в Академии; не пропляшет ли чего-нибудь и Светлана? Что она поет теперь и на какой лад? Я получил от Дашкова письмо, в котором он вздыхает об отечестве. Будьте же счастливы там, друзья мои, и верьте, что вас люблю, люблю и буду любить. Для свадьбы принцессы и для приезда императора готовятся здесь балы, праздники, гулянья. Здесь весна в полном цвете: миндальное дерево покрыто цветами, розы отцветают, и апельсины зрелые падают с ветвей на землю, усеянную цветами; но я принимаю слабое участие в пирах людей и природы: живу с книгами и думаю о вас.

133. С. С. Уварову

Мая 1819 г. Неаполь

⟨...⟩ Я виделся с графом Головкиным, который мне сообщил отчасти письмо ваше, достойное вас, почтеннейший Сергей Семенович. Мы читали его с удовольствием и поздравляли вас душевно с добрым началом. Кто вас знает — уважает, но кто вас знает коротко, как я, тот вас любит. Сколько причин желать вам успеха в добром, в святом деле! И как не желать от искреннего сердца успехов просвещению России, то есть половине обитаемого мира, которая без просвещения не может быть ни долго славна, ни долго счастлива. Ибо счастье и слава не в варварстве вопреки некоторым слепым умам, фабрикантам фраз и звездочетам. Та-

кие вольные слепцы водятся не у нас одних, но повсюду. Напрасно наука их кормит, одевает, защищает от зла гражданского и от зла физического, они свое поют и будут петь; их не просветишь, не освятишь и не вылечишь. Благодаря бога, не ими держится свет, и дела идут своим чередом. Добрый успевает делать добро, и вы — тому пример. За то вам Провидение и посылает счастье, ибо я называю счастьем возможность основать университет в столице Петра. Помните ли, сколько раз я желал этого и сколько раз говорил об этом? Желание мое сбылось совершенно, тем более что это делается чрез вас. Я не видал проекта, но читал речь вашу во французском журнале, читал с истинным удовольствием. Без сомнения, расширяя круг учения, вы расширяете и круг просвещения; чрез десять лет мы благословим труды и имя ваше, ибо чрез десять лет зреет и образуется поколение. Новое в России почти всегда бывает лучше старого, наперекор Горацию: мы не совсем хороши, но едва ли не лучше отцов наших, а дети, может быть, достойнее будут нас. Если не современники, то, по крайней мере, дети, внуки отдадут вам должную справедливость. Мужайтесь! Славно быть блюстителем просвещения на обширнейшем поприще в мире, в столице, на которую Европа смотрит внимательными очами, в городе, где жил Эйлер, Шувалов, Ломоносов, Муравьев. Желаю вам успеха, и надеюсь блистательного; желаю, чтобы университет ваш сделался образцом для других, вянущих беспрестанно, и которые мало-помалу зарастают осокою, подобно храму Аонид, который я видел здесь недавно посреди других развалин. <...>

134. Н. И. Гнедичу

*Май 1819 г. Неаполь*

<...> Поговорим теперь о делах наших. Продаются ли книги, и советуешь ли приготовить новое издание, исправленное? Не примусь за него прежде совершенного истребления первого. Прибавлю, исправлю. Только не ожидай, чтобы я написал что-нибудь об Италии. Без меня много писано. Пришли мне книги Броневского и Свиньина. Любопытно прочитать их на поле сражения; но полно, здесь ли они писали? Часто путешественники пишут воротясь, дома. Один Глинка писал на походе: обними его за меня очень крепко и скажи, что я его люблю и вечно помнить буду. Здесь с Кушелевым, который жил о стену со мною, мы часто говорили о нашем милом русском офицере. Греко-российскому Крылову бью челом и прошу его фитолюбивую милость прислать мне новое издание басен. Скажи Поздняку, что я воспользуюсь первым

удобным случаем, чтобы переслать ему виды Неаполя. Пришли их с музыкою для княгини Гагариной в Москву, которой ты доставишь через Жилбуаза. Увидишь Шиллинга, скажи ему, что он забыл меня, что ему должно быть немного совестно. Олениным кланяйся. Петр здесь. Видимся часто. Он едет в Марсель, кажется, здоров и бодр. Русских туча. Приезд императора был поводом к балам, концертам и гуляньям. Мы часто в мундиры облакаемся. Я рад глядеть на людей; дома, особливо одному, по вечерам грустно и скучно. Одно удовольствие — прогулка и этот Везувий, который весь в огне по ночам. <...>

Жаль мне бедного Пушкина! Не бывать ему хорошим офицером, а одним хорошим поэтом менее. Потеря ужасная для поэзии! *Perche?* Скажи, бога ради.

135. Н. М. Карамзину

24 мая 1819 г. Неаполь

<...> Первые дни в Неаполе я провел со своими и очутился одиноким только по отъезде великого князя. Четыре недели сряду посвятил на обозрение окрестностей Неаполя, любопытных во всех отношениях, единственных, несравненных. Четыре раза был в Помпее и два раза на Везувии: два места, которые заслуживают внимания самого нелюбопытного человека. Судьба, конечно, не без причины таила около двух тысяч лет под золой Везувия Помпею и вдруг открыла ее: это живой комментарий на историю и на поэтов римских. Каждый шаг открывает вам что-нибудь новое или поверяет старое: я, как невежда, но полный чувств, наслаждаюсь зрелищем сего кладбища целого города. Помпеи не можно назвать развалинами, как обыкновенно называют остатки древности: здесь не видите следов времени или разрушения; основания домов совершенно целы, недостает кровель. Вы ходите по улицам из одной в другую, мимо рядов колонн, красивых гробниц и стен, на коих живопись не утратила ни красоты, ни свежести. Форум, где множество храмов, два театра, огромный цирк, уцелели почти совершенно. Везувий еще дымится над городом и, кажется, грозит новою золою. Кругом виды живописные, море и повсюду воспоминания; здесь можно читать Плиния, Тацита и Вергилия и ощущуло поверять музу истории и поэзии. Но с Везувия виды еще великолепнее. Мы наслаждались ими недавно большим обществом русских; с нами были Щербатовы, которые поручили вам усердно кланяться. Везувий наш беспрестанно изменяется, как море или как мир политический. Он ужасен и пленителен. С графом де-Бремы были в Баии; графиня скажет вам, без сомнения, что мы говорили о вас на мысе Мизенском и пили какое-то вино за ваше



здоровье на том месте, где римляне роскошничали, где Сенека писал, где жил Плиний и Цицерон философствовал: где лучше было вспомнить вас, нашего историка? <...>

136. В. А. Жуковскому

1 августа 1819 г. Искья

<...> Уведомь меня о твоих занятиях: что начал нового, что кончил? И отсюда я следую за тобою, желая счастливого пути твоему таланту; иди! Одна мольба: не упреди! Но ты иногда шагаешь исполану и всех опережаешь, между тем как я здесь, милый друг, в страхе забыть язык отечественный, совершенно без книг русских, и по нынешнему образу занятий моих не часто заглядываю в две или три книги русские, которые ненароком взял с собою. Вижу по всему, что могу умереть скорее членом английского клуба, нежели русской Академии, и что не заслужу места в статье биографии «Вестника Европы» или «Русского вестника», ибо ничего не написал похвального и достоюлжного, и преподобного.

Надобно тебе сказать несколько слов о себе. Я не в Неаполе, а на острове Искья, в виду Неаполя; купаюсь в минеральных водах, которые сильнее Липецких; пью минеральные воды, дышу волканическим воздухом, питаюсь смоквами, пекусь на солнце, прогуливаюсь под виноградными аллеями (или омеками) при веянии африканского ветра, и что всего лучше, наслаждаюсь великолепнейшим зрелищем в мире: предо мною в отдалении Сорренто — колыбель того человека, которому я обязан лучшими наслаждениями в жизни; потом Везувий, который ночью извергает тихое пламя, подобное факелу; высоты Неаполя, увенчанные замками; потом Кумы, где странствовал Эней, или Вергилий; Баия, теперь печальная, некогда роскошная; Мизена, Пуццолы и в конце горизонта — гряды гор, отделяющих Кампанию от Аbruццо и Апулии. Этим не ограничен вид с моей террасы: если обращу взоры к стороне северной, то увижу Гаэту, вершины Террачины и весь берег, протягивающийся к Риму и исчезающий в синеве Тирренского моря. С гор сего острова предо мною, как на ладони, остров Прочиды; к югу — Капрея, где жил злой Тиверий (злой Тиверий: эпитет Шаликова); острова Вентонские к северу и остров Понца, где, по словам антиквариев (не сказывай этого Капнисту), обитала Цирцея. Ночью небо покрывается удивительным сиянием; Млечный Путь здесь в ином виде, несравненно яснее. В стороне Рима из моря выходит страшная комета, о которой мы мало заботимся. Такие картины пристыдили бы твое воображение. Природа — великий поэт, и я радуюсь, что нахожу в сердце моем чувство для сих великих зрелищ; к несчастью, никогда не найду сил выра-

зять то, что чувствую: для этого нужен ваш талант. Но воспоминания всяких родов дают несказанную прелесть сему краю и приносят даже более удовольствия сердцу, нежели красоты видов.

Посреди сих чудес удивился перемене, которая во мне сделалась: я вовсе не могу писать стихов. Граф Хвостов сказывал мне однажды, что три года был в таком положении; но зато могу сказать с покойным князем Борисом, что пишу *на прозах* довольно часто. Я никогда не был так прилежен. К несчастью, и я не могу говорить об этом без внутреннего негодования, здоровье мое ветшает беспрестанно: ни солнце, ни воды минеральные, ни самая строгая диета, ничто его не может исправить: оно, кажется, для меня погубило невозвратно. И грудь моя, которая меня до сих пор очень редко мучила, совершенно отказывается. Италия мне не помогает: здесь умираю от холоду, что же со мною будет на севере? Не смею и думать о возвращении. По приезде моем жарко принялся за язык итальянский, на котором очень трудно говорить с некоторою приятностию и правильностию нам, иностранцам. Но это для меня было бы бесполезно, почти необходимо во всех отношениях; я хочу короче познакомиться с этою землею, которая для меня во всех отношениях становится час от часу любопытнее. Для самой пользы службы надобно узнать язык земли, в которой живешь. Вот почему все внимание устремил на язык итальянский и, верно, добьюсь если не говорить, то по крайней мере писать на нем. Между тем, чтобы не вовсе забыть своего (ибо по-русски возможно сочинять исправно, как говорит Хвостов), я пишу мои записки о древностях окрестностей Неаполя, которые прочитаем когда-нибудь вместе. Я ограничил себя, сколько мог, одними древностями и первыми впечатлениями предметов; все, что критика, изыскание, оставляю, но не без чтения. Иногда для одной строки надобно пробежать книгу, часто скучную и пустую. Впрочем, это все маранье; когда-нибудь послужит этот труд, ибо труд, я уверен в этом, никогда не потеряян.

Итак, все дни мои заняты совершенно. В обществе живу мало, даже мало в него заглядываю, кроме того, которое обязан видеть. Театр для меня не существует, и я в Неаполе не сделался неаполитанцем. Вот моя история, милый друг. Если прибавить, что я совершенно доволен моею участью — без роскоши, но выше нужды, ничего не желаю в мире, имею или питаю, по крайней мере, надежду возвратиться в отечество, обнять вас и быть еще полезным гражданином: это меня поддерживает в часы уныния. Здесь, на чужбине, надобно иметь некоторую силу душевную, чтобы не унывать в совершенном одиночестве. Друзей дает случай, их дает время. Таких, какие у меня на севере, не найду, не наживу здесь. Впрочем, это и лучше. Какое удовольствие, вставая поутру, сказать в сердце своем: я здесь всех люблю равно, то есть ни к кому не привязан и ни за кого не страдаю. <...>

21 июля/3 августа 1821 г.

Если бы меня закидали эпиграммами при появлении моей книги, если бы явно напали на нее, даже на меня лично, то я, как автор, как гражданин, не столько бы был вправе негодовать. Не годую, ибо вижу систему зла и способ вредить верный, ибо он под личиною.

Теперь приступлю к моей просьбе. При сем найдешь объявление, которое немедленно прошу напечатать во всех журналах. Но я нахожусь в службе и не могу, и не должен ничего делать, даже как автор, без согласия начальства. Прошу тебя, любезный и почтенный друг, узнать сперва через людей верных, найдут ли приличными все выражения моего объявления. Даю тебе право вычеркнуть, уничтожить лишнее, но прибавлять ничего не должен.

Мое свидание с Блудовым было коротко. Храни бог тебя и думать, чтобы он водил моим пером! Мною руководствовать трудно. До него было написано объявление. Я его не благодарил даже за копые, которое он переломил в честь моих бедных шести стихков. Признателен к тем, кои заступаются за честь мою, к тому, кто

Sait de l'homme d'honneur distinguer le poète\*.

Но что могу заключить о бедном Грече, о добром Грече? Как ему не совестно? Воейков знает одну чернильницу, но музы отвратили от него лицо. В зле нет остроумия. Наносить вред и писать приятно — дело невозможное. Я уважал его талант, но...

Скажи им, что мой прадед был не Анакреон, а бригадир при Петре Первом, человек нрава крутого и твердый духом. Я родился не на берегах Двины, и Плетаев, мой Плутарх, кажется, сам не из Афин. Плетаевы у нас делают Абдери. Скажи, бога ради, зачем не пишет он биографии Державина? Он перевел Анакреона, следственно, он — прелюбодей; он славил вино, следственно — пьяница; он хвалил борцов и кулачные бои, ergo — буян; он написал оду «Бог», ergo — безбожник. Такой способ очень легок. Фундамент прочный, и всякое дело мастера боится. А у нас ли не мастера на Парнасе!

Доколе во мне есть искра жизни, не буду безмолвным Пасквином или Марфорием. Вступаюсь за честь мою, и тебе даю все способы оправдать меня пред публикой. Бог с ним, с Плетаевым! Не желаю ему, ниже сынам отечества, никакого зла. Дай бог, чтобы журнал их процветал и карман тучнел. Живу далеко от сплетен, служу царю, а не парнасским страстям. (...)

\* Умеет в честном человеке распознать поэта (франц.).

*Июля 21-го ст. стили  
Августа 3-го н. ст.  
1821 г. Чужие края*

Прошу вас покорнейше известить ваших читателей, что я не принимал, не принимаю и не буду принимать ни малейшего участия в издании журнала «Сын Отечества». Равномерно прошу объявить, что стихи под названием «К друзьям из Рима» и другие, могущие быть или писанные, или печатные под моим именем, не мои, кроме эпитафии, без моего позволения помещенной в «Сыне Отечества». Дабы впредь избежать и тени подозрения, объявляю, что я, в бытность мою в чужих краях, ничего не писал и ничего не буду печатать с моим именем. Оставляю поле словесности не без признательности к тем соотечественникам, кои, единственно в надежде лучшего, удостоили ободрить мои слабые начинания. Обещаю даже не читать критики на мою книгу: она мне бесполезна, ибо я совершенно и, вероятно, навсегда покинул перо автора.

*Константин Батюшков.*

139. Н. И. Гнедичу

*26/14 августа 1821 г. Теплица*

Около двух лет я не писал к тебе и почти не писал к родным по многим причинам, из коих отдаление было главною. И от тебя писем вовсе не имел. Но это обоюдное молчание, без сомнения, не изменило ни тебя, ни меня, и ты не осудишь меня за то, что прерываю его просьбою. Объяснюсь ниже. Сперва должен тебе сказать, что было к ней поводом.

Книга моя, которой ты был издателем в 1816 году, есть почти твое дитя. Со времени ее появления в свет я, в бытность мою в России, ничего не писал. Отправляясь в Неаполь, я дал себе слово оставить литературу, по крайней мере, в отношении публики, и сдержал его. Знаю мой талант, знаю мои силы и никогда, благодаря бога, не ослеплен был ни самонадеянием, ни самолюбием, ниже успехами. Знаю нашу словесность и всех ее действующих лиц и масок. На счет первых не имел ни пристрастий личных, ниже предрассудков. Повторяю: успех мой был в 1816 году. Тогда все журналисты, не исключая ни одного, осыпали меня похвалами — не заслуженными, без сомнения, но они хвалили. Прошло шесть лет. Не было примера ни в какой словесности, чтобы по истечении шести лет снова начали хвалить живого автора, который в стихах, может быть, имеет одно достоинство — в выражении, в прозе — одно приличие

слога и ясность: заслуга, в других землях маловажная и у нас самих не достойная похвал энтузиастических. Полагаясь на шестилетнее молчание, полагал, что моя книга, распроданная, заглохла, забыта. Случилось иначе.

Гг. издатели «Сына Отечества» (какое название для журнала!) объявили, что я буду украшать их издание моими стихами. Напечатали без моего ведома эпитафию, написанную мною по просьбе матери. Назову лицо: по просьбе покойной г-жи Малышевой, женщины, которую я любил и уважал и которая, может быть, не захотела бы видеть в печати, в журнале стихи, напоминающие ей о потере дочери. Я, по крайней мере, не осмелился бы напечатать этой безделки без ее позволения. Наконец, какой-то Плетаяев написал под моим именем послание из Рима к моим друзьям (к каким, спрашиваю, знает ли он их?), и издатели «Сына Отечества» поместили его в своем журнале (см. «Сын Отечества», 1821 г., часть 68, стр. 35).

Эту замысловатость я узнал в Теплице шесть месяцев спустя от трех русских, узнал с истинным, глубоким негодованием. Можно обмануть публику, но меня — трудно: честолюбие зорко.

Делаю два предположения: 1-е совершенно в пользу Плетаяева. Он написал сии стихи — скажут мне те, кои захотят надо мною издеваться, — из усердия к вам, и в доказательство покажут мне еще надпись к моему портрету, им недавно соплетенную. Он писал ее как будто от лица Виона, Мимнерма, Мосха, Тибулла... Но сии господа умерли назад тому около двух тысяч лет, иные — более! А писать от лица живого, писать к друзьям (если есть друзья), к людям живым... Напрасно привожу на память все случаи иностранных литератур: подобного не знаю. Нет ничего глупее и злее. Вижу ясно злость, недоброжелательство, одно лукавое недоброжелательство! Вот мое 2-е предположение, и от него не отступаюсь. Какое недоброжелательство от человека, вам лично незнакомо? Не знаю; но оно явно и гласно. Чем мог заслужить его?.. Если г. Плетаяев накропал стихи под моим именем, то зачем было издателям «Сына Отечества» печатать их? Нет, не находя выражений для моего негодования: оно умрет в моем сердце, когда я умру. Но удар нанесен. Вот следствие: я отныне писать ничего не буду и сдержу слово. Может быть, во мне была искра таланта; может быть, я мог бы со временем написать что-нибудь достойное публики, скажу с позволительною гордостью, достойное и меня, ибо мне 33 года, и шесть лет молчания меня сделали не бессмысленнее, но зреее. Сделалось иначе. Буду бесцельным человеком, если когда что-нибудь напечатает с моим именем. Этого мало: обруганный хвалами, решился не возвращаться в Россию, ибо страшусь людей, которые, невзирая на то, что я проливал мою кровь на поле чести, что и теперь служу мною обожаемому монарху, вредят мне заочно, столь недостойным и низким средством.

## КОММЕНТАРИИ

Настоящее собрание произведений К. Н. Батюшкова, объединяющее его высказывания о литературе и искусстве, подготовлено на основе трех предшествующих изданий:

1) Опыты в стихах и прозе К. Батюшкова. Тт. I—II, Спб., 1817 (в дальнейшем в тексте примечаний оно обозначается: «Опыты»). Это единственное прижизненное собрание сочинений, в создании которого Батюшков принимал непосредственное участие. В 1820—1821 гг. он вновь просматривал этот сборник, сделал ряд исправлений, вычеркнул некоторые стихотворения и т. д. В нашем издании текст печатается именно по этому экземпляру, с правкой автора (ГПБ, ф. 50, ед. хр. 18).

2) Сочинения К. Н. Батюшкова/Изданы П. Н. Батюшковым. Вступ. статья Л. Н. Майкова. Прим. Л. Н. Майкова и В. И. Сайтова. Тт. I—III, Спб., 1885—1887 (в дальнейшем — М.). Это наиболее полное собрание сочинений поэта.

3) Б а т ю ш к о в К. Н. Сочинения/Ред., статья и комм. Д. Д. Благого. М.—Л., 1934 (в дальнейшем — Изд. 1934).

Кроме того, при подготовке настоящего издания использованы материалы Центрального государственного архива литературы и искусства СССР (в дальнейшем — ЦГАЛИ), Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (в дальнейшем — ИРЛИ) и Отдела рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (в дальнейшем — ГПБ). В примечаниях, кроме комментария к М. и Изд. 1934, использованы также разыскания предыдущих комментаторов: Б. В. Томашевского (в кн.: Б а т ю ш к о в К. Стихотворения. Л., 1948; в дальнейшем — Изд. 1948), Н. В. Фридмана (в кн.: Б а т ю ш к о в К. Н. Полное собрание стихотворений. М.—Л., 1964; в дальнейшем — ПССт) и И. М. Семенко (в кн.: Б а т ю ш к о в К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977).

Впервые печатающиеся письма Батюшкова и некоторые отрывки из записной книжки «Разные замечания» приводятся по автографам. В ряде случаев приводимые тексты также сверены с автографами, однако это не всегда представлялось возможным: большинство рукописей поэта утрачено. Это касается и писем Батюшкова, печатавшихся на протяжении полутора столетий в различных периодических изданиях. В тех случаях, когда подлинник письма не был обнаружен, мы приводили его по тексту первой публикации.

Весь материал расположен по жанрово-хронологическому принципу: внутри каждого из разделов произведения расположены в хронологическом порядке. Спорная датировка аргументирована в примечаниях. Дата написания произведения, в том случае, когда она не проставлена автором, заключена в квадратные скобки.

Там, где орфография текстов Батюшкова несет стилистическую окраску, нами сохранены устаревшие формы («лице», «крыле», «олтарь», «иный» и т. д.). Слова, подчеркнутые в рукописях, выделяются курсивом. Недописанные слова или части слов заключены в угловые скобки.

Ввиду ограниченного объема примечаний в них даны лишь самые необходимые текстологические сведения. Пояснения личных и мифологических имен и названий вынесены в «Словарь».

Переводы иноязычных текстов в записных книжках и письмах Батюшкова выполнены А. М. Пономаревым.

## СТИХОТВОРЕНИЯ

К д р у з ь я м. Впервые — «Опыты», II, 3, в качестве посвящения к «Опытам в стихах». Вписано собственноручно Батюшковым на первой странице «Блудовской тетради» — авторизованного списка стихотворений Батюшкова, переданного им Д. Н. Блудову (ГПБ, ф. 50, ед. хр. 11) — с заглавием «Дмитрию Николаевичу Блудову» и с датой: «Петерб(ург), февраля 1815».

### I. ЭЛЕГИИ

М о й г е н и й. Впервые — Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах, ч. 5. Спб., 1816, с. 228. Выражение «память сердца», как указывает Батюшков в статье «О лучших свойствах сердца», принадлежит известному французскому педагогу Массье. Стихотворение переложено на музыку М. И. Глинкой.

Г е з и о д и О м и р, с о п е р н и к и. Впервые — «Опыты», II, 91—100. Вольный перевод элегии Ш.-Ю. Мильвуа «Бой Гомера и Гесиода». При подготовке нового издания стихотворений, в 1820—1821 гг., Батюшков сделал некоторую правку и вычеркнул следующее примечание, которым элегия сопровождалась в первой публикации:

«Эта элегия переведена из *Мильвуа*, одного из лучших французских стихотворцев нашего времени. Он скончался в прошлом годе, в цветущей молодости. Французские музы долго будут оплакивать преждевременную его кончину: истинные таланты ныне редки в отечестве Расина.

Многие писатели утверждали, что Омир и Гезиод были современники; некоторые сомневаются, а иные и совершенно оспаривают это предположение. Отец Гезиодов, как видно из поэмы «Груды и дни», жил в Кумах, откуда он перешел в Аскрею, город в Беотии, у подошвы горы Геликона: там родился Гезиод. Музы, говорит он в начале «Феогонии», нашли его на Геликоне и обрекли себе. Он сам упоминает о победе своей в песнопении. Архидамий, царь Эвбейский, умирая, за-

вещал, чтобы в день смерти его, ежегодно, совершались погребальные игры. Дети исполнили завещание родителя, и Гезиод был победителем в песнопении. Плутарх в сочинении своем «Пир семи мудрецов» заставляет рассказывать Перяндра о состязании Омира с Гезиодом. Последний остался победителем и в знак благодарности музам, посвятил им треножник, полученный в награду. Жрица Дельфийская предвещала Гезиоду кончину его; предвещание сбылось. Молодые люди, полагая, что Гезиод соблазнил сестру их, убили его на берегах Эвбеи, посвященных Юпитеру Немейскому.

Кажется, не нужно говорить об Омيره. Кто не знает, что первый в мире Поэт был слеп и нищий?

Нам Музы дорого таланты продают!»

У м и р а ю щ и й Т а с с. Впервые — «Опыты», II, 243—253. Эту элегию Батюшков предполагал поместить в начале стихотворного тома «Опытов» «вместо портрета», однако не успел своевременно закончить и послать ее Гнедичу, и элегия была напечатана в конце книги. Она сопровождалась обширным примечанием автора:

«Не одна история, но живопись и поэзия неоднократно изображали бедствия Тасса. Жизнь его, конечно, известна любителям словесности: мы напомним только о тех обстоятельствах, которые подали мысль к этой элегии.

Т. Тасс приписал свой «Иерусалим» Альфонсу, герцогу Феррарскому (о, magnanimo Alfonso!..); и *великодушный* покровитель, без вины, без суда, заключил его в больницу св. Анны, т. е. в дом сумасшедших. Там его видел Монтань, путешествовавший по Италии в 1580 году. Странное свидание в таком месте первого мудреца времен новейших с величайшим стихотворцем!.. Но вот что Монтань пишет в «Опытах»: «Я смотрел на Тасса еще с большею досадою, нежели сожалением; он пережил себя; не узнавал ни себя, ни творений своих. Они без его ведома, но при нем, но почти в глазах его, напечатаны неисправно, безобразно». Тасс, к дополнению несчастья, не был совершенно сумасшедший и, в ясные минуты рассудка, чувствовал всю горечь своего положения. Воображение, главная пружина его таланта и злополучий, нигде ему не изменило. И в узах он сочинял беспрестанно. Наконец, по усиленным просьбам всей Италии, почти всей просвещенной Европы, Тасс был освобожден (заключение его продолжалось семь лет, два месяца и несколько дней). Но он недолго наслаждался свободою. Мрачные воспоминания, нищета, вечная зависимость от людей жестоких, измена друзей, несправедливость критиков; одним словом, все горести, все бедствия, какими только может быть обременен человек, разрушили его крепкое сложение и привели по терниям к ранней могиле. Фортуна, коварная до конца, приготовляя последний решительный удар, осыпала цветами свою жертву. Папа Климент VIII, убежденный просьбами кардинала Цинтио, племянника своего, убежденный общенародным голосом всей Италии, назначил ему триумф в Капитолии. «Я вам предлагаю венок лавровый,— сказал ему папа,— не он прославит вас, но вы его!» Со времен Петрарки (во всех отношениях счастливейшего стихотворца Италии) Рим не видел подобного торжества. Жители его, жители окрестных городов желали присутствовать при венчании Тасса. Дождливое осеннее время и слабость здоровья стихотворца заставили отложить торжество до будущей весны. В апреле все было готово, но болезнь усилилась. Тасс велел перенести себя в монастырь св. Онуфрия; и там — окруженный друзьями и братией



мирной обители, на одре мучения ожидал кончины. К несчастью, вернейший его приятель Костантини не был при нем, и умирающий написал к нему сии строки, в которых, как в зеркале, видна вся душа певца «Иерусалима»: «Что скажет мой Костантини, когда узнает о кончине своего малого Торкватто? Не замедлит дойти к нему эта весть. Я чувствую приближение смерти. Никакое лекарство не излечит моей новой болезни. Она совокупилась с другими недугами и, как быстрый поток, увлекает меня... Поздно теперь жаловаться на фортуны, всегда враждебную (не хочу упоминать о неблагодарности людей!). Фортуна торжествует! Нищим я доведен ею до гроба, в то время как надеялся, что слава, приобретенная наперекор врагам моим, не будет для меня совершенно бесполезною. Я велел перенести себя в монастырь св. Онуфрия, не потому единственно, что врачи одобряют его воздух, но для того, чтобы на сем возвышенном месте, в беседе святых отшельников, начать мои беседы с небом. Молись богу за меня, милый друг, и будь уверен, что я, любя и уважая тебя в сей жизни, и в будущей — которая есть настоящая, — не премину все совершить, чего требует истинная, чистая любовь к ближнему. Поручаю тебя благодати небесной и себя поручаю. Прости! — Рим. — Св. Онуфрий». — Тасс умер 10 апреля на пятьдесят первом году, исполнив долг христианский с истинным благочестием.

Весь Рим оплакивал его. Кардинал Цинтио был неутешен и желал великолепием похорон вознаградить утрату триумфа. По его повелению, — говорит Женгене в «Истории литературы итальянской», — тело Тассово было облечено в римскую тогу, увенчано лаврами и выставлено всенародно. Двор, оба дома кардиналов Альдобрандини и народ многочисленный провожали его по улицам Рима. Толпились, чтобы взглянуть еще раз на того, которого гений прославил свое столетие, прославил Италию и который столь дорого купил позднее, печальные почести!..

Кардинал Цинтио (или Чинцио) объявил Риму, что воздвигнет поэту великолепную гробницу. Два оратора приготовили надгробные речи, одну латинскую, другую итальянскую. Молодые стихотворцы сочиняли стихи и надписи для сего памятника. Но горсть кардинала была непродолжительна, и памятник не был воздвигнут. В обители св. Онуфрия смиренная братия показывает и поныне путешественнику простой камень с этой надписью: «Torquati Tassi ossa hic jacent» [«Здесь покоится прах Торкватто Тассо» (лат.)]. Она красноречива.

Да не оскорбится тень великого стихотворца, что сын угрюмого Севера, обязанный «Иерусалиму» лучшими, сладостными минутами в жизни, осмелился принести скудную горсть цветов в ее воспоминание!»

В элегии используются детали биографии Т. Тассо, обросшей романтической легендой: раннее изгнание (вместе с отцом), безнадежная, «неравная» страсть к герцогине Феррарской Элеоноре д'Эсте, гонения, заключение в тюрьму, сумасшествие, безвременная смерть.

Мечта. Окончательная редакция элегии, публикуемая здесь, впервые — в «Опытах», II, 106—118. 1-я редакция (1803) — Любитель словесности, 1806, ч. III, № 9, с. 216—219. 2-я редакция (1810) — Вестник Европы, 1810, ч. XLIX, № 4, с. 283—285. Многочисленные промежуточные переделки и правка рассмотрены Д. Д. Благим (Изд. 1934, с. 473—486) и Н. В. Фридманом (ПССт, с. 314). В окончательной редакции элегия значительно увеличилась в объеме (211 стихов вместо 89). Текст расширился за счет введения скандинавской темы, которая трактуется Ба-

тешковым как «оссиановская». В батюшковском употреблении слова «мечта», «мечтание» имеют дополнительное значение «воображение» (что имело для поэта программный смысл и характерно было также для европейских романтиков).

Беседа м у з. Впервые — Сын отечества, 1817, ч. 39, № 28, с. 63—64, сноска: «Это прекрасное стихотворение взято из 2-й части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова». См. ниже письма к Н. И. Гнедичу и В. А. Жуковскому от мая — июня 1817 года. Пушкин привел цитату из этого стихотворения в VI главе «Евгения Онегина».

«Ты знаешь, что изрек...» Впервые — Библиотека для чтения, 1834, № 2, с. 18, под заглавием «Изречение Мельхиседека». Датируется нами 1824 годом на основании письма А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 21 марта 1824 г. (Остафьевский архив князей Вяземских, т. 3. Спб., 1899, с. 22). Подробнее вопрос о датировке рассмотрен Н. В. Фридманом (ПССт, с. 321—322). Какое-либо изречение Мельхиседека — священнослужителя, упоминаемого в Библии, — неизвестно.

## II. ПОСЛАНИЯ

Послание к Н. И. Гнедичу. Впервые — Цветник, 1809, ч. II, № 5, с. 184—192. Как свидетельствует письмо Батюшкова к Гнедичу от декабря 1809 года, послание в рукописи имело эпиграф из стихотворного письма Э. Парни (1785) (приводим в подстрочном переводе): «Небо, пожелавшее, чтобы я был счастлив, вложило в глубину моего сердца лень и беспечность».

[На смерть И. П. Пнина]. Впервые — Северный вестник, 1805, № 9, с. 345—346, в ряду стихотворений С. Н. Глинки, Н. А. Радищева и Н. П. Брусилова, посвященных смерти И. П. Пнина, последовавшей 17 сентября 1805 года. Эпиграф — из стихотворения Вольтера «Смерть Лекуврер, знаменитой актрисы».

Пастух и Соловей. Впервые — Драматический вестник, 1808, ч. III, № 72, с. 145—146. В. А. Озеров в то время подвергался резким нападкам «шишковистов» и в особенности А. А. Шаховского, интриговавшего против его репертуара в театре.

К Тассу. Впервые — Драматический вестник, 1808, ч. VI, с. 62—67. Послание разрабатывает те же моменты романтизированной биографии Т. Тассо, которые были положены в основу элегии «Умирающий Тасс».

Стихи г. Семеновой. Впервые — Цветник, 1809, ч. III, № 9, с. 409—412. Стихотворение было приложено при письме Батюшкова к Гнедичу от 6 сентября 1809 года. Место написания, указанное под посланием, не соответствует действительности: в это время Батюшков жил в Хантонове.

Ответ Гнедичу. Впервые — Вестник Европы, 1810, ч. XLIX, № 3, с. 186—187, где стихотворение помещено вслед за посланием Гнедича «К Б(атюшкову)» (1807) («Когда придешь в мою ты хату...»)

Мои Пенаты. Послание к Ж(уковскому) и В(яземскому). Впервые — Пантеон русской поэзии, ч. I. Спб., 1814, с. 55—69. Анализ многочисленных вариантов послания см.: Изд. 1934, с. 486—490., ПССт, с. 287—289. Тема стихотворения подсказана многочисленными образцами французской поэзии:

«Обитель» Ж.-Б. Л. Грессе, «К моим Пенатам» Ж.-Б. Дюси, «Моим богам Пенатам» Д. Берниса и др. В ГПБ (ф. 50, ед. хр. 8) хранится автограф послания с эпиграфом из «Обители» Грессе (приводим в подстрочном переводе): «Счастливым покой! Уединенный досуг! Когда наслаждаются твоей сладостью, какое логовище не понравится? Какая пещера покажется чужой, если в ней находят счастье?» Стихотворение Батюшкова, имевшее огромный успех, вызвало множество подражаний, в частности «Городок» лицеиста Пушкина.

К Ж(уковскому) у. Впервые — Пантеон русской поэзии, ч. II. Спб., 1814, с. 201—205. Послано при письме к В. А. Жуковскому от июня 1812 года из Петербурга.

О т в е т Т(ургенев) у. Впервые — «Опыты», II, 153—156.

К Д(ашкову) у. Впервые — Санкт-Петербургский вестник, 1812, № 10, с. 26—28 (этот номер журнала вышел только в 1813 году). Написано под впечатлением посещения Батюшковым в 1812 году погорелой и разоренной Москвы.

П о с л а н и е к А. И. Т(ургенев) у. Впервые — Памятник отечественных муз на 1827 год. Спб., 1827, отд. «Стихотворения», с. 6—8. Датировка послания произведена Л. В. Тимофеевым (Русская литература, 1981, № 1, с. 136—138). Написано под влиянием послания М. Н. Муравьева «К Феоне».

П о с л а н и е И. М. М(уравьеву)-А(постолу). Впервые — Пантеон русской поэзии, ч. VI. Спб., 1815, с. 79—84. Тема послания связана со статьей Батюшкова «Нечто о поэте и поэзии».

Н а д п и с ь к п о р т р е т у Ж у к о в с к о г о. Впервые — Вестник Европы, 1817, ч. ХСІ, № 3, с. 183. Надпись сделана «по заказу» издателя «Вестника Европы» М. Т. Каченовского.

⟨С. С. Уварову⟩. Впервые — Северные цветы на 1826 год. Спб., 1826, с. 4. Было написано на экземпляре «Опытов», подаренном С. С. Уварову, совместно с которым Батюшков в это время готовил статью «О греческой Антологии».

К т в о р ц у «Истории государства Российского». Впервые — Полярная звезда на 1824 год. Спб., 1824, с. 21—22. Входит в состав письма Батюшкова к А. И. Тургеневу от сентября 1818 года. Батюшков еще в 1811 году присутствовал на авторском чтении отрывков из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, 1—8 тома которой вышли в свет в начале 1818 года.

К н я з ю П. И. Ш а л и к о в у. Впервые — Новости русской литературы, 1822, кн. 2, с. 61—62, с примечанием Шаликова: «Предчувствую, с каким удовольствием читатели сих листков увидят стихи столь давно умолкшего любезного поэта, полученные мною пред отъездом его в Италию». В подзаголовке имеется в виду изданный в 1818 году Шаликовым его перевод «Новых повестей» С. Ф. Д. Жанлис.

«Жуковский, время все проглоти...» Впервые — Русская старина, 1887, т. 54, № 4, с. 240. Стихотворение было вписано Батюшковым 4 ноября 1821 года в альбом В. А. Жуковского, когда он встретился с последним в Дрездене, находясь уже в подавленном состоянии.

П о д р а ж а н и е Г о р а ц и ю. Впервые — Русская старина, 1883, № 9. Входит в состав письма Батюшкова к А. Г. Гревенс от 8 июля 1826 года, написанного в период начавшейся болезни.

### III. САТИРЫ И ЭПИГРАММЫ

Послание к стихам моим. Впервые — *Новости русской литературы*, 1805, ч. XIII, № 1, с. 61—64. Эпиграф — из «Послания к датскому королю Христиану VII о свободе печати, дарованной в его государстве» Вольтера. В сатире осмеиваются идеи «шишковистов»; напечатана она вскоре после выхода в свет «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка» (1803) А. С. Шишкова.

«Безрифмина совет...» Впервые — *Журнал российской словесности*, 1805, ч. III, № 11, с. 157. «*Безрифмин*» — С. С. Бобров, писавший белыми стихами.

«Как трудно Бибрису...» Впервые — *Цветник*, 1809, ч. III, № 9, с. 372. «*Бибрис*» — по-видимому, С. С. Бобров.

Мадригал новой Сафе. Впервые — там же. Эпиграмма имеет в виду поэтессу А. П. Бунину, влюбленную в И. И. Дмитриева.

Мадригал Мелине, которая называла себя нимфой. Впервые — *Опыты*, II, 207.

Книжки журналист. Впервые — *Цветник*, 1809, ч. III, № 9, с. 366, под заглавием «Крот и мышь». Послана Гнедичу при письме от 19 августа 1809 года. Печатается, вслед за Изд. 1934, по тексту «Блудовской тетради».

Эпиграмма на перевод Вергилия. Впервые — *Цветник*, 1810, ч. V, № 1, с. 99. Направлена против переводов «Эклог» Вергилия А. Ф. Мерзляковым, изданных в 1807 году. Подражание эпиграмме Ж. Л. Лайа, осмеивавшей перевод «Энеиды» на русский язык.

Видение на брегах Леты. Впервые — сб. «Русская беседа». Спб., 1841, т. 1, с. 1—10. В 1810-х годах сатира имела широкое распространение в списках. (Батюшков был против публикации этого стихотворения. — См. наст. изд., письмо 86.) Свод вариантов см.: Изд. 1934, с. 527—538. Печатается, вслед за Б. В. Томашевским, не по тексту «Блудовской тетради» (как принято в большинстве советских изданий), а по авторизованной копии с исправлениями Батюшкова, хранящейся в ИРЛИ (6930, ХХХV, б. 28). Эпиграф — из IX сатиры Н. Буало. Намеки Батюшкова на современных поэтов легко раскрываются: «маленькая тень» — А. Ф. Мерзляков, отличавшийся маленьким ростом (он же — «Верзляков»); «безъерный» — Д. И. Языков, писавший принципиально без твердых знаков; «князь вралей» — П. И. Шаликов; «Русский и поэт» — С. Н. Глинка, издатель журнала «Русский вестник»; «Сафы русские» — писательницы Е. И. Титова, А. П. Бунина, М. Е. Извекова; «виноносный гений» — С. С. Бобров (пародия на «браноносный»); «славенофил» — А. С. Шишков.

Истинный патриот. Впервые — *Цветник*, 1810, ч. VI, № 6, с. 360, под заглавием «Рыцарь нашего века».

На перевод «Генриады», или Превращение Вольтера. Впервые — *Цветник*, 1810, ч. V, № 2, с. 229—230. По предположению Л. Н. Майкова, эпиграмма вызвана плохим переводом И. Сирякова поэмы Вольтера «Генриада» (1803).

Совет эпическому стихотворцу. Впервые — «Опыты», II, 203. Эпиграмма направлена против поэмы С. А. Ширина-Шихматова «Петр Великий, лирическое песнопение в 8 песнях» (1810).

На поэмы Петру Великому. Впервые — Пантеон русской поэзии,

ч. IV. Спб., 1815, с. 274. Направлена против так называемых лиро-эпических поэм о Петре Великом С. А. Ширинского-Шихматова, Р. Сладковского, А. Грузинцева, которые противопоставляются незаконченной поэме М. В. Ломоносова «Петр Великий».

«Всегдашний гость, мучитель мой...» Впервые — «Опыты», II, 202. Переделка эпиграммы П. Э. Лебрена «О, проклятое общество...».

Певец в Беседе любителей русского слова. Впервые — Современник, 1856, т. LVII, № 5, Смесь, с. 10—18, под заглавием: «Певец в Беседе славянороссов». Написано Батюшковым в соавторстве с А. Е. Измайловым. Распространялось в большом количестве списков, свод вариантов см.: Изд. 1934, с. 579—587. См. письмо Батюшкова к П. А. Вяземскому от 10 января 1815 года (ЦГАЛИ, ф. 195, ед. хр. 1416, л. 43). Печатается по Изд. 1934, где воспроизведен список А. М. Горчакова (середины 1810-х годов).

Новый род смерти. Впервые — Сын отечества, 1814, ч. 17, № 41, с. 113. Печатается по тексту «Блудовской тетради», впервые опубликованному Н. О. Лернером (Русский библиофил, 1916, № 5, с. 80).

На книгу под названием «Смесь». Впервые — «Опыты», II, 207.

Надпись к портрету графа Буксгевдена, шведского и финского... Впервые — Русская старина, 1883, т. XXXIX с. 552. Написано в период относительного улучшения состояния здоровья Батюшкова.

## ПРОЗА

Об искусстве писать. Почерпнуто из Бюффона. Впервые опубликовано нами в кн.: Батюшков К. Н. Сочинения. Архангельск, 1979, с. 215—217, — по автографу ИРЛИ (ф. 19, ед. хр. 3). Датируется предположительно 1805 годом, так как именно в это время интерес Батюшкова к трудам о стиле Ж.-Л. Бюффона и Э. Кондильяка был особенно сильным. Настоящая статья, вероятно, незаконченная, является не переводом какой-то конкретной работы Бюффона, но оригинальным рассуждением на тему «Стиль — это человек».

Мысли. Впервые — Вестник Европы, 1810, ч. LII, № 13, с. 67—68. Относится к жанру «максим» (афоризмов), характерных для французской литературы XVII—XVIII веков.

Путешествие в замок Сирей. Впервые — Вестник Европы, 1816, ч. LXXXVI, № 6, с. 136—149. Написано в ноябре — декабре 1815 года в форме письма к Д. В. Дашкову; в конце текста Батюшков проставил не дату написания, а дату посещения им замка Сирей. «Письмо...» включает ряд характерных стихотворных цитат: «Многобашенный замок...» — из элегии Маттисона «В развалинах старого горного замка» (ее вольный перевод — стихотворение Батюшкова «На развалинах замка в Швеции»); «Кто б ни был ты...» — стихотворение Вольтера «Надпись для статуи Амура в садах Со»; «Там, где я обитаю, земной рай» — из стихотворения Вольтера «Светский человек» (а не из письма, как указывает Батюшков); «С Севера теперь к нам приходит свет...» — из стихотворения Вольтера «Императрице России Екатерине II» (1771); «Как мореплаватель...» — из

«Чистилища» Данте (8, 1); «*Поздно мы пустились в путь...*», «*Вот и месяц величавый...*» — из баллады В. А. Жуковского «Людмила».

Письмо к И. М. М(уравьеву)-А(постолу). О сочинениях г. Муравьева. Впервые — Сын отечества, 1814, ч. 16, № 35, с. 87—116. Перепечатывалась в качестве предисловия в книгах М. Н. Муравьева «Обитатель предместия и Эмилиевы письма» (СПб., 1815) и в 1-м томе Полного собрания сочинений М. Н. Муравьева (СПб., 1819).

Прогулка в Академию Художеств. Впервые — Сын отечества, 1814, ч. 18, № 49, с. 121—132, № 50, с. 161—176, № 51, с. 201—215. Никаких других «прогулок по Петербургу», о которых Батюшков говорит в начале очерка, до нас не дошло. В очерке отразились впечатления от академической выставки 1814 года. Он отражает художественные воззрения круга А. Н. Оленина, к которому примыкал Батюшков. «Прогулка...» включает ряд стихотворных цитат: «*За ланью быстрой и рогатой...*» — из драматической поэмы И. И. Дмитриева «Ермак»; «*Часто малый желудь...*» — неточная цитата из поэмы Ж. Делиля «Воображение»; «*Обтекай спокойно, плавно...*» — из стихотворения М. Н. Муравьева «Богине Невы»; «*Прийдут, прийдут часы те скучны...*» — из стихотворения Г. Р. Державина «К первому соседу»; «*Кто манием бровей колеблет неба свод...*» — из стихотворения И. И. Дмитриева «Подражание Горацию»; «*Наполнил грудь восторг священный...*» — из стихотворения Г. Р. Державина «Песнь любителю художеств»; «*Я с возвышенною везде хожу главою!*» — из стихотворения В. Л. Пушкина «Послание Дашкову»; «*Прямым путем проходит...*» — из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (XIX, LIX—LX); «*Наш Фигнер...*» — из «Певца во стане русских воинов» В. А. Жуковского; «*Недостает лишь...*» — из «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо (XVI, II); «*Что матушки Москвы...*» — из стихотворной сказки И. И. Дмитриева «Причудница».

Нечто о поэте и поэзии. Впервые — Вестник Европы, 1816, ч. LXXXVII, № 10, с. 93—104, под заглавием «О впечатлениях и жизни поэта». В письме к В. А. Жуковскому от середины декабря 1815 года статья названа «Воспоминания словесности». «*Речь людей такова, какой была их жизнь*» — афоризм Сенеки; «*обе фортуны*» — здесь: счастье и несчастье (латинский оборот речи); «*Под большой скалой...*» — из канцона Ф. Петрарки CXXXV (стихи 92—96); «*Утешно вспоминать под старость детски леты...*» — из сказки И. И. Дмитриева «Воздушные башни»; «*Закрылись крайние с пучиною леса...*» — из второй песни поэмы М. В. Ломоносова «Петр Великий».

О лучших свойствах сердца. Впервые — Сын отечества, 1816, ч. 29, № 14, с. 14—15. «*В пустынном воздухе теряя запах свой!*» — из элегии В. А. Жуковского «Сельское кладбище».

Ариост и Тасс. Впервые — Вестник Европы, 1816, ч. LXXXVI, № 6, с. 107—121. «*Поэт Валлакиузский*» — Петрарка (от названия имени Петрарки Воклюз близ Авиньона); «*Призывает обитателей*» — знаменитая по своей фонетической экспрессии III строфа IV песни «Освобожденного Иерусалима», где описывается призывание сатаной злых духов; «*Различным образом повержены тела...*» — из V действия трагедии Ломоносова «Тамира и Селим»: рассказ Нарсима о победе Дмитрия Донского в битве с Мамаем; в остальных случаях Батюшков цитирует поэму Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим», приводя свои прозаич-

ческие переводы; о знакомстве Батюшкова с этой поэмой см. записку П. А. Бесонова: М., 2, 460—465.

**П е т р а р к а.** Впервые — Вестник Европы, 1816, ч. LXXXVI, № 7, с. 171—192. Эпиграф — начало СХХХII сонета Петрарки. *«На тебя взирал я...»* — стихи Тибулла из I элегии I книги; *«Она погасла как лампада...»* — прозаический пересказ стихов 160—172 из поэмы Петрарки «Триумф смерти» (гл. 1); *«Исчезла твоя слава, мир неблагоприятный!...»* — пересказ стихов 20—77 из CCLXVIII канцоны Петрарки; *«Я знаю... как непостоянна и переменчива жизнь любовников...»* — перевод стихов 181—190 из 3-й главы поэмы Петрарки «Триумф любви»; *«Я увидел Вергилия...»* — сокращенный перевод стихов 19—81 из 4-й главы «Триумфа любви»; *«Разбита высокая колонна и зеленый лавр»* — начало CCLXIX сонета Петрарки; *«Мой ум занят сладкою и горестною мыслью...»* — из трактата Петрарки «Моя тайна...»; *«Сии древние стены...»* — перевод канцоны LIII, стихи 29—42; *«Если глаза мои останавливаются...»* — перевод канцоны CXXVII, стихи 71—84; *«Светлые, свежие и сладкие воды»* — 1-й стих L канцоны Петрарки.

**О характере Ломоносова.** Впервые — Вестник Европы, 1816, ч. LXXXIX, № 17—18, с. 57—63. *«Разум, услаждавшийся...»* — цитата из статьи М. Н. Муравьева «Заслуги Ломоносова в учености».

**Д в е а л л е г о р и и.** Впервые — Вестник Европы, 1816, ч. LXXXVII, № 12, с. 249—255.

**Р е ч ь о в л и я н и и л е г к о й п о э з и и н а я з ы к.** Читана на заседании Общества любителей российской словесности при Московском университете председателем (Ф. Ф. Кокошкиным) ранее указанного в заглавии срока: 26 мая 1816 года. Впервые — Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете, ч. VI. М., 1816, с. 35—62. В текст «Опытов...» были введены авторские примечания, впоследствии вычеркнутые:

«А. Похвала или порицание частного человека не есть приговор общественного вкуса. Исчисляя стихотворцев, отличившихся в легком роде поэзии, я старался сообразоваться со вкусом общественным. Может быть, я во многом и ошибся; но мнение мое сказал чистосердечно, и читатель скорее обличит меня в невежество, нежели в пристрастие. Надобно иметь некоторую смелость, чтобы порицать дурное в словесности; но едва ли не потребно еще более храбрости тому, кто вздумает хвалить то, что истинно достойно похвалы.

**В. Добро никогда не геряется,** особливо добро, сделанное Музам: они чувствительны и благодарны. Они записали в скрижалях славы имена Шувалова, г(рафа) Строганова и г(рафа) Н. П. Румянцева, который и поныне удостоивает их своего покровительства. Какое доброе сердце не заметит с чистейшею радостью, что они осыпали цветами гробницу Муравьева? Ученый Рихтер, почтенный сочинитель «Истории медицины в России», в прекрасной речи своей, говоренной им в Московской медико-хирургической академии, и г. Мерзляков, известный профессор Московского университета, в предисловии к Вергилиевым Эклогам, упоминали о нем с чувством, с жаром. Некоторые стихотворцы, из числа их г. Воейков, в послании к Эмилию, и г. Буринский, слишком рано похищенный смертью с поприща словесности, говорили о нем в стихах своих. Последний, оплавав кончину храброго генерала Глебова, продолжает:

О, Провидение! роптать я не дерзаю...  
 Но — слабый — не могу не плакать пред тобой:  
 Там в славе, в счастии злодея созерцаю,  
 Здесь вянет, как трава, муж кроткий и благой!  
 Слез горестных поток еще не осушился,  
 Еще мы... злобный рок навеки нас лишил,  
 Того, кто счастьем Парнаса веселился  
 .....  
 Где ты, о, Муравьев! прямое украшеньё  
 Парнаса русского любитель, нежный друг?  
 Увы! зачем среди стези благотворенья,  
 Как в добродетелях мужал твой кроткий дух,  
 Ты рано похищен от наших ожиданий?  
 Где страсть твоя к добру? сей душ избранных дар?  
 Где рано собранно сокровище познаний?  
 Где, где усердия в груди горевший жар  
 Служить Отечеству, сияя среди немногих  
 Прямых его сынов, творивших честь ему?  
 Любезность разума и прелесть нравов кротких —  
 Исчезло все!.. Увы!.. Честь праху твоему!..»

При подготовке нового издания «Опытов...» Батюшков предполагал ввести «Речь...» в состав стихотворной части в качестве предисловия и внес в текст ряд исправлений. С учетом этих исправлений, сохранившихся в экземпляре ГПБ, ф. 50, ед. хр. 18, «Речь...» печатается здесь. «*В отважном мальчишке грядущего поэта!*» — стих из «Послания от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту» И. И. Дмитриева.

Вечер у Кантемира. Впервые — «Опыты», I, 50—80. В настоящем издании сверено с автографом (ГПБ, ф. 50, ед. хр. 13). В статье, в форме вымышленной дискуссии между реальными историческими лицами, Батюшков доказывает свои воззрения на культурный прогресс в России. «*Счастливы — кто, довольствуясь малым...*» — прозаическое переложение и цитата из VI сатиры Кантемира; «*наш Катулл*» — П. А. Вяземский; «*наш Бавий*» — А. С. Хвостов; «*аббат В.*» — под ним, по мнению акад. М. П. Алексеева, подразумевается М. Венутти, единомышленник Монтескье по многим вопросам (ст. «Монтескье и Кантемир» — Вестник Ленинградского университета, 1955, № 6, с. 40—65); «*В земле своей никто пророком не бывал*» — измененная цитата из стихотворной сказки И. И. Дмитриева «Искатели фортуны»; «*Они рубят секирами влажные вина!*» — из «Георгик» Вергилия (III, 364); «*Впрочем, для чудес нет законов...*» — из «Истории оракулов» (1687) Б. Фонтенеля: «*Как можно быть персиянином?*» — реплика из «Персидских писем» Монтескье, направленная против невежества и тщеславия парижан.

#### ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

Разные замечания. Впервые, в мелких отрывках: Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка, 1955, т. 14, вып. 4, с. 365—370



(публикация Н. В. Фридмана). В настоящем издании печатается по автографу ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1. В книжке рукой В. А. Жуковского заполнены первые 12 листов (записи религиозно-моралистического характера в настоящей публикации опущены). Батюшков заполнял книжку (переданную ему Жуковским 12 мая 1810 г.) в мае — ноябре 1810 года. В настоящей публикации приводятся все оригинальные заметки и записи Батюшкова, исключены лишь многочисленные выписки из произведений русских, французских, итальянских и древних авторов (Княжнина, Ювенала, Тацита, Горация и др.). «*Расписание моих сочинений*» и «*Сочинения в прозе*» свидетельствуют о замысле Батюшкова издать уже в 1810 году собрание своих сочинений. Многие из указанных здесь произведений до нас не дошли — это стихотворения «К Ч (еглоково)й» (?), «Желания», «Из Метагастая», «Семь грехов», «Ода Лебрюна на старость», «Блестящий червяк», «Орел и уж», «На смерть Хераскова», «А. П. С. Приписание», «Лиса и пчелы», «Песнь Песней»; прозаические сочинения «Корчма в Молдавии», «Венера» и «Стихотворец судья». «*Кто смеется? — Сказание умалчивает*» — из I сатиры Горация (из 1-й книги).

Чужое: мое сокровище! Впервые: М., 2, 288—367, с многочисленными неточностями. В настоящем издании печатается по автографу ГПБ, ф. 50, ед. хр. 10. Опущены многочисленные выписки из произведений других авторов (Вяземского, Шиллера, Б. Константа, Сисмонди, Пиндемонти и др.). «*И вот как пишут историю!*» — стих из комедии Вольтера «Шарло»; «*У меня нет больше крови...*» — из трагедии Вольтера «Эрифила» (II, 1); «*На светло-голубом эфире...*» — неточная цитата из стихотворения Державина «Видение мурзы»; «*Как бедный часовой тот жалок...*» — из стихотворения Державина «Приглашение к обеду».

## ИЗ ПИСЕМ

В третьем томе полного собрания сочинений Батюшкова, вышедшем в 1886 году, собрано 306 писем поэта. Еще более 40 писем было опубликовано в разное время на страницах периодических изданий. Около 60 неопубликованных писем хранится в ряде архивов СССР. В настоящей подборке нет возможности опубликовать всю обширную переписку Батюшкова. При отборе отрывков из писем мы руководствовались, во-первых, соответствием их теме сборника, во-вторых, оригинальностью и значимостью их содержания. По этим причинам не вошли в настоящую подборку многочисленные письма Батюшкова к родным (Н. Л. Батюшковой, А. Н. Батюшковой, П. А. и Е. Н. Шипиловым, Е. Ф. Муравьевой и др.), ограниченные лишь личными связями и отношениями поэта, моментами его биографии и т. д. Вместе с тем данная подборка в значительной степени расширена (по сравнению с М., 3) за счет неопубликованных «дружеских писем» Батюшкова, которые давно уже признаны в качестве классического образца жанра «дружеского письма» начала XIX века и в которых наиболее ярко воплотились основные черты этого жанра — «его ориентация на устную речь, пародийное использование поэтических и традиционно «высоких» стилистических штампов, мозаичность конструкции, вбирающей в себя разнообразные тематические и сти-

листические пласты, чередование прозы и стихов и т. п.» ( Степанов Н. Л. Поэты и прозаики. М., 1966, с. 73).

1. Впервые — Русская старина, 1870, т. 1, с. 66. К письму был приложен набросок пером, изображающий Батюшкова верхом на лошади.

2. Впервые — Русский архив, 1867, ст. 1353—1355.

3. Впервые — Русская старина, 1870, т. 1, с. 70—71. *Катерина Федоровна* — Е. Ф. Муравьева; *«дядюшка»* — М. Н. Муравьев.

4. Впервые — Отчет императорской публичной библиотеки за 1895 год. Спб., 1898, с. 8—9. *«Поликсена»* — трагедия В. А. Озерова, *«Трумф»* — шуто-трагедия И. А. Крылова; и та, и другая пьесы к тому времени напечатаны еще не были.

5. Впервые — Русская старина, 1871, т. 3, с. 211—213. *«Танкред»* — перевод Гнедичем трагедии Вольтера, поставленный 8 апреля 1809 года; *«Лицо ученого...»* — из комедии Мольера *«Мизантроп»*, действие 2, явление 1.

6. Впервые — Русская старина, 1871, т. 3, с. 214.

7. Впервые — Русская старина, 1871, т. 3, с. 215—216. *«Поэт Сидор»* — С. С. Бобров, автор стихотворения *«Судьба древнего мира, или Всемирный потоп»*; *«Кузьма»* — А. А. Нартов, президент Российской Академии (1801—1813), писатель-«шишковист»; *«пенсион»* — Гнедич получил от великой княгини Екатерины Павловны (по ходатайству князя И. А. Гагарина) пенсию для осуществления предпринятого им перевода *«Илиады»*; *«Играйте, о неские музы...»* — пародия строк В. К. Тредиаковского из его *«Стихов похвальных Парнаусу»*: *«Любо играет и Аполлон с музы//В лиры и в гусли «также и в флейдузы».*

8. Впервые — Русская старина, 1871, т. 3, с. 217—220. Письмо послано вместе с *«Стихами г. Семеновой»*, которые Батюшков написал в благодарность за содействие в получении Гнедичем пенсионна. *«Печальная любовница мертвых...»* — из *«Генриады»* Вольтера, песнь VII; *«Но без Мецената...»* — из I сатиры Н. Буало, стих 86.

9. Впервые — Русская старина, 1871, т. 3, с. 220—222.

10. Впервые — Русская старина, 1871, т. 3, с. 224—229. *«Сбитеньщик»* — опера Я. В. Княжнина (цитата — из II явления II действия); *«Видение»* — сатира *«Видение на берегах Леты»*, посланная Батюшковым из Хантонова Гнедичу осенью 1809 года; *«Два благородных провинциала...»* — из III сатиры Н. Буало; *«Анахарсис»* — *«Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию»* (1788), исторический роман французского археолога Ж.-Ж. Бартеlemi (1716—1795); *«Я спасаюсь вплавь...»* — стих Буало из посвящения к собранию сочинений.

11. Впервые — Русский архив, 1867, стлб. 1447—1449. *«И я у всех стал виноват»* — из оды Г. Р. Державина *«На счастье»*; *«Дураки существуют в этом мире...»* — из комедии Ж.-Б. Грессе *«Светская жизнь»*, действие 2, явление 1.

12. Впервые — Русская старина, 1871, т. 3, с. 229—230. *«Штаневич»* — Е. И. Станевич.

13. Впервые — Русская старина, 1871, т. 3, с. 235—236.

14. Впервые — Отчет императорской публичной библиотеки за 1895 год. Спб., 1898, с. 11—12. *«Заира»* — трагедия Вольтера, переведенная в 1809 году Н. И. Гнедичем, А. А. Шаховским, Д. Е. Лобановым и А. Полозовым.

15. Печатается по автографу: ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 82. *«Людмила»* — баллада В. А. Жуковского.

16. Впервые — Русская старина, 1874, т. 10, с. 387—388. «Г. Грибоедов» — Алексей Федорович, дядя автора «Горя от ума»; «маленькая пьеска», «завоеванная» у Парни, — «Привидение»; «маленький Муравьев» — будущий декабрист Никита Муравьев, в то время еще четырнадцатилетний мальчик.
17. Впервые — Русская старина, 1874, т. 10, с. 388—389.
18. Впервые — Русская старина, 1874, т. 10, с. 390—394.
19. Впервые — Русская старина, 1874, т. 10, с. 394—395. «Жалобы для хлыщей...» — из комедии Лану «Осторожность», действие 1, явление 3; «Так низки те...» — из комедии Грессе «Светская жизнь», действие 2, явление 3.
20. Впервые — Русская старина, 1874, т. 10, с. 395—397.
21. Впервые — Русский архив, 1901, т. 39, № 10, с. 253. «Перевод» — стихотворение «Элегия из Тибулла».
22. Впервые — Русский архив, 1875, кн. 3, с. 343—345. «Владимир» — поэма, которую Жуковский задумывал, но не написал.
23. Печатается по автографу: ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, лл. 1—2. «Песнь песней» — здесь: поэма Батюшкова, до нас не дошедшая.
24. Впервые — Русская старина, 1874, т. 10, с. 397—398 (начало письма); 1883, т. 27, с. 653—655 (продолжение письма).
25. Впервые — Русская старина, 1883, т. 27, с. 655—657. «Средним быть поэтом...» — из поэмы Горация «Наука поэзии», ст. 372—373.
26. Впервые — Русская старина, 1871, т. 3, с. 230—233, с неправильной датировкой (1809). «Небо, которому хотелось...» — из 5-го письма к брату Э. Парни (1785); «Кто смеется?...» — из I сатиры Горация 1-й книги.
27. Впервые — Русская старина, 1871, т. 3, с. 233—235, с неправильной датировкой (1809). «Настоящая душа умеет...» — из «Послания Маро» Вольтера.
28. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 660—664. Столкновение Гнедича с Державиным, о котором идет речь в письме, произошло из-за того, что последний предложил Гнедичу вступить в «Беседу любителей русского слова» не членом, а сотрудником. В письме Батюшков также сравнивает свой перевод из Парни («Сон воинов» из поэмы «Аснель и Ислега») с подлинником (поэма Парни названа неверно).
29. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 107—109. «Но к чергу ум и вкус!...» — из поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед».
30. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 109—111.
31. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 111—112. «...Роскошество, чудовище престранно...» — из стихотворения С. А. Шихматова «Послание к любезному моему брату князю Михайлу Александровичу. 1810 год, месяц сентябрь».
32. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 112—114. В письме Батюшков разбирает отрывки из перевода М. Е. Лобановым трагедии Расина «Ифигения в Авлиде».
33. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 114—116. «Пушкина сатира» — поэма В. Л. Пушкина «Опасный сосед».
34. Печатается по автографу: ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 62.
35. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 116—118.
36. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 118—120.

37. Впервые — М., 3, 137—138. «Редактор «Аглаи», творец «Свободных чувствований» — П. И. Шаликов.
38. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 120—122. «9-я песнь» — «Илиады», перевода Гнедича, который Батюшков сопоставляет с переводом Е. И. Кострова: в «Вестнике Европы» за 1811 год (ч. LVIII, № 14, 15) были напечатаны не изданные ранее песни VII, VIII и начало IX старого перевода Кострова.
39. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 333—334. «Саула песнопение» — оратория Г. Р. Державина «Целение Саула» (1809), напечатанная во 2-м выпуске «Чтений в Беседе любителей русского слова».
40. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 335—337.
41. Впервые — М., 3, 152—155.
42. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 339—346. «Потерять свободу я не согласен...» — стихи из III сатиры Л. Ариосто.
43. Впервые — М., 3, 165—169. Ответ на письмо Вяземского, в котором тот передает обстоятельства ссоры двух московских журналистов: М. Т. Каченовского и П. И. Шаликова. Письмо Вяземского не опубликовано: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 28.
44. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 337—339.
45. Впервые — М., 3, 216—219, с неверным отнесением к 1813 году «Шубы» — ирои-комическая поэма А. А. Шаховского «Расхищенные шубы» (1812), содержащая выпады против В. Л. Пушкина, Карамзина и ряда его сторонников.
46. Впервые — Русский архив, 1875, кн. 3, с. 347.
47. Впервые — М., 3, 182—183.
48. Впервые — М., 3, 183—186. «Будьте лучше каменщиком...» — эпиграф к сатире М. В. Милонова «К моему рассудку», взятый из III песни «Поэтического искусства» Н. Буало, был особенно едким в отношении к В. Л. Пушкину: тот на самом деле был масоном.
49. Впервые — Русский архив, 1875, кн. 3, с. 345—346. «Наслаждайся весной...» — стих из послания Шолье к аббату Куртену.
50. Впервые — М., 3, 192—193. «Чем, грешная, могу помочь!» — из басни И. И. Дмитриева «Мышь, удалившаяся от света». «Асмодей» — прозвище П. А. Вяземского, впоследствии ставшее его «арзамасским» прозвищем.
51. Впервые — М., 3, 194—195. «Баллада Жуковского» — «Светлана».
52. Впервые — М., 3, 195—196. «Поручик» — П. А. Вяземский вступил в ополчение перед Бородинским сражением.
53. Впервые — Русский архив, 1883, т. 1, с. 230. «Чингисхан-поэт» — Д. И. Хвостов.
54. Впервые — Русский архив, 1866, ст. 222—226.
55. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 346—349.
56. Впервые — Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка, т. 14, вып. 4. М., 1955, с. 370—371. «О, волжских жители берегов...» — из послания В. Л. Пушкина «К жителям Нижнего Новгорода».
57. Впервые — Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка, т. 14, вып. 4. М., 1955, с. 370. Н. В. Фридман датировал письмо сентябрем 1812 года, нам же представляется, что оно написано уже после посещения Батюш-

ковым Вологды (середина декабря 1812 г.), перед отъездом из нее П. А. Вяземского (3 февраля 1813 г.).

58. Впервые — Библиографические записки, 1859, т. 2, с. 321—323.

59. Впервые — М., 3, 226—228. «Певец во стане русских воинов» В. А. Жуковского был напечатан в 1813 году отдельным изданием по указанию императрицы Марии Федоровны, с рисунками А. Н. Оленина и примечаниями Д. В. Дашкова.

60. Впервые — Русский архив, 1875, кн. 3, с. 348—349.

61. Впервые — М., 3, с. 230—232.

62. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 526—531. «Дай Поллуксу коней...» — перевод 26-го стиха 1-й сатиры Горация из II книги.

63. Впервые — Русская старина, 1883, т. 38, с. 534—538. «Остался пепл один...» — из басни И. И. Дмитриева «Муха».

64. Впервые, с сокращениями: Памятник отечественных муз на 1827 г. Спб., 1827, с. 24—36. Публикуется по М., 3, 257—264.

65. Впервые — М., 3, 266—270.

66. Впервые — Русский архив, 1866, с. 859—863.

67. Печатается по автографу: ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, лл. 67—68. «Сцены четырех возрастов» опубликованы в Изд. 1934, с. 262—274, 589—590.

68. Впервые — М., 3, 288—290.

69. Печатается по автографу: ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, лл. 60—60 об.

70. Печатается по автографу: ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, лл. 22—22 об. «Еще экземпляр» — оттиск из «Сына отечества» «Письма к И. М. М(уравьеву)-А(постолу)». О сочинениях г. Муравьева.

71. Впервые — Русский архив, 1875, кн. 3, с. 351—353. Письмо посвящено замечаниям на послание В. А. Жуковского «К императору Александру». Жуковский воспользовался почти всеми указаниями Батюшкова.

72. Впервые — Русский архив, 1875, кн. 3, с. 349—351. «Сочинения М. Н. Муравьева» были изданы в 3-х томах в 1819—1820 годах.

73. Печатается по автографу: ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, лл. 42—43 об. «Жуковского стихи» — послание «К императору Александру»; «глупая шутка» — сатира «Певец в Беседе любителей русского слова».

74. Печатается по автографу: ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, лл. 58—59.

75. Печатается по автографу: ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, лл. 73—74 об.

76. Впервые — Русская литература, 1970, № 1, с. 185—188 (публикация Н. В. Фридмана). «Денис» — Д. В. Давыдов.

77. Впервые — Русский архив, 1875, кн. 3, с. 358. Письмо посвящено разбору стихотворения П. А. Вяземского «К подруге». Вяземский воспользовался почти всеми указаниями Батюшкова.

78. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 22—23.

79. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 23—24. «С усталой от работ...» — из сказки Батюшкова «Странствователь и Домосед».

80. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 25.

81. Впервые — Русский архив, 1875, кн. 3, с. 354—355. «Приятное воспоминание о Батюшкове» — строфы о нем в сатире А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших».

82. Впервые — Прометей, т. 2, М., 1967, с. 146—149, «Митрофан Шуговской» — А. А. Шаховской.
83. Впервые — Русский архив, 1875, кн. 3, с. 355—358. «Аристофан» — А. А. Шаховской. Его комедия «Липецкие воды» вызвала бурю в литературных кругах и явилась поводом к созданию «Арзамаса». «Письмо к новейшему Аристофану» — статья Д. В. Дашкова, написанная по поводу «Липецких вод» Шаховского.
84. Впервые — М., 3, 370—372. «Поэтическая Галлия...» — сочинение Л. А. Маршанжи (1813—1817), из которого Батюшков заимствовал сюжет «Песни Гаральда Смелого». В настоящем письме он переосмысливает романтический образ Гаральда.
85. Впервые — Русский архив, 1875, кн. 3, с. 359—360. В 1815—1816 годах вышло первое отдельное издание стихотворений Жуковского в двух частях: о нем идет речь в письме. Кроме того, 26 февраля 1816 года Жуковский, Батюшков, Вяземский, Гнедич, Крылов и А. Е. Измайлов были избраны в члены Общества любителей российской словесности при Московском университете.
86. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 27—28. «Критика на «Ольгу» — имеется в виду полемика по поводу баллады П. А. Катенина «Ольга», в которой приняли участие Н. И. Гнедич, А. С. Грибоедов и ряд других писателей.
87. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 29—31. Стихотворение Батюшкова «Ромео и Юлия» не сохранилось. Статей «О Данте» и «О г-же дю-Шатле» Батюшков не написал.
88. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 31—32. «Я истину ослаб...» — пародийное использование стиха Г. Р. Державина из оды «Памятник».
89. Впервые — Русский архив, 1875, кн. 3, с. 361—362.
90. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 34—36. «Так низки те...» — из комедии Ж. Б. Грессе «Светская жизнь», действие 2, явление 3.
91. Впервые — Отчет императорской публичной библиотеки за 1895 год. Спб., 1898, с. 16—17.
92. Впервые — Отчет императорской публичной библиотеки за 1895 год. Спб., 1898, с. 17—18.
93. Впервые — Изд. 1934, с. 249.
94. Впервые — Отчет императорской публичной библиотеки за 1895 год. Спб., 1898, с. 18—19.
95. Впервые — М., 3, 413—414.
96. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 33—34. «Жуковского счастье» — в конце 1816 года В. А. Жуковскому была назначена ежегодная четырехтысячная пенсия, предоставившая ему относительную «независимость». Сказка «Бальядера» не была написана Батюшковым.
97. Впервые — Отчет императорской публичной библиотеки за 1895 год. Спб., 1898, с. 20—23. Из статей и переводов, перечисленных Батюшковым, были написаны «Гризельда. Повесть из Боккачио», «Моровая язва во Флоренции (из Боккачио)», «Олинд и Софрония (из Тасса)» и «Иступление Орланда (из Ариоста)». «Как мы с тобою съехались на Парнассе» — выражение «всевидящий слепец» есть и в элегии Батюшкова «Гециод и Омир, соперники», и в элегии Гнедича «Рождение Омира».

98. Впервые — М., 3, 414—416.
99. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 36—37.
100. Впервые — М., 3, 426—431. «Запрос Арзамасу» — подражание стихотворению Вольтера «Три Бернара». По предположению И. М. Семенко, «три Пушкина» — это В. Л. Пушкин, дядя А. С. Пушкина, А. М. Пушкин, его дальний родственник, и сам молодой Александр Сергеевич (см.: Б а т ю ш к о в К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977, примечания, с. 584—586).
101. Впервые — Московский телеграф, 1827, ч. 13, отд. 2, с. 91—94. «Кибитка — не Парнасс!» — из послания В. Л. Пушкина «К\*»; «Ты злого Гашпара...» — два стиха В. Л. Пушкина: первый — из упомянутого послания, второй — из стихотворения «К Делии. Подражание Горацию».
102. Впервые — М., 3, 435—437.
103. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 37—42.
104. Впервые — Отчет императорской публичной библиотеки за 1895 год. Спб., 1898, с. 23—26.
105. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 237—239. «Возьми, чем их топить» — из басни Крылова «Крестьянин в беде».
106. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 239—240.
107. Впервые — М., 3, 444—445.
108. Впервые — Русский архив, 1870, с. 1711—1715.
109. Впервые — М., 3, 450—454. План «Русалки» написан на отдельном листе бумаги, но, вероятно, был приложен к настоящему письму.
110. Впервые — Отчет императорской публичной библиотеки за 1895 год. Спб., 1898, с. 26.
111. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 241—243. В начале письма речь идет о поправках к элегии «Умиравший Тасс». «Где игры первых лет...» — из стихотворения «Певец в Беседе любителей русского слова»; «Не плачу я...» — неточная цитата из баллады П. А. Катенина «Ольга».
112. Впервые — Отчет императорской публичной библиотеки за 1895 год. Спб., 1898, с. 26—28.
113. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 243—244.
114. Печатается по автографу: ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 77.
115. Впервые — Русский архив, 1866, ст. 1642—1644.
116. Впервые — М., 3, 465—466.
117. Печатается по копии: ЦГАЛИ, ф. 63, оп. 1, ед. хр. 10.
118. Впервые — М., 3, 467—469. Батюшков благодарит Вяземского за статью «О жизни и сочинениях Озерова». «Арфа» — Эолова Арфа — «арзамасское» прозвище А. И. Тургенева. «Вот я вас» — «арзамасское» прозвище В. Л. Пушкина.
119. Впервые — Русский архив, 1866, с. 474, в статье «Литературные арзамасские шалости». Печатается по автографу: ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 52.
120. Впервые — Русский архив, 1870, ст. 1717.
121. Впервые — М., 3, 493—495. «Для немногих» («Für Wenige») — брошюры, которые издавал В. А. Жуковский в 1818 году.

122. Впервые — М., 3, 493. «О, какая гармония...» — нарочито измененная цитата из стихотворения А. Ф. Востокова.
123. Впервые — Русский архив, 1867, ст. 1516—1519. Батюшков имеет в виду произведения Жуковского, появившиеся в сборниках «Для немногих»: «Рыцарь Тогенбург» (№ 1), «Граф Габсбургский» (№ 5), отрывок из «Орлеанской девы» (№ 6), «Горная дорога» (№ 4).
124. Впервые — Русский архив, 1867, ст. 1524—1528.
125. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 244.
126. Впервые — Русский архив, 1867, ст. 1532—1535. «Перевод, напечатанный в «Сыне отечества» — перевод отрывков из «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо А. С. Шишковым (Сын отечества, 1818, ч. 48, № 34); «набег Каченовского» — заметка М. Т. Каченовского «К господам издателям «Украинского вестника» (Вестник Европы, 1818, ч. С, № 13), где содержался выпад против «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина: «Сверчок» — «арзамасское» прозвище А. С. Пушкина, который в то время вел рассеянную жизнь в Петербурге.
127. Впервые — Русская старина, 1893, т. 77, № 3, с. 527—528.
128. Впервые — Русский архив, 1867, ст. 1535.
129. Печатается по автографу: ИРЛИ, р. III, оп. 1, № 518. Это письмо найдено Н. В. Измайловым (Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова. М., 1971, с. 317). Н. М. Карамзин был избран членом Российской Академии 10 июля 1818 года, речь его была произнесена 10 декабря 1818 года. В. А. Жуковский был избран членом Академии 19 октября 1818 года.
130. Впервые — Русская литература, 1970, № 1, с. 189—191.
131. Впервые — Исторический вестник, 1884, т. 16, с. 449—452.
132. Впервые — Памятник отечественных муз на 1827 год. Спб., 1827, с. 42—43. «Поэма Пушкина» — «Руслан и Людмила»; «Светлана» — «арзамасское» прозвище В. А. Жуковского.
133. Впервые — Сочинения. Спб., 1834, ч. 1, с. 332—334, с пропусками. Печатается по тексту: М., 3, 779—782. Открытие Санкт-Петербургского университета состоялось 14 февраля 1819 года.
134. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 245—246.
135. Впервые — Утро. Сборник М. П. Погодина, 1866, с. 187.
136. Впервые — Памятник отечественных муз на 1827 год. Спб., 1827, с. 43—44.
137. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 246—248. Поводом к написанию письма послужило напечатание стихотворения П. А. Плетнева «Б.....в из Рима» (Сын отечества, 1821, ч. 68, № 8), в котором от имени поэта говорилось, что он утратил вдохновение вдали от родины и друзей. «Умеет в честном человеке...» — из IX сатиры Н. Буало; этот же стих поставлен в качестве эпитафии к «Видению на берегах Леты».
138. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 248. Объявление было приложено к вышеприведенному письму Гнедичу, но последний не дал ему хода, и в печати оно так и не появилось.
139. Впервые — Русская старина, 1883, т. 39, с. 248—250.



## СЛОВАРЬ СОБСТВЕННЫХ И МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН

*Август* Кай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э.—14 н. э.) — первый римский император 109, 177, 184, 185, 210.

*Аврора* (рим. миф.) — богиня утренней зари 67, 254.

*Агатон* — греческий трагик V в. до н. э. 56.

*Аддисон* Жозеф (1672—1719) — английский поэт 315.

*Адмет* (греч. миф.) — фессалийский царь, стада которого пас Аполлон 207.

*Актеон* (греч. миф.) — охотник, превращенный богиней Дианой, которую он увидел нагой во время купания, в оленя и растерзанный своими же собаками 127.

*Александр Македонский* (Александр Великий) (356—323 до н. э.) — царь Македонии, выдающийся полководец 195, 244, 251, 253, 285.

*Александр I* (1777—1825) — российский император 117, 123, 191, 273, 274, 285.

*Алексей Михайлович* (1629—1676) — русский царь 203.

*Ализов* — художник 114.

*Алкей* — греческий поэт VII в. до н. э. 43, 77.

*Альбан* (Альбани) Франческо (1578—1660) — итальянский художник 124.

*Альфонс II д'Эсте* (XVI в.) — герцог Феррарский, придворным поэтом которого был Т. Тассо 34.

*Альфиери* Витторио (1749—1803) — граф, итальянский драматург-классицист 144, 148, 194.

*Амальтея* (греч. миф.) — коза, молоком которой был вскормлен Зевс; ее рог, подаренный нимфам, стал рогом изобилия 60.

*Амур* — см. *Эрот*.

*Анакреон* — греческий лирик VI в. до н. э. 40, 145, 161, 162, 186, 203, 234, 240, 243, 254, 296, 354.

*Анастасевич* Василий Григорьевич (1775—1845) — писатель-«шишковист» 88.

*Аониды* (греч. миф.) — музы, обитавшие в Аонии, на горе Геликон 37, 55, 69, 350.

*Аполлон* (Феб) (греч. миф.) — бог солнца и света, искусств и поэзии 31, 34, 43, 45, 48, 57, 60—68, 70—73, 75, 159, 220, 225, 243, 269, 283, 308, 319, 340, 347.

*Аполлон Бельведерский* — одна из наиболее известных античных статуй Аполлона 118, 121, 152, 273—275.

*Арбенева* Авдотья Николаевна — племянница В. А. Жуковского 266—267.

*Арей* (Марс) (греч. миф.) — бог войны 48, 51, 205, 283.

*Арегуза* (греч. миф.) — нимфа, пленившая во время купания речного бога и превращенная в бьющий из земли ключ 48.

*Ариост* (Ариосто) Лодовико (1474—1533) — итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Роланд» 133, 138—144, 164, 189, 226, 251, 252, 255, 256, 288, 298, 303, 312, 314, 321—322, 345, 349.

*Аристарх* — александрийский филолог II в. до н. э., комментатор Гомера, нарицательное прозвище литературного критика вообще 226, 254.

*Аристид* (ок. 540—ок. 467 до н. э.) — афинский полководец 347.

*Аристипп* — греческий философ-гедонист V—IV вв. до н. э. 58, 254.

*Аристотель* (384—322 до н. э.) — греческий философ и ученый 130, 251.

*Аристофан* (ок. 445—ок. 385 до н. э.) — греческий поэт-комедиограф, «отец комедии» 298.

*Ария* (Ария) — жена римлянина Пета (Петуса), в минуту смерти оказавшаяся мужественнее своего супруга 120.

*Архаров* Николай Петрович (1742—1814) — генерал-губернатор Петербурга в начале XIX в. 264, 276.

*Архий* — римский поэт-импровизатор II—I вв. до н. э. 211.

*Архимед* (ок. 287—212 до н. э.) — греческий ученый 167.

*Аттила* (ум. 453) — предводитель гуннов, возглавивший опустошительные походы на Римскую империю 103.

*Афродита* — см. *Венера*.

*Бавий* — бездарный древнеримский поэт; нарицательное имя посредственного стихотворца вообще 167.

*Бальбус* Гай Аттилий — римский консул III в. до н. э. 120.

*Бальз* Сильвен (1736—1793) — французский астроном 247.

*Баранов* Дмитрий Осипович (1773—1834) — литератор, родственник Батюшкова 219.

*Барков* Иван Семенович (ок. 1732—1768) — русский поэт и переводчик, автор фривольных стихов 76.

*Баргелеми* Жан-Жак (1716—1795) — французский археолог и писатель, автор романа «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию» (1788) 202, 203, 215.

*Батонди* Ротонди — итальянец, живший в доме П. А. Вяземского 227.

*Баттё* Шарль (1713—1780) — французский эстетик, автор курса теории литературы 197.

*Батюшков* Николай Львович (ок. 1750—1817) — отец К. Н. Батюшкова 323.

*Батюшкова* Александра Николаевна (1785—1829) — сестра К. Н. Батюшкова 212, 278.

*Батюшкова* Варвара Николаевна (1791—после 1877) — сестра К. Н. Батюшкова 212.

*Бахметев* Алексей Николаевич (1774—1841) — генерал, участник войн со шведами и с Наполеоном; в 1815 г. Батюшков был его адъютантом 266.

*Веницкий* Александр Петрович (1780—1809) — поэт, переводчик, критик, издатель сборника «Талия» (1807) и журнала «Цветник» (1809, совместно с А. Е. Измайловым) 197, 209, 211, 213, 219, 222, 231.

*Вестужев-Рюмин* Алексей Петрович (1693—1766) — граф, русский дипломат при нидерландском дворе в 30—40-е годы 155.

*Вион* (Вион) — греческий поэт-идиллик II в. до н. э. 161, 356.

*Бланк* Борис Карлович (1769—1826) — поэт, эпитом сентиментализма 254.

*Бларамберг* Иван Павлович (1772—1831) — археолог и собиратель древних монет 340—341, 343.

*Блудов* Дмитрий Николаевич (1785—1864) — литератор-карамзинист, один из организаторов «Арзамаса» 257, 264, 265, 283, 284, 296, 298, 327, 328, 337—339, 344, 345, 354.

*Блюхер* Гербард Либерехт фон (1742—1819) — прусский фельдмаршал 194.

*Бобров* Семен Сергеевич (1767—1810) — поэт 74, 75, 80, 197, 208, 214, 218, 226, 234, 334, 338.

*Богданович* Ипполит Федорович (1743—1803) — поэт, автор шутильной поэмы «Душенька» 56, 61, 76, 132, 145, 163, 180, 196.

*Бодони* Джамбаттиста (1740—1813) — итальянский типограф, основатель знаменитой издательской фирмы 305.

*Боккачио* (Боккаччо) Джованни (1313—1375) — итальянский писатель-гуманист 148, 312, 314, 316, 319—321.

*Болтин* Иван Никитич (1735—1792) — русский историк и государственный деятель 196.

*Борджиа* (Борджиа) Цезарь (1478—1507) — итальянский кардинал, отличавшийся крайней распущенностью и жестокостью.

*Бороздин* Константин Матвеевич (1781—1848) — русский археолог и историк 222.

*Боссюет* (Боссюэ) Жак Бенье (1627—1704) — французский богослов и проповедник 273.

*Бре* де, граф (1765—1832) — баварский посланник в России 348, 349, 351.

*Броневский* Владимир Богданович (1784—1835) — морской офицер, участвовавший в экспедиции адмирала Сенявина (1805—1810), которую описал в «Записках морского офицера» (1818—1819) 350.

*Брут* Децим Юний Альбин (ок. 84—43 до н. э.) — один из военачальников Цезаря, участвовавший в заговоре против него 150, 168 232, 296.

*Брюнет* (Брюне) Жан Жозеф Мира де (1766—1851) — известный парижский актер-комик 272, 276, 277.

*Буало* (Боало) Никола Депрео (1636—1711) — французский поэт, критик, историкограф, теоретик классицизма 75, 196, 209, 210, 214, 216, 221, 260, 312, 354.

*Буксгевден* Федор Федорович (1750—1811) — генерал от инфантерии, участник наполеоновских войн 90.

*Буле* Иоганн-Феофил (1763—1821) — профессор Московского университета, автор «Опыта критической литературы русской истории» 188.

*Булнина* Анна Петровна (1774—1828) — поэтесса 79, 217, 243.

*Буринский* Захар Алексеевич (1780-е — 1808) — поэт и переводчик 232.

- Бутервек* Фридрих (1766—1822) — немецкий теоретик литературы, канонизировавший эстетические нормы классицизма 197, 231.
- Буфлер* Станислав де (1737—1815) — французский поэт и писатель 273, 317.
- Бюффон* Жорж Луи Леклерк де (1707—1788) — французский натуралист, сочинения которого славились красотой слога 91, 151, 154.
- Вадим Храбрый* (?—864) — полупоэтический предводитель новгородцев, составивших против Рюрика 106.
- Ваксин* — цензор 180.
- Валкалла* (Вальхалла) (сканд. миф.) — дворец Одена, загробное местопребывание убитых воинов 181, 182.
- Валькирии* (сканд. миф.) — дочери Одена, девы-воительницы, уносящие души убитых героев в Валкаллу 38, 181.
- Валлер* (Уоллер) Эдмонд (1606—1687) — английский поэт 162.
- Вандик* (Ван-Дейк) Антонис (1599—1641) — фламандский живописец 65, 125.
- Варник* (Варнек) Александр Григорьевич (1782—1843) — русский художник-портретист 126.
- Венера* (рим. миф.) (Афродита, Киприда — греч. миф.) — богиня любви и красоты 45, 49, 59, 61, 71, 114, 119, 120, 123, 153, 154, 169, 233, 242, 272, 283.
- Вергилий* Публий Марон (70—19 до н. э.) — римский поэт, автор «Энеиды», «Буколик», «Георгик» 34, 66, 75, 77, 96, 102, 111, 113, 126, 133, 140, 147, 149, 161, 166, 177, 184, 189, 234, 246, 255, 263, 333, 351, 352.
- Вигель* Филипп Филиппович (1786—1850) — литератор и мемуарист, член «Арзамаса» 339.
- Виельгорский* (Вьельгорский, Велеурский) Михаил Юрьевич (1788—1856) — композитор и музыкант-любитель 249.
- Виланд* Христоф Мартин (1733—1813) — немецкий писатель 139, 140, 198, 268, 270, 324.
- Вильмень* (Вильмен) Абель-Франсуа (1790—1870) — французский критик, историк и государственный деятель 274.
- Винкельман* Иоганн Иоахим (1717—1768) — итальянский археолог и историк искусства 114, 121, 128, 274, 326.
- Вион* — см. *Бион*
- Висковатов* Степан Иванович (1786—1831) — драматург, сотрудник «Беседы» 271.
- Витгенштейн* Петр Христианович, граф (1768—1842) — генерал, участник войн против Наполеона 191, 193.
- Владимир*, князь (ум. 1015) — князь новгородский и киевский 56, 104, 225.
- Воейков* Александр Федорович (1779—1839) — поэт, критик и журналист 163, 197, 252, 254, 263, 282, 284, 285, 295, 332, 342.
- Волков* Платон Григорьевич (ок. 1780—1849) — поэт-дилетант 227.
- Вольтер* Мари Франсуа Аруэ (1694—1778) — 46, 72, 83, 94, 96—100, 104, 112, 114, 150, 152, 157, 179, 181, 183, 185, 190—193, 196—198, 207, 216, 233, 247, 250, 255, 256, 270, 288, 289, 310.
- Воронцов* Михаил Семенович (1782—1856) — генерал, участник Отечественной войны 1812 г. 194.

- Востоков* Александр Христофорович (1781—1864) — поэт, переводчик, выдающийся филолог 163, 339.
- Вяземский* Петр Андреевич (1792—1878) — поэт и критик 52, 58, 197, 220, 225, 227, 231, 233, 241, 242, 244, 247—249, 253, 254, 256—264, 266—270, 277—279, 283—288, 290—292, 296—301, 305, 306, 309—311, 313—315, 319, 325, 327—331, 334—339, 345.
- Габлиц* Карл — автор книги «Физическое описание Таврической области» (1785) 333.
- Габриэль* д'Эстре — фаворитка французского короля Генриха IV, персонаж «Генриады» Вольтера 83.
- Гагарин* Иван Алексеевич (1771—1832) — князь, управлял двором вел. кн. Екатерины Павловны 208.
- Гагарин* Григорий Иванович (1782—1837) — князь, состоял в 1815—1822 гг. при русском посольстве в Риме, был почетным членом Академии художеств 222, 346, 351.
- Гагедорн* Фридрих (1708—1754) — немецкий поэт 162.
- Гальберг* Самуил Иванович (1787—1839) — русский скульптор 124.
- Гамильтон* Антоний (1646—1720) — французский писатель 244.
- Гаральд Смелый* (Харальд Суровый) (1015—1066) — предводитель варяжской дружины, затем король Норвегии; был женат на дочери Ярослава Мудрого 298—300.
- Гваренги* (Кваренги) Джакомо (1744—1817) — итальянский архитектор, по проектам которого построен ряд зданий и дворцов в Петербурге 117.
- Рени* Гвидо (1575—1642) — итальянский художник «болонской школы» 124.
- Геба* (греч. миф.) — богиня вечной юности 30, 75, 113.
- Гезиод* (Гесиод) — древнегреческий поэт VIII—VII вв. до н. э., автор поэм «Труды и дни» и «Теогония». Был убит на острове Эвбея 28—31, 110, 309—315, 320.
- Гела* (Хель) (сканд. миф.) — хозяйка царства мертвых 182.
- Генрих IV* (1553—1610) — французский король 263.
- Герарков* Гавриил Васильевич (1775—1838) — литератор-дилетант, член «Беседы» 271.
- Гервей* Джеймс (1714—1758) — английский писатель, последователь Юнга 88.
- Гермоген* (ок. 1530—1612) — патриарх Руси в 1606—1612 гг., один из деятелей Смутного времени 81, 218.
- Геродот* (ок. 480—ок. 425 до н. э.) — древнегреческий историк, прозванный «отцом истории» 69.
- Геснер* Саломон (1730—1788) — швейцарский поэт-сентименталист и гравер, прославившийся тонкостью деталей в картинах природы 187, 188.
- Гете* Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 198, 270, 287.
- Гиппократ* (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) — древнегреческий «отец медицины» 60.
- Гишфельд* Христиан (1742—1792) — автор сочинений по садоводству 188.
- Глазунов* Иван Петрович (1762—1831) — петербургский книгопродавец и издатель 72, 80, 85, 332, 336, 339.
- Гликерия* — красавица в древних Афинах 40.

*Глинка* Сергей Николаевич (1775—1847) — участник Отечественной войны 1812 г., писатель, лидер «антифранцузского» направления, издатель журнала «Русский вестник» (1808—1820, 1824) 79, 177, 216—218, 223, 256, 263, 285, 301, 304, 320.

*Глинка* Федор Николаевич (1786—1880) — участник Отечественной войны 1812 г., декабрист, поэт, журналист, писатель, автор «Писем русского офицера» (1815) 294, 304, 350.

*Гнедич* Николай Иванович (1784—1833) — поэт, переводчик, автор русского перевода «Илиады» (1807—1829), член «Беседы» 43, 51, 65, 102, 186, 197, 202, 205—210, 212, 216—224, 227—247, 249—256, 264, 271, 272, 292—294, 296, 300—314, 319—327, 330—334, 339, 341, 350, 351, 354—356.

*Гоббс* (Гоббс) Томас (1588—1679) — английский философ 244.

*Говард* Джон (1726—1790) — английский филантроп, посвятивший свою жизнь улучшению быта в тюрьмах и больницах. Умер в Херсоне 137.

*Голицын* Алексей Петрович (1775—1813) — писатель-дилетант и переводчик 238, 343.

*Голицын* Борис Владимирович (1769—1813) — писатель и критик, автор книги «Нравственные правила герцога де-ла Рошефуко» (1809) 238, 353.

*Головин* Василий Михайлович (1776—1831) — мореплаватель, автор записок о пребывании в Японии (1816) 320, 321.

*Гольбак* (Гольбах) Поль-Генрих-Дитрих (1723—1789) — философ-материалист, входивший в круг энциклопедистов 181.

*Гольбейн* (Хольбейн) Ганс Младший (1497—1543) — немецкий живописец и график 348.

*Гомер* (Омир) 28—31, 45, 48—50, 99, 103, 107, 123, 130, 133, 139, 140, 161, 164, 173, 183, 205, 206, 208, 210, 213, 221, 229, 232, 233, 242, 245, 247, 255, 256, 263, 268, 271, 288, 300, 303—305, 308, 309, 311—313, 315, 322.

*Гораций* (65—8 до н. э.) — римский поэт 40, 56, 71, 102, 104, 111, 113, 131, 150, 161, 166, 168, 174, 175, 177, 179, 184—186, 189, 195, 203, 216, 221, 225, 228—230, 238, 248—250, 256, 267, 271, 278, 320, 323—324, 330, 350.

*Горчаков* Дмитрий Петрович (1758—1824) — поэт-сатирик 234.

*Грамматин* Николай Федорович (1786—1827) — директор училищ Костромской губернии, поэт 267.

*Грей* Томас (1716—1771) — английский поэт-сентименталист, автор элегии «Сельское кладбище», переведенной Жуковским, 68.

*Грейг* Алексей Самуилович (1775—1845) — адмирал, командовал Черноморским флотом 341.

*Грессет* (Грессе) Жан Батист (1709—1777) — французский поэт, автор эпикурейских посланий и стихотворных новелл 178, 217, 223, 243, 259, 291.

*Греч* Николай Иванович (1787—1867) — писатель, критик, издатель журнала «Сын отечества», сторонник теории «официальной народности» 279, 294, 303, 320—322, 324, 342, 354.

*Грибоедов* Александр Сергеевич (1795—1829) — 301.

*Грибоедов* Алексей Федорович — дядя А. С. Грибоедова, богатый московский помещик 220.

*Грузинцев* Александр Николаевич — поэт 1810-х гг., эпигон классицизма, автор эпической поэмы «Петриада» 83, 271.

*Гуаско* Октавиан — переводчик и друг А. Д. Кантемира, автор первой биографии поэта 175, 176, 304.

*Давид* — царь Израильско-иудейского государства в конце XI в. — ок. 950 г. до н. э., герой ряда библейских легенд 149.

*Давид* Жак Луи (1748—1825) — французский живописец-классицист 127.

*Давыдов* Денис Васильевич (1784—1839) — герой Отечественной войны 1812 г., поэт 254, 290.

*Давыдов* Лев Васильевич (1792—1848) — брат поэта, сослуживец Батюшкова в 1813—1815 гг., впоследствии генерал-майор, директор кадетского корпуса в Москве 287, 293.

*Д'Аламбер* Жан Лерон (1717—1783) — французский математик, механик и философ-просветитель 167, 181, 183, 198, 232.

*Дамас* Роже де, барон (1760-е—1825) — французский роялист, офицер русской армии во время наполеоновских войн 94.

*Данилова* — сценическое имя Марии Перфильевой (1793—1810), известной балерины 223

*Данте* Алигьери (Дант) (1265—1321) — 144, 148, 149, 152, 161, 252, 303, 304, 308, 312, 314, 321, 330, 333.

*Дафна* (греч. миф.) — нимфа, давшая обет целомудрия и превращенная богами, для спасения от преследования влюбленного Аполлона, в лавровое дерево 62.

*Дашков* Дмитрий Васильевич (1788—1839) — литератор, один из основателей «Арзамаса» 63, 197, 250, 257, 262, 268, 271—275, 285, 294, 295, 298, 327, 336, 345, 349.

*Дедал* (греч. миф.) — легендарный зодчий, создатель лабиринта на острове Крит, герой нескольких мифов 27, 215.

*Дезюльер* Антуанетта (1637—1694) — французская поэтесса 263.

*Декарт* Рене (1596—1650) — французский математик и философ-дуалист 242.

*Целиль* Жак (1738—1813) — французский поэт, автор дидактической поэмы «Сады» 282.

*Демосфен* (ок. 384—322 до н. э.) — греческий оратор и политический деятель 161.

*Державин* Гаврила Романович (1743—1816) — 67, 99, 109, 132, 152, 162, 167, 180, 195—198, 201—204, 212, 217, 219, 233, 236—237, 243, 246, 248; 267, 277, 301, 318, 354.

*Дидерот* (Дидро) Дени (1713—1784) — французский философ-энциклопедист и писатель 183, 189, 232.

*Дидот* (Дидо) Франсуа — основатель известной книгопечатной фирмы в Париже 273.

*Диоген Синопский* (ок. 400—ок. 325 до н. э.) — греческий философ-киник, проповедовал крайний аскетизм 194.

*Дмигриев* Иван Иванович (1760—1837) — поэт и государственный деятель, ближайший соратник Карамзина 57, 67, 163, 196, 202, 203, 212, 224, 233, 261, 268—269, 272, 275, 287, 301, 328, 331, 334.

*Дмитриевский* Иван Афанасьевич (1733—1823) — знаменитый актер 124, 179.  
*Долгорукий* (Долгоруков) Яков Федорович, князь (1639—1720) — сподвижник и советник Петра I, с 1717 г. президент Ревизион-коллегии; на этом посту проявлял легендарную смелость 115, 136.  
*Долгоруков* Иван Михайлович (1764—1823) — поэт, автор сборников «Бытие моего сердца» 163, 209, 237, 244, 308.  
*Дорат* (Дора) Клод Жозеф (1734—1780) — французский поэт и драматург 112, 152.  
*Драйден* Джон (1631—1700) — английский писатель 261, 268.  
*Дюшенуа* Катрин Жозефина (1780—1835) — французская трагическая актриса 275, 276.

*Егоров* Алексей Егорович (1776—1851) — художник, представитель академической школы живописи 121—124, 331, 347.  
*Ежова* Екатерина Ивановна (1787—1837) — комическая актриса 87.  
*Екатерина II* (1729—1796) — российская императрица 99, 119, 163, 196, 197, 219, 314.  
*Екимов* Василий Петрович (1758—1837) — литейный мастер Академии художеств 127.  
*Елагин* Иван Перфильевич (1725—1794) — русский государственный деятель и писатель 196.  
*Елизавета Петровна* (1709—1761) — российская императрица 197.  
*Еропкин* Петр Дмитриевич (1736—1805) — сенатор, генерал-аншеф, осуществлявший правительственные мероприятия в Москве по борьбе с чумой 137, 158.

*Жан-Жак* — см. *Руссо*.

*Жанлис* Мадлен-Фелисите, графиня (1746—1830) — французская писательница, автор нравоучительных и чувствительных романов 98, 178.  
*Женгеле* Пьер-Дуи (1748—1816) — французский поэт и критик, автор шеститомной истории итальянской литературы 133, 321.  
*Жиран-Делла-Нотте* — псевдоним Гергардта Гонтгроста (1590—1656), голландского живописца 124.  
*Жихарев* Степан Петрович (1787—1860) — поэт, театральный переводчик и мемуарист 87, 210, 213, 223, 315, 327, 338.  
*Жофрен* Мария-Тереза (1699—1777) — хозяйка знаменитого парижского литературного салона 169, 333.  
*Жоффруа* Жан Луи (1743—1814) — французский театральный критик 98, 251.  
*Жуковский* Василий Андреевич (1783—1852) — поэт, переводчик 52, 58, 59, 68, 70, 110, 125, 132, 162, 177, 192, 196, 197, 219—227, 231, 233, 234, 236, 237, 241, 246—249, 252—254, 258, 260—264, 266—270, 277, 278, 280—282, 284—286, 288, 290, 292—301, 303, 305, 306, 310, 311, 313—315, 318, 319, 321, 322, 326—328, 331, 332, 334, 335, 338—340, 342, 344, 345, 349, 352, 353.



- Захаров* Андреян Дмитриевич (1761—1811) — архитектор 117, 233.
- Захаров* Иван Семенович (1754—1816) — сенатор, литератор, председатель одного из разрядов «Беседы» 88, 180, 218, 245.
- Зевес* (Зевс) Олимпийский (греч. миф.) (Юпитер — рим. миф.) — верховное божество, глава олимпийской семьи богов 29, 30, 120, 154, 189.
- Зоил* — греческий критик IV в. до н. э.; условное имя для обозначения придирчивого критика вообще 49.
- Иванов* Федор Федорович (1760-е—1816) — московский литератор 219, 236, 237, 248, 263, 303.
- Игорь* (ум. 945) — великий князь Киевский 104.
- Изьекова* Мария Евграфовна (1794—1830) — писательница, автор нескольких романов 79, 217.
- Измайлов* Александр Ефимович (1779—1831) — поэт-баснописец, романист и журналист 203, 213, 232, 250, 259, 333, 358.
- Иисус, сын Сирахов* — библейский пророк, автор «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова» 188.
- Ильин* Николай Иванович (1777—1823) — драматург и переводчик, член-сотрудник «Беседы» 309, 315.
- Ио* (греч. миф.) — нимфа, возлюбленная Зевса, превращенная его супругой Герой в корову 74, 208.
- Иосиф* (библ., ислам. миф.) — персонаж известной легенды 348.
- Кавелин* Дмитрий Александрович (1778—1851) — педагог и литератор, член «Арзамаса» 197.
- Кайзерлинг* Герман Карл, барон (1695—1764) — русский дипломат, президент Академии наук 98.
- Кальвин* Жан (1509—1564) — основатель реформатской церкви 183.
- Камюэнс* Луис (1524—1580) — португальский поэт 131, 167.
- Канова* Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор 113, 323, 343, 346.
- Кант* Иммануил (1724—1804) — немецкий философ-идеалист 198.
- Кантемир* Антиох Дмитриевич (1708—1744) — поэт-сатирик, представитель русской просветительской идеологии 104, 166—176, 183, 196, 198, 252, 303, 304, 308, 309.
- Капече-Латро* Джузеппе (1744—1836) — неаполитанский прелат, политический деятель и писатель 348, 349.
- Капнист* Василий Васильевич (1758—1823) — поэт и драматург, автор комедии «Ябеда» 103, 163, 178, 205, 206, 209, 211, 219, 247, 352.
- Карабанов* Петр Матвеевич (1765—1829) — писатель-«шишковист», член «Беседы» 87, 233, 246, 336.
- Карамзин* Николай Михайлович (1766—1826) — 56, 69, 89, 102, 103, 108, 163, 194—197, 202, 207, 217, 221, 222, 224, 231, 234, 236, 238, 240, 241, 245, 247, 257, 266, 269, 277, 279, 280, 283, 284, 290, 296, 297, 300, 307, 311, 313, 315, 327, 328, 335, 337, 339, 342, 344, 349, 351, 352.
- Карамзина* Екатерина Андреевна (1780—1851) — вторая жена Н. М. Карамзина 241, 264, 266, 269, 277, 315, 327, 337, 339, 349.

- Карл Великий* (742—814) — король франков (с 768 г.), основатель Великой Римской империи 104.
- Карл V* (1500—1558) — император «Священной Римской империи» (1519—1556); вел войны с Францией и Османской империей 203.
- Кастор и Поллукс* (греч. миф.) — Диоскуры, сыновья Зевса и Леды, боги-хранители судоходства и гостеприимства 271.
- Катенин Павел Александрович* (1792—1853) — декабрист; поэт-классицист, драматург, критик, переводчик 210, 214, 245, 301, 332.
- Катулл* — римский поэт I в. до н. э. 131, 145, 149, 161, 167, 184, 319, 324, 333.
- Каченовский Михаил Трофимович* (1775—1842) — профессор, историк «скептической школы», критик и журналист, редактор «Вестника Европы» (1805—1830-е гг.) 197, 222, 225, 232, 240, 245, 246, 250, 251, 253, 256, 263, 302, 303, 307, 322, 327, 329, 334, 342.
- Келлер Генрих Карл Эрнст* (1768—1838) — русский археолог, академик 343.
- Кесарь* (Цезарь) Кай Юлий (102—44 до н. э.) — римский полководец и император 120.
- Кипренский Орест Адамович* (1783—1836) — художник 65, 124, 125, 346, 347.
- Киприда* — см. *Венера*
- Клейст Фридрих-Генрих-Фердинанд-Эмиль, граф* (1762—1823) — прусский фельдмаршал 194.
- Клопшток Фридрих-Готлиб* (1724—1803) — немецкий поэт Просвещения, автор эпической поэмы «Мессиада» 162, 164.
- Ключарев Федор Петрович* (1751—1822) — писатель, автор мистических стихотворений и трагедий 324.
- Княжнин Яков Борисович* (1742—1791) — русский драматург-классицист, поэт, переводчик, член Российской академии (1783) 76, 118, 196, 210, 212.
- Кодр* — персонаж «Послания Попа к Арбутоту» И. И. Дмитриева: недалекий автор, осмиваемый, но сохраняющий полное достоинство 213.
- Койпель* (Куапель) Ноэль (1628—1707) — французский художник, последователь Н. Пуссена 113.
- Кокошкин Федор Федорович* (1773—1838) — поэт и переводчик, директор Московского театра и председатель Общества любителей российской словесности при Московском университете 301, 305, 307.
- Колардо Жак* (1732—1776) — французский поэт, член французской академии, на место которого был в 1776 г. избран Ж. Ф. Лагарп 230.
- Колонна Стефано* (ум. 1347) — итальянский аристократ, друг и покровитель Ф. Петрарки 149, 150.
- Кольчев Василий Петрович* (ум. 1797) — драматург и поэт 197.
- Кольберг Жан Батист* (1619—1683) — генеральный контролер финансов при Людовике XIV, проводивший ряд экономических реформ 109.
- Кондильяк Этьен Бонно де, аббат* (1715—1780) — французский философ и экономист, последователь сенсуализма 94, 211.
- Константин I Великий* (ок. 285—337) — римский император (с 306 г.), поддерживавший христианство; основатель Константинополя 139.
- Константин Павлович* (1779—1831) — великий князь, второй сын императора Павла I 104.

- Коринна* — греческая поэтесса V в. до н. э., учительница Пиндара 43, 233.
- Кориолан* — по древнеримской легенде, патриций и полководец V в. до н. э., будучи противником плебеев, перешел на сторону врагов Рима и был убит ими за то, что во время войны пощадил город 161, 168.
- Корреджио* Антонио (1494—1534) — итальянский художник, мастер светотени 113, 124, 209.
- Корсаков* Петр Александрович (1790—1844) — писатель, драматург, переводчик 277.
- Костогоров* Михаил Дмитриевич — литератор-дилетант, друг Жуковского 298.
- Костров* Ермил Иванович (1750-е—1796) — поэт и переводчик, начал переводить «Илиаду» Гомера александрийским стихом 197, 211, 221, 245, 252, 262.
- Котен* Шарль, аббат (1604—1682) — французский писатель 216.
- Крашенинников* Степан Петрович (1711—1755) — путешественник, исследователь Камчатки, академик 210, 333.
- Кролин* Феофил (ум. 1732) — архимандрит Новоспасского и Чудова монастырей, сподвижник Ф. Прокоповича и А. Д. Кантемира 175.
- Кромвель* Оливер (1599—1658) — вождь Великой английской революции 301.
- Кроссар*, барон — французский эмигрант, служивший в австрийской и русской армиях, где получил чин генерал-майора 201—202.
- Крылов* Иван Андреевич (1769—1844)—57, 65, 81, 82, 119, 163, 180, 184, 196, 198, 205, 206, 210, 213, 218, 233, 250, 259, 269, 301, 302, 307, 311, 323—325, 332, 334, 350.
- Крюков* Александр Семенович — в 1813 г. вице-губернатор в Нижнем Новгороде 276.
- Кук* Джеймс (1728—1779) — английский мореплаватель; был убит на Гавайях каннибалами. Ему посвящено стихотворение А. Ф. Мерзлякова «Тень Кукова на острове Овги-ги» (1805) 77.
- Куракин* Александр Борисович, князь (1752—1818) — посол в Вене и Париже, писатель и страстный библиофил 124.
- Кураинов* Николай Гаврилович (ок. 1725—1796) — просветитель, педагог, издатель, автор «Письмовника» — популярной энциклопедии-хрестоматии, широко распространенной среди демократических слоев России 81, 336.
- Кутузов* Михаил Илларионович (1745—1813) — русский полководец 191, 276.
- Кутузов* (Голенищев-Кутузов) Павел Иванович (1767—1829) — стихотворец, сенатор, попечитель Московского университета 240.
- Кушелев* Григорий Григорьевич (1754—1833), граф — владелец села Ильинского, на территории которого были развалины древней Ольвии 340, 350.
- Лабос* (Ла Воэси) Этьен (1530—1563) — французский поэт и публицист, друг Монтеня 105.
- Лагарп* Жан Франсуа (1739—1803) — французский критик, поэт и драматург, теоретик классицизма 156, 178, 189, 230, 247, 251.
- Лагарп* Фредерик Сезар де (1754—1838) — швейцарский политический деятель, воспитатель Александра I 348.
- Лакрегель* Жан-Шарль-Доминик (1766—1855) — французский историк 273.
- Ланской* Василий Сергеевич (ум. 1831) — в 1813 г. президент временного правительства Царства Польского 194.

- Ларошфуко* Франсуа, герцог (1612—1680) — писатель-моралист, автор «Максимов» 135, 178, 200.
- Лары* (рим. миф.) — души предков, хранители домашнего очага 52, 57, 66.
- Лас-Казас* Бартоломе де (1474—1566) — испанский гуманист, историк, публицист, в 1502—1550 гг. жил в странах Центральной и Южной Америки, самоотверженно боролся против жестокостей и злодеяния колонизаторов 137, 158, 228.
- Лаура* — героиня сонетов и других лирических стихотворений, а также поэмы Ф. Петрарки 144—153.
- Лафонтен* Жан де (1621—1695) — французский баснописец 132, 163, 178, 197, 254—256, 262, 273, 278, 288.
- Лахезиса* (Лахезис) (греч. миф.) — одна из мойр, богинь судьбы 158.
- Лебрен* (Лебрюн) Пьер Антуан (1785—1873) — французский поэт 96, 186, 217.
- Леда* (греч. миф.) — супруга спартанского царя, которой Зевс овладел, превратившись в лебедя 195, 208.
- Ле Ногр* Анри (1613—1700) — французский садовый архитектор, устроитель Версальских садов 96.
- Леонид* (508—480 до н. э.) — спартанский царь, герой греко-персидских войн 136.
- Лесаж* Ален Рене (1668—1747) — французский писатель, автор романов «Хромой бес» и «История Жиль Блаза из Сангильяны» 182.
- Лета* (греч. миф.) — «река забвения» по пути в царство мертвых 62, 65, 75, 76, 77, 186, 220, 221.
- Летиция* — мать Наполеона Бонапарта 96.
- Лихачев* Павел — второстепенный поэт 1810-х годов 300.
- Лобанов* Михаил Евстафьевич (1787—1846) — драматург и переводчик 238.
- Локк* Джон (1632—1704) — философ и педагог, автор системы воспитания английского джентльмена 79, 244.
- Ломоносов* Михаил Васильевич (1711—1765) — 56, 76, 83, 85, 99, 106, 107, 109, 133, 134, 142, 154—158, 161—166, 174, 180, 196, 197, 200, 247, 304, 307, 320, 350.
- Лосенков* (Лосенко) Антон Павлович (1737—1773) — исторический живописец и портретист 114.
- Лукницкий* Аристарх Владимирович (1778—1811) — литератор и театральная деятель, издатель журнала «Северный Меркурий» (1809—1811) 212.
- Лукреций* Кар Тит (98—55 до н. э.) — римский поэт-философ, изложивший в поэме «О природе вещей» материалистическую систему Эпикура 123, 184.
- Лунин* Михаил Сергеевич (1787—1845) — декабрист, один из учредителей Союза благоденствия, двоюродный племянник Батюшкова 286.
- Луцилий* Гай (180—103 до н. э.) — римский поэт-сатирик 330.
- Львов* Николай Александрович (1751—1803) — писатель, архитектор, художник, близкий круг М. Н. Муравьева 271.
- Львов* Павел Юрьевич (1770—1825) — плодовитый, но бездарный поэт 86, 230, 250, 271.
- Людвиг XIV* (Лудовик) (1638—1715) — французский король, чье правление было апогеем французского абсолютизма 103, 104, 156, 185, 230, 231, 271.
- Люлли* Жан-Батист (1632—1687) — основоположник французской оперной школы, писавший музыку к комедиям Мольера 278.

*Люгер* Мартин (1483—1546) — немецкий реформатор церкви, основатель лютеранства 183.

*Майков* Василий Иванович (1728—1778) — поэт, автор поэмы «Елисей, или Раздраженный Вах» (1771) и других произведений 123, 196.

*Макаров* Михаил Николаевич (1789—1847) — поэт, драматург, журналист, противник А. С. Шишкова 197, 254, 259.

*Маккиавели* (Макьявелли, Маккавель) Никколо (1469—1527) — итальянский политический мыслитель, писатель 312, 314.

*Маллет* (Малле-Дюпан) Жак (1749—1800) — французский журналист 188.

*Мальзерб* Кретьен-Гийом (1721—1794) — министр Людовика XVI, казненный якобинцами 138.

*Марин* Сергей Никифорович (1775—1813) — поэт-дилетант, получивший известность своими шуточными стихами 217, 242.

*Мария* (библ. миф.) — мать Иисуса Христа 144.

*Марк Аврелий* (121—180) — римский император, философ-стоик 120.

*Маркетти* Алессандро — переводчик Лукреция на итальянский язык 268.

*Мармонтель* Жан-Франсуа (1723—1799) — французский писатель 156, 178, 241.

*Марот* (Маро) Клеман (1496—1544) — французский поэт 161, 183, 317.

*Марс* — см. *Арей*

*Мартос* Иван Петрович (1752—1835) — русский скульптор 127.

*Мартынов* Иван Иванович (1771—1833) — писатель и переводчик, издатель журналов «Музы», «Северный вестник» 210.

*Массьё* (1772—1846) — французский педагог-глухонемой 134.

*Матаназий* — псевдоним Сент-Ясента, автора пародий на педагогические сочинения 249.

*Матвеев* Федор Михайлович (1758—1826) — русский пейзажист, живший в Риме 347.

*Маттисон* Фридрих (1761—1831) — немецкий поэт, мастер элегии 108, 268.

*Мегера* (греч. миф.) — одна из трех богинь мщения 83.

*Медем*, барон — русский офицер, участник похода 1813—1814 гг. 192, 193.

*Межаков* Павел Александрович (1788—1868) — вологодский помещик, поэт-дилетант 219.

*Мельпомена* (греч. миф.) — муза трагедии 47, 76.

*Мельхиседек* (библ. миф.) — священник, царь Солима (Иерусалима) 42.

*Мемнон* (греч. миф.) — князь эфиопский, убитый Ахиллесом 195.

*Менандр* (ок. 343—ок. 291 до н. э.) — греческий поэт-комедиограф 177.

*Менгс* Рафаэль Антон (1728—1779) — немецкий художник и теоретик живописи 128, 326.

*Меншиков* Александр Данилович (1673—1729) — светлейший князь, сподвижник Петра I 115.

*Мерзляков* Алексей Федорович (1778—1830) — поэт и критик, профессор Московского университета 77, 163, 177, 197, 206, 219, 222, 224, 240, 241, 245, 252, 253, 285, 300, 307, 342.

*Мерсье* Луи Себастьян (1740—1814) — французский писатель, автор утопиче-

ского романа «2440 год» и очерков «Картины Парижа» 263.

*Мессала* Корвин Марк Валерий (64 до н. э.—9 н. э.) — римский государственный деятель, оратор и поэт, покровитель Тибулла 131.

*Метастазий* (Метастазιο) Пьетро Бонавентура Трапацци (1698—1782) — итальянский поэт-либреттист 186.

*Метафрастик* — Метафраст, педант в комедии Мольера «Любовная досада» 249.

*Меценат* Гай Цильний (ок. 64—8 до н. э.) — римский государственный деятель, покровительствовавший поэтам и художникам 177, 184, 210.

*Мецковский* Алексей — поэт начала XIX века; около 1817 г. был сослан в Сибирь 305.

*Миллер* Иоганн Мартин (1750—1814) — немецкий писатель 198, 314.

*Милонов* Михаил Васильевич (1792—1821) — поэт 248, 256, 259.

*Милорадович* Михаил Андреевич, граф (1771—1825) — генерал, участник суворовских походов и войны 1812—1814 гг., с 1818 г. — петербургский генерал-губернатор 191, 193.

*Мильвуа* Шарль (1782—1816) — французский поэт-элегик 309.

*Мильтон* Джон (1608—1674) — английский поэт, публицист, республиканец 102, 284.

*Мимнерм* — греческий поэт VII в. до н. э. 356.

*Миних* Бурхард Кристоф (1683—1767) — русский военный и государственный деятель 314.

*Минос* (греч. миф.) — судья мертвых в подземном царстве 77, 80—82.

*Мирабо* Оноре Габриель Рикети (1715—1789) — деятель Великой французской революции 231, 232.

*Михаил Федорович* (1596—1645) — царь, первый из рода Романовых 106.

*Михаил Павлович*, великий князь (1798—1848) — четвертый сын императора Павла I 124.

*Мнемозина* (греч. миф.) — богиня памяти, мать девяти муз 29, 259.

*Могоммед* (Мухаммед) (ок. 570—632) — основатель ислама 144.

*Мольер* Жан Батист Поклен (1622—1673) — 103, 197, 198, 207, 250, 253, 333, 334.

*Монтброн* Жозеф-Черад — французский поэт, автор поэмы «Скандинавы» (1801) 188.

*Монтань* (Монтень) Мишель (1533—1592) — французский мыслитель, автор «Опытов» 105, 129, 161, 178, 183, 190, 194, 225, 230, 274, 320, 333.

*Монтескье* Шарль-Луи (1689—1755) — французский политический писатель, родоначальник европейского либерализма 100, 167—176, 273, 303, 308.

*Монти* Винченцо (1754—1826) — итальянский поэт и драматург 330.

*Моро* Жан-Виктор (1763—1813) — французский генерал, участник революционных войн, командовал армией; противник Наполеона, в 1804 г. арестован, затем эмигрировал; в 1813 г. — советник при штабе войск антинаполеоновской коалиции; был смертельно ранен в сражении под Дрезденом 158.

*Морфей* (греч. миф.) — бог сновидений 258.

*Мосх* — греческий поэт II в. до н. э. 161, 356.

*Муравьев* Михаил Никитич (1757—1807) — писатель и государственный деятель, двоюродный дядя Батюшкова 102—113, 116, 145, 154, 165, 166, 197, 231, 236, 241, 278, 279, 283—287, 295, 296, 302, 350.

*Муравьев* Никита Михайлович (1796—1843) — сын М. Н. Муравьева, видный деятель декабристского движения; троюродный брат Батюшкова 293, 299, 301, 305, 331—332.

*Муравьев* Николай Назарьевич (1775—1845) — в 1803 г. старший письмоводитель канцелярии по делам Московского университета 220, 231.

*Муравьева* (урожд. Колокольцова) Екатерина Федоровна (1771—1848) — жена М. Н. Муравьева, одна из самых близких Батюшкову людей 206, 229, 236, 284, 293, 310, 336, 344, 345.

*Муравьев-Апостол* Иван Матвеевич (1765—1851) — государственный деятель, писатель, отец трех декабристов; родственник Батюшкова 65, 102, 185, 197, 230, 238, 250, 279, 286, 305, 310—311, 321, 332.

*Мурилло* (Мурильо) Бартоломе (1617—1680) — испанский художник, глава «сильской школы» 113.

*Наполеон I Бонапарт* (1769—1821) — 71, 90, 96, 120, 202, 271, 273, 274, 276, 277, 281, 288, 336.

*Нартов* Андрей Андреевич (1737—1813) — президент Российской академии (1801—1813), поэт, драматург, переводчик 208.

*Нарушевич* Адам Станислав (1733—1796) — польский историк, поэт 339.

*Нелединский-Мелецкий* Юрий Александрович (1752—1829) — сенатор, поэт карамзинского круга 56, 163, 197, 234, 240, 248, 277, 278, 285, 306.

*Невзоров* Максим Иванович (1762—1827) — поэт, издатель журнала «Друг юношества» 256.

*Немезида* (греч. миф.) — богиня судьбы и возмездия 146.

*Нерон* (37—68) — римский император 178—202.

*Нестор* (1056—1114) — монах Киево-Печерского монастыря, автор житий, составитель Начального летописного свода (первой редакции «Повести временных лет») 127.

*Николай Павлович*, Великий князь (1796—1855) — третий сын Павла I, впоследствии российский император Николай I 124.

*Николев* Николай Петрович (1758—1815) — поэт и драматург, член Российской академии 86.

*Никольский* Александр Сергеевич (1755—1834) — писатель, переводчик 197, 308.

*Ниоба* (Ниобея) (греч. миф.) — жена фиванского царя, окаменевшая от скорби при виде смерти своих детей; здесь: античная скульптурная группа 120.

*Новиков* Николай Иванович (1744—1818) — просветитель, писатель, журналист 324.

*Новосильцов* Николай Николаевич (1768—1838) — государственный деятель; с 1815 г. был делегатом императора Александра I при правительственном совете Царства Польского 335.

*Ньютон* Исаак (1643—1727) — 124.

*Овидий* Назон Публий (43 до н. э.—17 н. э.)—римский поэт 48, 123, 131, 145, 147, 149, 161, 253, 255, 324, 325, 331.

*Оден* (Один) (сканд. миф.) — верховное божество, покровитель воинов 38, 107, 181, 182.

- Озеров* Владислав Александрович (1769—1816) — драматург 47, 119, 196, 205, 206, 228, 257, 296, 297, 337.
- Оленин* Алексей Николаевич (1763—1843) — писатель, археолог, художник; с 1811 г. директор Публичной библиотеки, с 1817 г. президент Академии художеств; хозяин известного литературного салона 28, 216—218, 240, 265, 282, 303, 320, 325, 326, 340, 341, 346—348.
- Оленин* Николай Алексеевич (1885—1812) — старший сын А. Н. Оленина; погиб под Бородином 205, 206.
- Оленин* Петр Алексеевич — младший сын А. Н. Оленина 351.
- Оленина* (урожд. Полторацкая) Елизавета Марковна (1768—1838) — жена А. Н. Оленина, «добрая Элиза» 64.
- Олин* Валерьян Николаевич (1788—1839) — плодовитый стихотворец и переводчик 296, 301, 320.
- Омир*, *Омер* — см. *Гомер*.
- Орлов* Михаил Федорович (1788—1842) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г., один из основателей декабристских обществ, член «Арзамаса» 328.
- Орловский* Александр Осипович (1777—1832) — художник, академик живописи 101.
- Орфей* (греч. миф.) — поэт и музыкант, очаровывавший игрой на лире не только людей, но и богов и природу 44, 47.
- Орфей Орфеич* — см. *Державин*.
- Оссиан* — легендарный кельтский воин и бард, под именем которого шотландский писатель Джеймс Макферсон (1736—1796) выпустил сборник своих обработок кельтских преданий и легенд и стилизаций под шотландский фольклор 182, 331.
- Остен-Сакен* Дмитрий Ерофеевич, граф (1790—1888) — генерал-адъютант, участник Отечественной войны 1812 г. 273.
- Остерман-Толстой* Александр Иванович, граф (1770—1857) — генерал, командовавший корпусом во время кампании 1812—1814 гг. 191.
- Палиссот* (Палиссо) Монтеню де (1730—1814) — французский писатель 97, 219.
- Палицын* Александр Александрович — поэт, делавший попытки восстановить силлабический стих, «гроза чтецов» 88, 273.
- Панаев* Владимир Иванович (1792—1869) — поэт-сентименталист 331.
- Панар* Шарль (1694—1765) — французский куплетист и водевилист 218, 244.
- Парни* Эварист-Дефорж де (1753—1814) — французский поэт 156, 187, 202, 220, 225, 228, 231, 234—236, 273.
- Паскаль* Блез (1623—1662) — французский математик, физик и богослов, автор «Мыслей» 178.
- Пасквио* (Пасквино) — здесь: античная статуя в Риме, к которой в средние века прикреплялись злободневные сатирические надписи, эпиграммы и пр. 354.
- Пенаты* (рим. миф.) — боги-покровители домашнего очага 52, 57, 99.
- Персий* Флакк Авл (34—62) — римский поэт-сатирик 168.



- Перужини* (Перуджино) Пьетро (ок. 1450—1523) — итальянский живописец 348.
- Петин* Иван Александрович (1789—1813) — офицер, близкий друг Батюшкова; погиб в Лейпцигском сражении 186, 283.
- Петр I Великий* (1672—1725) — русский император 83, 115, 117, 158, 161, 169—172, 174, 196, 197, 215, 269, 354.
- Петр Пустынник* — Петр Амьенский (1050—1115), католический монах, организатор первого крестового похода 177.
- Петрарка* Франческо (1304—1374) — итальянский поэт 62, 102, 131, 144—154, 161, 187, 188, 252, 284, 298, 303, 321, 330.
- Петров* Василий Петрович (1736—1799) — поэт-классицист 196, 252, 308.
- Петров* Ясон Васильевич (1780—1850-е) — сын В. П. Петрова, профессор ботаники Московского университета; занимался стихотворством 202, 203, 308.
- Пиериды* (греч. миф.) — музы 57, 66, 239.
- Пизарро* Хуанчиско (1475—1541) — испанский конкистадор; «сибирский Пизарр» — Ермак 67.
- Пильпай* (Бидпай) — древнеиндийский баснописец 57.
- Пиндар* — греческий поэт VI—V в. до н. э. 43, 56, 66, 83, 110, 203, 217, 296.
- Пирон* Алексис (1689—1773) — французский поэт и драматург 226, 240, 244, 249.
- Писарев* Александр Александрович (1780—1848) — офицер (впоследствии генерал), писатель, член «Беседы» 94, 99, 100, 188, 192, 215, 218, 233.
- Платон* (427—348 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист 56.
- Плетнев* Петр Александрович (1792—1862) — поэт, критик, журналист 70, 354, 356.
- Плещеев* Александр Алексеевич (1778—1849) — поэт-дилетант, член «Арзамаса» 261, 337, 344.
- Плиний* Кай Секунд Старший (23—79) — римский ученый и писатель; погиб, наблюдая знаменитое извержение Везувия 348, 351, 352.
- Плутарх* (50—120) — греческий писатель, автор «Сравнительных жизнеописаний», содержащих биографии сорока шести знаменитых людей древности 110, 166, 198, 228, 283.
- Пнин* Иван Петрович (1773—1805) — поэт, публицист, президент «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» в 1805 г. 46, 187, 197.
- Пожарский* Дмитрий Михайлович, князь (1578—ок. 1641) — вождь дворянского ополчения в 1612 г. 81.
- Поздняк* Дмитрий Прокопьевич — приятель Н. И. Гнедича 350, 351.
- Полетика* Петр Иванович (1778—1849) — русский дипломат, член «Арзамаса» 339.
- Политковский* Гавриил Герасимович (ок. 1770—1825) — сенатор, поэт, член «Беседы» 88.
- Полозов* Алексей (ум. 1812) — приятель Батюшкова и Гнедича 210, 219.
- Полторацкий* Дмитрий Маркович (ок. 1750—1818) — знакомый Батюшкова, сельский хозяин и коннозаводчик 323.
- Полторацкая* Агата Дмитриевна (ум. 1815) — дочь Д. М. Полторацкого 288.
- Помпадур* Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза (1721—1764) — фаворитка короля Людовика XIV и самое могущественное при нем лицо 97.

- Попе* (Поп) Александр (1688—1744) — английский поэт, автор поэмы «Дунциада» 284, 345.
- Поповы* — московские знакомые Батюшкова 327.
- Погемкин* Григорий Александрович (1739—1791) — государственный и военный деятель; фаворит Екатерины II 213, 311.
- Погемкин* Павел Сергеевич (1743—1796) — государственный деятель и писатель 87.
- Пракситель* — греческий скульптор IV в. до н. э. 169.
- Прокопович* Феофан (1681—1736) — церковный деятель, просветитель и писатель 175, 258.
- Прокопович-Антонский* Антон Антонович (1771—1846) — профессор Московского университета, председатель Общества любителей российской словесности 240, 307.
- Проперций* Секст — римский поэт I в. до н. э. 145, 149, 161, 324.
- Протей* (греч. миф.) — морской старец, обладавший способностью бесконечно изменять свой облик 45, 49, 138, 216.
- Психея* (греч. миф.) — олицетворение человеческой души 76, 78.
- Пуссень* (Пуссен) Никола (1593—1665) — французский художник 122.
- Пушкин* Александр Сергеевич (1799—1837) — 316, 339, 340, 343, 345, 349, 351.
- Пушкин* Алексей Михайлович (1769—1825) — дальний родственник А. С. Пушкина, поэт и актер-дилетант 264, 266, 276, 316, 318.
- Пушкин* Василий Львович (1770—1830) — дядя А. С. Пушкина, поэт, член «Арзамаса» 70, 163, 197, 234, 237, 240—242, 247, 248, 250, 252, 257, 259—262, 264, 266, 267, 276, 278, 286, 296, 298, 301, 316—319, 327, 328, 333, 337, 338, 345.
- Пушкина* Елена Григорьевна — жена А. М. Пушкина 269, 270, 276.
- Радищев* Александр Николаевич (1749—1802) — 188, 197.
- Радищев* Николай Александрович (1779—1829) — сын А. Н. Радищева, поэт и переводчик 207, 208, 210, 220, 224.
- Раевский* Николай Николаевич (1771—1829) — генерал, герой Отечественной войны; в 1813—1814 гг. Батюшков был его адъютантом 191—193, 201.
- Расин* Жан (1639—1699) — французский драматург 79, 94, 103, 122, 164, 185, 189, 232, 238, 239, 262, 273, 332.
- Рафаэль* Санти (1483—1520) — 113, 122, 124, 158, 272, 300, 347, 348.
- Ржевский* Григорий Павлович — поэт 1810-х годов 322.
- Риенци* (Риенци) Кола ди (1313—1354) — вождь антифеодального восстания 1347 г. в Риме 150.
- Рихман* Георг Вильгельм (1711—1753) — русский физик; вместе с Ломоносовым вел исследования атмосферного электричества 156, 157.
- Робертсон* Вильям (1721—1793) — английский историк 228.
- Робеспьер* Максимилиан (1758—1794) — один из вождей Великой французской революции 150.
- Роза* Сальватор (1615—1673) — итальянский живописец 101, 113.
- Розенкамф* Густав Андреевич, барон (1762—1832) — юрист и ученый 341.

- Роллен Шарль* (1661—1741) — французский историк, автор многотомных исторических трудов, переведенных В. К. Тредиаковским 85, 289.
- Россини Джоакино* (1792—1868) — итальянский композитор 348.
- Рубенс Питер Пауль* (1577—1640) — фламандский художник 122, 123, 290.
- Румянцев Николай Петрович, граф* (1754—1826) — государственный деятель, дипломат, основатель Румянцевского музея в Москве 127, 343, 346.
- Рурик* (Рюрик) — легендарный варяжский князь, призванный, согласно «норманнской теории», в 862 г. славянами на Русь 104, 107, 324.
- Руссо Жан-Батист* (1670—1741) — французский поэт 289.
- Руссо Жан-Жак* (1712—1778) — французский писатель и мыслитель 79, 108, 133, 134, 195, 215, 263.
- Саллустий* (Саллюстий) (86—ок. 35 до н. э.) — римский историк 184.
- Салтыков Михаил Александрович* (1767—1851) — попечитель Казанского учебного округа, почетный член «Арзамаса» 339, 344.
- Самарина* (Квашнина-Самарина) Анна Петровна — фрейлина Екатерины II, любительница литературы 209, 211, 218, 233, 234.
- Саул* — основатель Израильско-иудейского государства (XI в. до н. э.) 246.
- Сафо* — греческая поэтесса VII—VI вв. до н. э.; по преданию, влюбилась в юношу Фаона и, не встретив взаимности, бросилась в море с Левкадской скалы 62, 74, 79, 161, 216, 217, 233.
- Сахарова Мария Степановна* — драматическая актриса второй половины XVIII в. 119.
- Свешников* — московский книгопродавец 332.
- Сви́ньин Павел Петрович* (1788—1839) — писатель и журналист; плавал в экспедиции адмирала Сенявина (1805—1810), о котором опубликовал воспоминания 336, 350.
- Свято́слав I* (ум. 972) — князь Киевский, сын князя Игоря 269, 341.
- Северин Дмитрий Петрович* (1792—1865) — дипломат и поэт-дилетант, член «Арзамаса» 257, 259, 261, 262, 266, 275, 277, 286, 287, 328, 337—339, 345.
- Севинье Мария, маркиза* (1626—1696) — французская писательница 212.
- Сегюр Луи-Филипп, граф* (1753—1830) — французский государственный деятель и писатель 184, 273, 344.
- Семенова Екатерина Семеновна* (1786—1849) — трагическая актриса 50, 119, 186, 209, 211, 218.
- Семиан де* — племянница маркизы дю Шатле 96, 99.
- Сенека Луций Анней* (3 до н. э.—65 н. э.) — римский философ, писатель 94, 148, 180, 202, 309, 330, 352.
- Сен-Ламбер Жан-Франсуа* (1716—1803) — французский поэт, автор поэмы «Времена года» 98, 199, 200, 242, 243.
- Сен-При Эммануил* (1776—1814) — французский эмигрант на русской службе, генерал, участник Отечественной войны 1812—1814 гг.; убит под Реймсом 345.
- Сен-Пьер Жак-Анри Бернарден де* (1737—1814) — французский писатель, автор романа «Поль и Виргиния» 195.
- Сервантес Сааведра Мигель де* (1547—1616) — 61, 167, 203.

*Серра-Каприола* Антонио Мареска (1750—1822) — неаполитанский посланник при русском дворе 348.

*Сикар* (1742—1822) — аббат, французский педагог, заведовавший парижским интернатом для глухонемых 134, 273.

*Симонид* Кеосский — греческий поэт VI—V вв. до н. э. 161.

*Синекдохос* — педант из комедии Я. Б. Княжнина «Неудачный примиритель» 250.

*Синеус* — легендарный варяжский князь, прибывший, согласно «норманнской теории», на Русь вместе с Рюриком 106.

*Сиряков* Иван — переводчик «Генриады» Вольтера (1803) 83.

*Сисмонди* Жан Шарль Леонард (1773—1842) — швейцарский экономист и историк 315, 321.

*Скривериус* (Скривер) — голландский ученый и писатель XVI в. 249.

*Сладковский* Роман — автор поэмы «Петр Великий» (1803) 221, 222.

*Сковнин* Сергей Михайлович — знакомый Вяземского 309.

*Соколов* — провиантский чиновник, чтец «Беседы» 88.

*Сократ* (469—399 до н. э.) — греческий философ 149, 158, 189, 200—201.

*Соломон* — царь Иудейского государства в 965—928 до н. э. 149, 273.

*Сонцев* Матвей Михайлович (ум. 1848) — камергер, родственник В. Л. Пушкина 316.

*Софокл* (ок. 496—406 до н. э.) — греческий поэт-драматург 162, 198.

*Сталь* Жермена де (1766—1817) — французская писательница, романы которой проповедовали культ чувства и свободу женской личности 131, 321.

*Станевич* («Штаневич») Евстафий Иванович (1775—1835) — писатель, член-сотрудник «Беседы» 88, 218, 233, 246, 250.

*Строганов* Александр Сергеевич, граф (1733—1811) — президент Академии художеств 126.

*Суворов* Александр Васильевич (1729—1800) — 72, 90, 158, 269, 341.

*Суворов* Прохор Игнатьевич (1750—1815) — профессор Московского университета, член Российской академии 245.

*Сумароков* Александр Петрович (1718—1777) — русский писатель-классицист 76, 77, 119, 156, 157, 162, 196, 216.

*Сумароков* Панкратий Платонович (1765—1814) — второстепенный поэт-карамзинист 197.

*Сципион Старший* (ок. 235—183 до н. э.) — римский полководец, проявлявший милосердие к побежденным 148, 150, 168.

*Сюар* Жан-Батист (1733—1817) — французский критик и журналист 273.

*Сюлли* Максимилиан де Бетюн, герцог (1560—1651) — французский государственный деятель, министр Генриха IV 273.

*Тальма* Франсуа Жозеф (1763—1826) — французский трагический актер 275.

*Тасс* (Тассо) Торквато (1544—1595) — итальянский поэт 32—36, 45, 48—50, 102, 124, 125, 131, 133, 138—144, 148, 152—154, 167, 186, 188, 189, 206, 209—211, 218, 219, 222, 228, 230, 231, 252, 255, 298, 303, 311, 312, 314, 315, 320—324, 326, 328, 330, 331, 342, 349.

*Тацит* Корнелий (ок. 55—120) — римский государственный деятель и историк 168, 172, 178, 351.

- Тибулл* — римский поэт I в. до н. э. 113, 131, 145—147, 149, 161, 186, 203, 211, 225, 243, 273, 334, 356.
- Тиверий* (Тиберий) (42 до н. э.—37 н. э.) — римский император с 14 н. э. 178, 352.
- Тиртей* — греческий поэт VII в. до н. э. 68.
- Тит Ливий* (59 до н. э.—17 н. э.) — римский историк 184.
- Титова* Елизавета Ивановна (1780—1840-е) — писательница, автор сентиментальной драмы «Густав Ваза, или Торжествующая невинность» (1809) 79, 217.
- Тициан* Вечеллио (ок. 1477—1576) — итальянский художник 123, 124.
- Тома де Томон* Жан (1759—1813) — французский архитектор, работавший в Петербурге, где построил здание Биржи 117.
- Томсон* Джеймс (1700—1748) — английский поэт, автор дидактической поэмы «Времена года» 256.
- Тончи* Николай Иванович (1756—1844) — итальянский художник и поэт, живший в России 328.
- Торвальдсен* Бертель (1770—1844) — датский скульптор 347.
- Тредьяковский* (Тредиаковский) Василий Кириллович (1703—1769) — поэт, переводчик, теоретик литературы 75, 80, 81, 84, 85, 156, 157, 196, 207, 208, 210, 215, 242.
- Трубецкой* Никита Юрьевич (1699—1767) — друг Кантемира, генерал-фельдмаршал, с 1740 г. сибирский губернатор 167, 175.
- Трубецкой* Юрий, князь — знакомый Батюшкова 286.
- Трувор* — легендарный варяжский князь, согласно «норманнской теории» принявший управление над кривичами 106.
- Тургенев* Александр Иванович (1784—1845) — общественный деятель, историк, археолог, мемуарист; член «Арзамаса» 61, 64, 275, 280—282, 306, 322, 327, 328, 337, 339, 340, 342—345, 348, 349.
- Тургенев* Иван Петрович (1752—1807) — отец А. И. и Н. И. Тургеневых, директор Московского университета 110.
- Тургенев* Николай Иванович (1789—1871) — общественный деятель, один из учредителей декабристских обществ 258, 342, 345.
- Уваров* Сергей Семенович, граф (1786—1855) — государственный деятель, автор реакционной «теории официальной народности» («православие, самодержавие и народность»), член «Арзамаса», с 1818 г. — президент Академии наук 68, 203, 301, 324, 339, 344, 349, 350.
- Ухтомский* Андрей Григорьевич (1771—1852) — русский гравёр, академик живописи 305.
- Ушаков* Федор Федорович (1744—1817) — русский флотоводец 194.
- Фабий* Максим Кункатор (284—203 до н. э.) — римский полководец, известный своей осторожностью и медлительностью 191.
- Фабриций* Джероламо (1533—1619) — итальянский анатом 150.
- Фавны* (рим. миф.) — боги полей, лесов, пастбищ, животных 114, 127, 207.
- Фальконе* (Фальконе) Этьен Морис (1716—1791) — французский скульптор, автор памятника Петру I в Петербурге 113, 120.

*Фаон* — см. *Сафо* 40, 74.

*Феб* — см. *Аполлон*.

*Федр* — римский баснописец I в. до н. э. 57.

*Фенелон* Франсуа Салиньяк де ла Мот (1651—1715) — французский писатель, автор романа «Похождения Телемака» 109, 263, 273, 284.

*Феокрит* — греческий поэт III в. до н. э., создатель жанра идиллии 145, 161.

*Ферран* Антоний, граф (1758—1825) — французский государственный деятель и историк 243, 244.

*Фетида* (греч. миф.) — доброе морское божество 29, 313.

*Фигнер* Александр Самойлович (1787—1813) — один из организаторов партизанских действий Отечественной войны 1812 г. 124, 125.

*Фидиас* (Фидий) — греческий скульптор V в. до н. э. 285, 328.

*Филарет* (в миру — Василий Михайлович Дроздов, 1782—1867) — деятель церкви, впоследствии митрополит Московский 82, 214, 344.

*Филимонов* Владимир Сергеевич (1787—1858) — поэт и прозаик, автор поэмы «Дурацкий колпак» 258, 313.

*Филомела* (греч. миф.) — афинская царица, превращенная богами в соловья 233.

*Флегетон* (греч. миф.) — подземная огненная река в царстве мертвых 83.

*Флеранж* — средневековый французский рыцарь 148.

*Фома Неверный* — по евангельской легенде, один из апостолов, отказавшийся верить в воскресение Христа, пока не ощупает его раны 272.

*Фонвизин* Денис Иванович (1744—1792) — писатель, драматург 77, 196, 197, 213, 250.

*Фонтан* (Фонтань) Луи, маркиз (1757—1821) — французский поэт и государственный деятель 239, 273.

*Фонтенель* Бернар (1657—1757) — французский писатель и ученый 104, 168, 169, 174, 250.

*Фортуна* (рим. миф.) — богиня случая, счастья и благополучия 34, 57, 67, 158—160, 327, 330, 334.

*Фосс* Иоганн Генрих (1751—1826) — немецкий филолог и поэт 271.

*Франклин* Бенджамен (1706—1790) — американский государственный деятель и писатель-моралист 179.

*Франциск I* (1515—1547) — французский король, покровительствовавший гуманистам, идеологам Возрождения 161.

*Фрерон* Эли-Катрин (1719—1776) — французский консервативный писатель, противник Вольтера и энциклопедистов 217, 219, 222, 254.

*Фридрих II* (1712—1786) — прусский король 223.

*Фукидид* — греческий историк V в. до н. э. 69.

*Фурман* Анна Федоровна (1791—1850) — воспитанница семьи Олениных 28.

*Хариты* (греч. миф.) — три сестры, дочери Зевса, богини изящества, дружбы и веселья 31, 56, 57.

*Хвостов* Дмитрий Иванович, граф (1757—1835) — сенатор, плодовитый поэт, эпигон классицизма, излюбленная мишень для шуток и пародий современников 61, 87—89, 233, 238, 239, 246, 248, 256, 259, 262, 263, 267, 271, 322, 327, 332, 336, 338, 345, 353.

*Хемницер* Иван Иванович (1745—1784) — поэт и баснописец 57, 76, 162, 196.  
*Херасков* Михаил Матвеевич (1733—1807) — писатель-классицист, директор Московского университета в 1763—1802 гг. (с перерывами) 76, 165, 178, 187, 196, 209, 247.

*Христос* (Иисус Христос)—121, 122, 123, 137, 144, 200, 202.

*Церера* (рим. миф.) — богиня посевов и плодородия 31.

*Цирцея* (греч. миф.) — волшебница, превратившая спутников Одиссея в свиней 51, 64, 352.

*Цитера* — остров, где было средоточие культа Афродиты 43, 68, 75.

*Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский политический деятель, оратор, философ, писатель 102, 161, 184, 202, 258, 352.

*Чингисхан* (ок. 1155—1227) — основатель и великий хан Монгольской империи (с 1206 г.), организатор опустошительных завоевательных походов против народов Азии и Восточной Европы 112, 262.

*Чино да Пристойя* (ок. 1265—1337) — итальянский поэт 149.

*Шаликов* Петр Иванович, князь (1768—1852) — писатель-сентименталист, подражатель Карамзина 69, 78, 79, 180, 183, 211, 217, 237, 238, 244, 250, 253, 254, 256, 259, 260, 271, 301, 315, 325, 331, 332, 339, 352.

*Шапель* (Луиллер) Клод Эммануил (1626—1686) — французский поэт 178.

*Шатле* Габриэль Эмилия дю, маркиза (1706—1749) — французская писательница 94—100, 303, 304.

*Шагобриан* Франсуа Рене де (1768—1848) — французский писатель-романтик 189, 226, 243, 250, 273.

*Шагров* Николай Михайлович (1765—1848) — литератор из враждебной Карамзину группировки 296.

*Шаховской* Александр Александрович, князь (1777—1846) — драматург и театральный деятель, член «Беседы» 87, 205, 210, 213, 218, 219, 234, 237, 243, 257, 259, 296—299.

*Шварценберг* Карл Филипп, герцог (1771—1820) — австрийский фельдмаршал, командующий союзными войсками в 1813—1814 гг. 194.

*Шебуев* Василий Кузьмич (1777—1855) — русский художник, представитель академической школы 331.

*Шекспир* Уильям (1564—1616) — 164, 197.

*Шереметев* Борис Петрович, граф (1652—1719) — генерал-фельдмаршал, сподвижник Петра I 115.

*Шиллер* Иоганн Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт и драматург 101, 108, 162, 198, 270, 340.

*Шиллинг* фон Кандштадт Павел Львович, барон (1787—1837) — русский ученый, востоковед, создатель телеграфа 351.

*Шихматов* (Ширинский-Шихматов) Сергей Александрович, князь (1783—1837) — поэт, последователь Шишкова, автор поэм «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия» и «Петр Великий» 81, 83, 85—87, 177, 222, 232, 233, 237, 238, 245, 246, 256, 258, 259, 320, 334, 338.

*Шишков* Александр Семенович (1754—1841) — адмирал, президент Российской академии (1813—1841), вдохновитель и организатор «Беседы», министр народного просвещения (1824—1828), консерватор 80, 81, 86, 87, 89, 177, 197, 211, 218, 233, 237, 238, 240—243, 245—247, 250, 256, 258, 259, 282, 307, 334.

*Шлецер* Август Людвиг (1735—1809) — немецкий историк, адъюнкт Российской академии 256.

*Шолье* (Шолио) Гильом Амфри де (1639—1720) — французский поэт 132, 178, 225, 239, 240, 243, 260.

*Шгелли* Якоб (1709—1785) — профессор, секретарь Академии наук 157.

*Шувалов* Андрей Петрович, граф (1744—1789) — поэт-дилетант 156, 165.

*Шувалов* Иван Иванович, граф (1727—1797) — вельможа и государственный деятель, покровительствовал наукам и искусствам, вместе с Ломоносовым основал Московский университет 109, 156, 157, 307, 350.

*Щедрин* Сильвестр Феодосиевич (1791—1830) — русский пейзажист 346.

*Щербатов* Алексей Григорьевич, князь (1777—1848) — родственник Карамзина 351.

*Эвклид* (Евклид) — древнегреческий математик 3 в. до н. э. 250.

*Эменида* (Эриния) (греч. миф.) — богиня мщения 48, 49.

*Эврипид* (Еврипид) (480—406 до н. э.) — древнегреческий драматург 47, 198, 339, 341.

*Эида* (греч. миф.) — щит Зевса, символизирующий грозовую тучу 31, 80.

*Эйлер* Леонард (1707—1783) — математик, механик, физик и астроном, академик Российской академии 350.

*Элеонора* д'Эсте — сестра герцога Феррарского Альфонса, в которую, согласно легенде, был влюблен Тассо 35.

*Элизий* (греч. миф.) — посмертное жилище блаженных душ 48, 76.

*Эльзевир* — семья нидерландских издателей и типографов, выпускавших красочные малоформатные издания 305.

*Эпиктет* (ок. 50—138) — римский философ-стоик 309.

*Эпименид* (греч. миф.) — легендарный жрец-прорицатель, заснувший на 57 лет 170.

*Эрмий* (Гермес) (греч. миф.) — покровитель пастухов и путников, бог торговли и прибыли, проводник теней усопших в царство мертвых 76.

*Эрот* (греч. миф.) — сын Афродиты, бог любви 46, 57, 58, 78, 114, 132, 214.

*Этьен* Шарль Гильом (1778—1845) — французский драматург и публицист 273.

*Ювенал* Децим Юний (ок. 47—131) — римский поэт-сатирик 168, 174, 177, 185, 195, 216.

*Юнг* Томас (1773—1829) — английский ученый 79, 258, 296.

*Юнона* (рим. миф.) — богиня ночного неба, покровительница женщин 120.

*Языков* Дмитрий Иванович (1773—1845) — поэт и переводчик 78, 301.

*Яковлев* Алексей Семенович (1773—1817) — актер 210, 307.

*Янус* (рим. миф.) — бог-покровитель входов и выходов и вообще каких-либо начинаний 165.



## КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА К. Н. БАТЮШКОВА\*

1787. 18 мая\*\* — в Вологде, в семье Николая Львовича Батюшкова и его жены Александры Григорьевны (урожд. Бердяевой), родился сын Константин.

1787—1796. Жизнь в родовом имении Батюшковых, селе Даниловском Бежецкого уезда Тверской губернии (вблизи города Устюжны).

1795. 21 марта — в Петербурге умерла мать Батюшкова, за несколько лет до того лишившаяся рассудка.

1797—1800. Пребывание в пансионе француза О. П. Жакино.

1801. Переход в пансион учителя морского кадетского корпуса И. А. Триполи. Первый литературный опыт — перевод на французский язык Слова митрополита Платона по случаю коронации Александра I. Осень — перевод был выпущен отдельной брошюрой П. А. Соколовым, пошехонским помещиком, знакомым Н. Л. Батюшкова.

1802. Первая половина — Батюшков оканчивает пансион Триполи и поселяется в доме своего двоюродного дяди М. Н. Муравьева, под влиянием которого изучает латинский язык и античную литературу. Осень — определен на службу во вновь образованное Министерство народного просвещения, сначала в числе «дворян, положенных при департаменте», затем в канцелярию М. Н. Муравьева (товарища министра) «письмоводителем по Московскому университету».

1802—1804. Сближение с товарищами по службе, членами «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» — И. П. Пниним, Д. И. Языковым, Н. А. Радицевым, Н. Ф. Остолоповым. Знакомство с поступившим в 1803 году на службу в министерство поэтом Н. И. Гнедичем, семьей А. Н. Оленина, Г. Р. Державиним, В. В. Капнистом, П. А. Ниловым, А. П. Квашниной-Самариной и др.

1805. Январь — первое выступление в печати: в журнале «Новости русской литературы» напечатано «Послание к стихам моим». 22 апреля становится действительным членом «Вольного общества...». Знакомство с И. М. Му-

---

\* Составлено при участии Л. В. Лаврова и С. Ю. Соловьева.

\*\* Все даты приводятся по старому стилю.

равьевым-Апостолом, Н. Ф. Кошанским, А. Ф. Мерзляковым. За 1803—1805 годы написано восемь стихотворений. В 1805 году напечатано пять стихотворений, в том числе «Элегия», «На смерть И. П. Пнина» и др.

**1806.** Знакомство с А. И. Тургеневым и И. А. Крыловым. Опубликовано «Совет друзьям» и «Мечта» (1-я редакция).

**1807.** *13 января* — Батюшков определяется под начальство А. Н. Оленина письмоводителем в канцелярию генерала Н. А. Татищева. *22 февраля* — назначен сотенным начальником в Петербургский милиционный батальон и сразу же покидает Петербург. *2 марта* находится в Нарве, *19 марта* — в Риге. *Март — май* — участвует в походе в Пруссию против Наполеона. Знакомство с И. А. Петиным. *24 мая* — участвовал в сражении под Гутштадтом. *29 мая* — ранен в сражении под Гейльсбергом. *Июнь — июль* — летит в Риге, живет в доме негодянта Мюгеля, увлекается его дочерью Эмилией, знакомится с М. Ю. Виельгорским. *30 июля* — смерть М. Н. Муравьева. *Август — сентябрь* — поездка в село Даниловское, разрыв с отцом из-за его вторичной женитьбы. Переселяется с сестрами Александрой и Варварой в родовое имение матери — село Хантоново Череповецкого уезда Новгородской губернии. *Сентябрь — октябрь* — перевод в гвардейский егерский полк, возвращение в Петербург, тяжелая болезнь. В 1807 году опубликовано «Послание к Г<неди>чу».

**1808.** *Апрель — июнь* — Батюшков в Вологде, занимается делами по разделу имения между сестрами (раздел произошел *12 июня*). *20 мая* — награжден орденом св. Анны III степени за храбрость в сражении при Гейльсберге. *Конец сентября* — возвращение к действительной службе: уходит в военный поход в Финляндию (в составе батальона егерей под командованием полковника А. П. Турчанинова). *Октябрь — декабрь* — живет в Иденсальми, Гамлекарлеби, Васе (Вазе). Опубликовано четыре стихотворения: «К Тассу», «Отрывок из 1-й песни «Освобожденного Иерусалима», «Сон могольца», «Пастух и Соловей».

**1809.** *Январь — начало марта* — живет в Васе. *Март* — принимает участие в походе на Аландские острова. *Апрель — май* — пребывание в местечке Надендал, близ Або. Подает просьбу об отставке через князя Багратиона. *6 мая* — письмо Гнедича с сообщением о присвоении Батюшкову звания подпоручика. *Конец мая* — получает отпуск, приезжает в Петербург. *Июль — середина декабря* — живет в Хантоново, после чего проездом в Вологде. *25 декабря* — по приглашению Е. Ф. Муравьевой приезжает в Москву. Написано «Видение на берегах Леты» и опубликовано семь стихотворений («Воспоминания 1807 года», «Стихи Е. С. Семеновы», «Тибуллова элегия III» и др.). Написаны первые прозаические стихотворения: «Отрывок из писем русского офицера о Финляндии» и «Похвальное слово сну» (1-я редакция).

**1810.** *Январь — конец мая* — живет в Москве в доме Е. Ф. Муравьевой. Хлопоты о гражданской службе (через князя И. А. Гагарина). Знакомится с В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, В. Л. и С. Л. Пушкиными, Н. М. Карамзиным, М. Т. Каченовским, П. И. Шаликовым и др. *Май* — уволен в отставку в чине подпоручика. *Начало июня* — встречи с Гнедичем, приехавшим в Москву. *Июнь — июль* — три недели отдыхает в Остафьево с Карамзиными, Жуковским, Вяземским, Дмитриевым. *Июль — декабрь* — проводит в Хантоново. После *25 декабря* едет в Вологду, болезнь. За год написано более 20 стихотворений

(опубликовано 15: «Веселый час», «Ответ Г<неди>чу», «Ложный страх», «Счастливец», «Вечер» и др.) и три прозаических опыта: «Предслава и Добрыня», «Мысли», «Анекдот о свадьбе Ривароля» (два последние опубликованы в 1810 году).

**1811.** *Январь* — Батюшков лечится в Вологде. *Начало февраля* — приезжает в Москву, где живет до *июля*. Знакомится с Ю. А. Нелединским-Мелецким, А. М. и Е. Г. Пушкиными, Д. П. Севериным, С. Н. Мариным, В. С. Филимоновым и др. *Конец мая — начало июля* — живет на даче Е. Ф. Муравьевой в Филях. *14 июля* приезжает в Хантоново, где находится до конца года: читает, переводит итальянских поэтов, занимается хозяйственными делами. *21 сентября* — Вяземский послал Батюшкову приглашение на свадьбу. За год написано восемь стихотворений («На смерть супруги Ф. Ф. К<оошки>на», «Мои Пенаты», «Дружество» и др.), а также «Прогулка по Москве». Опубликовано четыре стихотворения.

**1812.** *Январь — август* — живет в Петербурге. Участвует в заседаниях «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». Часто встречается с Н. И. Гнедичем, И. И. Дмитриевым, А. И. Тургеневым. Знакомится с Д. В. Дашковым, Д. Н. Блудовым, С. С. Уваровым и др. *14 и 18 марта* — инцидент в «Вольном обществе...» между Д. В. Дашковым и Д. И. Хвостовым, после которого Батюшков вышел из общества. *22 апреля* принят на службу в Публичную библиотеку в должности помощника хранителя манускриптов. *13 июня* — начало войны с Наполеоном. Заболевание лихорадкой мешает Батюшкову поступить в армию. *14 августа* — получил отпуск в Публичной библиотеке. *Около 20 августа* — отправляется в Москву по вызову больной Е. Ф. Муравьевой, сопровождает ее с детьми в Нижний Новгород. *4—7 сентября* — находится во Владимире, встречается с И. А. Петиним. *Около 10 сентября* — приезжает в Нижний Новгород, где живет до конца года. Знакомится с лечащимся там генералом А. Н. Бахметевым, который выразил готовность взять Батюшкова к себе в адъютанты. *Декабрь* — ездил в Вологду для свидания с родными и П. А. Вяземским, возвращался через разоренную Москву. *18 декабря* уволен из Публичной библиотеки в связи с поступлением на военную службу. За год написано 12 стихотворений («К Ж<уковско>му», «К Д<ашко>ву», «Ответ Т<ургене>ву», «Разлука» и др.). Опубликовано стихотворение «Дружество».

**1813.** *Февраль* — приезжает из Нижнего Новгорода в Петербург, где живет до *начала июля*. Увлечение воспитанницей Олениных А. Ф. Фурман. Вместе с А. Е. Измайловым пишет стихотворные сатиры «Певец в Беседе любителей русского слова» и «Разговор в царстве мертвых». *29 марта* — принят в военную службу с зачислением в Рыльский пехотный полк штабс-капитаном и с назначением в адъютанты к генералу Бахметеву. *Середина июля* — А. Н. Бахметев, приехавший в Петербург, дал разрешение Батюшкову ехать в действующую армию без него. *24 июля* — Батюшков отправился в армию; в *первой половине августа* доехал до главной квартиры русских войск в Дрездене (через Вильно, Варшаву, Силезию и Прагу), где получил от графа П. Х. Витгенштейна направление к генералу Н. Н. Раевскому, который оставил его при себе адъютантом. *15 августа* — участвовал в бою близ Теплица. *4 октября* — Лейпцигская «битва народов»,

где был убит И. А. Петин и ранен Н. Н. Раевский. *Октябрь — ноябрь* — живет с раненым Раевским в Веймаре. Затем был во Франкфурте-на-Майне, Мингейме, Фрейбурге, Карлсруге, Базеле. Встречался с Н. И. Тургеневым. *Декабрь* — вместе с Раевским возвратился в армию. Написаны четыре стихотворения. Опубликовано послание «К Д(ашко)ву».

**1814.** *Январь* — переход через Рейн и вступление во Францию. *27 января* — награжден орденом св. Анны II степени за сражение под Лейпцигом. *Февраль — середина марта* — боевые действия во Франции (крепость Бельфор, Арсисюр-Об, бои за Париж). *26 февраля* — посещение в Лотарингии замка Сирей. *19 марта* — в свите Александра I Батюшков вступает в Париж. Развлечения, посещение Французской Академии, болезнь. *17 мая* — выехал в Лондон по приглашению Д. П. Северина. *30 мая* — из Гарича на пикетботе «Альбион» отбыл в Готенбург (Швеция), куда прибыл *6 июня*. *Июнь* — проезд (по суше), в Стокгольм, откуда вместе с Д. Н. Блудовым через Финляндию (Або) выехал в Петербург (прибыл не позднее *10 июля*). *27 июля* — в Розовом павильоне Павловска, по случаю возвращения Александра I, праздник для которого Батюшков написал (по поручению Ю. А. Нелединского-Мелецкого) «Сцены четырех возрастов». *Осень* — живет у А. И. Тургенева. Принял на себя заботы по изданию «Эмилиевых писем» М. Н. Муравьева. Написано 11 стихотворений («Элегия из Тибулла», «Пленный», «Тень друга», «Переход через Рейн», «На развалинах замка в Швеции» и др.) и в прозе: «Письмо к И. М. М(уравьеву)-А(постолу)». О сочинениях г. Муравьева», «Прогулка в Академию Художеств», «Путешествие в замок Сирей».

**1815.** *Январь* — разрыв с А. Ф. Фурман, сильное нервное расстройство. *3—5 февраля* — в лицейском лазарете знакомится с А. С. Пушкиным. *Около 25 февраля* — отправляется в Хантоново, занимается хозяйственными делами, посещает больного отца в Даниловском и т. д. *8 июня* уезжает для продолжения службы в Каменец-Подольский, куда А. Н. Бахметев был назначен губернатором. *Около 10 июля* приехал к месту службы, где жил до *26 декабря*. Ходатайствует через Н. Н. Раевского о переводе в гвардию, но безуспешно. *14 октября* на организационном заседании «Арзамаса» заочно избран в члены общества (кличка «Ахилл»). *4 ноября* подал просьбу об отставке. *26 декабря* выехал в Москву. Написано 15 стихотворений и 8 прозаических сочинений. Опубликованы «Странствователь и Домосед», «Послание к И. М. М(уравьеву)-А(постолу)» и др.

**1816.** *Январь* — приехал в Москву, где остановился у И. М. Муравьева-Апостола. Получает перевод в гвардию, но не хочет продолжать службу, хлопочет об отставке. *26 февраля* — вместе с Жуковским избран в «Общество любителей российской словесности при Московском университете». *26 мая* — на заседании «Общества...» была прочитана «Речь о влиянии легкой поэзии на язык». *Около 8 апреля* — получает невыгодную отставку (уволен со службы коллежским ассессором). *Июнь — август* — болезнь. *Октябрь* — подготовил к печати и выслал Н. И. Гнедичу «Опыты в прозе». *Конец декабря* — приезжает в Хантоново. За год написано восемь стихотворений («Песнь Гаральда Смелого», «Послание к А. И. Т(ургене)ву» и др.) и проза — «Вечер у Кантемира».

**1817.** *Январь — июль* — живет в Хантоново, занимается подготовкой к пе-

части II тома «Опытов» («Опыты в стихах»), которые издает в Петербурге Гнедич. 6 января — в «Арзамасе» на 17-м заседании читает «Вечер у Кантемира». Май — едет в Москву, где живет две недели: хлопоты по закладу имения. Около 25 июля — 17 августа — находится у отца в Даниловском, после чего едет в Петербург. 25 августа — вместе с А. И. Тургеневым навёстит в Царском Селе Жуковского. 27 августа впервые присутствовал на заседании «Арзамаса» (26-м), где произнес «отходную» речь о секретаре Российской академии П. И. Соколове. 4 сентября — К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский и А. А. Плещеев проводят день в Царском Селе и сочиняют два экспромта. 18 сентября — присутствовал на прощальном заседании «Арзамаса». 5 октября — Батюшков и Пушкин проводили Жуковского в Москву. Начало октября — вышли в свет «Опыты в стихах и прозе». 18 ноября — Батюшков назначен почетным библиотекарем Публичной библиотеки. Около 20 ноября — умер Н. Л. Батюшков. Декабрь — пребывание в Даниловском и Устюжне, хлопоты по имению. В печати появляются отзывы на «Опыты», написанные А. Е. Измайловым, С. С. Уваровым, С. Н. Глинкой. За год написано десять стихотворений («Умирающий Тасс», «Беседка муз», «К Никите» и др.).

1818. 9 января — возвращается в Петербург, где живет до 11 мая. Хлопоты о поступлении на дипломатическую службу. Апрель — избран почетным членом «Вольного общества любителей российской словесности». 10 мая получает отпуск в библиотеке для поездки в Крым «с целью отыскания рукописей и остатков русских и греческих памятников». Июнь — Батюшков в Москве: хлопочет о помещении младшего брата Помпея в пансион. Около 20 июня — выехал в Одессу вместе с С. И. Муравьевым-Апостолом. Июль — начало августа — жизнь в Одессе у графа А. Сен-При. 16 июля — указ Александра I о пожаловании Батюшкову чина надворного советника и причислении его к неаполитанской миссии. 29 июля — получил известие об этом от А. И. Тургенева. 5 августа — получил приказ возвратиться в Петербург. 25 августа — прибыл в Москву, около 15 октября — в Петербург. Встречи с Жуковским, Пушкиным, Карамзиным, присутствовал на чтении Пушкиным отрывков из «Руслана и Людмилы». 19 ноября — отъезд в Италию. Проводы в Царском Селе, где присутствовали Е. Ф. и Н. М. Муравьевы, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, Н. И. Гнедич, М. С. Лунин, А. И. Тургенев, Е. С. Уварова, П. Л. Шиллинг; обед с шампанским, где Пушкин сочиняет экспромт, не дошедший до нас. 18 декабря — Батюшков находился в Вене, затем через Венецию и Рим поехал в Неаполь. За год написано 17 стихотворений («Из греческой антологии», «К творцу «Истории государства Российского» и др.).

1819. Конец февраля — Батюшков прибыл в Неаполь, к месту службы. Встречается с О. Кипренским, С. Щедриным и другими русскими художниками. Посещает Помпею, Везувий, Байю. Причислен к неаполитанской миссии в качестве сверхштатного секретаря при русском посланнике графе Г. О. Штакельберге. Конец июля — переселяется на Искию, остров близ Неаполя. Начало сентября — возвращается в Неаполь. Написаны стихотворения «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...» и «Есть наслаждение и в дикости лесов...».

1820. Нарастание депрессии. Столкновение с графом Штакельбергом. Подает просьбу об отпуске на воды в Германию и получает отказ. Август —

«Сыне Отечества», без ведома поэта, напечатано стихотворение «Надпись для гробницы дочери М(алышевой)», что вызвало письмо Блудова и ответ А. Ф. Воейкова, кощунственно обвиняющий Батюшкова. *Осень* — в «Сыне Отечества» объявлено о будущем сотрудничестве Батюшкова. *2 декабря* — Батюшков в письме А. Я. Италлинскому просит перевести его в Рим. Опубликована брошюра «О греческой антологии», написанная совместно с С. С. Уваровым.

**1821.** *Февраль* — появление в «Сыне Отечества» элегии П. А. Плетнева «Б.....в из Рима». *26 апреля* — Батюшков получает отпуск для лечения и 500 руб. в качестве прибавки к жалованью. *Май — октябрь* — лечение на водах в Теплице (Германия), встречи с Д. Н. Блудовым. *Июнь* — Батюшков правит несколько стихотворений в экземпляре «Опытов» и вносит шесть «Подражаний древним». *21 июля* — письмо в редакцию «Сына Отечества» по поводу элегии П. А. Плетнева. *18 сентября* — прошение об увольнении со службы. *Начало ноября* — едет из Теплицы в Дрезден, где четыре дня проводит с В. А. Жуковским. В припадке депрессии уничтожает произведения, написанные в Италии («Тасс», «Брут», «Вечный жид», прозаическое «Описание неаполитанских древностей» и др.). *12 декабря* — второе прошение об отставке.

**1822.** *Январь — февраль* — пребывание в Дрездене. *20 февраля* — письмо от К. В. Нессельроде о том, что император желает, чтобы Батюшков оставался на службе, числясь в бессрочном отпуске. *14 марта* — приезжает в Петербург, живет в Демутовом трактире. *18 апреля* — просьба разрешить ему поездку на Кавказ и в Крым для лечения. *Около 17 мая* уезжает на Кавказские минеральные воды. *Июнь — июль* — живет в Пятигорске. Признаки душевной болезни. *21 июля* — А. С. Пушкин в письме к брату Льву из Кишинева замечает, что не верит в умственное расстройство Батюшкова. *Август* — переехал в Симферополь. Развитие болезни. Встречи с М. Ф. Орловым и А. А. Перовским. П. И. Шаликов печатает послание к нему Батюшкова.

**1823.** *Январь — начало апреля* — у Батюшкова в Симферополе усиливаются признаки душевного расстройства: сжигает свою библиотеку, трижды покушается на самоубийство. К нему выезжает П. А. Шипилов (муж сестры Елизаветы), пробывший в Симферополе с 14 по 26 февраля. *Март* — пишет завещание на имя Н. И. Гнедича. *4 апреля* — отправлен в Петербург в сопровождении инспектора Таврической врачебной управы П. И. Ланга. *6 мая* привезен в Петербург и помещен в доме Е. Ф. Муравьевой. *Май — июнь* — Батюшкова навещают Карамзины, Оленины, Блудов, Вяземский, А. И. Тургенев и др. *Середина июня* — перевезен на дачу на реке Карповке. *Осень* — переезжает в Петербург, живет с сестрой Александрой. Элегия «Умиравший Тасс» переведена на французский язык и включена в «Русскую антологию», изданную в Париже Сен-Мором.

**1824.** *Январь — середина мая* — живет в Петербурге. По совету доктора Мюллера решено отправить Батюшкова в Зонненштейн (Саксония) в лечебницу доктора Пирнитца. Жуковский хлопочет об отправке на казенный счет. *Апрель* — прошение Батюшкова царю с просьбой «немедленно удалиться в монастырь на Белоозеро или в Соловецкий» и постричься в монахи. *8 мая* — повеление царя об отправке Батюшкова на лечение за казенный счет. *10 мая* — Жуковский увез Батюшкова в Дерпт, откуда он был отправлен в Зонненштейн и

помещен в лечебницу; туда же выехали сестра Александра и Е. Г. Пушкина. В 1824 году написано стихотворение «Ты знаешь, что изрек...».

**1824—1828.** Пребывание Батюшкова в лечебнице для душевнобольных в Зонненштейне, где его посещают А. И. и Н. И. Тургеневы, Е. Г. Пушкина, В. В. Ханьков, Д. В. Дашков, В. А. Жуковский. А. Н. Батюшкова постоянно живет неподалеку от клиники. Болезнь Батюшкова объявлена неизлечимой.

**1828. 4 августа** — Батюшков привезен из Зонненштейна в Москву и поселен в специально нанятом для него доме в Грузинах, где живет под наблюдением доктора А. Дитриха. Его навещают Е. Ф. Муравьева, П. А. и В. Ф. Вяземские, Д. В. Дашков, М. П. Погодин и др.

**1829.** Сошла с ума А. Н. Батюшкова, сестра поэта (умерла в селе Никольском Ярославской губернии).

**1830. 22 марта** — на всенощной у Батюшкова присутствовал А. С. Пушкин, пытался заговорить с больным, но Батюшков не узнал его.

**1833.** Батюшков перевезен из Москвы в Вологду и помещен в семье племянника Г. А. Гревенса. **9 декабря** — Николай I распорядился числящегося в отпуску Батюшкова уволить со службы, назначив ему пожизненную пенсию в 2 тыс. рублей.

**1834. 13 августа** — А. В. Никитенко, проезжая через Вологду, посетил больного Батюшкова, который произвел на него «ужасное впечатление». В издании И. И. Глазунова вышли в свет «Сочинения в прозе и стихах» Батюшкова.

**1841. 23 августа** — проездом через Вологду Батюшкова посетил М. П. Погодин.

**1847. 8 июля** — Батюшкова в Вологде посещают С. П. Шевырев и Н. В. Берг. Последнему удается нарисовать его портрет.

**1850.** А. Ф. Смирдин выпустил 3-е издание сочинений Батюшкова.

**1855. 7 июля, 17 часов** — Батюшков умер от тифозной горячки. **10 июля** — похоронен в Спасо-Прилуцком монастыре близ Вологды.

## СОДЕРЖАНИЕ

В. А. Кошелев, «Наука из жизни стихотворца» . . . . . 5

### СТИХОТВОРЕНИЯ

К друзьям . . . . . 27

#### I. ЭЛЕГИИ

Мой гений . . . . .	28
Гезиод и Омир, соперники . . . . .	28
Умирающий Тасс . . . . .	32
Мечта . . . . .	36
Беседка муз . . . . .	41
«Ты знаешь, что изрек...» . . . . .	42

#### II. ПОСЛАНИЯ

Послание к Н. И. Гнедичу . . . . .	43
[На смерть И. П. Пнина] . . . . .	46
Пастух и соловей . . . . .	47
К Тассу . . . . .	48
Стихи г. Семеновой . . . . .	50
Ответ Г<неди>чу . . . . .	51
Мои Пенаты. Послание к Ж<уковскому> и В<яземскому> . . . . .	52
К Ж<уковско>му . . . . .	59
Ответ Т<ургене>ву . . . . .	61
К Д<ашко>ву . . . . .	63
Послание к А. И. Т<ургене>ву . . . . .	64
Послание И. М. М<уравьеву>-А<постолу> . . . . .	65
Надпись к портрету Жуковского . . . . .	68
<С. С. Уварову> . . . . .	68
К творцу «Истории государства Российского» . . . . .	69
Князю П. И. Шаликову (при получении от него в подарок книги, им переведенной) . . . . .	69
«Жуковский, время все проглотит...» . . . . .	70
Подражание Горацию . . . . .	71

#### III. САТИРЫ И ЭПИГРАММЫ

Послание к стихам моим . . . . .	72
«Безрифмина совет...» . . . . .	73
«Как трудно Бибрису со славою ужиться!..» . . . . .	74
Мадригал новой Сафе . . . . .	74
Мадригал Мелине, которая называла себя нимфой . . . . .	74
Книги и журналист . . . . .	74
Эпиграмма на перевод Вергилия . . . . .	75
Видение на берегах Леты . . . . .	75
Истинный патриот . . . . .	82
На перевод «Генриады», или Превращение Вольтера . . . . .	83
Совет эпическому стихотворцу . . . . .	83
На поэмы Петру Великому . . . . .	83
«Всегдашний гость, мучитель мой...» . . . . .	84



Певец в Беседе любителей русского слова . . . . .	84
Новый род смерти . . . . .	89
На книгу под названием «Смесь» . . . . .	90
Надпись к портрету графа Буксгевдена, шведского и финского . . . . .	90

### ПРОЗА

Об искусстве писать . . . . .	91
Мысли . . . . .	93
Путешествие в замок Сирей . . . . .	94
Письмо к И. М. М(уравьеву)-А(постолу) . . . . .	102
Прогулка в Академию Художеств . . . . .	113
Нечто о поэте и поэзии . . . . .	129
О лучших свойствах сердца . . . . .	134
Ариост и Тасс . . . . .	138
Петрарка . . . . .	144
О характере Ломоносова . . . . .	154
Две аллегии . . . . .	157
Речь о влиянии легкой поэзии на язык . . . . .	160
Вечер у Кантемира . . . . .	166

### ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

Разные замечания . . . . .	177
Чужое: мое сокровище! . . . . .	188

### ИЗ ПИСЕМ

1807—1821 гг. . . . .	205
Комментарии . . . . .	357
Словарь собственных и мифологических имен (сост. В. А. Кошелев) . . . . .	376
Краткая летопись жизни и творчества К. Н. Батюшкова (сост. В. А. Кошелев, Л. В. Лавров, С. Ю. Соловьев) . . . . .	400